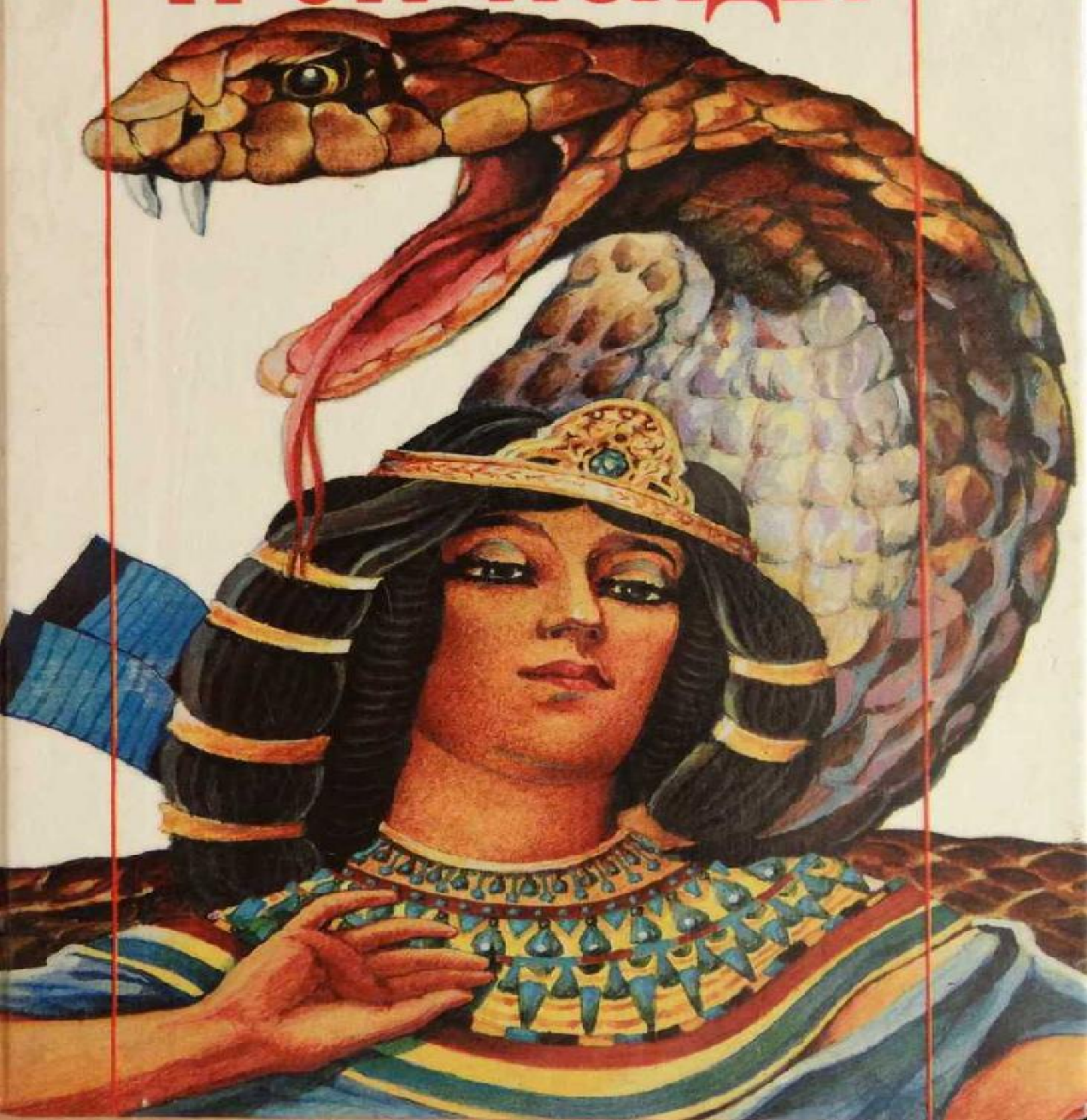
ДЖУДИТ ТАРР

ТРОН ИСИДЫ



Annotation

Сильным мира сего не дано любить так, как любят простые смертные. Борьба за власть, войны, смерть — вечные их спутники. История Антония и Клеопатры — одна из величайших историй любви: любви возвышенной, прекрасной и трагичной. Книга эта — плод чистого вымысла. Если здесь и отражены истинные события; описаны имевшие когда-то место установления; упомянуты личности, которые на самом деле существовали; названы какие-то земные точки и пространства, — то лишь с одной целью: сообщить черты подлинности созданному воображением. Некоторые лица из великих или просто персонажи, равно как и факты общественной или личной жизни, нафантазированы автором. Впрочем, иной раз на страницах романа вы найдете и такое: реально жившие люди действуют как участники явлений значительных, но выдуманных — никогда этого не происходило, и уж тем более подобное не совершится в будущем.

- Джудит Тарр
  -
  -
  - Действие первое
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
  - Действие второе
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
  - Действие третье
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24

        - 25
        - 26
        - 27
        - 28
    - Действие четвертое
        - 29
        - 30
        - 31
        - 32
        - 33
        - 34
        - 35
        - 36
        - 37
        - 38
        - 39
        - 40
        - 41
        - 42
        - 43
        - 44
        - 45
        - 46
        - 47
        - 48
    -
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18

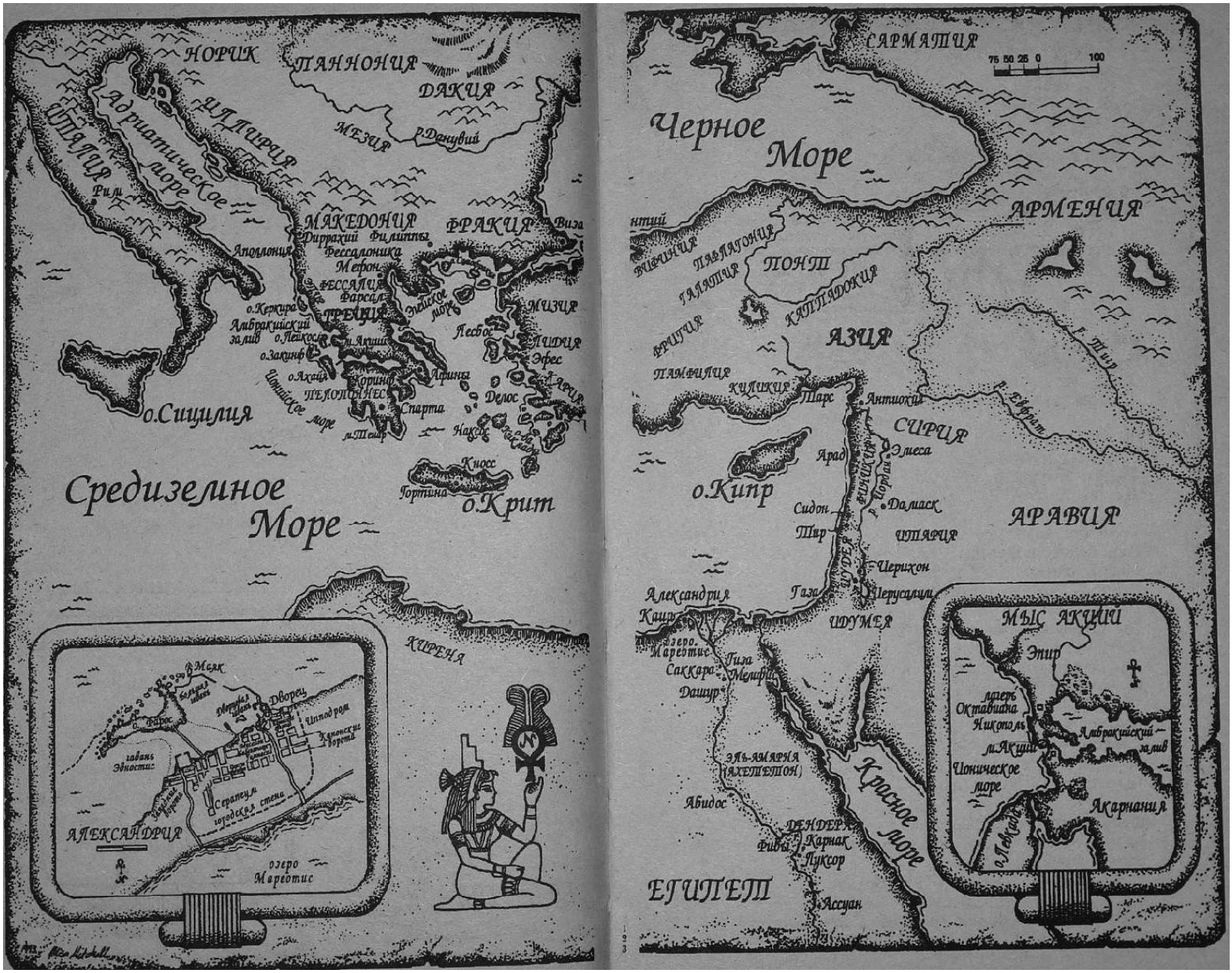
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63

- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108

- 109
- 110
- 111
- 112

Джудит Тарр
Трон Исиды

Брюсу и Трэси
за все:
помощь, моральную поддержку, советы особенно за консультации по вопросам дел военных.



К пирующим

Теперь пируем! Вольной ногой теперь
Ударим оземь! Время пришло, друзья,
Салийским щедро угощеньем
Ложа кумиров почтить во храме!

Нам в погребах нельзя было дедовских
Цедить вино, доколь, Капитолию
Разгром готовя, государству
Смела в безумье грозить царица

С порочной сворой хворых любимчиков,
Мечтам не зная дерзостным удержу,
Сама от сладостной удачи
Пьяная. Но поубавил буйство,

Когда один лишь спасся от пламени
Корабль, и душу, разгоряченную
Вином Египта, в должный трепет
Цезарь поверг, на упругих веслах

Гоня беглянку прочь от Италии,
Как гонит ястреб робкого голубя
Иль в снежном поле фессалийском
Зайца — охотник. Готовил цепи

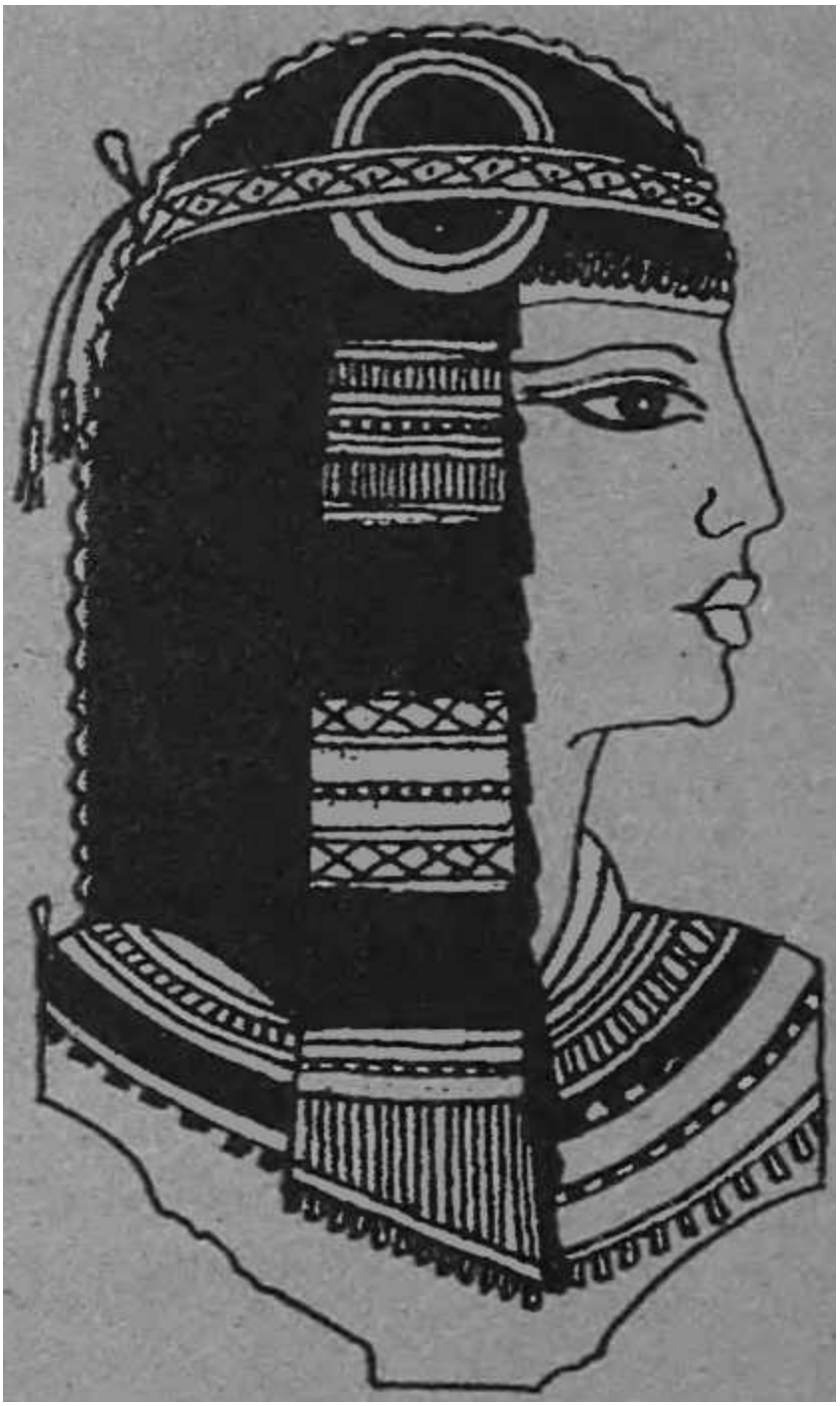
Он роковому диву. Но доблестней
Себе искала женщина гибели:
Не закололась малодушно,
К дальним краям не помчалась морем.

Взглянуть смогла на пепел палат своих
Спокойным взором и, разъяренных змей
Бесстрашно в руки взяв, смертельным
Тело свое напитала ядом,

Вдвойне отважна: так, умереть решив,
Не допустила, чтобы ладья врагов
Венца лишенную царицу
Мчала рабой на триумф их гордый.

Квинт Гораций Флакк (перевод С. Шервинского)

Действие первое
АЛЕКСАНДРИЯ И ТАРС
41—40 до н. э



1

Некогда зал этот был весь из золота. Теперь он из золота и хрусталя, а в центре него мумия — безжизненный образ царя.

Египетские бальзамы выполнили свое назначение: тело умершего великолепно сохранилось в жарком вавилонском климате. Оно не было завернуто в материю, как того требовал обычай, точнее ее сняли уже давно, еще до того, как его преемник, новый царь, расплатился с долгами золотым саркофагом. Отблески светильников скользили по оружию; то высвечивалось, то тонуло в тени лицо, словно оживая. Мощный торс, крепкие кости, крутой лоб, правильной формы нос с горбинкой, властный, волевой подбородок. Светлые волосы сохранили цвет — подстриженные и уложенные наподобие львиной гривы, они отливали золотом.

Диона обвела взглядом выгравированные заглавные буквы имени: «ALEXANDROS»[1]. Далее следовали титулы, слова молитв, символы царского величия, значившие теперь так же мало, как и сама смерть, сделавшая его вечным.

Она взглянула на него: мертвое лицо ничем не отличалось от лица живого человека. Этот мужчина был очень красив, а в его характере было слишком мало сходства с характером женщины, вошедшей в просторный сияющий зал. Но Диона считала ее равной великому Александру.

— Боги, как мне его не хватает! — произнесла Клеопатра[2].

Она не имела в виду Александра — он покинул сей мир уже более трех веков назад. Диона приподняла бровь.

— До сих пор? — вырвалось у нее.

Царица остановилась и повернулась к Дионе. Клеопатра в совершенстве владела жеманной походкой придворной дамы, однако обычно ее поступь была легка и свободна, и, несмотря на размашистые шаги, никто не усмотрел бы в ней ни на йоту мужского.

— До сих пор… Мало того, он постоянно является мне. Хорошо бы его бросили за это на растерзание собакам, а не сжигали на костре в Риме.

Рука Дионы вскинулась в предупреждающем жесте.

— Да минует нас чаша сия!

— Милая, добрая маленькая жрица, — не слишком доброжелательно вымолвила царица, склоняясь над погребенным в хрустале. — Если бы он появился здесь, сейчас, я была бы рада. Я смогла бы расправиться с призраком кумира, мертвого уже три сотни лет. Человек, умерший три…

— Кумир? — перебила ее Диона. — Неужели ты веришь всем этим россказням, пришедшим из Рима?

Клеопатра надула губы; нос ее как будто еще удлинился, подбородок выдвинулся вперед; весь ее облик выражал презрение.

— Кумиром был Гай Юлий Цезарь — удивительный человек, блестящий полководец и — негодяй отъявленный. Лишь Меркурий, возлюбивший воров, мог покровительствовать ему.

Царица имела право так говорить. Здесь, на этой земле, ее называли Исидой[3], здесь она мать и богиня. Сам Цезарь приносил ей дары, а ему, как никому другому, чужда была бескорыстность.

Для Дионы всегда было загадкой, любил ли Цезарь свою египетскую царицу. При его жизни она не позволяла себе разгадать эту загадку. А в том, что царица любила своего хитроумного и остроумного, циничного и бессовестного римлянина, она не сомневалась.

— Я хотела соблазнить его, — заговорила Клеопатра, — очаровать, увлечь; мне ли не знать, как это делается. И подчинить… И завоевать Египет для себя, а Рим для него и править миром. И что же? Чей теперь Рим! Он должен был вернуться и добиваться смерти так же яростно, как добивался меня некогда.

Диона молчала. Царица шагнула к саркофагу и заглянула в него.

— Он завидовал тебе, — произнесла она, словно обращаясь к живому, — жаждал всего, чем обладал ты: и твоей славы, и даже твоей смерти. А знаешь, сколько ударов ножа потребовалось, чтобы убить его? Двадцать три. Они посчитали раны. Римляне все считают. Только тогда они смогли схватить его, и легионеры растоптали его тело. — Необычно тихим и спокойным голосом, совсем не свойственным ее темпераменту, она добавила: — Египет завоюет Рим, несмотря на смерть Цезаря. Он должен был стать Осирисом[4] для Исиды. Что ж, теперь он стал им — владыкой подземных легионов.

Диона тихонько вздохнула, едва слышно, однако Клеопатра обладала острым слухом.

— Что, мой друг? Я нагнала на тебя скуку?

— Нет, — попыталась солгать Диона.

— Мы ведь пришли сюда с определенной целью, а я трачу время на пустую болтовню. Я слишком много говорю. Тебе давно следовало бы остановить меня.

— Но слова не причиняют вреда, — ответила Диона, — именно слова изгоняют из него злых духов.

— И ты тоже? — бесстрастно поинтересовалась Клеопатра.

Диона пожала плечами. «Нет», — подумала она, но не произнесла этого вслух. Нет, Цезарь не стремился добиться ее, точнее, не так страстно, как царицы. Диона восхищалась Цезарем, его остроумием. Ей нравилось проводить время в его обществе, однако она находила его слишком холодным, впрочем, как и всех римлян, — их беспокоило лишь собственное благополучие, они во всем искали свою выгоду. Цезарь мог бы неоценимо много значить для Египта, но выбрал Рим — и Рим убил его.

Клеопатра положила обе руки на саркофаг — длинные, прекрасные, с тонкими, сильными пальцами, без колец. Здесь, где царила смерть, украшения ни к чему. Диона ощутила дуновение ветра, хотя все двери и окна были наглухо закрыты. Казалось, все вокруг задрожало: цветы, свежие и увядшие; амулеты из камня, кости и металла; вино и хлеб; маленькие статуи бога, поразительно схожие с лежащим в гробнице. Трепетали лепестки цветов — будто кто-то касался их. Одна статуэтка упала на серебряный поднос — металл откликнулся глухо, словно звон далекого колокола.

Диона вздрогнула от этого жуткого звука и тут же упрекнула себя: она просто глупа. Здесь сейчас явилась высшая сила. Не могла не явиться. Свидетелями тому были мертвый Александр, Клеопатра, полная жизни, и сама Диона, жрица Исиды в Двух Землях, голос богини с самого детства, одаренная таинством магии богаче всех смертных женщин. Высшие силы всегда защищали ее, даже вопреки ее собственной воле; оберегали и от гнева Клеопатры.

Царица воскуривала ладан в золотой кадильнице — сладкий дым устремлялся в небеса, — лила вино из золотой чаши в золотой кубок и произносила имена высших сил и богов одно за другим. Диона лишь шептала слова вместе с ней. Это был не ее обряд, не она

выполняет его. Здесь она лишь друг, вторая жрица.

Клеопатра воззвала к богам, вернулась к саркофагу и снова положила на него руки.

— Дай мне знак, — произнесла она своим сильным, низким, вкрадчиво-сладким голосом. — Укажи мне путь! Мой Осирис умер. Мой Гор [5], мой Цезарион, еще дитя, и у него нет отца. Царство мое — Две Земли — будет завоевано римскими стервятниками, если каждый из нас не станет сильнее, чем раньше.

Гробница безмолвствовала. Это молчание было настолько же устрашающе необъяснимым, как и дуновение ветра, пронесшееся по залу несколько минут назад.

Диона, затаив дыхание, пристально смотрела на Клеопатру. Это не был один из обычных ритуалов, совершавшихся в храмах Двух Земель, поэтому на царице не было священного одеяния, лишь простое платье эллинки. Она выглядела как и любая александрийская женщина, возможно, чуть выше ростом и стройнее многих; ее можно было даже назвать красивой, но любой при взгляде на нее никогда не усомнился бы в том, что перед ним царица.

Боги признавали свою дочь и говорили с ней, однако сейчас они, похоже, не желали одарить ее своей милостью. Она ждала очень долго, неподвижно, безмолвно, но великие боги так и не явили желанного знака.

Наконец царица пошевелилась, склонила голову и вздохнула.

— Иногда и молчание может быть ответом, — произнесла она.

— Или ответ требовал большего ожидания, чем ты смогла вынести, — добавила Диона.

Клеопатра метнула взгляд в ее сторону.

— Ты всегда была терпеливее меня и сильнее волей — потому тебе и удавалось дождаться снисхождения богов.

— Но я не царица, всего лишь голос.

Взлетели крылатые брови.

— Ты значишь для них гораздо больше, чем предполагаешь. — Клеопатра покачала головой. — Мне следовало знать наверняка, а не просто надеяться, что они ответят мне. Боги молчат с тех пор, как ушел Цезарь. А вдруг вместе с ним ушли и они?

— Этого не может быть. Боги говорят с тобою каждый день.

— Но они не отвечают на мои вопросы.

— Может, и отвечали, но ты плохо слушала.

Клеопатра задохнулась от гнева, но быстро овладела собой и рассмеялась, досадуя на саму себя.

— Наверное, голос Матери Исиды побуждает меня к терпению и велит не гневить небо своей глупостью.

Диона промолчала и Клеопатра снова засмеялась.

— Пойдем, мой друг. Раз богам угодно, я буду терпеливой. Даже царица не в силах противиться воле небес.

Это было мудро, и Диона не стала с ней спорить, хотя, по ее мнению, мудрость поневоле стоила немного.

2

У входа в гробницу Диона рассталась с царицей. Роскошный паланкин Клеопатры, окруженный плотной стеной стражи, быстро поплыл в воздухе по направлению к дворцу. Непритязательный в сравнении с царским паланкин Дионы, подхваченный четырьмя огромными носильщиками, в сопровождении немой и потому молчаливой умницы-служанки, двинулся через густую утреннюю толпу. Диона, в отличие от царицы, не имела слуг, которые разгоняли бы перед ней народ, но зато у нее был дворецкий с голосом, подобным раскатам грома. Он ревел: «Дорогу! Дорогу голосу Исиды!»

Здесь, в полной безопасности и уединении паланкина, она позволила себе улыбнуться. Клеопатра считала, что ее жрица чересчур скромна для своего положения — что ж, царица права, однако Диону это вполне устраивало.

Она прислушивалась к шагам носильщиков, к беспрерывному гулу города — самого огромного города в мире. Какая гамма оттенков: тихий, деликатный шумок у Сема, где гробница Александра; заглушаемый морским прибоем гомон порта; бесцеремонный грохот улиц, набирающий оглушительную силу на рынках. Если прислушаться, можно уловить интонации доброй дюжины языков одновременно: от мягкого, приятного слуху греческого и звучной латыни до быстрых, гортанных звуков персидского. Кто-то пел на египетском. Высокий, чистый голос — такие голоса часто можно услышать в храме — пел простенькую греческую песенку о мальчике, чьи ягодицы подобны персику.

Миновав рыночную площадь, паланкин поднялся по ступеням, попал на другую улицу и вскоре достиг ворот дома Дионы. Носильщики остановились и мягко опустили ношу на землю. Диона услышала вздох облегчения: конечно, это был Марсий, самый сильный и самый ленивый из четверых. Когда она появилась в ярком солнечном свете крытого двора, он смиренно, как и другие, склонил голову, но она все же уловила ухмылку на его лице — уголок ее рта приподнялся в ответ. Она поблагодарила каждого, назвав по имени, последним — Марсия. Предоставленные теперь самим себе, носильщики отправились восвояси — отдыхать и обедать.

— По моему, ты ему нравишься, мама, — донесся до нее голос из тени колоннады. — А он тебе — тоже?

— Тимолеон! — Такое предположение слегка покоробило Диону, но сыну это знать ни к чему. — Так говорить неприлично.

— Значит, он тебе не нравится? — не унимался младший ее сын, выходя на свет. Как и всегда при взгляде на него, она подавила вздох — он был слишком хорош собой, чтобы не беспокоиться за него: огромные глаза, блестящие черные кудри. Отдать бы его в храм — время от времени думала она, — там он будет укрыт и от собственного тщеславия, и от домогательств любителей красивых мальчиков. Но нет, не создан он для храма, не станет она принуждать его.

— Ты меня огорчаешь, — произнесла она довольно строго, но без гнева в голосе. — Конечно, мне совсем не нравится Марсий.

— А вот госпожа Дианира любит своего распорядителя, — сообщил Тимолеон. — Андрогей говорит: когда ее муж узнает об этом, он с ними обоими сделает что-то ужасное. — Он помолчал. — А что именно — Андрогей не сказал. А что делают с женщинами, которые любят своих рабов?

— Что-то ужасное, — удовлетворила его любопытство Диона. — Кстати, Андрогей здесь?

— Да, на фонтанном дворе. Ну ма-ма, что-о?

— Подрастешь, узнаешь. — Она старалась быть серьезной и спокойной. — Ступай. В это время ты должен быть на занятиях.

— А нас сегодня рано отпустили. Перинт принес нам аквариум с головастиками, и мы наблюдали, как они вырастали в лягушек. А потом мы читали о лягушках. Ты знаешь, они так смешно поют: «Брекеке-квак! Квак!»

Сын путался у нее под ногами — в неопрятной тунике, грязный, босой — и старательно квакал. Диона невольно фыркнула — Тимолеон знал, как ее рассмешить.

Андрогей был в фонтанном дворике, как и сказал его брат. Опрятный — Тимолеон таким никогда не бывал, — тихий и спокойный, он читал книгу в ожидании матери. В отличие от Тимолеона, похожего на мать, Андрогей пошел в отца; очень рослый для своих двенадцати лет, слишком, пожалуй, замкнутый. Его тонкое лицо, казалось, не знало улыбки; прямые светло-каштановые волосы подстрижены совсем коротко; холодные серые глаза оценивали все и всех и во всем находили изъяны.

Диона резко одернула себя: несправедливо по отношению к сыну переносить на него свою нелюбовь к его отцу. Такой разумный, аккуратный ребенок — ей бы радоваться. Не то что его шалопай братец: всегда ведет себя примерно, соблюдает все правила приличия. Когда Диона подошла к нему, он встал, взял ее руки в свои, поцеловал мать, как и подобает любящему сыну, и замер, ожидая, когда она заговорит.

— Я чувствую, вы тут с Тимолеоном сплетничали? Откуда ты узнал о Дианире? Неужели разговаривал с рабами?

— Конечно, нет, мама. Просто слуги болтали между собой, а брат случайно услышал и попросил меня объяснить. А я слышал от отца.

— И он, вероятно, собирается донести все подробности до мужа Дианиры?

— Конечно. Он просто обязан сделать это.

Диона хотела было не согласиться, но что толку спорить с ребенком о справедливости и милосердии. Она присела на край фонтана и заставила себя улыбнуться.

— Ну хорошо, а как дела у твоего отца?

— Неплохо, как и всегда.

— А как чувствует себя жена твоего отца? — Она вопросительно посмотрела на сына.

— Госпожа Лаодис здорова. Вчера вечером она родила сына.

— Неужели? Какое это, должно быть, для нее счастье.

Андрогей был умен не по годам, и Диона надеялась, что он не поймет скрытого смысла ее слов. Она рассталась с Аполлонием очень давно — Тимолеон был совсем еще маленьким. Тогда это казалось неизбежным. Ее удивило даже не то, что он снова женился, а что так долго ждал, чтобы найти подходящую юную наследницу. Лаодис, молодая, привлекательная, прекрасная мать для будущих детей, получила, кроме того, в приданое доход богатой провинции. Для мужчины с амбициями, который вращается при дворе на средних ролях и горит желанием подняться повыше, — идеальная партия.

Когда-то он питал надежды в отношении Дионы, полагая, что она поможет ему достичь цели. Семья ее была из вымирающего рода Лагидов[6], Диона осталась последней: отец умер от лихорадки еще до ее рождения, мать скончалась при родах. Родители оставили ей все, что имели: земли, поместья — такие богатства удовлетворят аппетиты любого охотника за

удачей. Диона выросла в храме Исиды, который заменил ей и мать, и отца. Она покинула храм, чтобы стать законной наследницей, хозяйкой собственного дома и предстать пред очами царицы — своей родственницы. Но выставлять себя напоказ претило ей, она предпочитала жить просто.

Наверное, она была плохой женой, но все эти женские премудрости не для нее. Аполлонию нужна была женщина, не склонная забывать обо всем на свете во имя исполнения воли богини; умеющая развлечь невыносимо глупых придворных, терпеливо исполняющая любые прихоти мужа.

Она родила ему двух сыновей. Аполлоний взял к себе старшего, оставив второго с ней. И теперь у него сын, которого он не желает делить с матерью.

Андрогея, похоже, не волновало появление соперника, претендующего не только на любовь отца, но, вероятно, позднее и на наследство. Возможно, он не боялся этого — судьба еще не наносила ему чувствительных ударов.

— Расскажи мне о своем новорожденном братике — попросила Диона. — Как его имя?

— Папа хочет назвать его Птолемеем, — ответил мальчик. — Но Лаодис настаивает на имени Демострат, в честь ее отца. А уж она-то добьется своего. Ее отец собирается пожаловать внуку все свое имущество и доходы.

Андрогей не был завистлив. Он и в этом походил на мать; кроме того, ему недоставало честолюбия, отец, без сомнения, считал это весьма прискорбным. Диона погладила его по волосам, и он это вытерпел — редкий случай.

— Останешься пообедать?

— О, не могу. Празднуют рождение малыша — и я должен быть там, а то пойдут сплетни: все считают, что я готов удушить младенца прямо в колыбели.

— Какая нелепость, — вырвалось у Дионы.

— Для меня естественно желать, чтобы первенец оказался девочкой, — заметил Андрогей. Конечно, он был огорчен, но его чувство не имело ничего общего с той звериной ненавистью, которая приводит к братоубийству; Диона была уверена в этом.

— А когда родился Тимолеон, у папы оставалось время на меня? Я не помню.

У отца никогда не находилось времени на детей, но Диона ни за что не сказала бы этого сыну.

— Отец уделял тебе не меньше времени, чем и до рождения брата. — В конце концов, она почти не покривила душой. — Он всегда предпочитал общаться с взрослыми сыновьями, а не забавляться с малышами. Вот увидишь: побалует жену, полюбуется на младенца и снова вернется к тебе — ведь ты умеешь поддерживать умные разговоры.

Тимолеон завопил бы от радости — Андрогей лишь слегка пожал плечами. Чувства юмора он лишен начисто, впрочем, как и его отец.

— Надеюсь. Сейчас он держит себя как Александр, когда у того появился наследник.

— Однако тут все права на твоей стороне. Аполлоний родом из обычной греческой семьи, а род Леодис происходит от македонского солдата, даже не благородной крови. Наш же род ведет свое начало от самого Лага и брата царя Птолемея[7].

Слова матери, хотя в них не содержалось ничего нового, несколько ободрили мальчика; но Андрогей не был бы Андрогеем, если бы не внес в них ясность:

— У Николая Лагида никогда не было собственных сыновей, даже незаконнорожденных.

— Это так, и госпожа Мериамон была бесплодна. Зато они усыновили много детей.

Одна из их дочерей, в которой текла македонская и персидская кровь, вышла замуж за египтянина; у них родилась дочь, которая полюбила грека, от их брака тоже родились дети — так и пошел наш род. Ты должен гордиться своим происхождением. Александр гордился бы.

— Откуда тебе знать, что чувствовал бы великий Александр? — усомнился Андрогей.

— Так говорит Богиня, — ответила Диона. Этот аргумент не подлежал сомнению. Даже сын со своим полудетским скептицизмом испытывал благоговейный трепет перед жрицей Дионой. Она взяла его за руку — мальчик тут же попытался высвободиться — и мягко попросила: — А теперь расскажи мне, как ты живешь.

Андрогей, более чем сдержанный молодой человек, против такого тона устоять не мог — и рассказывал куда больше, чем собирался. А Диона радовалась, что сын разговаривает с ней, навещает даже чаще, чем раньше. Андрогей был ее первенцем, и она, как бы ни противился этому его отец, всегда оставалась его матерью.

3

Сейчас в царице нельзя было узнать женщину, которая несколько часов назад была в гробнице Александра. Садясь на престол в тронном зале, она становилась существом высшего порядка. Дворцовый распорядитель, как обычно, призвал Диону к исполнению своих обязанностей, и она, облачившись в придворные одеяния, заняла положенное место: недалеко от трона, среди жриц Исиды в ритуальных одеждах.

Эта Клеопатра, здесь, сейчас, была воплощением Исиды на земле. Предки ее, македонские греки, никогда не забывали о своем происхождении и не придерживались египетских обычаев в одежде и поведении. Но Клеопатра, когда считала нужным, умела перевоплощаться в подлинную царицу Египта. Сегодня она была именно ею.

Блюститель строгих канонов красоты обнаружил бы немало изъянов в ее лице, но фигура царицы была безупречной. Облегающее платье из льна, такое тонкое, что казалось почти прозрачным, подчеркивало прекрасные линии тела. На ней были изумительной красоты драгоценности: массивное нагрудное украшение из золота, слоновой кости и лазурита; золотой пояс; золотые браслеты на длинных ногах и гибких руках. В руке она сжимала жезл и высоко держала голову, увенчанную двумя коронами, красной и белой, и золотыми фигурками грифа и змеи — символами Двух Земель, отныне объединенных в Великое царство Египетское. Ее лицо было раскрашено так же, как маска в гробнице; глаза подведены малахитовой зеленью. Клеопатра выглядела воистину великолепно — и лучше, чем кто бы то ни был знала об этом. Тяжелые короны казались специально созданными для ее причудливо изогнутого носа и властного, выступающего вперед подбородка, а диковинная разрисовка огромных темных глаз придавала им горделивой выразительности.

«Красива? Нет… — думала Диона, — но ослепительна, богоподобна…»

Многоколонный мраморный зал в греческом стиле, но расписанный в типичной египетской гамме — красное и золотое, белое и голубое, с вкраплениями зеленого, — заполняли придворные в греческих хитонах, египетских туниках, персидских накидках и шароварах, иудейских одеяниях и даже в римских тогах. Писцы в египетских юбках сидели рядом с учеными мужами в греческих мантиях и заносили на папирусы все происходящее на двух языках: египетском и греческом.

Царица, владевшая обоими, внимательно наблюдала за переводчиками. Но Клеопатра не была бы Клеопатрой, если бы не научилась говорить и читать на всех языках, которые могли понадобиться ей для ведения дворцовых дел; освоила она и еще несколько — это не раз помогало ей разбираться в дипломатических тонкостях.

Великое множество дел предстояло ей разрешить в этот день. От царя Ирода из Иудеи доставили льстивое послание с выражениям дружелюбия — что ж, она пошлет столь же сладостный ответ. Правитель Тибада уплатил лишь часть наложенных на него зерновых пошлин и прислал извинения за невозможность выплатить остальное. Ну, тут все ясно: пусть покроет долг за счет собственных запасов. Имущественный спор: разводятся супруги, она — из Александрии, он — из Мемфиса: доход от поместья общий и пятеро детей — тоже. Так: поместье и всех ребятишек — матери, муженьку же придется убираться. Она отметила про себя, что решение поспешно, но в данных обстоятельствах — единственно верное.

Когда обескураженный, незадачливый бывший супруг из Мемфиса удалился, вперед выступил незнакомец. Дворцовый распорядитель объявил о нем по-гречески — на языке,

наиболее здесь распространенном. Неизвестный, стоящий перед царицей, гордо опершись на копье, со шлемом в руке, был кем угодно, но только не эллином.

Неотесанные римляне остаются грубиянами, даже когда пытаются подражать изысканным грекам. Но об этом так не скажешь. Его речь была очень проста — такую манеру называют цезарианской. Диона не вспомнила ни его лица, ни имени — Квинт Деллий. В Риме, где она жила с царицей, довелось видеть так много лиц, слышать столько имен…

Но имя человека, направившего к ним посланца, она припомнила — Марк Антоний, друг Цезаря. Теперь он управлял Римом, а точнее, разделял трон с Октавием — племянником Цезаря. Как остроумно заметил Деллий, не столько разделял, сколько раздирал.

— Вот оно что, — тихо, как бы между прочим, сказала царица на классическом греческом. — Наследник.

Деллий взглянул на ребенка, сидевшего у ее ног, одетого по-египетски. Птолемей Цезарь — Цезарион — выглядел — да и был — настоящим египтянином и вполне освоил искусство терпения — его отцу оно далось намного тяжелее.

При взгляде на него возникали некоторые сомнения в том, кто же на самом деле его отец: светло-каштановые волосы, белоснежная кожа, холодные серые глаза на красивом лице, в котором, однако, не было ничего от эллина. Он встретил взгляд Деллия без всяких эмоций, как и подобает царевичу, однако Диона могла поклясться — в этот момент он готов был лопнуть со смеху. Что ж, иной раз и царям не грех посмеяться. То же самое ей однажды сказал и Цезарь.

Сын немного отодвинулся от материнского колена — мать, казалось, вовсе не замечала его.

— Наследника зовут Гай Октавий — почти Гай Юлий Цезарь. Поистине римлянам недостает воображения, когда они дают имена своим детям.

Деллий натянуто улыбнулся.

— Что поделать, владычица.

— На свете был только один Цезарь. Надеюсь, его помнят в Риме. Не хотелось бы, чтобы этот хилый отпрыск с похожим именем остался единственной памятью о нем.

— Люди не забудут Цезаря, владычица, — заверил ее Деллий.

— Имена имеют огромное значение, — продолжила Клеопатра свою мысль. — В именах заключена сила. Что Антонию нужно от меня?

Деллия, с его живым умом, не сбил с толку внезапно заданный вопрос — ответ последовал незамедлительно.

— Владычица, он просит тебя посетить его.

— Неужели? — Тон царицы был совершенно бесстрастен. — Где ж?

— Он ждет тебя в Тарсе, владычица.

— Он мог бы, — заметила царица — приехать сюда, в Александрию.

— Конечно, ты права. Однако государственные дела заставляют его оставаться у границ Греции.

— А меня государственные дела заставляют оставаться здесь. Я — царица Египта.

На лице Деллия ни один мускул не дрогнул.

Диона подумала, что мудрый Антоний послал к ним человека с железными нервами.

— Владычица, Марк Антоний — один из триумвиров, трех равных правителей Рима.

— И что же, они в самом деле равны? Должно быть, просто не могут выбрать первого, своего господина.

— Рим — их господин, владычица.

— Зачем я ему понадобилась? Разве ему недостаточно поддержки греков?

Менее искусный дипломат непременно попался бы на эту удочку, Деллий же терпеливо продолжил — так обращаются с глупым, назойливым ребенком.

— Владычица, он намерен обсудить ваш союз.

— Наш союз? — переспросила царица. — А не свои новые завоевания? Не право на предполагаемые владения?

— Египет, по мнению Марка Антония, государство независимое и сильное. Он считает, что самое мудрое — заключить с ним союз.

— Что ж, он прав, — согласилась Клеопатра.

— Итак, владычица, — подхватил Деллий со всей возможной деликатностью, — ты принимаешь его приглашение?

— Я подумаю, — ответила царица.

На большее посланник рассчитывать не мог — похоже, он и сам знал об этом и поэтому покинул зал, вполне удовлетворенный. Царица приступила к другим, не менее важным делам. Диона же — она увидела все, что считала интересным, — тихонько выскользнула из зала.

— Ну?

Диона отвернулась от окна. Отсюда, из ванной комнаты царицы, расположенной высоко в дворцовой башне, она могла окинуть взглядом весь город, порт и маяк на острове Фарос[8], мерцающий белым светом в лучах вечернего солнца. Комната была большой и светлой, но после парадных залов казалась мрачноватой. Царица неслышно приблизилась и встала рядом с Дионой — в льняном одеянии, без роскошных корон и почти без украшений — лишь несколько браслетов позвякивали на руках. Благоухали дорогие благовония, терпкие и сладкие.

— Мирра? — предположила Диона, — и розы… И еще… гвоздичное масло?

— И немного серой амбры. — Кончиками пальцев Клеопатра коснулась щеки Дионы. — Чуть-чуть румян, капельку пудры — и ты как цветок лотоса. Я должна бы мучительно тебе завидовать.

— Я смою и это, — пообещала Диона. — Твоя ванна больше, чем весь мой дом.

— Да, весь твой дом можно разместить здесь с гораздо большим комфортом, чем в городе, — пошутила царица.

— Пожалуй… Но зато это *МОЙ* дом.

Клеопатра лишь взглянула — она уже давно привыкла к ее непокорности.

— Как ты думаешь, долго ли еще этот дворец останется моим, прими я предложение римлян?

— Всю твою жизнь. — Сейчас Диона не говорила с богиней — лишь с самой собой. Но она была уверена в правоте своих слов.

Клеопатра чуть-чуть расслабилась, но и теперь было заметно, как напряжены ее нервы.

— Знаешь, — задумчиво проговорила царица, — Рим — плохой гость и ненадежный союзник.

— Как Цезарь?

— Цезарь умер.

— И ты не можешь простить ему этого.

— Он не заслужил прощения. — Клеопатра облокотилась на подоконник. — Мудрые живут, чтобы довести до конца свои начинания. Глупцы — умирают.

— Глупцы — и избранники боги.

— А разве это не одно и то же?

— Ты очень цинична сегодня, — заметила Диона.

— Завтра я буду еще более циничной, — пообещала Клеопатра.

Диона засмеялась, ее не так-то легко было смутить.

— А-а, ты уже готовишься?

— Очень может быть. — Рука царицы как бы независимо от ее воли легла на подоконник; взгляд остановился на Фаросском маяке. — Египту нужен Рим. Можно отрицать это, как угодно сопротивляться, но Рим — сила, и ни один народ не может не считаться с нею.

— У них даже царя нет. Они называют себя республикой — свободной землей для свободных людей. Любой, у кого хватит денег и власти, может назвать себя господином этой земли. Цезарь ближе, чем кто-либо другой, подошел к тому, чтобы стать царем. И что же? Что они с ним сделали?

— Предательски убили… прямо в сенате… — Голос звучал зловеще тихо. — Они питают отвращение к царям… к любому, кто, по их мнению, претендует на этот титул. Пусть называет себя диктатором, генералом, верховным жрецом — это еще можно вынести. Но царем — никогда. Им не нужен ни царь, ни император. Знаешь ведь, за что они сражались: Марий и Сулла, Цезарь и Помпей, Брут и Кассий — все эти преданные сыны Республики? У них была лишь одна цель — взять власть, править миром.

Диона вздрогнула.

— В словах заключена огромная сила, — убежденно произнесла она. — Отрицать это, называть вещи не их именами, — значит лгать.

— Как это по-персидски, — презирать ложь, — сухо заметила Клеопатра. — Любой римлянин скажет тебе, что достичь успеха можно, лишь называя вещи чужими именами.

— Но это не правильно, — возразила Диона.

Клеопатра только вздохнула.

— Из тебя никогда не выйдет царица или хотя бы придворная дама. Как бы ни называл себя римлянин, он останется римлянином. Рим слишком силен, чтобы не принимать это во внимание.

— Но чем стал Рим сейчас? — задала самой себе вопрос Диона. — Кучкой вздорных мальчишек, не более.

— Положим, ты права. Но за спиной у этих мальчишек целая армия и еще одна сила, куда могущественнее любых армий, — страх. Другие государства боятся: когда-нибудь эти римляне, наконец, перестанут драться между собой и предоставят право кому-то одному властвовать над ними. И это случится, Диона, — так говорят звезды. Войны в Риме скоро прекратятся. И тогда победитель, кем бы он себя ни назвал, сделается императором огромного государства, — таких владений, что сам Александр не мог бы себе представить.

Глаза царицы сверкали; сейчас она больше, чем когда бы то ни было, походила на богиню.

— Рим будет править миром, — продолжила она. — Это так же верно, как то, что утром

взойдет солнце. Но кто будет править Римом — здесь, мой друг, у нас есть возможность выбора. Мы сможем изменить мир — мы, египтяне. Мы найдем того, кто назовет себя правителем Рима.

Наступила тишина — полная, звенящая. И в этом звоне Дионе слышалось имя.

— Антоний? — осторожно спросила она.

— Может быть. Ты помнишь его?

— Он никогда не был и не станет Цезарем.

— Да, второго Цезаря земля не родит. И меньше всего шансов у этих щенков, укравших его имя. — Клеопатра старалась держать себя в руках, и это давалось ей нелегко. — Помню я их, прекрасно помню. Антоний — самовлюбленный хвастун; ни на что не годен, разве что гоняться за женскими юбками. Но он хоть ведет себя как мужчина. Октавий же — бесконечно фыркающая чопорная девица.

— По-моему, ты его недооцениваешь.

— О нет, это как раз очень точная оценка. По уму он, пожалуй, не уступит дядюшке, но от его сообразительности ему не досталось ни капли.

— Ну а у Антония нет ни ума Цезаря, ни особой сообразительности.

— Зато он может командовать войском. И к тому же… нравится женщинам.

Диона засмотрелась на профиль царицы, четко обрисовывающийся в проеме окна. Ни одной мягкой линии не было в лице женщины, бывшей иной раз капризнее ребенка. Походя она уничтожила двух своих братьев и двух сестер — они стояли у нее на пути; еще одну сестру изгнала из Египта соблазнила коварнейшего из римлян. Быть может, она и не подчинила Цезаря своей воле полностью, но влияние на него имела огромное. По силе характера она превосходила многих. Красота блекнет с годами, характер выдерживает испытание временем. К тому же Клеопатра могла — научить любую куртизанку тонкостям древнего ремесла.

Ее нельзя еще назвать женщиной в возрасте: двадцать восемь лет — это, по мнению мужчин, для женщины почти старость, но совсем не много для мужчины — или царицы. Она только поднималась на вершину власти. Как воспримет ее Антоний — ему, должно быть, под сорок, если он хотя бы на один день…

— Антоний женат, — осторожно начала Диона.

— Да, знаю.

— Я слышала, что у его жены воли и ума хватит для их обоих, а амбиций — вообще на десятерых. Говорят, она стремится сделать из него Цезаря, да еще и править его землями — жены Цезаря этого не умели.

— Я была женой Цезаря.

— Но не в Риме.

— Он правил в моей земле. А жители Рима, — добавила царица, — приходили молить о снисхождении, просить о заступничестве перед Цезарем ко мне, склонялись к моим ногам, к ногам своей царицы и богини.

— Что ж, можно лишь пожалеть Антония — он не будет тебе достойным противником.

— Ты думаешь? Ну, там увидим. — Похоже, мысли Клеопатры приняли какое-то определенное направление; вдруг она резко тряхнула головой, как бы желая избавиться от оцепенения и вернуться на мгновение назад.

— Я поеду. Узнаю, чего же все-таки он хочет от меня, — и буду действовать. А вот… — Она улыбнулась.

— Антоний думает, что может поманить меня, как кошку. Но кошки не бывают совсем ручными. А этого он еще не знает. Что ж, будь моим господином, Марк Антоний!

4

— Порядочная мать не оставляет своих детей одних. Порядочная мать не убегает к морю в компании повес и распутников. Она остается дома, в скромном уединении, и выполняет свои обязанности, возложенные на нее богами, уделяя особенное внимание… Да ты не слушаешь меня?

Диона вздохнула. Аполлоний упрям как осел, но, увы, не так глуп. — Я тебя слушаю, — возразила она устало. — Каждый раз, когда я нужна царице или богине, ты твердишь одно и то же.

Ее бывший муж, ныне преданный супруг красивой, богатой и плодовитой Лаодис, почесал в затылке, слегка растрепав свои тщательно завитые локоны.

— Диона… — Он явно пытался восстановить мирное течение беседы. — Спору нет, царица правит всем, и богиня есть богиня, но хотя бы одна из них должна понимать: тебя призывают и обязанности перед детьми.

— Не беспокойся, они обе знают об этом. Они согласны, чтобы Тимолеон меня сопровождал. Я не хочу оставлять его в окружении рабов и прислуги.

— Можно подумать, у него нет отца?

— Отец у него есть, — холодно ответила Диона. — Когда царица и богиня перед смертью Цезаря позвали меня в Рим, он предложил мне выбор: либо я еду — и тогда больше не жена ему, либо остаюсь дома как порядочная скромная мать. Это и переполнило чашу моего терпения.

Аполлоний открыл было рот, но Диона не расположена была его слушать.

— Я уехала, ибо моя богиня позвала меня. Я оставила тебе старшего сына, который, ты считал, достоин тебя, и забрала с собой второго. Ты невзлюбил его, потому что понял: Тимолеона не изменить даже розгами. Я вернулась и больше твоей женой не была. И сейчас я тебе не жена. Я позволила тебе войти в мой дом, бить моих рабов, оскорблять меня, но теперь ты не имеешь никакого права подчинять меня своей воле.

— Ты не желала подчиняться и когда я имел такое право. — Аполлоний неожиданно вздохнул так же устало, как она.

— Я принадлежу богине.

— Ты принадлежишь только самой себе. — Аполлоний поднялся с кресла, в которое уселся без приглашения полчаса назад — в ее собственное кресло, вынудив Диону сесть в кресло для гостей.

Сейчас она смутно представляла, почему вышла за него замуж. Его семье было далеко до того положения в обществе, которое занимала ее семья; но он был таким представительным, и условия, предложенные его отцом, очень выгодными. Ее попечители из монастыря не возражали, если не сказать — полностью поддерживали ее брак. Пожалуй, они были лишь несколько разочарованы тем, что она предпочла жизни в храме свой собственный дом. Замужество — часть ее выбора, замужество и рождение детей; она хотела иметь наследника.

Нельзя сказать, что она сожалела об этом выборе, хотя уже через месяц после свадьбы стало ясно: Аполлоний не одобряет, когда для женщины желания царицы и богини выше желаний мужа. Некоторое время супруги жили мирно. Он был очень умен, пожалуй, даже остроумен; относился к ней с нежностью, почти ни в чем ей не отказывал, даже терпел ее

отсутствие, когда она находилась во дворце или в храме.

Ожесточения между ними никогда не возникало. А когда появились дети, он был безумно счастлив: гордился старшим сыном, терпел проделки младшего. Но когда царица получила приглашение в Рим, Тимолеон был еще грудным ребенком, однако, второго приглашения могло и не последовать. Диона была нужна ей.

А Аполлонию нужна жена, и не обязательно Диона. И она сделала свой выбор — уехала; оставив старшего сына с отцом, а младшего забрала с собой; кроме того, она получила в собственность этот дом, и теперь была абсолютно свободна в своих поступках.

Да, у него есть основания полагать, что она принадлежит только самой себе. Аполлоний никогда не понимал ту часть ее сущности, которая не была обыкновенной женщиной из Александрии. Муж считал, что она холодна и безжалостна и выдает свои прихоти за божественную волю. В магию он не верил, в великих богов… нет, тоже не верил.

И вот теперь Аполлоний снова стоит перед ней.

— Так ты оставишь Тимолеона с нами? Его образование… занятия…

— Он будет заниматься с наставником царевича, — ответила Диона, и это был достаточно весомый аргумент. — Мы уезжаем, Аполлоний, тебе не удастся нам помешать. Оставь меня, сделай милость. Мне пора готовиться к отъезду.

Возможно, она оскорбила его достоинство, однако ее это мало беспокоило. Он поворчал немного, но в конце концов ушел.

Оставшись в одиночестве, она опустила голову на руки — разболелась все-таки. Зато теперь она свободна и может ехать куда пожелает, куда прикажет царица или богиня. И сына возьмет с собой.

Тимолеон был единственным человеком в доме, кто не боялся получить от нее взбучку.

— Мы поедем на корабле? С моряками? Как ты думаешь, сумею я поднять паруса? А весло мне подержать дадут?

— Надеюсь, что нет.

Тимолеон не слышал; он уже вприпрыжку бежал похвастаться всем своим друзьям, что он — да-да, он — будет моряком!

Диона вздохнула и улыбнулась. Вещи собраны, последние распоряжения слугам отданы: всем кроме Гебы, та везде следовала за своей госпожой. Солнце еще не встало, за окнами было темно. Утром царица отплывает в Тарс.

Когда взошло солнце, корабль уже бороздил морские воды. Египетские суда неслись со скоростью ветра; пурпурные и золотые паруса раздувались на мачтах. Гребцы молили облегчить их тяжкий труд. Огромный царский корабль плыл в окружении судов поменьше. Блеск роскоши на них здесь, далеко от земли, на расстояний месяца пути от Александрии, несколько потускнел: скамьи покрыты циновками из тростника с берегов Нила, на матросах простые юбки, а на иных и совсем ничего. Пассажиры бездельничали в своих комнатах, иногда выходили на палубу и, перегнувшись через борт корабля, наблюдали, как пенятся рассекаемые веслами волны, или отдавали дань морским богам.

Диона никогда не страдала морской болезнью и искренне жалела молоденького, изысканно одетого придворного — бедняга уже не первый час стоял перегнувшись через борт. Последние несколько дней он практически ничего не ел, но лучше ему не становилось. По-видимому, что-то в нем не понравилось морским богам.

— Знаешь, — сказал его друг с бессердечностью здорового человека, — тебе так плохо, потому что ты вышел на берег на Кипре. Только оставаясь в море, можно избавиться от морской болезни. Не выходи на берег пару месяцев, и тебе снова захочется жить.

Несчастный, похоже, готов был убить советчика, но у него не хватало сил. Его мучитель со смехом удалился. Диона подошла и обхватила голову мальчика руками — милость, которую он не оценил. Она не стала сообщать, что пытается помочь посредством магии. Конечно, этого недостаточно, чтобы смягчить гнев к нему морских богов, однако кое-что ей удалось: он оторвался от борта и добрел до своей каюты, где жил вместе с другими евнухами, и почти сразу заснул. Когда он проснется, судно уже будет стоять на якоре в Тарсе, если боги явят свою милость.

— Утром мы достигнем устья Сиднея! — провозгласил неизвестно откуда возникший Тимолеон: коричневый от загара, совершенно голый и чистый лишь потому, что только что нырял с верхней мачты в море. Руки его покрылись мозолями, ноги — волдырями, однако он был совершенно счастлив. — Потом наше судно поднимется вверх по Сиднею и встанет на якорь в Тарсе. Уж там мы покажем этим кровавым римлянинам, как надо относиться к Египту.

— Ну, ты-то не сможешь показать им свою загорелую попку, — пошутила Диона. — Мы будем достаточно далеко от них. И не забывай: ты уже взрослый, благородный господин, а не сопливый щенок.

Сын явно смахивал на заговорщика. — Диона слышала, как один из моряков рассказывал ему что-то о мятежах. Она никогда не думала, что царский матрос может обладать таким красноречием.

— Да, мама, — сдержанно произнес Тимолеон.

Такая покладистость была, судя по всему, следствием его общения с моряками. Они благоговели перед Дионой: поскольку, в отличие от Аполлония, почитали богиню и всем сердцем верили в магию.

Диона только радовалась, что хоть кто-то нашел способ урезонить озорника. Неплохо бы при случае оставить его на время с моряками. Однако, что бы ни думал его отец, она имела некоторое представление об ответственности перед положением в обществе. Может быть, став взрослым, ее сын и откроет в себе призвание капитана, но простым матросом не станет никогда.

— А Клеопатра страдает морской болезнью? — поинтересовался вдруг мальчик.

— У царицы не бывает морской болезни. Она в своей каюте вместе с Цезарионом.

— Вот уж кому плохо, так это Цезариону, — рассуждал Тимолеон. — Ведь он римлянин, хотя и на половину. Римляне хотят править миром, а с морем не уживаются. Гиджес сказал: это проклятие. — Гиджес был одним из его новых друзей, огромный нубиец с медным кольцом в ухе. Диона была в ужасе, увидев такое же кольцо в ухе Тимолеона. — Гиджес говорит, что римляне ненавидят море, а море ненавидит их. Вот почему они хотят заполучить наши корабли: мы-то не прокляты морем.

— А откуда ты знаешь, что им нужны именно наши корабли?

— Это всем известно.

— Что ж, возможно. Правители еще и сами не представляют, что намерены совершить, а их замыслы уже перестают быть тайной. Магия магией, но люди, все вместе, составляют гораздо более реальную силу, чем целый храм жрецов и предсказателей.

Она глубоко вдохнула воздух, пропитанный солью, солнцем и морем, коснулась руками

теплого борта корабля. Позолота защищала нижний слой обшивки, сплетенный из тростника, одновременно и колючего и гладкого на ощупь. Стебли тростника еще помнят Нил, величественную медленную реку, источник жизненной силы и магии для Египта. Сейчас в море, на борту корабля, Диона была далеко от Египта, но по-прежнему оставалась его частью. А в Риме, в этой холодной чужой стране, где с ней были и царица, и богиня, сила покидала ее. Здесь же была ее родина, и, ощущая, как солнце греет кожу, а ветер треплет волосы, она, могущественная Диона, черпала магическую силу из досок под ногами — кедровых досок из Ливана, соединенных тростником, наполненным духом Египта, — и волшебный поток энергии устремлялся молитвой к небу, к солнцу.

Когда Диона вновь вернулась на землю, первое, что она увидела, были круглые от удивления и восхищения глаза Тимолеона.

— Я никогда не видел раньше, как ты это делаешь. Сделай еще раз, а?

— Нет. — Диона поймала его прежде, чем он успел улизнуть, и отвела в каюту. — Ну, а теперь, сопливый ты щенок или благородный господин, время заниматься греческим — и никаких возражений!

Спорить было бесполезно, и потом, ему нравился Родон, наставник Цезариона: он, конечно, евнух, но по словам матросов, служил оруженосцем во время войн Цезаря. Этого было достаточно, чтобы Тимолеон вел себя прилично — правда, сам Родон и не отрицал, и не подтверждал того, что о нем говорили. На самом деле это было правдой, но Родон из скромности помалкивал, кроме того, он был прекрасным учителем.

Итак, Тимолеон отправился на занятия, а Диона оставалась на палубе до самого захода солнца и, когда великое светило скрылось за горизонтом, неохотно отправилась к царице.

Клеопатру она нашла не в лучшем расположении духа. Сейчас царица была просто матерью и очень беспокоилась за сына, хотя и знала, что болезнь не опасна. Царица металась по комнате и беспрестанно ворчала, что, разумеется, лишь ухудшало состояние мальчика. Но только Диона могла осмелиться сказать ей об этом.

Жрица была не из тех, кого можно заставить замолчать взглядом или словом. Она отвела царицу в ее каюту и передала на попечение служанок. Охваченная страхом за сына, Клеопатра вовсе не выглядела великой владычицей.

— Все наше богатство, знания, могущество бессильны перед страданиями больного ребенка, — вымолвила она в отчаянии.

— Боги желают видеть нас покорными. — Диона мягко провела рукой по ее голове, расплетая косы, пальцами расчесала волосы. Она гладила ее как кошку. Царица и зашипела — точь-в-точь как кошка, но Диона не обратила на это внимание.

— Завтра ты встретишься с Антонием, — вымолвила она.

— Если ветер и боги позволят.

— Непременно позволят. Они плывут вместе с нами. Неужели ты не чувствуешь их присутствие?

— Я ничего не чувствую, кроме того, что сын мой — наполовину римлянин, и море не может ему этого простить.

И все же она успокаивалась, постепенно понимая то, что Диона знала с момента отъезда из Александрии: все во власти богов. Воздух был напоен божественной силой. Светильники качались, отбрасывая тени принимавшие облик диковинных зверей и птиц — крылатых, покрытых шерстью с длинными когтями; одна из теней человека с головой шакала, обнажившего в улыбке ряд белых зубов. Диона с почтением склонила голову перед

этим самым старым хранителем ее дома, покровителем всех вступивших на путь магии и смерти. Когда он был рядом, она ничего не боялась, а она постоянно чувствовала его присутствие с тех пор как ступила на борт корабля.

Дыхание царицы, затаившейся во тьме, походило на шипение змеи.

— Смотри, Анубис[9]… Ты была права, как, впрочем, и всегда.

Диона не опровергла ее слов. Клеопатра склонилась перед ним в глубоком поклоне — ниже, чем жрица.

— Господин…

Быть может, он слегка кивнул в ответ, быть может, его зеленовато-желтые глаза взглянули на нее из другого измерения — и снисходительно, и с почтением. Да, она смертна, как и все люди, но она — Исида. И тот, кто был светом и тенью, знал об этом.

5

Марк Антоний, триумвир, властитель восточного мира, совершал обход своих подвалов.

— Божественно! — Он проходил между рядами кувшинов с вином. — Критское… кипрское… А это… — повторял он с глубоким удовлетворением человека, наконец-то вернувшегося домой.

Стройные ряды кувшинов уходили в глубину погреба. Он пробовал все вина на своем пути и, дойдя до цекубского, почувствовал, что больше пробовать не стоит. Пьян он не был — о его необыкновенной способности поглощать немыслимые количества божественного напитка слагали легенды, — просто пребывал в бесподобном «цекубском состоянии»: становился неумеренно дружелюбным и заставлял всех, кто оказывался рядом, наполнить кубки вином и разделить его восторг. Погреб на вилле в Тарсе был расположен как нельзя более удобно: из его дверей попадаешь прямо в обеденный зал, либо в сад на берегу реки.

Все проводили время в поисках хоть какого-нибудь занятия. Луций Севилий, гаруспик[10], любивший побаловаться иногда добрым цекубским, добрел до лестницы, ведущей на стену, и поднялся по ступеням вверх. Кто-то из прежних хозяев установил здесь мраморную скамью — можно было с комфортом наблюдать за проплывающими мимо и заходящими в порт кораблями.

— Ее еще нет?

Луций взглянул вниз: у подножия лестницы стоял Антоний с полным кубком вина, своим неотъемлемым атрибутом. Неподалеку валялся кувшин, вокруг разлиты остатки вина. Антоний задал этот вопрос не потому, что не знал ответа. Луций был уверен у этом. Тем не менее, кинув на всякий случай взгляд в сторону реки, он откликнулся:

— Нет. Нет еще. До завтра, скорее всего, не появятся.

— Мне считать это предсказанием?

Луций не хотел портить себе настроение, тем более что Антоний, в отличие от многих других, не слишком часто досаждал ему вопросами.

— Нет, всего лишь предположение. Слухами земля полнится. Местные жители дадут нам знать, когда египетский флот будет подходить к порту.

— Да-да, конечно. — Антоний взобрался на самый верх с неожиданной для его комплекции легкостью — очень крупный, он еще не растолстел и не слишком обрюзг, хотя и вливал в себя столько вина. Облокотившись на окаймлявшие стену перила, он не сводил взгляда с порта.

— Она тратит свое царское время… — произнес он то ли с удивлением, то ли с недовольством. — Луций не понял.

— Да, царице Египта нелегко выкроить время, — заметил он.

— Ты ведь не помнишь ее? Когда она жила в Риме, ты разъезжал по свету.

— Да… — кивнул Луций. — Я был в Галлии, затем в Испании, по приказу Цезаря. А когда я вернулся, она уже уехала из Рима.

— Жаль, что ему не удалось увидеть «покорение Рима Египтом» — так римляне называли явление царственной египтянки. — Говорят, она очень необычна.

Антоний расхохотался во все горло.

— Необычна? Ну, это слабо сказано. Да она страшна как черт! Нос крючком, подбородок загнут вверх и почти касается носа. Но представь: она начинает двигаться,

говорить или устремляет на тебя свои огромные карие глазищи — и становится необыкновенно привлекательной. Какой там нос и прочее — уже не замечаешь… Эта женщина больше, чем просто красива. Она обворожительна.

Из уст такого ценителя женской красоты, как Антоний, это была наивысшая похвала. Луций поднял брови.

— Стало быть, интересная тебя ожидает встреча.

— Надеюсь. — Антоний скосил глаза на кубок, убедился, что вино еще осталось, залпом выпил его и осторожно поставил кубок на выступ стены. К большому удивлению Луция, он не отправился снова наполнять его, хотя и оглянулся на погреб.

— А вообще-то, я предпочел бы, чтобы она совсем сюда не приезжала.

— Ее корабли уже в море. И я уверен, она не стала бы проделывать такой путь понапрасну.

— Ну почему же. Могла. Чтобы поставить меня на место.

— Рим — твое место.

— Вот именно!

Луций не нашел, что ответить на это короткое замечание, а Антоний ничего к нему не добавил.

Они примолкли, правда, это вряд ли можно было назвать молчанием, поскольку триумвир, перебрав цекубского, все время что-то говорил. Но вокруг царило безмятежное спокойствие: солнце светило им в лица, ветер трепал волосы… Антоний не был назойливым собеседником, к тому же он относился к людям, способным подолгу оставаться без движения. Луцию он напоминал льва, который спит целый день и просыпается лишь для того, чтобы отправиться за добычей.

Они не очень давно знали друг друга. Луций был пятью годами моложе Антония. Когда умер Цезарь, в Риме Луция не было, он возвратился позже ради своей семьи и вскоре похоронил отца и за ним мать. Минул срок траура, и выяснилось, что от былого величия и богатства его семьи остались одни воспоминания. Что ему было делать? Лучше уж снова уехать — поместья он теперь не мог содержать, сестрам не в состоянии обеспечить приданое, чтобы они смогли удачно выйти замуж, да и рабов тоже нужно было кормить и присматривать за ними.

Он оставил дом и присоединился к свите триумвира в качестве посла. Так случилось, что в долгих походах и во время еще более долгих остановок в Греции и Азии, он стал любимым собеседником своего командующего. Луций не искал его милости — он вообще никогда и ни перед кем не заискивал, неизменно оставаясь самим собой. Просто Антоний оказался таким человеком, с которым даже гаруспику Луцию Севилию было о чем поговорить.

Антоний через некоторое время удалился — предстояли государственные дела, да и к приезду царицы следовало подготовиться. Луций остался сидеть на скамье. Вскоре триумвир вернулся и снова стал вглядываться вдаль, но на этот раз с заметно возросшим нетерпением.

— Смотри! — внезапно воскликнул он. — Вон там!

Луций не сразу понял — что же увидел Антоний? По реке всегда шли суда — поднимались вверх по течению с моря или спускались вниз, из гавани Тарса. Там, куда указывал Антоний, в строгом порядке плыли корабли. Лучи падали на них под таким углом, что казалось, они выплывают из середины огромного, сверкающего шара.

Луций подумал, что это всего лишь солнце, но, всмотревшись пристальнее, разглядел палубу, борта, нос корабля, все — золотое. Паруса, показавшиеся сначала черными их ослепленным глазам, отливали чистейшим пурпуром. Огромный корабль шел впереди всех остальных: мощные серебряные весла ритмично врезались в воду, следуя ударам барабана. Удары эти как бы отдавались в мозгу, Луций не слышал ни звука.

Подул ветер с реки и донес звуки музыки: плач флейт и рев труб на фоне гулких барабанных ударов.

Смеющийся голос Антония прозвучал необычно низко, в нем слышалось неподдельное восхищение.

— Такого я и представить себе не мог! Никогда в жизни! Ай да Клеопатра!

По берегу бежали люди, привлеченные сверканием золота, звуками музыки, тонким и сильным ароматом, принесенным ветром: духом самого Египта. Шум толпы напоминал клекот птиц, но не мог заглушить музыки, доносившейся с корабля. Некоторые бросались в воду и плыли за судами, не опасаясь ударов тяжелых весел. Вода бурлила вокруг пловцов, покрывая их головы шапками белой пены. Луцию чудились голубые волосы и зеленые глаза нимф, сопровождающих флотилию.

— Вот, — тихо произнес Антоний. — Вот она.

Луций, готовый увидеть нечто необыкновенное, решился наконец взглянуть на верхнюю палубу корабля, искрящуюся на солнце. Сквозь блеск золота он разглядел ложе, а на нем — женщину. На таком расстоянии не видно было лица, но в том, что это именно женщина, сомневаться не приходилось: на ней было просторное, струящееся одеяние, голова увенчана двумя коронами. Ее окружали красивые обнаженные мальчики с золотыми опахалами. Позади них стояли женщины и девушки в светло-зеленых и белых одеждах, олицетворяющих духов воды и воздуха.

— Венера появляется из пены морской, — провозгласил Антоний, — с целой свитой амуров и граций, охраняемая морскими нимфами. Совершенно в ее духе! И совершенно… неотразимо.

— Она вскружила тебе голову, — неожиданно перебил его Луций и спохватился: никогда он не позволял себе подобной резкости, даже бестактности. Но все происходящее сейчас на реке не имело ни малейшего отношения к магии и было лишь хорошо разыгранным спектаклем, рассчитанным на легковерных, которым солнце ослепило глаза, а вино замутило разум. И все же подействовала эта бутафория, да еще как — он забыл о правилах приличия.

Антоний добродушно ухмыльнулся.

— Почему только мне? А тебе? Не правда ли, она великолепна?

— Она… — начал было Луций и вдруг запнулся. — Похоже, все эти слухи — чистая правда. Она и впрямь владеет магией и может направить ее против нас.

— Конечно. — Антоний ничуть не разделял его тревоги. — Клеопатра — царица Египта, воплощение Исиды на земле. Она дышит.

— Я не хочу, чтобы меня коснулось ее дыхание, — прошептал Луций. — Не хочу!

— Ты что, боишься ее?

Серьезный вопрос, на него трудно ответить. Но Антоний и не ждал ответа — он уже спускался по лестнице, созывая свою свиту, но Луций не мог сдвинуться с места.

«Магия, — твердил он про себя. — Дышит магией».

Конечно, он знал, что это искусство родилось в Египте. Луций изучал его и почитал, но

никогда не боялся. Однако то, что он только что видел и чувствовал, было большим, чем монотонные сухие заклинания и яды старых магов. Это была сила, направленная острием кинжала в самое сердце Рима.

А Рим — это Антоний. Антоний — поклонник Бахуса и женщин, Антоний, совершенно одурманенный ею еще до того как она со своими ароматами, музыкой, блеском, со всем своим обаянием, ступила на эту землю.

— О, всемогущий Юпитер, — взмолился Луций Севилий, гаруспик. — Великие боги земли, неба и подземного мира, заклинаю вас, защитите его. Проясните его разум. Не дайте ему забыть: пусть она царица Египта, но он… он правитель Рима, он — это сам Рим!

6

Клеопатре нравилось обманывать простодушных. Но больше всего на свете она любила — и это было главным ее изъяном — демонстрировать самой себе свое величие, величие богини на земле. Золото, ароматы, мальчики-купидоны тешили ее честолюбие. Здесь не было никакой магии. Царица не прибегала к колдовству, если можно было обойтись искусной имитацией.

Диона, вся в белом, согласно роли одной из граций, стояла за троном и не спускала глаз с Тимолеона. Ее непутевый сын рвался в ряды купидонов, но она запретила ему стоять голышом на виду у всех. От обиды он буквально взвыл, но быстро утешился, получив позволение присоединиться к матросам. Странно, что туника еще была на нем — уцепившись за рангоут высоко над палубой, мальчик вертелся во все стороны.

Весла поднимались и опускались, как крылья. Ветер надул паруса — и корабль понесся вперед так стремительно и ровно, что казалось, будто он стоит на месте, а земля, как это судно, груженое кричащими и поющими людьми, летит ему навстречу.

В толпе были и римляне. Алые плащи легионеров каплями крови выделялись даже в пестроте ярких красок восточного города. Легионеры строились вдоль набережной; хриплые крики командующих врывались в изысканную музыку, льющуюся с корабля Клеопатры. Устоит ли Египет перед грубой силой Рима?

Царице предстоит испытать свое могущество. Прикрыв глаза, Диона на несколько мгновений переместилась в многоцветный, удивительный, ослепляющий роскошью мир Египта, но тут же вернулась в порт Тарса.

* * *

Суда повернули к берегу, подгоняемые ветром. Музыка звучала не умолкая, но уже слышались команды капитанов и стук пяток бегущих матросов. Сверкающая разноцветная флотилия вошла в порт, будто сам Египет пожаловал сюда. На расстоянии яркость красок била в глаза и казалась безвкусной, но вблизи все выглядело вполне благопристойно.

Луций Севилий, гаруспик, стоял на краю портика, повыше уровня улицы, и наблюдал за происходящим через головы заполнивших порт людей. Краем глаза он видел Антония: тот расположился на рыночной площади на возвышении — здесь он обычно слушал сообщения по разным делам, вершил правосудие и теперь намеревался встретить царицу Египта. Правитель, в боевых доспехах, как и вся его свита, сидел в кресле, служившем ему троном. Он будто позировал невидимому скульптору, и тяжесть оружия, казалось, нисколько не обременяла его. Поразмыслив, Луций решил, что удобнее остаться в военном обмундировании, чем надевать тогу. Солнце палило нещадно, а тога шерстяная. Решивший пройтись с достоинством в полном одеянии рисковал получить солнечный удар или, что еще хуже, упасть на глазах у всех, запутавшись в длинных полах. Солдаты — те приучены маршировать даже в парадной амуниции. Но одетым в тоги аристократам приходилось идти медленным и размеренным шагом.

Несмотря на жаркий день вся знать собралась на набережной. Каждый хотел видеть происходящее, поэтому за удобные места велась настоящая борьба. Все взгляды были

устремлены на вошедший в порт корабль.

Судно размеренно покачивалось на волнах. Музыка не умолкала. Люди на палубе стояли совершенно неподвижно, как статуи в храме, не знавшие усталости. Лодки не спустили, царица не двинулась с места, чтобы поприветствовать триумвира.

Время шло, солнце покидало небосвод, а Антоний все не двигался и не произносил ни звука. Он не тронулся с места, даже когда толпа, окружавшая его, постепенно передвинулась ближе к реке, к египетским судам, а его собственная свита постепенно слилась с массой людей, собравшихся в гавани. Наконец он остался один.

Женщина на корабле казалась одинокой, как и он, хотя была окружена приближенными, все взгляды были устремлены только на нее. Она сидела недвижно, огромные глаза отрешенно смотрели поверх толпы на берегу.

На мгновение Луцию почудилось, что это не живая женщина, но лишь видение, а корабль полон призраков и бесплотных духов.

Вдруг он заметил какое-то движение — молоденький матросик, ловкий, как обезьяна, уверенно, как на каменном полу, стоял на узком канатном мостике. Одна из граций краем глаза неотрывно следила за ним. У него и у нее был один и тот же овал лица, темные оленьи глаза, иссиня-черные пышные вьющиеся волосы; позы обоих были одинаково непринужденными, движения легки и свободны. Брат и сестра? Или сын и мать?

Мальчик поймал ее взгляд. Женщина слегка нахмурилась. Он застыл на месте, всем своим видом выражая и недовольство и безусловное подчинение ее воле. Нет, не сестра, мать; только матери дана такая власть.

Луций нашел это забавным. Все неземные существа, так напугавшие его, оказались вдруг обычными людьми. В глазах ребенка не было страха, в поведении матери — ни намека на тиранию. На минуту он совершенно растерялся, почувствовав симпатию к царице, имевшей таких славных подданных.

Как бы то ни было, Клеопатра должна быть осторожной.

Корабль встал на якорь, но царица не спустилась — пусть триумвир, если ему будет угодно, сам придет к ней. Но он оставался неподвижен и, казалось, наслаждался музыкой, тонущей в тишине площади, и живой картиной, персонажами которой были царица и ее придворные. Спектакль окончен — публике положено аплодировать и отправляться по домам.

Луций взглянул на Антония: тот выглядел спокойным и непреклонным.

Наконец, когда стало казаться, что и в порту Тарса египетская царица недоступна и недосягаема, с судна спустили лодку — небольшую позолоченную ладью с гребцами в белых, светящихся на солнце юбках. Среди них находился тот, кого все ожидали. Он был в обычной египетской одежде, точнее, в платье жреца из белого льна, очень тонком, казавшемся почти прозрачным; на груди красовалось массивное золотое украшение; волосы — нет, парик — были уложены в искусно заплетенные косы. Глаза на смуглом морщинистом лице были разрисованы так, Как сумеет не каждый египтянин.

Луций Севилий подумал, что Клеопатра — эллинка и не более египтянка, чем Антоний, где бы она ни родилась. Говорили, что она владеет всеми языками и наречиями своего царства; если так, это делает ей честь. Все остальные говорят лишь на греческом или даже на македонском — наречии своего предка, гордившегося тем, что великий Александр — его сводный брат. Действительно ли старый Птолемей его брат? По мнению Луция, это был просто предлог, чтобы захватить власть в землях, самим Александром не завоеванных, но

согласных подчиниться ему, дабы спастись от ярма Персии.

Простодушные египтяне поверили мифу и назвали Птолемея своим фараоном и освободителем. Его потомок, похоже, решил напомнить Риму, что Египет все еще считает себя свободным государством.

Посланец сошел на берег с не меньшим достоинством, чем римлянин, облаченный в тогу, и, опираясь на позолоченный жезл, повернулся к свите Антония. Из-за шума толпы Луций не расслышал, что он сказал им и что они ответили ему. Беседа продолжалась довольно долго. Затем египтянин отвернулся от своих собеседников и направился к рыночной площади. Легионеры, вооруженные копьями, прокладывали ему путь. Медленным, но достаточно твердым шагом он шел сквозь толпу к пустой площади. Антоний ждал, безмолвный, одинокий в своем величии.

Постепенно наступила полная тишина. Луций слышал только равномерные удары жезла посланника о камни площади. Жезл венчала голова змеи, священной кобры Египта: ее сверкающие глаза — два маленьких, кроваво-красных рубина — казались живыми.

Что ж, если мифы не лгут, возможно, так оно и есть. Но, вообще-то, жезл со змеиной головкой — старый трюк египетских жрецов. Что же он сделает? Бросит его к ногам Антония и прикажет ожившей змее вонзить ядовитые зубы в тело римлянина? Да нет как будто… Жезл как жезл, просто позолоченное дерево. Жрец приблизился к триумвиру и за несколько шагов до возвышения остановился. Он не поклонился, лишь склонил голову в знак почтения и заговорил на классическом греческом чистым, красивым голосом.

Фразы были не цветисты, тон — спокоен. Царица Египта приглашает правителя Рима отужинать с ней на корабле после захода солнца.

Правитель наконец проявил хоть какие-то эмоции — он нахмурился.

— Мы желаем, чтобы царица отужинала с нами до захода солнца.

Посланник бесстрастно ответил, что царица Египта сожалеет, но не может принять приглашение. Госпожа предпочитает принять правителя Рима на своей территории.

Луций подумал, что если царица хотела задеть Антония, то она, несомненно, достигла своей цели: триумвир в гневе, а ответ предельно краток.

— Пусть сегодня будет так, как желает царица.

— Вояка ринулся в бой, — сказал Антоний Луцию. Солнце уже почти село, и он снова облачался в доспехи, которые снимал днем, чтобы отдохнуть и завершить неотложные дела. — Будь я проходимцем сенатором — не в обиду тебе сказано, ты ведь скоро вступишь в сенат, — споры я вел бы в открытую, но все равно проиграл бы Клеопатре. Она мастер в таких делах.

Луций не обиделся — он и сам не очень жаловал сенаторов. Но все же заметил:

— Ты не должен так быстро сдаваться. Она сочтет, что может обвести тебя вокруг пальца.

— Это ее дело, — вымолвил Антоний с какой-то обреченностью в голосе. — Я ей не соперник, точно тебе говорю, но на своей земле я хозяин.

— Однако сегодня ты идешь к ней, — напомнил Луций.

— Но как солдат, как полководец. — Антоний улыбнулся, блеснув зубами, и приподнял оружие, чтобы слуга смог закрепить золотую кирасу. Это были его лучшие парадные доспехи с изображением празднества в честь Диониса: длинной вереницы сатиров и танцующих менад с виноградными гроздьями в руках. Странный выбор мотива для украшения доспехов

воина — правда, лик бога, если присмотреться поближе, был ужасен: стальная красивая холодная маска с совершенно пустыми безумными глазами.

Луций немало побыл на войне и не раз видел подлинное ее лицо. Посмотрев в лицо богу, он ощутил холодную дрожь.

— Пойдем, — молвил Антоний. — Нас ждет сражение.

— Он все воспринимает как воин, — говорила Клеопатра, пока служанки готовили ее к предстоящему ужину. — Для него наша встреча — это сражение, а я — враг.

Диона уже давно была готова: парик уложили в косы, а лицо окаменело под слоем краски. Платье в старинном стиле Двух Земель, такое прозрачное, что не скрывало ничего, не смущало ее: она уже давно научилась не краснеть. Его основное достоинство заключалось в том, что в нем всегда прохладно, несмотря на тяжесть украшений, превращавших его простоту в подлинное великолепие.

Клеопатра нервничала, как молодая жена перед первой брачной ночью. Лицо ее совершенно застыло, пока служанка накладывала краску, и вообще она двигалась только по просьбе девушки, одевавшей и причесывавшей ее; правда, украшения выбирала сама, хотя к советам прислушивалась. При этом говорила царица без умолку.

— Антоний не политик, — сказала она. — Он все делает открыто и хитрить не умеет. И все же такая простота может быть опасной. Мне не следует его недооценивать. Не позволяй мне ошибаться, Диона.

— Значит, я могу остановить тебя, если ты начнешь делать глупости?

Царица резко повернулась, испугав служанок. Диона подарила ей самую очаровательную улыбку.

— Ты, дерзкая.

— Без сомнения, — подтвердила Диона.

Гнев Клеопатры мгновенно растаял.

— Ах ты… Вот теперь я понимаю, почему терплю тебя, — начала она и сказала бы больше, но паж, проскользнувший в комнату, склонил голову в знак почтения и провозгласил: — Госпожа, они пришли!

Послышался звон оружия, глухой стук шагов, раскатистый римский говор. Клеопатра выпрямилась. Диона видела, как напряжены были все ее мышцы, когда она поворачивалась к прислужницам, продолжавшим хлопотать вокруг нее. Все они умели понять любое выражение ее лица и не спеша продолжали с торжественной важностью исполнять свое дело. Только одна, совсем маленькая девочка, отвечавшая за сандалии царицы, засуетилась. Диона тихонько дотронулась до ее плеча:

— Не торопись, царица никогда не спешит. Чужеземные воины подождут.

Воины и ждали. Царица, уже в полном облачении, села на кушетку у стены и велела принести книгу.

— Читай, — приказала она Дионе.

Жрица считала Гесиода невероятно скучным, но все же начала читать, а в пиршественном зале римляне между тем учились терпению.

«Да, это Египет», — думал гаруспик Луций Севилий. Незнакомые ароматы одурманивали его, краски слепили. Все, что не расписано, было позолочено или выложено самоцветами. Сидя в этом зале, на мягком ложе, он с трудом представлял себе, что находится в порту Тарса.

Зал и вправду был диковинкой для римлян: стены не из мрамора или крашеного известняка, а из дерева, колонны тоже деревянные, а между ними — тонкие драпировки, колышущиеся от малейшего движения воздуха. Огромные круглые и квадратные светильники — и другие, самых немыслимых форм — свисали с потолка, стояли между колоннами, на столах, вокруг каждого ложа. В зале было светло как днем, но свет, льющийся со всех сторон, был немного мягче, чем солнечный.

Слуги в египетских юбках предлагали вино, которого гости соизволили отведать, и лакомства — разумеется, на золотых блюдах. Они уже не раз приносили им извинения за то, что царица запаздывает. Луций был несколько удивлен тому, что Антоний еще держится, не вышел из себя. Однако до этого, казалось, недалеко: он вел себя намного развязнее, чем обычно, и слишком много пил. Правитель Рима непринужденно развалился на ложе, которое считалось почетным местом — туда его усадили вежливые слуги. До Луция, устроившегося неподалеку, доносились лишь обрывки фраз из его бесед с другими гостями. С каждым часом юмор триумвира становился все грубее.

Не все приглашенные были римляне. Сюда прибыли и знатные жители Тарса, одетые в свои лучшие платья, толпились придворные в греческих и египетских одеждах. Говорили в основном по-гречески. Луций, удобно усевшись на ложе, радовался, что оказался в одиночестве, поскольку мог, не отвлекаясь на пустую болтовню, в полной мере оценить великолепие приема. Поглощенный созерцанием резного позолоченного изображения нимфы верхом на гусе, или, точнее, Леды в объятиях лебедя, он вдруг почувствовал, как на него упала чья-то тень: кто-то садился на свободное место рядом. Луций повернул голову.

— О, — выпалил он неожиданно для себя. — Да это же самая симпатичная из граций. Ты что, заперла своего сына в сундуке, чтобы он не бегал за вами?

Спутница царицы посмотрела на него с заметным интересом и без всякого осуждения.

— Ты почти угадал. Ты меня знаешь?

— Пожалуй, — он запнулся, — можно сказать и так. Я видел тебя на корабле. Ты была грацией. А матросик на канатном мостике — это твой сын, да? Я не ошибся? Наверное, он большой озорник.

Египетская госпожа от души рассмеялась.

— О да! А в тот момент он был готов пройтись на руках, потанцевать на мачте или выкинуть еще какой-нибудь номер. — Женщина приподняла брови, подкрашенные, как принято в Египте, но даже под слоем краски, он заметил, что они красивые, изогнутые. Огромные темные искрящиеся глаза светились любопытством.

— Ты жрец?

— Да как сказать… Я… — Он снова запнулся: проклятый язык, никогда не известно, что он начнет болтать в присутствии красивой женщины. — Да, да, я жрец! Но как ты…

— И я тоже. — Египтянка кивнула, будто он подтвердил то, что она давно знала. — Мое имя Диона, я из рода Лагидов. Хотя нет, — добавила она с блеском в глазах, — я царского рода. Я — жрица Исиды в Двух Землях.

— Луций, — представился он, — Севилий, гаруспик.

— А-а, — молвила она, — провидец. Что ты думаешь о тех жутких росписях — вон на той балке?

Он проследил за направлением ее взгляда и почему-то покраснел. По-моему, это ужасно, — услышал он свои собственные слова.

— Ты прав, это действительно ужасно, — подтвердила Диона. Римлянки, случалось,

обсуждали подобные вещи, но никогда не позволяли себе высказываться столь откровенно. — Я рада, что хоть у кого-то в Риме есть вкус. А царские строители уверены: чтобы произвести впечатление на римлянина, надо положить по пуду позолоты на каждую балку.

— Ну, в этом-то, я думаю, они не очень ошиблись. Признаюсь, меня это просто потрясло. Никогда не видел ничего… — И неожиданно умолк.

В полумраке ему показалось, что Диона сидит на ложе, как ребенок, готовый в любую секунду сорваться с места: руки скрещены на коленях… Это более чем откровенное египетское платье… оно не оставляло простора воображению. Щеки его запылали. Он опустил глаза, огорченно уставившись на каплю вина на своей тоге: откуда только взялась эта капля? Кубок уже давно стоит нетронутым на низком столике у ложа… Когда он решился снова поднять глаза, царица Египта сочла наконец возможным оказать гостям честь своим появлением.

7

Если госпожа не первой молодости и не блистает красотой, она всегда предпочитает романтическое сияние одинокой луны. Клеопатра же, судя по всему, любила яркий свет, и не имело значения, что было его источником: солнце или множество свечей. Царица и богиня, вся в сиянии золота, величественно шествовала по залу в окружении придворных дам. Многие из них были выше ее и намного красивее, но взгляды присутствующих были прикованы только к Клеопатре.

Луций Севилий с самого начала пообещал себе не поддаваться ее чарам. Однако сейчас, несмотря на все ее великолепие, она была вполне земной — по крайней мере, он не почувствовал никакого дыхания магии. Но в ней ощущалась непоколебимая уверенность в том, что все вокруг существуют лишь для того, чтобы Служить ей, царице великого народа, рожденной чтобы править миром. Именно это и было написано на ее лице.

Антоний поднялся со своего ложа с несвойственной ему учтивостью. Вслед за ним встали все гости с Востока и низко склонились перед царицей. Римляне вытянулись, как солдаты в строю. Она поприветствовала всех сразу, никак не выделив Антония, хотя он занимал почетное место.

На ложе, стоявшее рядом с ложем триумвира, царица опустилась легко и грациозно — тяжелые и неудобные одежды, казалось, не стесняли ее движений. Свита ее разошлась по залу, и пиршество наконец началось.

Двенадцать столов выстроились друг за другом, то ли в честь двенадцати римских скрижалей, то ли в насмешку над ними. Луцию, случалось, приходилось заниматься подготовкой государственных приемов, но этот привел его в восхищение. Трудно поверить, что такой великолепный ужин с неисчислимым множеством разнообразных блюд устроила женщина, утомленная многодневным морским путешествием и имеющая лишь несколько часов, чтобы пополнить свои запасы на рынке Тарса. На столах — поистине царская роскошь: рыба, жаркое из ягненка, гуси, утки; еще что-то очень аппетитное, сочное, под соусом — слуга назвал это газель; финики из Персии и Иерихона, сушеные с медом, гвоздикой, корицей; яблоки из Дамаска, запеченные в формочках; изюм из царских виноградников; гранатовый сок из садов Клеопатры в Александрии.

Изобилию не было конца. Царица рассыпалась в извинениях.

— У себя дома, — повторяла она красивым низким голосом, — я бы подготовила настоящий ужин. К сожалению, здесь…

— Ваш прием бесподобен, — возразил Антоний. — Вряд ли я смог бы устроить лучший даже в моем римском доме.

— Но говорят, жена ваша из тех женщин, что могут все, — произнесла царица то ли колкость, то ли комплимент. — Она, вероятно, следит, чтобы ваш дом соответствовал вашему положению, не правда ли? А в Риме это означает меру и воздержанность.

— Но сейчас мы на Востоке, моя египетская госпожа!

Клеопатра неожиданно улыбнулась.

Диона с удовольствием отметила, что царица оставила свою нервозность где-то между комнатами и залом. Эффект от ее появления оказался даже большим, чем она сама ожидала. Все римляне так были поражены, что разом умолкли, даже молодой гаруспик, которого, судя по его отсутствующему виду, мало занимало происходящее.

Она краем глаза наблюдала за ним. Вообще-то, лица римлян напоминают обломки скал, а линии носа — нос корабля; весь их облик исполнен сознанием собственного достоинства. В Луции Севилии достоинства было более чем достаточно, но лицо казалось более открытым, чем у остальных, а нос — не так сильно изогнутым. Несомненно, он симпатичный, его даже можно назвать красивым, если бы не плотно сжатые губы — как будто он никогда не улыбается. Черные вьющиеся волосы, смуглая кожа, нежная, как у девушки, огромные карие глаза — он похож на мальчика. Но морщинки в уголках глаз и взгляд умудренного жизнью человека свидетельствовали о том, что он гораздо старше, чем поначалу кажется.

Луций Севилий понравился ей. Хотя он был несколько шокирован ее платьем, но не осмелился ничего сказать о том, в каком виде следует благородной госпоже появляться в обществе — а большинство римлян не преминули бы прочесть наставление. Кроме того, судя по его одежде, для него имело значение не количество, а качество золотых украшений. У него, несомненно, был вкус, что для римлянина — большая редкость.

Он ел молча, скорее всего, просто от застенчивости. Конечно, Дионе ничего не стоило растормошить его, но сейчас ее больше интересовало совсем другое — она внимательно наблюдала за теми двоими, что были главными на этом пиршестве.

Доспехи Антония сверкали в свете ламп. Блеск одежд Клеопатры слепил глаза. Обменявшись приветствиями, они говорили очень мало и только на отвлеченные темы. И все же между ними возникло что-то неуловимое.

Возможно, эта незримая ниточка связала их раньше, еще в Риме, когда был жив Цезарь. Для него слова были и броней, и оружием; с ним Клеопатра в полной мере проявила свой темперамент, а ее шутки становились необыкновенно утонченными. Антоний же, в отличие от своего друга, никогда не блистал остроумием.

С той странной ночи, когда умер Цезарь и Клеопатра, не найдя другого выхода, уехала в Египет, он очень изменился. Тогда Антоний помог ей и внешне был очень спокоен, как и она, но под спокойствием этим у обоих скрывалась ярость. Сейчас гнев его ушел в прошлое, и он чувствовал себя необыкновенно одиноким, как каждый человек, на плечах которого лежит груз власти.

Однако Клеопатра ничего не забыла, гнев ее был по-прежнему жив и то и дело прорывался наружу в насмешках над римлянами; но она все же пыталась сдерживаться, возможно, из осторожности. Ужин продолжался, и Диона неожиданно ощутила, что ярость Клеопатры перерастает в какое-то новое чувство — не умиротворение, нет, оно было чуждо царице. Но сейчас, здесь, владычица Египта обрела спокойствие.

Похоже, и Антоний понял это. Кубки наполнялись снова и снова, блики света, казалось, плавали в море вина, взгляды встречались все чаще.

— Афродита приехала к Дионису на радость всей Азии! — произнесла Диона. Голос, почти заглушивший шум в зале, не принадлежал ей. Так было всегда, когда говорила богиня. За первой фразой продолжения не последовало, хотя она и ждала этого.

Молодой гаруспик с ужасом смотрел на нее — должно быть, решил, что увидел богиню. Она улыбнулась ему.

— Не пугайся. Это всего лишь ее голос.

— Так ты действительно жрица? — медленно вымолвил он.

— А ты сомневался?

Его щеки зарделись, как у мальчишки.

— Ничего страшного… — Она пыталась хоть немного ободрить его. — Мне никто не верит, пока сам не убедится. Но я действительно голос богини в Двух Землях — и за их пределами.

— Но как же?.. Ведь для этого нужен особый порядок: ритуалы… жертвоприношения…

— Я сама и ритуал, и жертва. Больше ей ничего не нужно. Да и зачем? Богиня может делать все, что пожелает.

Бедный римлянин, он не мог этого понять. Все его боги связаны путами церемоний, жрецы обессилены давлением политиков, их могущество осталось лишь в воспоминаниях. Неудивительно, что Египет так напугал его. Египетские боги живые, они живут вместе со своим народом. Их имена знают все, и имена эти значат больше, чем названия храмов.

Если Луций Севилий, парусник, так и не смог постигнуть божественной сути Египта, то Марку Антонию, триумвиру, это было совершенно не нужно. В ту ночь он сам был божеством. Весь сверкающий золотом, разгоряченный и одурманенный вином, он наконец поднялся с ложа, споткнулся, однако удержался на ногах, засмеялся и подал ей руку. Царица улыбнулась в ответ и позволила ему помочь себе встать. Он ли снова качнулся, или она приблизилась к нему — всего мгновение, объятие, мимолетное прикосновение, но оно сказало больше, чем любые слова.

Диона никак не смогла бы помешать этому, у нее не было ни малейшей возможности предостеречь царицу. Впрочем, никто больше, казалось, не смотрел в их сторону. Все были пьяны и поглощены экзотическим танцем нубийцев, которых царица привезла с собой.

«Так скоро?» — внезапно вырвалось у нее. А может быть, и Клеопатра, и Антоний, знают, что делают?

Царица скользнула за занавески позади своего ложа. Антоний вышел из зала. Диона услышала, как он подзывал своего гребца.

Неожиданно она поняла, что смотрит на Луция Севилия. В первый раз гаруспик взглянул на нее прямо, не опуская глаз и не краснея, и улыбнулся.

— Не сегодня, — вымолвил он.

— Нет, не сегодня, — откликнулась Диона.

8

Диона в сопровождении вооруженного охранника, служанки с корзиной, Тимолеона, своего сына, и Цезариона, улизнувшего от своего наставника, шла по городу, удаляясь от порта. Лодка, которая их привезла, уже отплывала обратно и вернется за ними после полудня.

Было раннее утро, но царица уже проснулась, хотя и не вставала, резонно полагая, что со многими делами можно с успехом разобраться в кровати. Почти все ее придворные спали как убитые после ночных возлияний. Римляне пребывали в таком же состоянии.

На рынке уже вовсю бурлила жизнь. И мальчики готовы были полностью окунуться в этот водоворот. Тимолеон в принципе не возражал против компании «младенца». «Младенец» же, будучи всего тремя ходами младше, отнесся к своему спутнику гораздо доброжелательнее и добродушно улыбался ему. Впрочем, они стоили друг друга: насколько Тимолеон был непослушен и шаловлив, настолько же Цезарион был сыном своих родителей, Цезаря и Клеопатры, унаследовав от них ум, надменность и умение стойко переносить неприятности.

Диона особо полагалась на то, что дети беспрекословно будут ее слушаться, и надеялась лишь на одно свойство, которым не обладал даже Цезарион: умение повелевать. Оба проказника уже не раз проверяли его действие на себе и были уверены, что, пожелай она, весь мир обрушится на их головы, и потому предпочитали вести себя прилично и часами покорно следовали за ней.

Не доходя до рыночной площади, где они могли поднять настоящее восстание, Диона остановилась и разрешила Тимолеону и Цезариону в сопровождении стражника погулять по рынку.

— Не забудь, — сказала она сыну, — ты должен приглядывать за Цезарионом. И не оставляй его ни на минуту одного. За все проказы придется отвечать тебе.

— Само собой, — вымолвил Тимолеон, но мыслями он уже был далеко отсюда.

— Смотри у меня! — пригрозила мать.

Он открыл было рот — и снова закрыл. Иные дети спорят, даже когда это бесполезно. Не таков был Тимолеон: будучи сообразительным не по возрасту, он счел лучшим остановиться на достигнутом. Вряд ли это назовешь свободой, но куда ни шло: все же лучше, чем полдня шагать за матерью по пятам.

Оставив «младенца» на попечение молоденького солдата, Тимолеон тут же устремился к рядам со сладостями, но гордость его снова была уязвлена: кошелек-то остался у стражника, тут мать не проявила милосердия. Диона проводила их взглядом со смешанным чувством облегчения и тревоги.

— Только боги знают, что они могут натворить, — пробормотала она.

Слух Гебы, немой от рождения, мог бы посоперничать с кошачьим; к тому же она была далеко не глупа. Темное лицо нубийки расплылось в улыбке. Она была не намного старше Тимолеона и еще не забыла, как славно иногда поозорничать.

Диона и сама помнила. Улыбнувшись в ответ, она неторопливо побрела по рынку. По правде говоря, ей почти ничего не было нужно, просто приятно после месяца на борту корабля снова оказаться на твердой земле. Она поторговалась с продавцом шерсти, убеждавшим, что его товар — настоящая тирианская шерсть; Диона точно знала, что шерсть

покрашена ягодами и потеряет свой замечательный цвет после первой же стирки. Она прошла мимо лавок с серебряными браслетами; купила виноградный лист, фаршированный мясом и ячменем, уселась на постамент статуи рожденной из пены Афродиты и начала его есть еще горячим.

Она чувствовала себя чуть ли не ровесницей Тимолеона, но гораздо более свободной в поступках. Правда, ей слишком редко удавалось так легкомысленно проводить время. Геба тоже ничего не имела против: шустрая, проворная в услужении, нубийка больше любила дремать на солнце, потягиваясь, как большая ленивая кошка.

Они расположились на самом краю рыночной площади, неподалеку от возвышения, где еще совсем недавно в одиночестве сидел Антоний — неужели это было только вчера? Диону тогда поразила холодная бесстрастность его лица.

В это утро Антония здесь не было — или только пока не было. Отсутствовало даже его кресло, которое всегда появлялось вместе с триумвиром. Единственное место, где оно еще не побывало — корабль Клеопатры. Египет остается независимым государством, что бы там ни думали римляне.

Диона съела лишь половину своего виноградного листа, а остальное отдала маленькой бездомной кошке, худущей — кожа да кости, — с огромными голодными глазами. Уронив кусочек мяса, кошка протянула костлявую лапку, подхватила кусочек и отправила в рот, совсем как ребенок.

Геба зашипела, сотворив руками знак против дьявола, и попыталась отогнать кошку.

Диона остановила ее.

— Не надо. Это дитя Матери Баст[11]. Смотри — она понимает нас. Кошечка на минуту оторвалась от своего мяса, прошипела ответ Гебе и, застенчиво взглянув на Диону, что-то спросила тихо, почти неслышно: «Мяу?»

— Мяу, — ответила Диона.

Кошка благодарно потерлась головой о ее руки.

Диона поднялась, собираясь идти дальше, кошка последовала за ней. Диона не прогоняла ее. Если кошка решила остаться с ней, значит, сама Бастет благословляет ее, но не стоит торопить события: кошки принадлежат лишь сами себе и своей богине, они слишком редко идут к людям.

Недалеко от статуи Афродиты тянулись рыбные ряды. Диона купила пригоршню маленьких соленых рыбок: в ее доме в Александрии жили кошки — большие любительницы этого лакомства. Чуть дальше женщина продавала парное козье молоко. С большой чашкой молока Диона снова устроилась у статуи. Часть она выпила сама, часть отдала Гебе и немного — кошке: та съела пару соленых рыбок и теперь ей ужасно хотелось пить.

Неожиданно Диона заметила, что за ними наблюдают. Она знала, конечно, что римляне надевают тоги лишь в особых случаях, поскольку эта одежда слишком неудобна для повседневной носки. Но ее все же весьма удивил вид Луция Севилия, гаруспика, — он был в таких же сандалиях из мягкой кожи и тонкой льняной тунике, как и у всех жителей Тарса. Судя по всему, его эта встреча не удивила.

— Доброе утро, — поздоровалась она.

— Доброе утро, — вежливо ответил он, лишь слегка покраснев. — Ты всегда подбираешь бездомных кошек, когда бываешь на рынке?

— Да нет, пока не приходилось. Она сама за мной увязалась.

— Да, подлизываться они умеют.

Кошка подняла голову, изучающе посмотрела на римлянина и вынесла свой вердикт: «Мур-р-р». Казалось, она мурлычет вся — от ушей до кончика хвоста.

— Она говорит, что тебе нужна строгая мать, — перевела Диона, — но не может же она усыновлять всех подряд.

— Особенно сироту из Рима?

— Кошкам все равно, к какой вере или какому народу мы принадлежим. Люди есть люди, жалкие создания, где бы ни родились.

Гаруспик засмеялся. Здесь, на рынке, среди простых горожан, он вел себя более непринужденно, чем на приеме у Клеопатры. Диона намекнула, что Луций может взять кошку себе, но он сделал вид, что намека не понял.

— Наверное, ты держишь собак, — поразмыслив, предположила Диона.

— О, псы очаровательные создания, только уж очень зависимые.

— Но разве римляне не предпочитают подобострастие независимости?

Луций Севилий понял, что она имела в виду, и глаза его вспыхнули, но, кажется, не рассердился. Скорее он был немного удивлен.

— Римляне — возможно. Но я — нет.

Громко замурлыкала кошка. Она доела наконец свой завтрак и теперь забралась на колени жрицы, намереваясь умыться. Луций уселся рядом — должно быть, он не имел обычной для римлян привычки гордо стоять в любых обстоятельствах. Он по-мальчишески поджал ноги и стал рассматривать прохожих.

«До чего же хорош, — подумала Диона, — и, похоже, не сознает этого».

Кошка закончила утренний туалет и попыталась завернуться в полу платья Дионы. Геба, сидящая на корточках неподалеку, у стены дома, кинула на нее гневный взгляд, но кошка ничуть не испугалась служанки.

— А твой сын сегодня в городе? — неожиданно поинтересовался Луций Севилий.

У Дионы чуть сердце не остановилось.

— Почему ты спрашиваешь? Ты его видел? Что он делает?

— Ничего особенного, — успокоил ее Луций. — С ним еще один мальчик, помладше. Они играют в салочки. Была на нем ярко-зеленая туника?

— О боги, нет. Если это все, что он натворил, — я просто счастлива.

— Довольно странный оттенок зеленого, — добавил римлянин, — чересчур яркий, по-моему. Надеюсь, он не отдал за нее кучу денег?

— Нет. Кошелек у Диомеда.

— Диомед — это, по-видимому, стражник, — заключил Луций, — а мальчики — ваши сыновья.

— Только один, старший. Младший — сын царицы. Да. Птолемей Цезарь — Цезарион.

И царица… его мать… она позволяет ему так запросто бегать по улицам Тарса, будто сыну простолюдина?

— Тебя, кажется это не удивило, когда ты подумал, что он мой ребенок. А я тоже не отношусь к простым ремесленникам.

Луций понял, что его слегка осадили, и стал осторожнее.

— У царицы, я знаю, есть… были сестры, но…

— О нет, я не сестра Клеопатры. Мой род идет от брата первого правителя Египта Птолемея. Мы никогда не претендовали на трон, но и сборщиками мусора не были.

Теперь Луций Севилий с обидой посмотрел на нее.

— Я не говорил этого. Но чтобы сын Цезаря один бегал по Тарсу… Если Антоний узнает, он будет в ужасе.

— Антоний Цезариону не отец, и даже не опекун.

— Возможно, ему следовало бы быть им.

— Почему? Не потому ли, что египетская царица неподходящая мать для маленького римлянина — даже рожденного вне брака?

— Он сын Цезаря, — снова повторил Луций.

— Но его мать — Клеопатра.

Они сверкнули друг на друга глазами. Диона не могла бы сказать, кто из них раньше понял нелепость этого спора здесь, на краю рыночной площади, когда на коленях у нее спит маленькая бездомная кошка… Она засмеялась первая, Луций — еще того раньше.

Когда взрыв неожиданного веселья улегся, Диона облокотилась на постамент — отдышаться. Кошка ткнулась носом ей в подбородок.

— По-моему, Рим и Египет должны пойти на взаимный компромисс, — миролюбиво заключила она.

— Риму идти на уступки? Зачем же? — ринулся в атаку гаруспик, но прежде, чем Диона снова успела разгневаться, с раскаянием покачал головой.

— Признаю: я ужасный зануда. Да к тому же неимоверно смешон, обсуждая политику, не имея к ней почти никакого отношения.

— И тебя это может удержать? Тех, кого я знала в Риме, это не останавливало. Даже гладиаторы затевают политические дискуссии.

— Но политика очень важна, — попытался объяснить Луций. — Пожалуй, важнее всего в мире.

— Я так не думаю.

— Да, у женщин обычно другое мнение.

— Ты говоришь совсем как мой муж.

Он с удивлением посмотрел на нее. Чему тут удивляться? Порядочная женщина не рожает внебрачных детей, если, конечно, она не царица.

— Ты напомнил мне, почему он со мной развелся, — продолжила Диона. — Он был слишком эгоистичен.

Луций снова с изумлением посмотрел на нее.

Пока он пытался соотнести ее жизненные представления со своими, она встала. Кошка спрыгнула на землю, села у ее ног и принялась прилизывать взъерошенную шерсть.

— Надо бы найти мое чадо. А то они решат, что зеленая туника — только начало, и сами перекрасятся в зеленый цвет.

Луций неохотно поднялся. Для римлянина он был довольно высок, намного выше ее.

— Могу ли я проводить тебя?

Диона хотела отказать ему, боги видят, что она вольно или невольно делает все, чтобы вызвать его неприязнь. Но если он задумал что-то дурное, то ему следовало бы знать, что она защищена гораздо лучше, чем могло показаться с первого взгляда. А может быть, им движет вежливость или простое любопытство — наверняка не терпится посмотреть на сына Цезаря, все они этого хотят. Так или иначе, Диона снова устремилась в толчею рынка в сопровождении служанки, римлянина и кошки. Разыскать детей не составило особого труда — они наверняка там, где и должны были быть.

Вот продавец сладостей; торговец одеждой; фокусники, жонглирующие кинжалами;

дикарь в меховой накидке с танцующим медведем; слепой певец с собакой. Диона остановилась послушать его. Собака спала у его ног, положив голову на лапы, но даже во сне внимательно прислушивалась, не грозит ли ее хозяину опасность. Кошка зашипела, но собака оставила это без внимания. Диона подхватила кошку на руки.

Кто-то на нее налетел, но сильные руки римлянина поймали ее прежде, чем она успела упасть. Однако Диона даже не заметила этой маленькой услуги, потому что Цезарион — это он и был — отскочил от нее и, тяжело дыша, закричал:

— Диона, Диона, пойдем скорее!

Она схватила его в охапку, чтобы не удрал.

— Что? Что случилось?

— Тимолеон…

Но, прежде чем он успел закончить фразу, Диона уже бежала на помощь сыну.

Ничто, конечно, не угрожало его жизни. Сразу за рыночной площадью, на площади поменьше, был высохший, замусоренный фонтан. За фонтаном толпились люди, в основном мужчины, с криками и смехом окружившие человека с палкой, маленького ослика с огромным вьюком на спине и Тимолеона.

Туника на нем была еще более ужасного цвета, чем описывал Луций, к тому же была ему основательно велика. Тимолеон подпоясался куском веревки, чтобы туника не волочилась по земле, однако сзади она все равно неряшливо свисала. Тимолеон, похоже, не обращал на это ни малейшего внимания.

— Ты немедленно отпустишь этого осла, — властно говорил он, — или я скажу моей матери, и она превратит тебя в змею.

— Только попробуй, — отвечал хозяин осла под одобрительный гомон публики, — и я тут же укушу тебя. Убирайся-ка с дороги петушок, не путайся под ногами.

— Нет, — упорствовал Тимолеон. — Ноша твоего осла слишком тяжела, у него болит спина.

— Кто тебе сказал? — человек усмехнулся. — Осел? — Остальные тоже засмеялись. Одобряя поступок Тимолеона, они, тем не менее, заключали пари на то, скоро ли хозяину осла надоест такой спектакль и дерзкому ребенку придется, наконец, попробовать палки. До этого, судя по всему, было недалеко. — Осел говорит то, осел говорит это, а я говорю, что мне надо везти кувшины с маслом на рынок. Проваливай!

— Ты вполне можешь нести их сам, — не унимался Тимолеон. — Или потащишь их по земле, когда станешь змеей. Ты любишь мышей? Не хочешь ли съесть одну?

— Нет, но я с удовольствием спущу с тебя шкуру, — прорычал мужчина, замахиваясь палкой.

Диона подставила руку прежде, чем он нанес удар. Боль была невероятно резкой. Никто не заметил, как в центр круга попала женщина, вставшая между этим человеком и своим сыном.

Должно быть, в выражении ее лица было что-то ужасное. Хозяин осла отпрянул, толпа тихо разошлась. Тимолеон казался то ли разозленным, то ли напутанным. Диона гневно взглянула на него.

— О чем я тебе говорила? — произнесла она очень тихо.

— Я… — он пытался защититься. — Я не мог…

— На корабль! — добавила она. — Сейчас же.

— Но ведь еще нет полудня. За нами никто не приплыл.

— Приплывут. — Взгляд Дионы упал на стражника, наконец подошедшего к ним. В этот момент она не возражала бы, чтобы он совсем исчез с лица земли.

Тимолеон схватил осла за шею.

— Я забираю его с собой, — объявил он.

— Нельзя брать его на корабль, — вымолвила Диона. — Пойдем.

— Нет, — упрямо сказал Тимолеон.

— Ты пойдешь, — произнесла Диона, четко выговаривая каждое слово, — поползешь на четвереньках или полетишь, но отправишься со мной. Понял?

— Ты не сделаешь этого, — испуганно пробормотал он.

Диона подняла руку. Вокруг уже снова собирались люди, некоторые орали во всю глотку. Вот идиоты.

— Ну? Ты же трубил о моей магической силе на весь Тарс — так кем ты хочешь быть? Змеей? Гусем? Собакой?

Подбородок Тимолеона затрясся. — Ты не заколдуешь меня, ты не сможешь этого сделать!

— Неужели? — съязвила Диона. Ее волшебная сила находилась внутри нее, там, где всегда была богиня. Диона с легкостью могла превратить сына во что угодно.

Она ясно дала ему это понять. Тимолеон был еще мал, но далеко не глуп. Мальчик заморгал, явно собираясь заплакать, однако, поняв, что сейчас мать слезами не проймешь, Тихо произнес?

— Но, мама, если мы оставим ослика здесь, его снова будут бить, и еще сильнее, чем прежде.

Этого отрицать Диона не могла. Хозяин осла, судя по его злобной физиономии, бил не только животных, но и своих детей. Пока что он стоял, потеряв от испуга дар речи, но это, похоже, продолжится недолго. Она повернулась к Гебе: — Мой кошелек.

Та извлекла его из корзины, осуждающе покачав головой.

— Вот! Это за вашего несчастного ишака и за всю его ношу.

Она ушла прежде, чем погонщик смог заговорить и начать торговаться. И что ей теперь делать с грязным, засиженным мухами, тощим ослом?

— Может быть, мне его взять? — предложил Луций Севилий. — Для него наверняка найдется работа во владениях триумвира.

— Замечательно, — обрадовался Тимолеон. — Хорошенько корми его и не заставляй таскать тяжести.

— Все так и будет, не беспокойся, — обещал Луций Севилий — он единственный, кто не был напуган странным поведением ребенка. Остановившись посреди улицы, он стал снимать с осла поклажу. — Я попозже пришлю за этим.

Ты действительно думаешь, что до прихода ваших людей бутыли не растащат? — спросила Диона. — Впрочем, оставь. Это всего лишь прогоркшее оливковое масло, да еще в плохой посуде.

Однако нищие уже подбирались поближе, готовые схватить столь щедрый дар судьбы. Луций Севилий, пожав плечами, освободил скотину от ноши и даже седла, имевшего весьма потрепанный вид — похоже, его использовали поколений пять. Вся спина животного была в болячках и шрамах. Увидев это, Тимолеон расплакался.

— О, мама! Вылечи его, мама, пожалуйста.

— Но не посреди же улицы, — возразила она.

— В конюшне триумвира, — добавил Луций Севилий, — знают, как лечить такие раны.

— Мама, вылечи ослика сейчас, — Тимолеон говорил тоном, не терпящим возражений.

Диона потрепала сына по плечу, пытаясь отвлечь его внимание от несчастного осла.

— Луций Севилий и люди триумвира позаботятся о нем.

— Я хочу посмотреть, как они будут его лечить, — заныл Тимолеон.

У Дионы разболелась голова. Она с удовольствием задала бы сыну хорошую взбучку, но тут было слишком много посторонних: этот странный римлянин, который, похоже, ничему не удивлялся; стражник Диомед, шкодливо озирающийся по сторонам, ожидая порки, которую он заслужил; Цезарион, молча уцепившийся за руку Гебы. Тимолеон же, судя по всему, считал, что мама готова совершить чудо по первой его просьбе.

Почувствовав невыносимую усталость, она со вздохом уступила прихоти сына.

— Хорошо, мы пойдем в конюшни триумвира. Но ненадолго — только убедимся, что с твоим ослом все в порядке. И сразу же вернемся на корабль.

— Хорошо, мама, — радостно согласился Тимолеон: он все-таки добился своего. — Можно, я поведу ослика?

— Можешь идти рядом с ним. И никогда больше так не делай. Обещай мне. Или мы сейчас же отправимся на корабль.

Тимолеон хотел было возразить, но, подумав, что уже достаточно многого сегодня достиг, чтобы быть великодушным, произнес:

— Обещаю.

9

— И долго Тимолеон держит свое слово? — поинтересовался Луций Севилий.

Осел стоял в конюшне триумвира; спину ему полечили, ясли наполнили отборным ячменем, а стойло застелили соломой. Он отдыхал вместе с лошадями Тарса, и Тимолеон был вполне удовлетворен.

Можно было возвращаться в порт, где уже ждала лодка, чтобы доставить их на корабль. Луций Севилий, похоже, хотел увидеть конец этого приключения; во всяком случае, Диона не видела другой причины, почему он снова пошел их провожать.

— Тимолеон, — ответила она, — держит свое слово до тех пор, пока о нем помнит, а забыть может и через час, и через неделю. Я думаю, это вылетит из его головы не позже, чем через сутки.

— Да, ты неплохо его знаешь. — Уголок рта Луция снова приподнялся в добродушной улыбке.

Диона улыбнулась в ответ.

— О, он настоящее воплощение озорства.

— А по-моему, не только озорства, — заметил он, снова становясь серьезным.

— Ты имеешь в виду служение богине? — задала встречный вопрос Диона. — Нет, в нашем роду слугами богини всегда были только девочки.

— А сыновья?

— А сыновья — нет. Понимаешь, мы, женщины, принадлежим богине, а она предпочитает дочерей.

— Ясно, — произнес Луций Севилий, хотя, судя по выражению его лица, он абсолютно ничего не понял. — И все же именно богиня дает вам, женщинам, сыновей.

— Да, — подтвердила Диона. — И мои, по-видимому, посланы мне, чтобы я училась терпению. Тимолеон решил, что хочет быть моряком, вероятно, главным образом потому, что морякам не надо носить одежду. А что он творил на базаре ты и сам видел. А Андрогей весь в отца. Он остался в Александрии. Отец пожелал, чтобы сын жил с ним, поскольку он старший ребенок.

— Значит, у тебя есть еще один сын?

— От бывшего мужа. Его новая жена гораздо ближе Андрогею, чем я. Она вполне заменяет ему мать.

— Мне кажется, мать заменить нельзя.

Они продолжали спускаться по ступенькам к набережной. Луций Севилий о чем-то задумался. Диона неторопливо шагала рядом с ним. Лодка уже в самом деле ожидала их; Тимолеон, убежавший вперед, буквально скакал от нетерпения.

— Мама, из-за тебя мы теряем время, — закричал он прежде, чем она успела что-либо сказать. — Смотри, Цезарион чуть не плачет. Он хочет к своей маме.

— Неправда, — донесся до них голос царевича, сидевшего неподалеку. — Ты просто ревнуешь, потому что твоя мама хочет поговорить с кем-то еще кроме тебя.

— Не болтай глупостей, — разозлился Тимолеон.

— Успокойся, — остановила его Диона, — хватит. Иди в лодку и прекрати ныть.

Тимолеон, словно не слыша ее, продолжал:

— Знаешь, как тебя в городе будут называть? Маленькая богиня.

— Что за чушь.

— Вовсе не чушь, ты и сама это знаешь. Да и какая ты богиня? Ты не можешь быть Исидой: Исида — это Клеопатра.

— Я сказал бы, — заметил Луций Севилий, — что твоя мама — Афродита.

Тимолеон сурово посмотрел на него.

— Лучше бы она была Артемидой. Артемида ненавидит мужчин. Она превращает их в оленей и охотится на них.

— Твоя мать смогла бы стать такой. И в любом случае к матери следует относиться с уважением.

— Ты хочешь обозвать меня кровожадным сопливым щенком? — не унимался Тимолеон. — Так что же ты молчишь?

— А я люблю быть непредсказуемым.

Мальчик окинул Луция оценивающим взглядом, тот с улыбкой посмотрел на него. Вдруг Тимолеон изумленно улыбнулся.

— Почему ты это носишь? О, да я тебя знаю — видел с Антонием. Разве ты не воин? Почему ты без доспехов?

— Потому что они очень неудобные, — совершенно спокойно объяснил Луций Севилий. Диона ничем не могла ему помочь и лишь восхищалась его терпением.

— А тога?

— И тога тоже. Но только ее гораздо легче снимать.

— А у тебя доспехи-то есть?

— Даже двое, — рапортовал Луций. — Боевые и парадные.

Судя по всему, Тимолеон решил учинить настоящий допрос. Диона подтолкнула его к лодке.

— Иди, хватит болтать, у тебя еще будет время засыпать этого господина вопросами.

— Но, мама, он не может быть господином! Он римлянин, а все римляне — простолюдины.

— Да, если не являются патрициями, — согласился Луций Севилий. Он вовсе не выглядел оскорбленным. Дионе даже почудились искорки смеха в его глазах.

— А ты что, патриции? — поинтересовался Тимолеон.

— Я жрец. И думаю, что когда я вернусь в Рим, меня изберут в сенат — мой отец был сенатором. Он недавно умер, а я стал главой семьи. В молодости я был слишком глуп, чтобы разумно вести дела. Тогда я был квестором, это почти то же самое, что казначей.

— О! — Тимолеон прикусил язык, потому что мать решительно направилась к нему, взяла за руку и потащила за собой.

Мальчик зашел в лодку с грацией прирожденного моряка и, проходя мимо Цезариона попытавшегося поддержать его, запротестовал:

— Я сам! Не лезь!

Геба уже сидела на носу судна, поджав под себя ноги. Все гребцы были на местах. Но Диона медлила, пытаясь подобрать слова, чтобы извиниться перед Луцием Севилием за поведение сына.

— Не беспокойся, — молвил он, угадав ее мысли, и улыбнулся. — У тебя замечательный сын.

— У тебя настоящий талант понимать других. — Диона склонила голову в знак благодарности. — Спасибо тебе. Я очень рада, что ты все это время был с нами.

— Надеюсь, это действительно так, — ответил Луций и протянул ей руку. Подумав секунду, Диона оперлась о нее и позволила ему помочь ей зайти в лодку. Взъерошенная кошка последовала за ней, похоже, собираясь стать морской кошкой, если потребуется. Диона заняла свое место, кошка прыгнула к ней на колени, и лодка медленно отчалила.

Римлянин, не двигаясь с места, провожал ее глазами, пока Диона не перебралась на корабль. Затем он покинул набережную и отправился во дворец триумвира.

В этот вечер Антоний устраивал пир. Он не мог позволить себе такого же роскошного приема, какой был у Клеопатры, да и не стремился к этому. Более того, он всячески старался избежать излишеств. Столы были накрыты в римском стиле, уставлены римскими блюдами. Гостей рассаживали на кушетки, как принято в Риме, однако для царицы установили ложе — на нем Клеопатра могла сидеть откинувшись, как здесь дозволялось только мужчинам. Она не стала отказываться — царица вполне может пользоваться мужскими привилегиями.

Луций Севилий представлял, как эти двое встретятся на сей раз: холодная учтивость, официальные речи и маски безразличия… А то, что их сердца бьются сильнее обычного — так ведь этого никто не видит. Сегодня Клеопатра — настоящая эллинка, а ее спутники были в одеяниях придворных греков из Александрии. Дионы среди них не оказалось. Луций поинтересовался у своего соседа по столу, где она, и выяснилось, что подруга царицы — так ее назвал этот человек — занята обрядом.

— Она Голос Исиды, — сказал он, — поэтому иногда ей приходится выполнять для богини определенный ритуал.

Египетская богиня уже порядком надоела Луцию. Могла бы дать своему голосу отдохнуть хотя бы один вечер.

Он едва сдержался, чтобы не произнести это вслух. Собеседник, вероятно, воспринял его молчание как недоверие к его словам и проникновенно произнес:

— Вы, римляне, не верите в богов, не правда ли?

— Почему же, очень даже верим, — тихо вымолвил Луций Севилий. — Я слышал, как богиня говорит устами своей жрицы. Это очень странно выглядит.

— Да, — ответил гость, явно не собираясь вдаваться в подробности.

Луций был предоставлен самому себе. Он обнаружил, что скучает по Дионе, что ему не хватает отблесков света на ее лице, ее остроумия и даже ее непредсказуемости. Очень хотелось узнать, прижилась ли на корабле маленькая кошечка и держит ли Тимолеон свое слово.

Расстроенный, он все же не мог не заметить происходящего в зале. Царица и триумвир вели между собой тот же разговор, что и вчера. В этой беседе явно не было никакой нужды: двое смотрели друг на друга, и им все было ясно без слов.

Как и накануне, они покинули пиршество по отдельности и очень рано. Но было что-то очень интимное в их движениях; Луций не мог ошибиться. Если царица вернется сегодня на корабль, то наверняка не одна. А если останется здесь, ей не придется ночевать в комнате для гостей.

Постороннему человеку могло показаться, что сближение произошло вдруг, неожиданно. Но Луций знал, что Антоний годами думал об этой минуте. И все же Клеопатра не красива, она уже не очень молода; ей, должно быть, около тридцати. Она совсем не походила на женщину, любовью к которой мог быть ослеплен Антоний. Но так обманывались многие, пока не слышали ее чарующего голоса, не видели ее грациозных

движений, не ощущали ее живого присутствия. Царица была не просто красива, не просто привлекательна, она — воплощение самого Египта.

Сейчас Египет отдавал себя Риму — и Рим брал его, но не как завоеватель. Луций видел все так же ясно, как если бы стоял в спальне и наблюдал за их брачными танцами, старыми, как мир.

Может быть, именно для этого исполняла свой обряд подруга царицы? Не богиня ли ей приказала соблазнить триумвира?

Нет. Клеопатре не нужно ни обрядов, ни волшебства. Достаточно того, что она такая, какая есть.

Луций вздрогнул. В зале было тепло от дыхания пирующих, но ему стало зябко. Бормоча извинения, он вышел в сад.

Звезды, казалось, светили ярче обычного, на небе не было ни облака, ни тучки. Воздух, одновременно и холодный и теплый, был сладким от запаха цветущих растений.

Луций подошел к стене, поднялся по ступеням и остановился, не доходя до скамьи. Город молчал, погруженный в глубокую тьму. Лишь кое-где над дверями домов горели фонари. Тишину нарушали только редкие крики возвращающихся домой гуляк.

Звезды отражались в воде. Гирлянда огней опоясывала корабль царицы. На палубе было пусто. Все, кто не пошел на пиршество Антония, уже спали.

Все, кроме Дионы. Луций знал это наверняка, хотя не понимал почему: такое с ним иногда случалось. Благодаря таинственному дару, он, принося жертвы богам, видел суть вещей и читал предзнаменования, переводя их на язык, понятный обычным людям. Далеко не всегда предзнаменования были теми, которых от него ждали. Однажды это, возможно, погубит его.

Но только не сегодня. Сегодня его ночь. Луций сел на холодную мраморную скамью, не отрывая взгляда от украшенного огнями корабля. В глазах у него потемнело.

Когда он обрел то, другое зрение, прямо перед ним стояла египетская жрица. На ней было старинное белое платье, а голову покрывал тяжелый парик и высокий головной убор из золота и слоновой кости. Она находилась в маленькой корабельной каюте, казавшейся огромной, как мир. Стены оживляла роспись, выполненная старыми жрецами, творившими свое волшебство еще до основания Рима. Жрица пела высоким чистым голосом, но слов было не разобрать.

Однако Луций знал, что она пела гимн своей богине; не колдовала, но совершала обряд поклонения. У нее были помощники: кошка, увязавшаяся за ней в Тарсе, и еще какое-то существо, которое Луций поначалу принял за мужчину в черной маске, а потом за нубийку: некто с головой шакала на темных широких плечах. Если это и была маска, то удивительно живая, с белыми клыками, выставленными не то в улыбке, не то в усмешке. Глаза существа были странного зеленовато-желтого цвета.

Луций дрожал, хотя не чувствовал ни холода, ни страха. У настоящих римских богов нет лиц. Они — тени, исполненные могущества.

Но здесь все происходило на самом деле. Живые боги охраняли хрупкую жрицу и маленькую кошечку.

Жрица предлагала богине мед, вино, белый ячмень и мышь с отпечатками кошачьих зубов на шее. Ее голос поднялся до крещендо и затих. Она опустилась перед сундуком, служившим в качестве алтаря, и замерла; скорее всего, заснула.

Но через несколько минут жрица поднялась и посмотрела прямо ему в глаза.

— Добрый вечер, дух. Что привело тебя сюда этой ночью?

Луцию захотелось вернуться в свое тело, но что-то удерживало его внутри этих стен и заставило ответить:

— Мои глаза привели меня сюда. Прошу прощения, если помешал.

— Ты не помешал мне. Я просто спросила. Не знала я, что римляне летают на крыльях своего духа и посещают чужие алтари. Что ж, добро пожаловать.

— Я… не шпионил, — молвил он.

— Я так и не думаю. — Жрица сняла головной убор и парик, расправила волосы и повертела головой.

— О, теперь намного лучше. Не знаю, что тяжелее, парик или корона.

Сколько грации было в ее движениях! Луция не было в каюте, по крайней мере его тела точно не было, и все же египтянка разговаривала с ним, будто он во плоти стоял перед нею. Луций подумал, что, возможно, в Египте это обычный способ общения.

— Ты, должно быть, думаешь, что я умер?

— Отчего же? Часть духа может покинуть и живое здоровое тело. Вот если бы я видела остальную часть твоей души, мне следовало бы немедленно убедиться в том, что ты еще жив. Человек не может отпускать на волю сразу несколько частей своего духа, это очень опасно.

— Я совсем тебя не понимаю.

— Люди часто не понимают этого, — заметила она спокойно. — Поверь, ты жив. И к тому же очень талантлив. У тебя совершенная душа. Твой дух — сокол, я уверена в этом.

— Почему? — Луций сомневался, что сможет понять ответ. Он чувствовал, что пока не может вернуться в себя и лучше уж задавать вопросы, чем в страхе бормотать что-то невнятное.

— Почему? — повторила она. — Будь ты по натуре хищником, я неправильно истолковала бы твой приход. Но даже римляне в большинстве своем не стервятники, питающиеся падалью. А твоя душа почему-то видится мне очень чистой.

— Спасибо, — сухо молвил он.

Диона погладила кошку, забравшуюся к ней на колени. Кошка потерлась об ее подбородок и лениво взглянула на Луция. Глаза Дионы, хотя и не зеленые, тоже по-кошачьи блестели, и взгляд был так же обманчив.

— Сегодня ночью состоится Великая Свадьба, — внезапно произнесла Диона.

Выражение ее глаз и тон голоса совершенно не изменились, однако Луций понял, что сейчас устами своей жрицы говорит богиня. Не требовалось уточнять, кто «они». Только два человека могут сыграть Великую Свадьбу: свадьбу богов, а не простых смертных.

— Но церемонии не проводилось, — сказал Луций, не зная, что она подумает о нем и что ответит.

— Им не нужны церемонии. Достаточно того, что они вместе. Она — Исида, а для римлян — Афродита[12] и Венера; он — Осирис, Дионис[13] и Бахус, отец вина и обожествленного сумасшествия. Слышишь? Земля поет? Знай римлянин: сейчас по ней идут боги.

Луций не слышал ничего, кроме плеска воды и приглушенного гула голосов в городе — человеческих голосов.

— Да ты не слышишь, — вымолвила богиня устами своей жрицы. — Что ж, тогда смотри!

У него не оставалось выбора: богиня приказывала — его глаза подчинились. В тусклом

свете Луций увидел Бога в объятиях Богини.

10

Комната была оформлена в каком-то смешанном стиле: то ли в греческом, то ли в римском: стены расписаны изображениями нимф в удивительном морском саду, танцующих в честь рожденной из пены Афродиты; пол выложен цветными плитками — бесконечные виноградные лозы с крупными гроздьями; рядом с ложем — изображение Диониса с веткой плюща. На низком столике у стены Афродиты лежали доспехи; их воинственность странно контрастировала со спокойной красотой богини. Плащ цвета крови был брошен тут же на полу.

Двое на ложе отдыхали после урагана, разбросавшего их одежду по всей комнате. Плащ царицы валялся рядом с туникой триумвира; тога его была так помята, что слуги утром, должно быть, придут в ужас.

Антоний лежал в объятиях Клеопатры, лениво водя рукой по ее великолепной груди, не утратившей формы даже после рождения ребенка; большие темные соски твердели под его прикосновениями. Но сама она была спокойна и неподвижна, лишь губы улыбались.

— Позвольте мужчине постонать, — произнесла она. — Он живет ради тех страданий, которые вы ему доставляете.

Антоний засмеялся.

— Неужели? А ты разве нет? Даже когда была наложницей Цезаря? И неужели ты позволишь кому-нибудь забыть, что смогла победить меня одним взглядом.

— Я никогда не была наложницей Цезаря, — сказала она холодно. — Я была его госпожой и его царицей. Цезарь был моим супругом — и меня не интересует, что по этому поводу думает Рим. Я сама выбрала его; он стал моим задолго до того, как узнал об этом.

— И я тоже? — поинтересовался Антоний. — Но ты пришла, когда я позвал тебя. Почему же ты не попыталась заставить меня прийти к тебе?

— Потому что я никогда не повторяюсь. Цезарь пришел ко мне. Я пришла к Антонию. Но когда я приехала сюда, ты сам отказался от меня — помнишь, в ту ночь. А мы тогда с Цезарем были в Египте.

— А теперь ты в Риме. — Его рука медленно опустилась по ее животу, чтобы отдохнуть на холмике, по египетскому обычаю смазанном маслом. — У тебя действительно очень красивое тело.

— Только тело? А лицо? — Ее голос прозвучал очень мягко.

Антоний провел рукой по ее щеке.

— Для меня ты — красавица.

— Льстец, — произнесла Клеопатра.

— Говорят, ты живешь для того, чтобы тебе льстили, — заметил он.

Она засмеялась — в интонациях сквозило удивление.

— Очень остроумно! Ты портишь свою репутацию?

— Даже тупые солдафоны иногда острят.

Она поцеловала его в самую макушку — вьющиеся волосы уже начали редеть.

— Этот солдафон вовсе не так туп, как иногда кажется. Ты был бы блестящим подданным, дорогой мой. Но сможешь ли ты править?

Антоний посерьезнел. Лежа на роскошных простынях из темно-красного шелка, они смотрели друг на друга.

— Разве теперь я не правлю? — почти прорычал он.

— Конечно, — согласилась она. — Вместе с Октавием. Законным наследником Цезаря.

— Это действует тебе на нервы, не так ли? Ведь ты хочешь, чтобы законным наследником стал твой сын.

— Сын Цезаря, — поправила она.

— О, конечно, сын Цезаря. И твой тоже. Но Рим не желает, чтобы на троне сидел внебрачный ребенок!

— Мне это уже говорили. И не однажды.

В воздухе повисло тяжелое молчание. Их разговор звучал вполне обыденно, хотя они и лежали обнаженные, готовые в любой момент возненавидеть друг друга или снова заняться любовью.

— Послушай, — первым заговорил Антоний. — Я не могу дать тебе Рим. Пока не могу. Им правит Октавий. Но Восток — весь Восток — будет моим. Там я стану могущественным правителем.

— Для римлянина имеет значение только Рим, — подчеркнула Клеопатра, но он не обратил внимания на ее слова.

— Рим станем моим, когда я буду готов править им. Но сейчас я хочу получить Восток. И он станет нашим, как только мы объединим все восточные государства — кстати, и Парфию тоже — и создадим свою империю.

— Мы уже близки к этому, — заметила Клеопатра.

Антоний покачал головой.

— Парфия не подчиняется нам с самого начала, так же как не подчинялась Александру. Он вторгся в эту страну, и на этом все закончилось. Я сделаю то же самое, но смогу удержать в своей власти. Великому Александру это не удалось. Он слишком рано умер.

— Но прежде, чем завоевать Парфию и Персию, он освободил от персидского гнета Египет. Не думаешь ли ты, что мы нуждаемся в освобождении от собственной свободы?

— Мне нужен Египет, а Египту необходим я. Но я не позволю Риму поглотить его, а за это ты поможешь мне завоевать Парфию.

— И чем же я могу тебе помочь? — поинтересовалась Клеопатра, будто не зная этого.

— У тебя есть флот — корабли, матросы. Рим никогда не был силен на море. Даже выигрывая битвы на воде, мы несем слишком большие потери. А с твоими кораблями я смогу завоевать и удержать в руках все побережье Азии.

— А что получу я?

— Ты будешь править вместе со мной — а Египет останется независимым государством в союзе с Римом.

— Ты мне угрожаешь?

Он посмотрел в ее сузившиеся глаза и вздрогнул.

— Разве говорить правду значит угрожать? Как долго ты сможешь удерживать Египет, если Рим направит против тебя всю свою мощь?

— Дольше, чем ты можешь себе представить. — Ее голос едва заметно дрогнул.

Ты вспомни, как тебе удалось подняться до таких высот. Ты сжила со свету двух братьев и двух сестер, поскольку все они хотели править в Египте. Тогда тебе помог Цезарь. Кем бы ты была без него?

— Цезарь действительно облегчил мне задачу, — согласилась она, — но я все равно победила бы. Со мной были боги.

— Возможно. Но, может быть, они были и с Цезарем?

— Я жива, — заметила она, — и я — царица Египта, а он мертв.

— Он живет в памяти людей, — вымолвил Антоний. — Но ближе к делу. Ты хочешь сделку? Что от меня требуется, чтобы заключить с тобой союз и получить твои корабли?

— У меня есть сестра, Арсиноя, — почти прошипела она. — Когда-то эта маленькая стерва сбежала в Эфес на моем корабле. Найди и убей ее.

— Убить? — Антоний покачал головой, пытаясь осмыслить ее слова. — Как же ты жестока.

— Я — царица, — неумолимо продолжала Клеопатра, — а она посчитала себя в праве оспаривать это. Я бы сама ее убила, но не смогу дотянуться. Принеси мне ее сердце — и ты получишь египетские корабли.

— Я подумаю, — сказал он довольно жестко. — Но, полагаю, это еще не все.

— Конечно, нет. В Эфесе живет верховный жрец Артемиды, приютивший Арсиною, когда она в слезах прибежала к нему. Он тоже должен умереть. И правитель Кипра — он предал меня ради Арсинои. Сейчас он в Тире, кается в своих грехах. Да, кстати, в Арадосе какой-то идиот называет себя моим братом — царем и, пожалуй, мешает мне больше всех. Птолемей несомненно умер, настоящий претендент на трон утонул в Ниле; но глупцы поверят мальчишке, именующему себя царем. Избавь меня от всей этой компании.

— Что еще? — поинтересовался Антоний с удивлением и некоторым ужасом.

— Мне нужны земли, — ответила она. — Отдай мне Кипр — я построю там верфи, и Ливан — мне нужно дерево для кораблей.

— Это все?

Клеопатра улыбнулась и провела рукой по его груди.

— Пока все.

— Ты недешево берешь, — заметил он.

Ее улыбка стала шире.

— Ты теперь не захочешь меня?

— Возможно, нет. Я подумаю.

— Думай быстрее. — Она приподнялась над ним, ее великолепные волосы цвета красного дерева, благоухающие мускусом и ладаном, накрыли их обоих — и он провалился в их аромат.

— Это вымогательство, — пробормотал он.

Клеопатра засмеялась.

— Все, что я могу сделать на пользу Египту, я сделаю. Неужели ты во мне сомневался?

— Нет, — это было последним его словом.

— Вот и хорошо, — умиротворенно произнесла Клеопатра.

11

Луций Севилий, гаруспик, снова почувствовал себя в собственном теле, холодном и окостеневшем, лежащем на стене замка триумвира. Если Антоний когда-нибудь узнает, что кто-то видел, как он занимается любовью с царицей Египта и одновременно обсуждает вопросы политики и войны, — он будет вне себя. Или расхохочется до слез. Антоний, в отличие от многих римлян, умел посмеяться над собой.

Луцию, пожалуй, недоставало такого свойства. Он кое-как поднялся, добрался до своей спальни и без сил повалился на ложе. Все тело болело, будто от синяков и ушибов, а голова казалась стеклянным шаром, который вот-вот разобьется.

Но хуже всего то, что на сей раз ему не понадобилось ни обрядов, ни ритуалов. Стоило только захотеть — и это случилось: он увидел корабль, потом царскую спальню. Все было так, как быть не должно.

Диона, наверное, смеется над ним. Ему не хотелось вспоминать о ней.

Луций попытался заставить себя уснуть, но не смог. Он лежал без сна до первых петухов, а в голове его крутились пустые, бесполезные мысли.

Диона спала, как спит каждый человек, который много работал и очень устал. Она не одобряла методов Клеопатры, но надо было отдать ей должное: когда они все-таки действовали, то приносили Египту огромную пользу. Она спала в объятиях богини; довольная кошка дремала, прижавшись к ее ногам.

Царица Египта и триумвир не делали секрета из своего союза: ни из любовного, ни из политического. Весь мир видел, что Афродита приехала к Дионису, и их брат Солнце радуется этому. Великая Свадьба была сыграна. Все пожелания царицы исполнились: кровавое жертвоприношение свершилось на алтаре Артемиды в Эфесе и в монастыре Тира. Круг замкнулся: Афродита правила на Кипре и строила там корабли из ливанского кедра.

Дионис — Антоний — получил корабли для войны на Востоке. Но, пообещав царице завоевать его, он, похоже, забыл об этом.

Однако она помнила. Теперь Антоний и Клеопатра всегда вместе ужинали: вечер у нее, вечер в его дворце. Сегодня они сидели на корабле, в окружении слуг с опахалами. Обычно, разомлевшие от жары, за ужином они не разговаривали, а безмятежно попивали вино, охлажденное в снегу с горных склонов или ледяной воде из верховьев Сиднея. И снег, и воду привозили в кувшинах с восточным орнаментом.

Антоний прижал свой кубок к щеке.

— О, холодненький, — удовлетворенно вздохнул он. Один из рабов зачерпнул из кувшина полную ложку снега и высыпал в кубок. Антоний набрал снега в ладони и растер щеки, шею и грудь.

— Говорят, в горах Сирии снег все еще лежит. Я бы отдал что угодно, чтобы попасть туда и поваляться по нему, пока не окоченею.

— Правда? — Клеопатра удивленно подняла брови. — Что же тебе мешает?

— У меня нет крыльев.

— Но зато у тебя есть корабли.

— Ни на одном корабле я не смогу добраться туда сегодня.

— Сегодня вряд ли, — согласилась она. — Но корабль доплывет до порта завтра, а

быстрые лошади домчат тебя до гор.

— Ты хочешь избавиться от меня?

Антоний засмеялся, но лицо Клеопатры оставалось серьезным.

— Нет, совсем не хочу. Но ты же все равно бездельничаешь. Рим уже давно живет без тебя, а Египет без меня. Так долго продолжаться не может, и завтра я отплываю.

— Отплываешь? — озадаченно спросил он. — Куда? в Сирию?

— В Египет. Жду тебя ближе к зиме. Мы будем любить друг друга и наслаждаться жизнью до весны. Зимой никто не воюет.

Несмотря на то, что его разум был одурманен вином, он нашел, что ответить.

— Ты своевольничаешь. Кто тебе позволит покинуть меня?

— Я сама. В Египте у меня накопилось много дел. Да и у тебя есть чем заняться на Востоке. Закончи свои дела, а потом приезжай ко мне. Не обещаю, что буду сидеть у окна в ожидании тебя; у меня масса других проблем. Но я с удовольствием увижу тебя, когда Нил снова войдет в свои берега.

— В октябре, — подсчитав, громко произнес Луций Севилий.

Антоний бросил на него суровый взгляд. Клеопатра улыбнулась.

— Октябрь, — промолвила она. — А как вы называете этот месяц. О, как же я могла забыть? Сейчас июль, названный в честь великого Цезаря.

— За это время я сумею покорить другую царицу, — пробормотал Антоний.

Улыбка Клеопатры стала сладкой, медоточивой.

— Попробуй, и ты посмотришь, сколько кораблей получишь тогда с Кипра.

Антоний снова наполнил кубок вином. Клеопатра маленькими глотками пила растаявший снег. Похоже, снег не холоднее ее сердца, — подумал Луций.

— Царице полагается быть холодной, — произнесла Диона. На ужине ее не было, но Луций знал, что обычно она находилась на палубе, на носу корабля, вместе со своей служанкой-нубийкой, отгоняющей от нее мух, и странной маленькой кошкой, охотившейся за мотыльками, прилетевшими на свет фонаря. Он редко видел ее одну; с ней всегда был кто-то из детей: Тимолеон или сын Клеопатры. Иногда ему казалось, что Диона использует их в качестве защиты, правда, непонятно от кого.

Жрица, казалось, всегда была рада его видеть и совсем не сердилась, когда он говорил, будто сердце Клеопатры сделано изо льда.

— Ни одна царица не может позволить себе иметь добрую душу, — продолжала она. — Во всяком случае, если хочет остаться царицей.

Луций лег на палубу и вздохнул.

— Она действительно завтра уезжает?

— Да.

— Даже если из-за этого Антоний бросит ее?

— Такого не произойдет, — сказала Диона. Кошка, поймав и съев мотылька размером почти с воробья, прыгнула к ней на колени и, урча, свернулась клубком. — Мы привезли с собой Египет, и все шло хорошо, но сейчас я чувствую, как земля уходит из-под наших ног.

Луций ударил кулаком по палубе.

— По-моему, здесь все достаточно крепкое.

— Типично римские шутки, — произнесла она раздраженно. — Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.

Луций вовсе не хотел подчеркнуть, что он римлянин, поэтому и позволил себе сказать

глупость.

— Тебя предупредила твоя богиня? — спросил он.

— Не совсем так. Но мы должны возвращаться. Египет живет в одном ритме с Нилом: прилив, отлив, потом опять прилив. Так и мы.

— Но это может стать оружием в руках ваших врагов. Выманят вас из Египта, удержат в ловушке, пока сила не иссякнет, и сокрушат вас.

— Я надеюсь, ты не мой враг, — молвила она.

— Пока нет, — ответил Луций.

Диона внимательно посмотрела на него и снова отвела взгляд. Должно быть, она подумала то же, что и он: пока союзники Рим и Египет, но как долго они ими останутся?

— Мы лишь выполняем свой долг, — вздохнув, произнесла она.

— А больше ты ничего не хочешь мне сказать?

— Нет. Так ты приедешь с Антонием в Египет?

— Если Рим не призовет меня обратно. — Он удивился тому, с какой неохотой даже думает об этом. Он мечтал увидеть Египет. И очень не хотел расставаться с Дионой; жаль, что ей надо уезжать.

Луций никогда не признался бы в своих чувствах. Они часто разговаривали; каждый из них оказывался именно там, где уже находился другой; их сажали вместе за обедом; а если один из них шел куда-то по делу, то обязательно встречал по дороге другого. Но все это происходило случайно. Луций даже не был уверен, что их можно назвать друзьями. С Дионой было легко говорить, такие собеседники попадались ему очень редко.

Она собралась уходить, и Луций почувствовал себя очень одиноким. Больше некому будет пугать его божественными видениями и смешить до слез; никто не станет нападать на него так, как ее шалопай сын, неприветливая немая служанка и маленькая кошечка.

— По-моему, Геба рада избавиться от меня, — заметил он. — Она наверняка очень расстроится, увидев мое лицо снова.

В отблесках света улыбка нубийки показалась ослепительно белой. Диона сумела подавить смех, но в ее глазах заплясали лукавые искорки.

— Геба убеждена, что ты меня испортишь.

— Почему? Что я могу сделать? Превратить тебя в римлянку?

— Боже упаси.

Луций засмеялся. Диона казалась такой строгой, почти разгневанной; а служанка была готова съесть его глазами.

— Видишь? Ты надежно защищена.

— А разве ты опасен?

— Ты всегда задаешь трудные вопросы, — уклонился он от ответа.

— О да, — произнесла она. — Ты опасен. Как и я. Впрочем, как и все живые, хотя мертвые могут быть еще опаснее.

Луций вздрогнул, внезапно осознав это. Темнота, окружавшая их, шепот ветра в корабельных снастях, казались наполненными дыханием призраков.

— Это предзнаменование.

— Нет. Я всего лишь говорю правду.

— И правда эта ужасна, — заключил он.

Действие второе
АЛЕКСАНДРИЯ И АНТИОХИЯ
41–37 до н. э

12

Дионе грезились серебро и золото. Серебро мерцало в лунном свете, золото полыхало в лучах солнца; потом серебро стало луной, а золото — солнцем. И луна и солнце покоились в ладонях Клеопатры. Царица находилась в своей земной оболочке, и все же была Исидой, богиней-матерью Двух Земель, а тень позади нее была Осирисом, теперь завернутым в погребальную пелену и увитым виноградными лозами со спелыми гроздьями. Гроздья словно светились изнутри «истинно тирским» пурпуром — пурпуром царей.

Диона проснулась, как от толчка; руки ее вцепились в края ложа. Медленно, очень медленно она выплывала из царства снов и не сразу поняла, что не чувствует качки и находится не в каюте царского корабля, а дома, в Александрии. Теплая тяжесть на ее боку была кошкой, так нежданно завладевшей ею в Тарсе. Прислушавшись, она смогла бы различить звуки уснувшего города, едва слышное, легкое, невесомое дыхание Тимолеона, спавшего в соседней комнате, и мягкое ровное посапывание Гебы, прикорнувшей на соломенном тюфячке возле двери.

Сон еще витал в ее покоях, почти зримо мерцая в предутренней тьме. Серебро и золото. Луна и солнце. И боги — Богиня и Бог в самом сердце обеих Египтов.

Диона села на ложе. Кошка проснулась, громко замурлыкала. Диона зябко повела плечами — в покоях было холодно; ноздри чуяли едва уловимый запах древних камней, рисовавший в воображении видения загадочных и безмолвных гробниц. Тряхнув головой, она быстро отогнала предзнаменование, пророчество, предостережение — что бы там ни было, встала и поспешно надела хитон и сандалии. Холод еще не набрал полной силы. Но приближалась зима, и ее ледяное дыхание уже ощущалось в ставшем вдруг неласковым воздухе.

Рассвет еще не брезжил — призрачное, тревожное время, когда власть мертвых еще не рассеялась, а сны становятся странными. Диона зажгла светильник, разогнав темноту, и пошла по дому. Она ничего не искала, не было у нее и какой-либо осознанной цели — ей просто хотелось успокоить себя, убедиться, что все в порядке, все хорошо. Повара были уже на ногах — позевывая, они разводили огонь, собираясь печь хлеб на завтрак. Остальные слуги еще спали. Тимолеон разметался на постели — загорелая кожа отливала прохладной бронзой, иссиня-черные кудри упали на лицо. Диона тихонько накинула на него покрывало и, погладив сына по голове, осторожным и точным движением убрала волосы. Он улыбнулся во сне.

Диона залюбовалась сыном — он дышал безмятежно, весь во власти грез, — и вдруг вспышка памяти осветила ее собственный, уже почти забытый сон; сердце кольнуло, и это был укол ревности. Прошло три месяца с тех пор, как они покинули Антония, уплыв из Тарса. Нет, почти четыре. Воды Нила стали спадать: наводнение пошло на убыль, обнажая черные плодородные земли — дар великой реки, ее древнюю милосердную магию. Скоро, может быть, даже сегодня, появится Антоний и, как ему и подобает по праву, станет первым человеком — не считая, конечно, самой царицы, — который узнает, что она носит в чреве его дитя. Или детей.

Диона виделась с Клеопатрой почти каждый день; прислуживала ей, поклонялась вместе с царицей богине, ела, пила и даже ванны вместе с ней принимала. Но уже гадала, долго ли продлится молчание: месяц, больше? К тому времени достаточно востроглазые

смогут разглядеть признаки беременности в округляющемся стане владычицы Двух Земель.

Что ж, это ее дело. Клеопатра не пожелала поделиться важной новостью с той, которую называла своей подругой. Но Диона не обижалась. Сама богиня исправила оплошность судьбы. И Антоний наконец-то приедет — так, по крайней мере, он обещал. А почему бы и нет? Он уже покончил со всем, что держало его в Сирии, и, насколько знала Диона, палец о палец не ударял, чтобы двигаться дальше, в Парфию. Впрочем, он достаточно мудр и дальновиден, чтобы отложить поход на весну. Зима была периодом затишья, порой отдохновения, весна же — временем войн.

Пока Диона размышляла обо всем этом, Тимолеон свернулся калачиком, и большой палец руки очутился у него во рту. Диона поцеловала его в щеку, но он даже не пошевелился.

Ложиться не стоило снова — было уже почти утро, да и спать больше не хотелось. Диона оделась без помощи Гебы, кое-как пригладила и уложила волосы — служанка наверняка изведет ее упреками и переделает все заново, но тогда уже утро будет в полном разгаре. Она вознесла молитвы, положенные в час пробуждающегося дня, и произнесла слова благодарности богине за роскошь и величие ночной грезы. Милость богини словно окутала ее теплой волной покоя.

Как только рассвело, Диона в обществе кошки и сияющей служанки — надлежащим образом выкупанная и одетая, к удовольствию Гебы, — вышла в город. Ей надо было заглянуть в храм и зайти на рынок. К полудню она освободилась, добрела до залива, и ее ушей не миновали слухи, которыми гудел весь город: суда в море, убранные совершенно в духе римлян, и паруса самого большого корабля алеют пурпуром царей, или, как язвили злые языки, римских триумвиров с амбициями, которые, как бы они ни тщились это отрицать, мнили себя царями.

Полдень принадлежал Клеопатре. Царица где-то выискала нового ученого мужа, чей ум собралась испытать, и потому настояла на присутствии жрицы. Диона была не особо сильна и находчива в подобных дискуссиях, но Клеопатре этого и не требовалось — ее ума хватило бы на десятерых. Однако царица нуждалась в умных слушателях, которые, по ее собственному замечанию, не станут аплодировать ей лишь потому, что она — царица.

Диона знала наверняка, что Клеопатра не изменит своих планов только из-за слухов о прибытии Антония. Она не ошиблась. Царский двор был взбудоражен, как потревоженный улей. Приплывет ли он сегодня? Прибудет ли вместе с армией, как любил делать Цезарь, и потрясет воображение народа, подбавив масла в огонь? Вступит ли во дворец торжественным маршем и объявит себя его хозяином? Но царица и бровью не повела. Ученый, юноша с клочковатой бородой и круглыми влажными глазами гончей, не разочаровал Клеопатру — он оказался вполне неглупым, как она предполагала, и вдобавок храбрым — последнее было свойственно далеко не всем иудеям.

— У нас только один бог, — возразил ученый, когда Клеопатра вскользь похвалила его мужество. — Он могуществен и страшен в своей ревности ко всем другим богам. Все прихоти и мощь царей меркнут перед этим. У него рабов другого бога нет.

Клеопатра улыбнулась. Блистая умом, не забывала и о своей прославленной внешности, хотя и не снизошла сегодня до роскоши: греческая простота, никаких украшений — только золото в ушах и на руках, и тонкая сверкающая лента диадемы в уложенных по-египетски косах.

— Что ж, уважаемый, — сказала она. — Похоже, ты сразил меня наповал. Достойная

победа. Какой награды ты хочешь?

— Награды? — казалось, он был удивлен. — Мне не нужна награда, владычица. Я говорил с тобой ради удовольствия. Так редко можно встретить женщину, а тем более чужестранку, которая так хорошо разбирается в тонкостях законов.

— Но ведь я же царица, — напомнила Клеопатра. — Я впитала эти тонкости с молоком матери.

— Как и подобает царям, — заметил ученый. — Но у многих из них от такого блюда начинаются колики.

Клеопатра рассмеялась — громко и от души.

— Ох, уважаемый! Да ты просто находка. Ступай к моему управляющему и проси у него все, что захочешь. Мы еще побеседуем — может, отужинаешь со мной вечером?

— Но… но я не могу, — растерялся изумленный юноша. — Сегодня наш святой день, владычица. И завтра… Может, послезавтра?

— Непременно, — кивнула Клеопатра, изрядно позабавленная.

В таком замечательном расположении духа она и встретила долгожданную новость, которую Диона тоже ждала с самого рассвета: Антоний прибыл в Александрию. Примет ли его царица?

Царица его примет. Лицо Клеопатры было спокойным, даже бесстрастным, голос — ровным и твердым. Но Диона успела заметить, как сверкнули ее глаза, прежде чем она притушила их блеск. Клеопатра не сомневалась в Антонии, но есть еще время, судьба, неотвратимый рок и могущество Рима — она с содроганием и безотчетным страхом подумала об этом.

Антоний прибыл без свиты — как обычный гражданин Рима. Вместо доспехов на нем была тога с каймой сенатора[14], и абсолютно ничто во внешности или поведении не возвышало его над любым другим римлянином его сословия. Его не сопровождали легионеры. У него не было оружия. Ему ли не знать, как обставил свой первый въезд в Александрию Цезарь: явился с эскортом целой армии, выставляя на всеобщее обозрение знаки отличия консула — пусть враждебный город знает, что пришел его властелин и покоритель. И город ответил на вызов вооруженной толпой.

Антоний же оказался мудрее: прибыл как гость и друг царицы. Его спутники, шедшие с ним бок о бок, могли быть и доблестными воинами, и почтенными гражданами Рима, но все же городу беспокоиться было не о чем. Александрия приветствовала человека, который щадил и уважал ее гордость.

С высоты, из окна дворца, Диона наблюдала за ним. Антоний не тащил за собой хвоста зевак, похожего на тот, что тянулся по берегу за флотом Клеопатры во время ее путешествия в Тарс, но все же рядом с ним и его спутниками городская толпа была гуще. Он двигался по направлению к дворцу в сопровождении приближенных, одетых в белоснежные свежевыстиранные тоги, и народ все сбегался и сбегался, окружая их плотным кольцом.

Антоний шел, словно на прогулке — не слишком быстро, но и не слишком медленно, словно был путешественником, прибывшим полюбоваться на красоты величайшего из городов. Пару раз он остановился, хотя знал наверняка — или догадывался — Клеопатра ожидает его в зале для аудиенций. Похоже, Антоний пытался преподать царице своеобразный урок, дать понять, что тоже умеет заставить просителя ждать. А может, будучи

в тот момент просто Антонием, он искренне восхищался великолепием города.

Это был чудесный денек для них обоих: прохладный, ясный, напоенный свежим, упругим, легкокрылым ветерком, под стать тому, что так плавно гнал его суда в гавань залива. В лучах солнца Фаросский маяк полыхал странно-белым пламенем, и корабельщики, эти странники водных просторов, не нуждаясь в других путеводных звездах, издалека плыли на его свет сквозь ночь и туман. Море сияло чистейшей сочной лазурью, слегка волновавшей ажурно-белыми легкими всплесками пены; город радовал глаз калейдоскопом белого, зеленого, красного и золотого.

Диона с маленькой кошкой-богиней в руках прислонилась к оконному проему. Она не была уверена, что ей хочется разбираться в своих чувствах, признать, что, глядя на горстку римлян в тогах, она в первую очередь смотрела вовсе не на цветущего, рослого и статного мужчину, ведшего их ко дворцу, а искала глазами человека пониже, легче сложенного и более смуглого. Должно быть, он где-то сзади, погруженный в уединение своих мыслей, и это вовсе не было одиночеством; просто Луций Севилий предпочитал собственное общество всем остальным.

Если, конечно, он вообще был среди прибывших. Рим мог позвать его назад. Приданое сестер — о нем он сам говорил, — поместья, клиенты[15], другие обязанности и обязательства могли держать его вдали от Египта. Возможно, он не присоединился к свите по приказу самого Антония или решил остаться на судне, чтобы ускользнуть от докучных игрищ царей.

Точно так же, как ускользнула она сама — правда, на свой манер. Ей надлежало по-прежнему быть в зале, вместе с другими жрицами. Она сбежала под благовидным предлогом естественных потребностей и попросту не вернулась. Впрочем, при желании она еще успела бы спуститься вниз и увидеть, как встретятся Антоний и Клеопатра. Встреча может быть холодной, если того захочет — Клеопатра или сам Антоний задумает наказать царицу за самовольный отъезд из Тарса.

Впрочем, сейчас это не имело значения. Здесь, наверху, у окна, где теплые лучи солнца мягко зрели лицо, ее интересовало лишь одно: прибыл ли с триумвиром в Александрию Луций Севилий, гаруспик?

Как странно, подумала Диона, что до сих пор она ни о чем не догадывалась, не понимала, что с нею происходит. Она даже не слишком скучала по нем. У нее было достаточно дел: семья — нужно заботиться о Тимолеоне и навещать Андрогея, царица, которой следует прислуживать, и богиня, которой надо служить. Странные ощущения возвращались или когда она была в одиночестве, или когда пыталась уснуть: зыбучие островки воспоминаний — слово, взгляд, тень улыбки, изогнувшей уголки губ. Но ни одно из этих ускользавших видений до сегодняшнего дня не вразумило ее, не показало с неожиданной, не оставляющей сомнения ясностью, что у нее на самом деле на сердце.

Она будет очень разочарована, если Луций Севилий не приплыл в Александрию вместе с Антонием.

Луций Севилий, гаруспик, не мог с легкостью допустить, что он разочарован. Не городом, конечно же, нет: Александрия была тем самым ошеломляющим чудом величия и красоты, каким и рисовала ее молва, и вряд ли можно найти слова, чтобы описать роскошь дворца — все краски поблекли бы, — хотя, возможно, такие излишества и грешили против строгого римского вкуса. И уж, безусловно, не царицей, принявшей Антония вовсе не в самой официальной обстановке, которую она обычно предпочитала. Ее придворные были

явно пышнее и роскошнее разодеты, чем всегда, но все же не столь помпезно для такого повода; те, при которых Антоний являлся, ранее куда как больше заботились о впечатлении, пуская пыль в глаза. Клеопатра была в греческом платье, почти без претензий, и ее трон удивлял сходством с обычным позолоченным стулом.

Антоний приблизился к подножию небольшого возвышения, на котором стоял трон, остановился и поклонился ей так, как поклонился бы любой незнакомый с ней римлянин: наклон головы и холодное «Владычица».

Встать царица не соизволила, выражение ее лица было столь же холодным, как и его, взгляд из-под полуопущенных век — таким же пытливо-пристальным:

— Господин мой триумвир, добро пожаловать в Египет. Я приветствую тебя в своих владениях.

— Благодарю тебя, владычица. Но не надо церемоний. Я прибыл сюда как частное лицо, как обычный гражданин, друг, который по чистой случайности оказался римлянином. Надеюсь, ты примешь меня соответственно.

— Где Антоний, там и Рим. Но если Антоний мудро решил в этом городе быть просто Антонием — что ж, Египет польщен, что может оказать ему столь незначительную услугу.

— Египет? — Антоний вскинул бровь. — А Клеопатра?

— Клеопатра — это и есть Египет.

— Тогда я в восторге, что оказался в Египте, — парировал Антоний с блеском в глазах, в значении которого Луций Севилий ошибиться не мог.

Судя по всему, Клеопатра тоже это заметила. Она сдвинула брови, но внезапно улыбнулась. Не будь царица на троне, она, наверное, рассмеялась бы. Она встала, сошла с возвышения и предложила ему руку с видом, присущим только ей — надменно властным и вместе с тем торжествующим. Антоний принял ее руку словно дар, каковым она и являлась, и запечатлел на ней поцелуй.

— Ах, госпожа, — вымолвил он, — как приятно вновь видеть тебя.

— И мне — тебя, — сказала она, и частичка просто Клеопатры промелькнула под царственным обличьем. Но уже через мгновение она снова стала царицей и повелевала триумвиром, словно имела право на каждое слово:

— Проводи меня в мои покои.

Придворные не сводили с них глаз, пожирая взглядами Антония. С подчеркнутым почтением он поклонился и ответил:

— Как пожелает владычица.

Все были в шоке — и александрийский двор, и римляне. То, что царица взяла себе любовника-римлянина, ни для кого не было секретом, но ей вовсе не следовало так афишировать это. Тащить его к себе в постель прямо с трона — просто неслыханно!

Мысли Луция Севилия были заняты совсем другим. Он уже отметил про себя, что возле пустого трона стояли жрицы, миниатюрные смуглые женщины в белом. Одна или две из них были весьма недурны. Но Дионы среди них не оказалось.

Луций не скучал по ней, конечно же, нет. Но в любом случае она ведь должна быть тут. Ее место здесь, подле царицы, которой она так преданно служила.

Может, она больна. Или…

«Чепуха!» — оборвал он себя. Какой только вздор не лезет в голову! И уж совсем глупо находить этот великий город скучным и пресным только потому, что ее нет рядом, чтобы

сказать ему, какой он идиот.

Остальные уже нашли себе занятие: увлеченно беседовали, возобновляя знакомство с людьми из свиты царицы, бывшими с нею в Тарсе, или разбрелись, чтобы убедиться, что внутри дворца и снаружи, в городе, нет беспорядков, к Луцию неслышно подошел дворцовый распорядитель.

— Господин, царица желает, чтобы ты чувствовал себя как дома. Если ты хочешь есть, пить или отдохнуть…

— Нет, — оборвал его Луций и, устыдившись своей грубости, поспешно прибавил:

— Нет. Нет, спасибо. Благодарю тебя.

— Значит, ты ни в чем не нуждаешься? — спросил евнух, молодой, ухоженный и немного манерный, но отменно вышколенный. Он еще не успел раздобреть, к чему мужчины его типа были склонны. Оливковая кожа и черные кудри выдавали в нем мидянина. Евнух был весьма красив и очень походил на сына Дионы, Тимолеона.

От этой мысли слова сорвались с губ Луция быстрее, чем он успел спохватиться и вовремя закрыть рот.

— Ты не видел жрицу, подругу царицы? Госпожу Диону?

Евнух ничуть не удивился, словно только и ждал этого вопроса.

— А как же, господин. Конечно, видел. Она с утра подле царицы. Ты соблаговолишь последовать за мной?

Луций почти было отказался, лихорадочно подыскивая повод. Но у него не было дела, которое привело бы его к жрице, их не объединяли общие обязанности. Диона могла быть занята. Возможно, она вообще не помнит о его существовании.

Евнух уже отвернулся и начал пробираться сквозь толпу придворных. Еще минута — и Луций потеряет его из виду. Он заторопился следом.

Римляне зашли во дворец. Диона знала, что следует спуститься в залу, но ей было так уютно здесь, высоко над городом, в обществе кошки. Комната была почти пустой — здесь стояло только ложе, изрядно обшарпанное, стол и сундук, в котором не было ничего, кроме пыли и слабого аромата кедрового дерева. По комнате гулял ветер, гоняя по полу сухие увядшие листья, и кошка, играя, носилась за ними.

Постепенно Диона стала освобождаться от мысли, так занимавшей ее все это время, — но, увы, без особого успеха. Она так и не смогла с уверенностью сказать себе, был ли среди римлян Луций Севилий. Диона тряхнула головой. Скоро это уже не будет так ее беспокоить. Пора идти — если не к царице, то к сыну, ждавшему ее к ужину. Сообразительный Тимолеон догадался взять с матери клятву, что она непременно придет.

— Все предусмотрел. Да-а, этот мальчишка станет опасным мужчиной, когда подрастет, — со смехом сказала она кошке. Та, загнав лист под ложе, повернула голову и уставилась на дверь.

Диона оставила ее неприкрытой. Никто не поднимался сюда, даже слуги здесь не убирали; эта часть дворца, такая удобная, чтобы наблюдать за подъезжающими из города, для других целей была непригодной. Некоторые из прислуги боязливо твердили, что она кишит привидениями.

Диона никогда не видела здесь ни одного призрака и даже не чуяла их присутствия. Звуки же, которые все приближались, были явно шагами живых — двух живых: один шагал чуть тяжелей, чем другой. Когда двое замешкались, у нее мелькнула надежда, что они

передумали заходить сюда. Но шаги послышались снова. Диона вздохнула и изобразила на лице улыбку — для евнуха, просунувшего голову в дверь. Он немного застенчиво улыбнулся в ответ и сказал кому-то за спиной:

— Мы пришли, господин. — А потом, взглянув на Диону: — Госпожа здесь.

Склонив голову в почтительном поклоне, евнух сразу же исчез.

Луций Севилий оказался смуглее, чем она его помнила; лицо было загорелым и обветренным, но даже это не могло скрыть румянца, залившего щеки. «Наверное, просто устал подниматься», — подумала Диона: комната находилась высоко, в конце лабиринта коридоров и лестниц.

Он оглянулся: евнух уже сбегал по лестнице — слышны были лишь его затихающие шаги.

— Ветер в парус! — сказал ему вслед Луций Севилий. — Он меня чуть не уморил.

Диона рассмеялась. Это, собственно, не было надлежащим приветствием, но Луций выглядел донельзя забавным: смущенным, с краской густого румянца, залившей щеки, и вместе с тем живым, непосредственным, хотя и комично-раздосадованным, в тоге, соскользнувшей с плеча. Он отправил ее на место раздраженным пожатием плеч и попенял Дионе.

— Неужели я проделал такой долгий путь лишь затем, чтобы ты насмехалась надо мной, госпожа?

— Не знаю, — ответила Диона. — А ты знаешь?

Луций растерянно заморгал, но буквально через минуту обрел дар речи и выпалил:

— Клянусь Юпитером, я совсем забыл, с кем имею дело.

— Извини, — проговорила Диона.

— Чего уж там, — резко ответил он.

— Какой суровый римлянин. — Она жестом пригласила его в комнату. — Хочешь сесть? Отдохнуть? Извини, у меня нет вина, чтобы угостить тебя, могу предложить только ветер, солнышко и чудовищно пыльное ложе.

— И кошку, — добавил Луций Севилий, — а еще… язычок, острей которого сыскать трудно. Знаешь, а я скучал по тебе. Все остальные — такие зануды.

Он смущенно, осторожно присел на краешек ложа. Кошка выгнулась дугой, потянулась и направилась прямо к его коленям. Диона осталась стоять у окна: мягкие лучи дня, клонившегося к вечеру, приятно грели спину.

— Значит, мне повезло больше. Александрия — вовсе не зануда. И Клеопатра с Тимолеоном — тоже. Но я тебе рада.

— Правда?

Кошка довольно урчала. Луций почесывал ей шею именно так, как ей и хотелось — не слишком быстро, но и не медленно.

— Я думал, что увижу тебя подле царицы.

— Я собиралась вернуться, — отозвалась Диона. — Но здесь куда спокойней.

— Ты права, — согласился он.

Воцарилось молчание — приятное, легкое, не из тех неловких минут, которые извели бы ее, прервись разговор с любым другим человеком, особенно если бы она не видела его с лета. Диона совсем позабыла, как хорош собой Луций Севилий, и хихикнула про себя: для другого мужчины красота стала бы делом всей его жизни, но этому, казалось, жилось намного легче — он не выщипывал густые черные брови, почти сросшиеся на переносице,

волосы его свободно падали на плечи упрямыми кудрями вместо благообразных локонов, из-под тоги виднелась безукоризненно чистая, но уже поношенная туника. Слава богам, хоть сандалии были новыми, наимоднейшего фасона и самого лучшего качества — как и все его вещи.

После недолгой паузы Диона сказала:

— Скоро я должна уходить. Я дала Тимолеону страшную клятву, что вернусь домой к ужину.

— Само собой, клятву нарушать нельзя, — согласился он.

— Ни в коем случае, — подтвердила Диона и, помолчав, предложила:

— Но ты можешь поужинать с нами. Если, конечно, у тебя нет других дел. Триумвир, царица…

Диона запнулась. Раньше она никогда не приглашала его отужинать с ними. В Тарсе не представлялось случая: им постоянно приходилось участвовать в какой-нибудь пирушке царицы и триумвира. У них обоих не было места, где можно побыть вдвоем — впрочем, они и не искали его.

Луций Севилий так долго мешкал с ответом, что Диона уже почти была уверена — откажется. Но потом он только спросил:

— А Тимолеон будет не против?

— Сомневаюсь, — ответила Диона.

Какое-то мгновение он колебался.

— Тогда приду. Надеюсь, я не сразу найду в своей чашке лягушку. Или на этот раз ожидается змея?

— Ни то, ни другое, — ответила Диона с ноткой, подозрительно похожей на восхищение, правда, смешанное с ужасом. — Недавно он налил в кружку слуги вместо пива кое-что такое, о чем даже не хочется говорить вслух.

Его брови приподнялись.

— Неужели кошачью мочу?

Взрыв смеха Дионы был мгновенным ответом на его слова.

— Да-а, ты хорошо знаешь Тимолеона.

— Я хорошо знаю египетское пиво, — с ухмылкой отозвался Луций Севилий.

— Сегодня вечером у нас будет весьма пристойное вино — хиосское [16]. Или… — Она сделала паузу. — Вполне пригодная вода для питья. Сомневаюсь, что у злодея будет достаточно времени, чтоб заготовить тебе сюрприз. Хотя… однажды он умудрился притащить одному из моих гостей чистейшей александрийской воды… из какого-то болота возле залива.

— Очень была зеленая? — поинтересовался Луций.

— И вся кишела какими-то живчиками. — Диона содрогнулась при воспоминании. — О, как я рада, что ты здесь! Больше никто не понимает этого ребенка.

— Но его вовсе не трудно понимать. И… даже очень интересно.

— Безнадежный случай. Мой сын неисправим, — смущенно засмеявшись, констатировала Диона и, собравшись с духом, предложила: — Ну что, посмотрим, чем он порадует нас сегодня вечером?

13

Но у Тимолеона в запасе для гостя матери не оказалось ничего, кроме долгого, пристального и колючего взгляда.

— А, вот это кто… отлично. Я и сам думал, что ты придешь к нам вечером. Ты привез мне что-нибудь из Сирии?

Как оказалось, привез то, что, по мнению Дионы, было весьма мило с его стороны. Луций выбрал в подарок Тимолеону кинжал в ножнах, а Дионе — амфору с цекубским.

— Надеюсь, оно так и осталось цекубским, — сказал он, бросив взгляд в сторону Тимолеона. — Конечно, чистейшая александрийская вода — замечательная вещь, но красные цекубские вина заслуживают того, чтобы пить их в том виде, в котором они изготовлены.

Если не считать мелких пакостей Тимолеона, вечер в целом прошел очень успешно. Когда мальчик наконец отправился спать, беспрерывно вынимая кинжал из ножен и засовывая его обратно, Диона наполнила лучшие серебряные кубки крепким вином и сказала:

— Наверное, тебе приготовили покои во дворце?

— Думаю, да, — отозвался Луций Севилий. Судя по всему, он очень уютно и непринужденно чувствовал себя на ложе, предназначенном для самых почетных гостей, в превосходном малиново-красном хитоне, принадлежавшем Аполлонию. В сущности, тому он никогда не был к лицу — его бледная кожа в соседстве с таким ярким цветом приобретала еще более болезненный оттенок. А Луций Севилий, загорелый, высокий, выглядел в нем великолепно.

— Ты можешь погостить у нас, — предложила Диона. — Здесь есть свободная комната, как ведомо богине.

Его взгляд был быстрым и красноречивым.

— Не беспокойся, мне безразлично, что скажут люди. Если только ты не подумаешь ничего дурного.

— Конечно, нет, — ответил он, залившись румянцем. — Но твоя репутация… честь… твой сын…

— Ты — мой гость, и я предлагаю тебе кров и дружбу, — промолвила она, отчетливо произнося каждое слово. — Не больше и не меньше. Дворец — это муравейник. Никто, кроме царицы, в точности не представляет, что в нем творится, и мысли всех его обитателей должны быть только о ней. Там человек не принадлежит себе. Вот почему я живу в этом доме. Когда я ушла от Аполлония, царица предложила мне переехать во дворец. Я отказалась. Мне нужно место, где я могу быть самой собой.

— И ты предлагаешь мне вторгнуться в твою обитель.

— Это не вторжение, — возразила Диона. — Ты — спокойный. У тебя хорошие манеры. Ты нравишься Тимолеону. Я могу предложить тебе даже несколько комнат. Я живу недалеко от библиотеки, и от сада — тоже. И отсюда рукой подать до Мусейона[17].

Соблазн был слишком велик — она ясно видела, что он колеблется. Но Луций сказал:

— Люди начнут болтать бог знает что.

— Тебя это беспокоит?

— Да.

Она вздохнула.

— Я так и знала, что ты не согласишься. Ну что ж… Живи во дворце. В одной комнате с кем-нибудь из солдат Антония. Или они отправят тебя к евнухам — превеселая компания… Уверена, что тебе не привыкать. Ты ведь привык, правда?

— У меня всегда была своя комната, — ответил он твердо и жестко.

— Может быть… и на этот раз будет.

Диона пожала плечами, словно его отказ нисколько не задел ее. В сущности, Луций Севилий прав: женщина, живущая одна — не вдова и не замужняя, — не должна приглашать в свой дом мужчину. И неважно, насколько невинно ее приглашение.

Но почему, почему, почему это должно иметь такое значение.

— Подумай — во дворце тебе будет несладко, — мягко настаивала она. — Ты ведь и сам об этом догадываешься. Тут, кстати, между мужской и женской половиной есть коридор. А дверь выходит на улицу и запирается на замок. Это фактически отдельный дом. Я сдам тебе его в аренду. Может же женщина позволить себе такое — даже женщина, не имеющая мужчины, который мог бы блюсти ее репутацию? Ты будешь платить мне одну амфору цекубского в месяц.

— Дороговато, — нарушил наконец молчание Луций Севилий.

— Что ж, тогда — амфору цекубского в качестве задатка и уроки латыни Тимолеону.

— А это — слишком дешево.

Он улыбался — не столь непринужденно, как было ему свойственно, но так, словно не мог удержаться от улыбки.

Вино я тебе подарю… Я согласен учить Тимолеона и расплачусь с тобой списком «Галльских войн» Цезаря.

— О нет, пожалуйста, не наказывай меня так, — взмолилась Диона. — Уроки латыни и «Свекровь» Теренция[18], переписанная отменным почерком.

— По рукам! Но почему «Свекровь»?

— Просто эта вещь мне нравится.

Луций засмеялся, но затем нахмурился.

— Я не уверен…

— Это — честная сделка, — убеждала она его. — Я — хозяйка дома; ты — мой постоялец. Даже римская матрона не смогла бы ни к чему придраться.

— Ну-у, римскую матрону не убедил бы и сам царь Минос[19]. — Луций Севилий покачал головой. — Однако, кажется, меня ты убедила. Похоже, ты знаешь, как лишить мужчину воли. Но грозить мне компанией евнухов царицы со слащавыми скользкими рожами — дешевый прием!

— Однако он сработал, — поддела его Диона. — Евнухи неизбежны, как мухи, — если только люди Антония сами не найдут себе жилья или не научатся не обращать на них внимания. Боюсь, они зачастят ко мне, как только узнают, что у меня есть убежище. Ну да ладно. Тимолеону ты нравишься. Он даже не подлил тебе уксуса в вино.

— Я полагаю, он еще успеет это сделать, если я поддамся тебе.

Луций откинулся на спинку кушетки с видом человека, проигравшего сражение, которое он, по чести сказать, и не особенно хотел выиграть, и отхлебнул изрядный глоток вина.

— Может постоялец побеспокоить свою хозяйку просьбой угостить его еще одним кусочком этого весьма необычного торта?

Она передала ему тарелку.

— Торт с миндалем и с медом. А специи — секрет хозяйки.

— Какой таинственный торт! — сказал Луций Севилий. Мгновенно проглотил кусок и снова наполнил кубки. Что ж, желаю хозяйке процветать, раз уж она решила стать деловой женщиной.

Диона подняла кубок и отпила вина.

— За процветание! — проговорила она.

Судачить, конечно, начали, как обычно и водится. Но это ничего не значило ни для Дионы, ни для Тимолеона. Луций Севилий был ничуть не обременительным постояльцем. Он входил и выходил через собственную дверь, выполнял все просьбы и приказания триумвира, проводил почти все свободное время в огромной библиотеке Мусейона и александрийской академии или осматривал город и пригороды. Луций учил Тимолеона своей изысканной латыни, а Тимолеон Луция — беглому разговорному египетскому.

Это была самая чудесная зима в жизни Дионы. На улице дул сильный, пронизывающий ветер, приносящий с собой стужу и непогоду, но в доме было тепло, и до Дионы доносились голоса, повторявшие латынь, и нескладные, но забористые уличные египетские стишки. Вечерами, когда не было дел во дворце или храме, она часто ужинала с Луцием Севилием или сидела с ним возле жаровни, болтая обо всем, что только приходило ей в голову.

Луций Севилий был счастлив. Такое состояние было ему непривычно, но в конце концов он понял, что это и есть счастье. Ту зиму он прожил в Александрии, вместо того чтобы находиться в милом сердцу далеком Риме. Чужеземный город незаметно очаровал его, стал казаться очень знакомым — с его жителями, сплошными полиглотами, и толпами даже на улицах окраин. В тот день, когда Луций ответил на брань возницы еще более ядреным ругательством и получил в награду гром аплодисментов, он вернулся в дом своей хозяйки весьма смущенный, но невероятно счастливый. Он чувствовал себя — о боги!.. — он чувствовал себя почти александрийцем.

Хотя для уроков латыни время еще не пришло, Тимолеон сидел возле жаровни в комнате Луция, превращенной в своего рода кабинет. Когда вошел его наставник, мальчик вздрогнул, хотя тот вовсе не видел причин для такого смущения: Тимолеон не набедокурил, даже не накарябал забавных каракулей или рисунков на восковой табличке, лежавшей на столе. Он сидел на стуле, поджав под себя ногу, и, Казалось, до прихода Луция вообще ничего не делал.

Луций приподнял бровь.

— Ну? Лягушка уже в чернильнице?

— Нет! — Ответ Тимолеона был быстрым и решительным, но Луций не почувствовал в нем ни малейшей фальши. С этим покончено. Я хочу стать благовоспитанным господином.

— А разве ты таким не родился?

— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду, — фыркнул Тимолеон. — Мне надоело, что меня считают неисправимым. Хватит с меня! С сегодняшнего дня буду прилежным учеником. И вообще я хочу стать философом.

— Желаю успеха, — мрачно заметил Луций.

Тимолеон метнул в него возмущенный взгляд, но лицо его осталось спокойным — мальчик умел владеть собой. Глаза же смотрели вызывающе.

— Ты смеешься надо мной.

— Я тоже однажды раздумывал — не стать ли мне благовоспитанным господином? Тогда я был почти в том же возрасте, что и ты сейчас.

— Ну и как? Вышло?

— Не знаю, — ответил Луций. — А ты как думаешь, вышло?

— Я думаю, — сказал Тимолеон, — что ты считаешь меня глупцом. А я просто ребенок. И не ведаю, что творю.

— Это в десять-то лет? Время для таких отговорок давно уже прошло — ты вот-вот станешь молодым мужчиной.

— Э-э… До того как я стану мужчиной, мне еще пыхтеть и пыхтеть. Я просто лопну от нетерпения, пока это случится.

— Не лопнешь, — заверил его Луций и вдруг содрогнулся. В нескольких шагах от жаровни было холодно, по углам комнаты теснились тени. Он подошел поближе к огню.

Взгляд Тимолеона стал неожиданно зорким, цепким и каким-то потусторонним — так могла смотреть лишь его мать.

— Что это было? Знамение? Ты видел знак?

— Нет. Я ничего не видел.

— Мама говорит, что боги разговаривают с тобой. Они посылают тебе знамения, но ты должен выполнять ритуалы, чтобы не бояться их, и держать ухо востро, чтобы слышать. А ты часто хлопаешь ушами — это она так говорит. Ну, может, другими словами, но все же… Ты — жрец, но не хочешь вести себя так, как подобает жрецу.

Луций вспыхнул, но тут же взял себя в руки. Тимолеон всего лишь ребенок и поэтому воспринимает слова взрослых буквально.

— Жрец — это просто частица официального Рима, Римского государства. Он исполняет обряды, и если он авгур или гаруспик, то должен трактовать по утрам знаки: один за другим, от начала до конца, без ошибок и перерывов. Здесь нет ничего мистического.

— А мама говорит совсем другое, — заявил отпрыск жрицы. — Она говорит, что настоящий жрец — ты, а не тот, кто носит священные одежды и болтает почем зря. Ты видишь настоящие знаки. Это причиняет тебе немало хлопот, не так ли? Ты сохраняешь спокойствие, видя дурные знаки, и сообщаешь о них, хотя некто могущественный хочет, чтобы они были хорошими.

— Все жрецы — настоящие. Каждый из нас видит знаки — нас ведь этому и учили.

— Но ты их не выдумываешь, — заметил Тимолеон. — А другие жрецы жульничают. Я это не раз видел, например, сегодня утром. Один старикан, похожий на гусака, копался во внутренностях барана и заявил, что там нет печени. Но она там была! Он ее просто стянул под шумок, чтобы люди думали — сегодня плохой день. В обмен на такие слова кто-то сунул ему кошелек. По-моему, это как в ристании[20] — когда наезднику дают деньги, чтобы один конь отстал, а другой за счет него выиграл.

Луций покачал головой и вздохнул.

— Ты начал шпионить за гаруспиками до или после того, как решил стать благовоспитанным господином?

— Конечно, до, — отрезал Тимолеон с видом человека, раздраженного тугоумным, докучным ребенком. — Зачем выдумывать знаки? Язык богов читать нетрудно, если у тебя есть глаза. Так делает мама. И она говорит, что ты — тоже. Боги не лгут тебе, а ты не обманываешь всех остальных.

— Да, боги не лгут, — согласился Луций. — А люди могут, потому что так уж они созданы.

— Но не ты.

— Ну-у, я тоже не само совершенство, как и все мы. Я такой же жрец, как и Публий Анний Анцер — не лучше и не хуже.

— Старый гусак не видит дальше своего носа. И к тому же слишком озабочен, как и куда прятать печень. Он даже забыл сосчитать бородавки на кишках. А я сосчитал. Число-то было благоприятным. И будь уверен, кони Мамертина выиграют ристания. Его возница Деллий — в отличной форме.

— Ну, хватит! Сколько можно… — начал Луций, но одернул себя и умолк. Юпитер свидетель, этот щенок заставляет его, Луция, чувствовать себя медведем на цепи!

— Позволь узнать, какова причина этой перепалки. Ты, наверное, заговариваешь мне зубы, чтобы я не сразу узнал о твоих последних проделках?

— Наконец-то я тебя рассердил, — сказал Тимолеон без малейшей тени раскаяния. — Но я просто хотел выяснить, можешь ли ты увидеть знак для меня. Мне негде взять барашка, но у кухарки есть жирный гусь. Пойдет?

— О, Геката[21]! Какие еще знаки тебе нужны от меня? У тебя мать — прорицательница.

— Она видит только то, что позволяет видеть богиня. И все ее знаки очень неинтересные.

— Да уж… — сухо сказал Луций. — Только знамения касательно войны и политики, жизни и смерти царей.

— Вот-вот, о чем я и говорю. Они и вправду скучные, да? Мама не видит того, что хотелось бы узнать мне. Например, кто выиграет в завтрашнем ристании? Выцарапает ли Таис-младшая глаза Нубийской Красотке, когда узнает, кто забавляется с ее римским любимцем на стороне?

— Не очень-то высоки твои помыслы, — заметил Луций.

— Зато я не зануда, — парировал Тимолеон. Он непринужденно расположился на стуле — единственном удобном стуле во всей комнате, — хотя сам Луций все еще стоял в паллии[22] и уличной обуви. Мальчик этого даже и не заметил. — Ну и что? Один гусь сойдет, или нужно два? Ты покажешь мне, как это делать? Тогда я больше не буду к тебе приставать.

Луций пристально посмотрел на него. Взгляд был холоден.

— Ты уже наверняка попробовал.

Щеки Тимолеона залила слабая краска, и неожиданно он стал поразительно похож на мать.

— Нет. Нет, даю слово. Я просто наблюдал за гаруспиками, вот и все. Смотрел, как они это делают. Но, понимаешь, мне нужно знать, что именно они делают. Научи меня — и я оставлю тебя в покое.

— А ты, видно, думаешь, что я действительно тебе расскажу? Но это — секрет. Тайна. Если твои боги призовут тебя, ты сам обо всем узнаешь — разве не так верят в Египте? Не надо меня просить искать для тебя знаки. Придет срок — и ты сам увидишь, если будет угодно богам.

— Но ты говорил, — возразил Тимолеон, — ничего особенного не нужно…

— Ты не римлянин, — ответил Луций.

— И слава богам! Я очень рад, — бросил Тимолеон. — Ты такой же вредный и

упрямый, как моя мать.

— Думаю, я назвал бы это мудростью, — спокойно ответил Луций. — Безрассудно требовать даров богов — в конце концов они заставят тебя поплатиться за назойливость. И назначат очень высокую цену.

— Да-а? А вот по старине Гусаку не скажешь, что у него неприятности.

— А что ты о нем знаешь? У него уже пятая жена! Он видел смерть сына, не дожившего до зрелости. Он дважды усыновлял детей, но оба мальчика умерли. С его смертью закончится его род. Но он по-прежнему продолжает подделывать знаки и морочить людям голову.

Тимолеон никак не мог успокоиться, но Луцию удалось слегка урезонить его.

— Дай мне клятву, — проговорил он. — Поклянись, что никогда не будешь пытаться заставить богов раскрыть тебе их секреты. Если они сами пожелают, на то их воля. Но никакого принуждения, настойчивости не должно быть. И не следует перерезать глотку ни в чем не повинным животным только потому, что тебе захотелось взглянуть на их печень.

— Но ты… — начал Тимолеон и замолк. Казалось, он призадумался. Возможно, мальчика охладило и слегка напугало суровое, серьезное выражение лица Луция, или он наконец-то осознал сказанное им. — А что я получу взамен за свою клятву.

«Александриец до мозга костей», — подумал Луций.

— Тогда боги не заставят тебя платить за твою назойливость. И не ищи у меня защиты, если я услышу, что ты все равно пытаешься стать гаруспиком на свой страх и риск.

Какой-то из этих аргументов наконец одолел упрямство Тимолеона.

— Клянусь, — проговорил он не сразу, явно не по доброй воле, но вполне отчетливо. — А теперь ты предскажешь мне мою судьбу? Ну хоть немного.

— Конечно, — ответил Луций, слегка ошеломив своего подопечного. — Сейчас ты выйдешь из этой комнаты, поужинаешь и отправишься спать. Тебе приснится… кража печени, уже не сомневайся, и человек, который лжет, когда боги открывают ему истину. Вот и все… Большего тебе пока знать не нужно.

— Он, наверное, смертельно скучный? — спросила Диону Клеопатра.

Настал первый ясный день после недели дождей и колючего ветра. Антония в городе не было — он охотился на болотах, окружающих озеро Мареотис. Клеопатра не возражала бы отправиться вместе с ним, но беременность уже стала ощутимой помехой; ее стан слишком округлился, чтобы ездить верхом, и вдобавок ее беспрестанно подташнивало, поэтому она даже не могла наблюдать за охотой из лодки. Почти все время она отдыхала на ложе в самых просторных своих зимних покоях, позолоченных солнечным светом, лившимся сквозь окна с раскрытыми ставнями. Пламя жаровни, разгоняло зябкую стужу.

Хотя тело царицы Египта раздалось и она стала на редкость неповоротливой, ум ее был живым и быстрым, как всегда, и, как всегда, безжалостным.

— Он такой застенчивый, — продолжала она, — ни слова о себе. Но смотреть на него приятно — видишь, я жалую тебе свое одобрение. Он и вправду весьма красив.

— Ну-у, иногда он очень даже разговорчив. — Диона знала, что лучше казаться безразличной, но не стерпела — она не могла не защитить своего постояльца. — Просто он не рассказывает о себе первому встречному.

— В самом деле? — Клеопатра вскинула бровь. — И что же он говорит, когда хоть что-то говорит? Произносит долгие тирады о нюансах римских законов? Часами рассуждает о претерите[23] в греческом языке?

— Он учит Тимолеона латыни, — ответила Диона по-прежнему невозмутимо. — И с ним говорят его боги, ты же сама знаешь. Вот, например, позавчера он сказал — в сущности, без видимого знака, — что у тебя родятся близнецы, мальчик и девочка, и ты должна назвать их в честь богов.

Рука Клеопатры покоилась на холме живота, словно защищая его.

— А я ничего не вижу. Словно ослепла.

Диона медленно кивнула.

— Такое случается, когда носят в чреве ребенка, отмеченного богами. Тогда все силы матери концентрируются на нем, а все остальные небесные дары на время отступают. По крайнем мере, мне так говорили, — добавила она. — Наверное, это пугающее ощущение.

— Нет. — Клеопатра заворочалась на ложе, цыкнув на служанку, попытавшуюся поправить под ней подушки. — Итак, твой римлянин видит тогда, когда все мы слепы. Может быть, мне следует призвать его толковать знамения? Мои жрецы, маги[24] и астрологи так же незрячи, как и я, — словно и обычного светильника разглядеть не могут.

— Я могу разглядеть больше, — успокоила ее Диона. — Богиня все еще во мне, хотя в последнее время она больше молчит, чем говорит. Это время затишья и ожидания. Мы должны быть терпеливыми и радостными духом. Пройдет не так уж много времени, прежде чем окончится ожидание.

— По-моему, прошло уже слишком много времени, — проворчала Клеопатра, медленно поднимаясь с ложа, готовая пронзить свирепым взглядом любого, кто рискнет ей помочь. Оказавшись на ногах, царица снова стала проворной; она все еще не утратила грациозную походку пантеры, прохаживавшейся по комнате из полосы солнечного света в тень и обратно.

Диона подумала, что беременность идет Клеопатре. Угловатые черты ее лица смягчились, кожа казалась еще глаже — мед и сливки. Царица беспокоилась, что Антонию будет неприятно ее раздавшееся тело, но, насколько могла видеть Диона, он был совершенно очарован своей возлюбленной и лелеял ее так, словно она была сделана из самого хрупкого стекла.

Иногда это бесило ее, но Антоний только смеялся, по-прежнему неустанно восхищался ею и называл своей царицей кошек.

— А что еще видел твой римлянин?

Вопрос был внезапным — совсем в духе Клеопатры. Диона ответила:

— Насколько я знаю, только это. По большей части он отрицает, что способен видеть вообще, и считает, что магия существует для чужеземцев и женщин. По его мнению, мужчины становятся жрецами только потому, что этого требует от них государство. На самом деле они не говорят с богами и не передают им известий от смертных, хотя могут изобразить из себя все что угодно.

— Немного же он знает, — съязвила Клеопатра. — Правда, Антоний ничуть не лучше. Утром он заявил мне, будто хочет, чтобы жрицы Амона [25] увидели для него знак. Ему нужна парочка знаков или хотя бы один — чтобы ублажить своих солдат, прежде чем он спровадит их в Парфию.

У Дионы перехватило дыхание.

— И он осмелился? Что же он сказал, услышав их мнение о себе?

— Ничего, и они — ничего. Я отправила его на охоту прежде, чем он смог перекинуться с ними хотя бы словом. С божьей помощью он уже обо все позабудет, когда вернется назад.

— Я не была бы так уверена, — возразила Диона. Клеопатра едва заметно улыбнулась.
— А я — напротив. Уж об этом-то я позабочусь.

Компания охотников возвратилась намного раньше, чем ожидали обе женщины, но с добычей: утками, гусями, даже молодым бегемотом, забредшим внутрь кольца охотников, — сам Антоний пронзил его копьем. Лицо его еще пылало возбуждением, но все же что-то необычное примешивалось к этому горячечному румянцу — белизна возле ноздрей, напряженность мышц у глаз. Он поклонился царице, поцеловал ее — слишком картинно-изящно перед лицом двора. Она ответила на поцелуй подчеркнуто пылко, казалось, не замечая его странного поведения.

Но Диона не стала привлекать к этому внимания Клеопатры. Остальные охотники пребывали в таком же слегка безумном настроении — те же быстрые, меткие взгляды… Она пожалела, что среди них нет Луция Севилия. Ее постоялец отправился в Мусейон, мягко обронив, что он, конечно, усматривает определенную добродетель в добывании ужина посредством охоты, но сам предпочитает охотиться за сокровищами в компании философов. Если бы Луций находился здесь, она смогла бы попытаться выяснить у него, что же все-таки происходит.

Но его здесь не было, и Диона ничего не предпринимала. Она была не вправе допытываться у супруга царицы, что все это значит. И не могла заговорить, пока царица не заговорит первой. А Клеопатру, казалось, занимал только бегемот: она восторгалась ловкостью своего возлюбленного, давала распоряжения об ужине для охотников и с увлечением хлопотала по хозяйству, пока Антоний принимал ванну и отдыхал. Приближался вечер, Диона вспомнила о Тимолеоне и о Луции Севилии — вот-вот он вернется из Мусейона и начнет искать ее, чтобы вместе поужинать. В сущности, она была свободна и могла идти домой, но однако осталась — сама не понимая почему, но знала, что следует поступить именно так.

Пока Клеопатра хмурилась, глядя на счета, задавая своему диойкету[26] бесчисленные вопросы и выслушивая его объяснения, пришел Антоний и сел на ложе возле нее. Он всегда казался слишком большим для комнат, в которых находился, особенно для этого дворца, с его изобильной роскошью, неумеренной позолотой и шелками везде и всюду. Тем вечером ему не сиделось на месте — он вертел в руках перо, оброненное писцом, заглядывал царице через плечо, вскакивал, когда ему становилось ясно, что она все еще не собирается всецело посвятить себя его обществу, расхаживал от одной расписанной стены к другой — от барельефов со львами к фрескам с изображением бегемотов в зарослях папируса. Вообще-то, Антоний никогда не раздражался и не возражал, когда царица была слишком занята, чтобы уделить ему больше внимания, чем просто улыбка; в отличие от Цезаря, который ожидал от нее полной и немедленной сосредоточенности только на его персоне в любой момент, когда бы он ни появился, Антоний понимал, что Клеопатра царица, а не только его любовница, и должна править своим царством.

Диона смотрела на него без тени улыбки. Он забрел в уголок, где она сидела, и с любопытством заглянул в книжку, которую она держала на коленях.

— Что ты читаешь?

— Теренция.

— Вот как… Мне больше по душе Плавт[27]. Ты видела его пьесы на сцене?

— Конечно, — сказала Диона. — Когда была в Риме.

— Вот как… — повторил Антоний. — Я и позабыл, что ты тогда сопровождала царицу.

— Да, — подтвердила Диона.

Наступило молчание. Антоний все еще сидел рядом, но она не собиралась поддерживать беседу, а устроилась поудобнее и снова погрузилась в чтение.

Спустя некоторое время царица закончила свои занятия и отпустила писца и диойкета. Она еще немного посидела на своем месте, потирая глаза, и улыбнулась Антонию.

— Дело сделано. Все, с меня хватит. На ужин у нас утка, гусь и жирный бычок. Мы будем пить хиосское, или лучше начать с самосского?

— Вели подать оба — не ошибешься, — Антоний по-прежнему стоял возле Дионы, склонившись над нею. Она упрямо пыталась читать, невзирая на то, что он загораживал свет.

Казалось, Клеопатра наконец заметила: что-то не так.

— Что-то случилось?

— Нет. Нет, вовсе нет. С чего ты взяла?

— Ты закоренелый лжец, — сказала она. — Ну-ка, признавайся. Один из твоих дюжих молодцов расколотил еще одну вазу?

— Нет, — упорствовал он. — Ничего не произошло. Правда, все хорошо.

— Хорошо? — Клеопатра пытливо взглянула на него. — Ты отмахиваешься от меня, как лошадь от роя мух. Известие от твоей жены, я угадала? Она направляется сюда, чтобы забрать тебя назад в Рим?

— Упаси боже! — воскликнул Антоний с неподдельной искренностью. И все же по коже Дионы пробежал холодок.

Наконец, видимо, не в состоянии больше держать свою тайну в себе, он сдался.

— Мне и на самом деле необходимо уехать. Но не в Рим.

Клеопатра сохраняла спокойствие, но Диона видела, чего ей это стоило — губы царицы были крепко-крепко сжаты.

— Парфия?

Антоний кивнул. Напряжение вытекло из него волной облегчения.

— Дела плохи. Парфяне устали ждать моей атаки. Они уже маршируют по Сирии. Одного этого уже достаточно, чтобы сдвинуть меня с места, но они прихватили с собой еще и римлян-ренегатов, врагов Цезаря из оппозиции, которых он нажил еще до прибытия в Египет. Они движутся двумя армиями, как нам известно.

— Нам?

— Естественно, я оставил в Сирии своих людей. Один из них нашел меня, когда я возвращался с озера. Сначала он собирался ждать меня во дворце — тогда бы ты обо всем узнала одновременно со мной.

— Я и так знала, что какие-то войска направляются к Сирии, и подозревала, что парфянам надоест ждать. Но не предполагала, что это случится так скоро.

Клеопатра, охваченная гневом, холодной яростью, злилась не на него, а на себя и сеть своих шпионов. Диона пыталась понять, догадывается ли об этом Антоний. Иногда он казался ей тугоумным воякой; но потом вдруг демонстрировал вспышку недюжинного ума и тонкой проницательности — глядя на его простоватое бесстрастное лицо солдата, трудно было вообразить такое.

Казалось, он не особенно интересовался настроением Клеопатры, правда, с облегчением вздохнул, когда она сумела справиться с собой и не дала воли своему нраву.

— Я и сам думал, что у нас в запасе больше времени. Но какой прок убиваться над тем,

что могло случиться и не случилось. Мне придется собрать своих солдат и отплыть в Сирию как можно скорее. У меня отличная армия, отменные воины, но что они могут без полководца.

— Присматривай за ними, — вдруг сказала Диона. — Чтобы они не переметнулись к врагу.

Оба — и триумвир и царица — разом обернулись и пристально взглянули на нее. Она чувствовала, как щеки заливает румянец, но продолжала, потому что сама богиня принуждала ее.

— Римлян, сражавшихся с парфянами… можно уговорить, переманить. Ты — желанный гость в Египте, вошел в союз с чужестранцами и даже взял жену-чужестранку. Они могут последовать твоему примеру.

В горле Антония заклокотал рык.

— Не посмеют!

Диона прикусила язык. Но Клеопатра неожиданно поддержала ее.

— Я не могу отрицать такой возможности. Тебе, конечно же, следует ехать. Я буду считать каждый час до твоего возвращения и молить богов, чтобы они даровали тебе победу и как можно скорее вернули мне тебя…

— Ждать придется долго… — Диона снова была во власти воли богини. Клеопатра вовсе не хотела слышать этих слов. — И еще: подумай о Риме. Там повсюду бунты, распри, война, друг пошел на друга, и римлянин — на римлянина… Ты знаешь, чем занята твоя жена, Марк Антоний?

— Моя жена — здесь, — ответил он резко. — Правит Египтом.

— Твоя жена — римлянка, и она лелеет надежды править Римом.

— О боги, — воскликнул Антоний.

— Ступай, — холодно и твердо промолвила Клеопатра. Если ты хочешь отплыть на этой неделе, нужно успеть многое сделать.

— С этим можно подождать до утра, — возразил он.

Царица покачала головой.

— Нет. Уходи. Увидимся за ужином.

Антоний нерешительно переминался с ноги на ногу, но она уже отвернулась и сказала Дионе:

— И тебе лучше уйти. Разве тебя не ждет сын?

Диона внутренне окаменела, как от пощечины. Никогда еще Клеопатра не отсылала ее так резко, как бы дерзко она ни разговаривала с нею.

Но сейчас царица не знала снисхождения и не желала слушать женщину, которая была орудием богини. Особенно скверно то, что Антоний должен ради Парфии покинуть свою царицу. Диона — или богине — не следовало открывать ей, что война затянется; что сам Рим подрывает мощь его армии бунтами — бунтами, которые подогревает и возглавляет его настоящая, римская жена. Клеопатра всегда помнила о Фульвии[28], хотя никогда не думала о ней всерьез как о сопернице — но не любила, когда ей напоминали о ее существовании.

Диона поклонилась предельно вежливо и вышла, как ей и было велено.

Она отбросила мрачные мысли. Может быть, и печалиться не о чем. Настроение Клеопатры было таким же изменчивым, как гнев — скор; а сейчас она потрясена столь неприятным известием. Возможно, Диона в подобной ситуации вряд ли вела бы себя иначе.

14

По мнению Луция Севилия, все считали, что царица принимает новости с необычайным спокойствием и даже равнодушием.

— Неправда! — возмутилась Диона. — Люди просто ничего не понимают! Когда Клеопатра кричит и швыряется вещами, это гораздо лучше, чем когда она спокойна и невозмутима. Царица была убийственно спокойна в истории с Арсиноей.

Луцию полагалось собирать вещи — незаметно их скопилось изрядно. Конечно, это была забота его раба, да и Диона предоставила в его распоряжение своих слуг, но кое-какие вещи требовали личного внимания хозяина. Или так предполагалось, если бы он мог заставить себя собраться с мыслями. Луций поднял сандалию, о существовании которой имел самое смутное понятие, и снова уронил ее на пол.

— Ты думаешь, Клеопатра испробует все, чтобы удержать Антония подле себя?

— Нет. Она не снизойдет до этого.

— Однако по Риму ходят слухи, что царица Египта окутала триумвира чарами, чтобы приковать цепями к своему ложу, и баюкает его в роскоши, в то время как мир вокруг рушится на куски.

— Люди всегда так говорят, — отмахнулась Диона. — То же самое они твердили про Цезаря, а он и понятия не имел ни о чем подобном. Быть с ним — тяжкое испытание и для самих богов. Антоний совсем не похож на Цезаря, но он и не безвольный тюфяк, не пьяница и не волокита, каким его выставляет молва. Да и сейчас царица вовсе не хотела бы видеть его таким. Останься Антоний с нею, она презирала бы его.

— А если он не вернется, она его возненавидит, — заметил Луций Севилий.

— Все во власти времени и богов, — отозвалась Диона. Она нашла вторую сандалию и передала ее рабу Луция, который уложил ее в тюк с вещами с молчаливой старательностью.

Луций знал, каким тяжким испытанием он был для своего раба. И не раз чувствовал раскаяние, но этим утром был слишком измотан происходящим. Ему не хотелось плыть в Сирию. Но не хотелось и оставаться — правда, стоило ему попросить, Антоний, без сомнения, не отказал бы.

Восточная роскошь погрузила добродетельных неприхотливых римлян в ленивую негу и благодушие. Дело было вовсе не в несметных богатствах Египта и не в грандиозности этого великолепия — тонкий яд комфорта и покоя сделал свое дело. Египтяне — цивилизованный, оседлый народ, тогда как Рим казался кучкой шатров, разбитых в походном лагере на время привала в военном походе. В Мусейоне, даже после пожара в его легендарной библиотеке, было больше книг, чем Луций смог бы прочесть за всю свою жизнь, а в Александрии жили неописуемые красавицы, одним своим видом напоминавшие мужчине, что он — мужчина…

Одна из этих красавиц сложила его мятый хитон и разгладила морщинки на ткани маленькими ручками, такими мягкими на вид. Луций постепенно немного научился читать в ее сердце. На самом деле Диона никогда не бывала такой невозмутимой, какой хотела казаться, но она лелеяла свою невозмутимость, потому что это качество верно служило ей. Только таким образом она могла ежедневно иметь дело с непоседливым, непредсказуемым ребенком и своенравной, непростой в общении, опасной и убийственно умной царицей. И — он осмелился такое допустить — со своим постояльцем, требовавшим не меньше внимания, чем все остальные.

— Ты, наверное, порадуешься, когда я уеду, — сказал он. — Эта часть дома опять станет твоей, и твои вечера — тоже. И Тимолеон перестанет отпускать свои жуткие шуточки и рассказывать скабрезные анекдоты.

— Да уж, по ним я вряд ли буду скучать. Чего только стоит этот — про римлянина и портовую шлюху… о боги! Наверное, я очень плохая мать — не луплю его за них.

— Ну-у, ты прекрасно с ним управляешься, — заверил ее Луций с мрачной торжественностью.

Диона прикусила губу. Но смех все же вырвался наружу, несмотря на все ее старания. Она хохотала так заразительно, что Луций даже и не пытался бороться с собой.

Они насмешили друг друга до слез; когда один замолкал, другой опять заходился взрывами смеха. В конце концов оба хохотали уже без причины, не в силах остановиться.

Они все еще веселились, когда в дом ворвался смерч — в лице Аполлония. Ее бывший муж выскочил из-за спины Сенмута, слуги, — образчик благородного праведного гнева, такой донельзя комичный и нелепый, что Диона чуть не согнулась пополам от хохота, безуспешно пытаясь взять себя в руки.

Ей удалось это далеко не сразу. Прошло очень много времени, прежде чем к ней вернулось спокойствие. К тому моменту Луций стал настолько холоден, какими умеют быть только римляне. Аполлония же трясло от ярости. Но Дионе так и не удалось до конца справиться с весельем. Утирая выступившие от смеха слезы, она отчаянно пыталась принять невозмутимый вид.

— Аполлоний! Как мило, что ты зашел. Сенмут, скажи кухарке, чтобы послала за вином — выпьем немножко цекубского? По-моему, там немного осталось. И пусть принесет что-нибудь поесть.

С таким видом, словно узрел нечто крайне неприличное, Аполлоний вылетел из спальни Луция Севилия в комнату, более подходящую для приема гостей. Луций пошел за ним. Сам бы он вряд ли сделал это, но Диона крепко сжала его руку и решительно потащила прочь из спальни. Его раб с облегчением вздохнул — наконец-то он остался один и может спокойно заняться вещами.

Диона очень надеялась, что присутствие Луция Севилия и обилие вина и еды помешают тираде, которую Аполлоний, наверное, заготовил заранее, появиться на свет. Было нетрудно догадаться о ее содержании. Бывший муж не заходил сюда с тех пор, как в Александрию приплыли римляне, и даже не давал о себе знать. И Андрогей тоже больше не наносил ей нечастых, но регулярных визитов, как бывало раньше.

— Аполлоний, — сказала она, как только они расселись, — ты знаком с Луцием Севилием, гаруспиком? Луций Севилий, познакомьтесь — Аполлоний, мой бывший муж.

Луций величественно наклонил голову, словно египетский царевич, но и римлянин одновременно. Аполлоний едва удостоил его взглядом. Оба мужчины, похоже, не собирались выказывать хотя бы формального удовольствия от знакомства.

Диона подавила вздох и, изо всех сил стараясь вести себя непринужденно, заговорила.

— Луций Севилий всю зиму был моим постояльцем. Он учил Тимолеона превосходной, изящной латыни.

«А Тимолеон его — жуткому, простонародному египетскому», — подумала она про себя, украдкой взглянула на Луция и изо всех сил стиснула зубы, чтобы не расхохотаться — новый взрыв смеха грозил вот-вот вырваться наружу.

— Твой сын — примерный и сметливый ученик, — заметил Луций Севилий, правда, немного поспешно. — Ты должен гордиться им.

— Он мне мало чем обязан, — съязвил Аполлоний. — После того как мы расстались с его матерью, я отдал Тимолеона на ее попечение. Она сама так хотела: я же счел нужным не препятствовать ей.

Выражение лица Луция Севилия стало ледяным. Посторонний не сразу заметил бы это, но Диона уже хорошо его знала — достаточно хорошо, чтобы разглядеть, что таилось в его глазах и как сжался его рот в твердую узкую линию. Сейчас он казался старше, но крайней мере на свой возраст выглядел.

— В самом деле? Что ж, очень мило и великодушно с твоей стороны — сбыть с рук трудного, неуправляемого ребенка и оставить себе послушного и примерного, — саркастически заметил он.

Аполлоний взвился.

— Ты оскорбляешь меня, милейший?

— Понимай как знаешь. Кстати, что привело тебя сюда! Зачем ты нарушил покой госпожи Дионы?

— Тебе это известно лучше, чем мне, — ответил Аполлоний с кривой усмешкой.

— Ах, вот оно что! Значит, ей нужно твое соизволение, чтобы принимать гостя в своем собственном доме?

— Не просто гостя — если верить слухам.

— Любопытно. И что же ты слышал?

Диона попыталась вставить слово:

— Пожалуйста…

Оба не обратили на нее ни малейшего внимания. Аполлоний, похоже, намеренно взвинчивал себя, чтобы впасть наконец в праведное негодование.

— Я слышал, что в доме дочери Лагидов живет римлянин, увивается за ней, льстит ей, развратил ее своими подарками и в конце концов соблазнил своими прелестями — я вижу, они и впрямь весьма незаурядны. Говорят также, что она втоптала в грязь свое доброе имя, как куртизанка — хуже того: как обычная шлюха.

— По-моему, — отозвался Луций с деланным спокойствием, — ты преувеличиваешь.

— Какое же это преувеличение, если я нашел ее в твоей спальне, рядом с твоей кроватью, чуть ли не в твоих объятиях.

— Да-а, ты совсем не знаешь свою бывшую супругу, да, судя по всему, никогда и не хотел узнать, — заключил Луций Севилий, — если веришь, что она могла позволить себе что-то предосудительное, порочащее ее честь.

— Диона — впечатлительна и легко поддается влиянию. Она красива и — что кривить душой? — соблазнительна. Эту женщину слишком мало заботит ее доброе имя, а уж тем более честь — из скромности, на что я искренне надеюсь, а не из бесстыдства и похоти. Она — легкая добыча для чужестранца: ей несложно заморочить голову сладкими словами, лестью и обещаниями, а потом соблазнить и, когда уйдет прелесть новизны, бросить.

— Совсем как ты?

Аполлоний побелел.

Диона вмешалась прежде, чем могло дойти до рукоприкладства. Взгляд Луция Севилия стал ленивым — таким она его еще не видела. Но крокодилы в озере, готовясь проглотить свою жертву, смотрят именно так.

— Хотелось бы верить, — сказала она самым бесстрастным тоном, на какой только была способна, — что мужчины все-таки отличаются от жеребцов из табуна. Аполлоний, я давно не твоя жена. То, что я делаю, — не твоя забота, не ты несешь ответственность за мою честь.

— То, что делает римлянин с дочерью благородного рода Египта — забота и ответственность каждого мужчины в Двух Землях, — провозгласил Аполлоний.

— Ты смешон в своей напыщенности! Этот римлянин совершенно безобиден. Он ни разу не позволил себе оскорбить меня. А вот ты ворвался в мой дом без приглашения, обозвал меня шлюхой… Твое счастье, что я женщина. Будь я мужчиной, я убила бы тебя.

Луций Севилий, казалось, готов был вложить ей в ладонь кинжал, протяни она руку.

— Сама не будь посмешищем! — взъярился Аполлоний. — Ты хотя бы подумала, прежде чем предложить ему поселиться в твоем доме? Мозги у тебя есть?

— Можешь не сомневаться, — отрезала Диона. — А Луций Севилий — уважаемый добропорядочный человек. За жилье он уплатил мне тем, что обучал моего сына латыни.

— И обогревал тебя по ночам?

Годы общения с Клеопатрой сослужили Дионе добрую службу. Ее руки не двинулись с колен — хотя и были сжаты в кулаки; она лишь сказала с ледяным спокойствием:

— Я не нуждаюсь в твоем позволении вести себя так, как считаю нужным.

Аполлоний раскрыл рот, но Луций Севилий опередил его.

— Между нами не было ничего, кроме дозволенного приличиями, и дружбы, которой я очень рад. Ты знаешь слово — «дружба»? Или это выше твоего понимания?

Аполлоний заскрипел зубами.

— О каких приличиях может идти речь, если мужчина делит кров с женщиной, которая не является ни его женой, ни его родственницей?

— Все ясно, — заключил Луций. — Слов «хозяйка арендуемых комнат» ты тоже не понимаешь. Неужели все египетские эллины такие дремучие и безмозглые? Или только ты один.

Луций Севилий больше чем нравился Дионе, но в эту минуту она ненавидела его всем сердцем — почти так же, как Аполлония.

— Ох, умоляю вас, — начала она, призвав на помощь последние остатки терпения, — перестаньте наконец наскакивать друг на друга, как петухи перед курицей. Я думала о тебе лучше, Луций Севилий. Неужели ты не можешь замолчать первым, чтобы он поскорее ушел.

— Он оскорбляет тебя каждым словом! — Луций едва сдерживал ярость.

— О боги! — вздохнула Диона. — Похоже, в жилах любого мужчины бродит отрава, портит кровь даже самым чутким и здравомыслящим людям и лишает их разума.

Она прямо взглянула на них обоих.

— Будьте так любезны, уйдите отсюда. Оба! И никаких поединков. Я не хочу иметь на совести вашу кровь.

— Я пока не закончил! — рявкнул Аполлоний. — Отошли прочь этого чужестранца, а мы с тобой еще поговорим!

— Нет! — отрезала Диона. — Убирайся немедленно! И не возвращайся до тех пор, пока не сможешь говорить разумно — без всяких гнусностей. У тебя нет права на ревность.

— Уйти? — задиристо вопросил Аполлоний, мотнув подбородком в сторону Луция Севилия. — И оставить тебя наедине с ним?

— Он утром отплывает в Сирию, — отчетливо проговорила Диона. — И проведет ночь

один — как и всегда, с того дня, как поселился здесь. Если, конечно, для тебя не в счет кошка, которая согревает ему ноги, когда я задерживаюсь во дворце или храме.

Ее ирония ускользнула от него, чего и следовало ожидать; но Луций Севилий разразился оглушительным хохотом, за что Аполлоний наградил его убийственным взглядом.

Диона слегка повысила голос.

— Сенмут!

Слуга появился с быстротой, свидетельствующей о том, что его ухо только что оторвалось от двери.

— Сенмут, будь добр, проводи господина Аполлония до дверей. И пошли сюда Гая, чтобы помочь Луцию Севилию.

Искусству выпроваживать надоедливых гостей прежде, чем они раскроют рот, она научилась у Клеопатры. Распрощавшись, царица сразу же забывала незадачливых визитеров и вспоминала лишь тогда, когда желала их видеть или имела на это терпение. У Дионы такого дара природы не было.

Голова ее раскалывалась, а глоток вина только ухудшил дело. Диона оперлась локтями о ручки стула и спрятала лицо в ладонях, чувствуя себя совершенно измученной.

Пришла кошка — откуда-то ее выгнала гроза — и свернулась у ног хозяйки. Это было слабым утешением, но все же Дионе стало легче — по крайней мере не пролилось море слез.

15

Лучшим спасением женщины от черствости и эгоизма мужчин или разлуки с ними — кроме слез — всегда было просто переживать день за днем, занимаясь привычными делами. Для этого у Дионы был сын, ставший очень строптивым после отъезда его временного наставника, служение в храме и визиты к Клеопатре. Для Клеопатры это означало быть царицей и матерью своего сына и ждать того, кто родится.

Диона чувствовала себя сродни оставшемуся незасеянным полю. Она смотрела на Клеопатру, раздавшуюся от беременности, и подозревала себя в зависти, которая нет-нет, да покалывала ее ненароком. Ох, надо было отбросить нелепую сдержанность хотя бы на одну ночь, и у нее появилось бы что-то еще, помимо дерзкого языка Тимолеона, ради чего стоило жить. И неважно, что Луций Севилий никогда не давал ей понять, что хочет этого, и даже не выказывал своего интереса. Он холодно попрощался с нею, произнес дежурные равнодушные слова благодарности за гостеприимство; она также сухо ответила ему, и то, что лежало на сердце, осталось невысказанным.

Возможно, Клеопатра была так спокойна потому, что решила: Антоний вернется в этом году. С Дионой она держалась прохладно и отчужденно, но их отношения постепенно все же стали напоминать прежнюю давнюю дружбу. Казалось, царица не замечала, что ее жрица тоже поглощена своими мыслями.

— Ох, какая же я дура! — воскликнула Диона, оставшись наедине с кошкой. Кошка ее не слышала — она спала, подставив бока солнцу. После того как Диона подобрала ее в Тарсе, она очень скоро стала весьма упитанной, теперь же была просто толстой. Ничего, скоро она будет кормить котят и возиться с ними — и быстро похудеет.

— Я такая дура, — сказала она солнышку и тишине галереи, проходя между колоннами, похожими на вязанки тростника и папируса. Напротив галереи возвышался фонтан в греческом духе. Нимфа казалась необыкновенно глупой, дельфин усмехался с маниакальным задором.

— Никогда еще я не была такой идиоткой… Ни разу в жизни не находилась в таком дурацком положении. Впрочем, мне никогда особенно не нравилось лежать рядом с мужчиной.

Будь в галерее кто-то еще, кроме нее, он от души повеселился бы, услышав, что она никогда не лежала рядом ни с одним мужчиной, кроме своего мужа. Для Аполлония же близость с женой была таким же привычным занятием, как и все остальные, а доставлять ей удовольствие — этим он себя не утруждал. Такие мелочи Аполлония не заботили. Только однажды он спросил, не сделал ли ей больно. Так как больно не было — вернее, не больше, чем всегда, — она ответила «нет», и больше он ни о чем не спрашивал. Диона с горечью подумала, что муж мог бы заодно поинтересоваться, приносит ли он ей радость. Может, тогда она и сказала бы ему правду.

А было ли ему вообще до этого дело? Ну а если уж на то пошло, как повел бы себя Луций Севилий?

«И что я о нем знаю?» — гадала она. Действительно, что? Безусловно, он вежлив, умен, застенчив в компании, но вполне непринужден со знакомыми — это раз. Он из хорошей семьи; почти всех его родных Диона сразу узнала бы, даже случайно встретив, — столько он про них рассказывал. Это два. Он не верит в магию; по-настоящему — нет, хотя сам обладает

мистическим даром. Это три. Она знала о нем все, что только может знать друг! Луций и называл ее так… если только именно это имел в виду. Но… друг — не возлюбленный. Возможно, в таких отношениях он настоящее чудовище.

Чепуха! Что за глупости лезут ей в голову! Луций Севилий будет с женщиной мило застенчив — как тогда, когда впервые ее увидел, — или таким же добрым, понимающим, мудрым, как тот мужчина, что сидел с нею допоздна, позабыв про вино и время, хотя часто уже брезжило утро.

Да, конечно… но все-таки он ни разу, даже не намекнул, что хочет чего-то большего… Луций не женат, он сам говорил и наверняка не лгал. Была у него наложница в Галлии, но она бросила его ради мужчины, который мог на ней жениться и сделать ее почтенной дамой. Луций Севилий никогда не приводил домой женщин и не ходил в бордели… насколько ей известно. Если она была ему нужна — следовало только сказать…

А если бы он сказал? Что Диона могла ответить?

— Тупица! — выговорила она, свирепо тряся головой. — Тупица, тупица, тупица.

Кого она имела в виду? Себя? Его? На эти вопросы ответа у нее не было.

От беременности Клеопатра отяжелела настолько, что ходить ей стало трудно и неприятно; она даже старалась лишний раз не садиться на трон. Теперь царица нередко откладывала многие дела или перепоручала их сановникам. Неотложные вопросы она решала, устроившись на ложе в своих покоях, открытых свежему воздуху, или плавая в большом бассейне купальни. Только там ей становилось легче, только там ее тело, отягощенное высокой горой живота, могло немного расслабиться. Близилось время разрешения от бремени, и теперь она проводила в воде почти целые дни, вылезая наружу только для того, чтобы ее умастили благовонными маслами, сделали массаж и понежили прохладой опахал, а потом снова забиралась обратно в бассейн.

— Теперь понятно, почему Таурт[29] выглядит именно так, — жалобно произнесла она. — Ну разве придумаешь лучшее воплощение для богини деторождения, чем бегемот?

Диона сонно улыбнулась. Стояла невыносимая жара, как всегда в Египте в преддверии весны. Она оставила Клеопатру мокнуть в бассейне, а сама дремала неподалеку, дрейфуя лежа на спине; изредка ее сознание выплывало в явь. Медленно поворачивая голову, она видела царицу, расположившуюся на своем обычном месте — на выступе, по грудь в воде. Ее служанки плескались в дальнем конце бассейна, перебрасываясь шуточками. С этого же края было почти спокойно: здесь находилась только Клеопатра да она.

— Не припомню, — сказала царица, — чтобы тебя когда-нибудь разносило так, как меня сейчас. Наверное, я могла бы тебя возненавидеть от зависти. Ты всегда красива.

От ее слов Диона окончательно проснулась.

— У меня никогда не бывало близнецов — иначе я бы тоже раздалась не меньше.

— А лекари и астрологи утверждают, что у меня будет один ребенок. Честно говоря, и те и другие мне порядком надоели. Твердят: родится сын, вылитый Геракл. В простоте слова не скажут.

— Чепуха, — отмахнулась Диона. — Родятся близнецы — сын и дочь, царевич и царица[30].

— Как, мой сын не станет царем?

— Этого я не сказала, — возразила Диона. Леность мыслей ушла. Она переплыла бассейн, выбралась наверх и села на край неподалеку от Клеопатры, болтая в воде ногами. Это будет твоя единственная дочь. Она обязательно станет царицей. К тому же сын у тебя

уже есть.

— Верно. — Клеопатра откинулась головой на лазурно-синие изразцы, выстилающие бассейн, вздохнула. И у нее перехватило дыхание. Голос царицы, когда она смогла говорить, был спокоен, как всегда, но от ее слов Диона вскочила.

— Мне кажется, начинается. В воде мне легче, но сейчас… — Ее улыбка была улыбкой львицы — белозубой, неприрученной… — И между прочим, в срок. Скажи богине, чтобы сначала она подарила мне девочку — если там вообще есть девочка. Я хочу, чтобы она обязательно стала царицей.

Никто не смеет указывать богине. Но и царице — тоже. Диона хлопнула в ладоши:

— Гермиона! Елена! Быстро плывите сюда!

Царица занялась рождением детей так же основательно, как и все, что она делала. Она созвала лекарей, астрологов, жрецов и жриц, служанок и засыпала их приказаниями. В этой толчее Диона затерялась. Но, в сущности, у нее и раньше не было во дворце определенного места. Жрица царицы бывала повсюду.

Место, где царица занималась магией, относилось к тому сорту тайн, которые лучше всего сохраняются именно потому, что их не скрывают. Человеку, забредавшему сюда, оно казалось святилищем, маленьким храмом Исиды, удобно расположенным рядом с покоями царицы. Помещение было оформлено в египетском стиле; стены густо исписаны старинными словами, древними молитвами и, конечно, покрыты изображениями древних магов, шествовавших, согласно табели о рангах, от стены к стене и от потолка — к выложенному камнем полу. Алтарь очень простой: черный камень на красном — Черная Земля и Красная Земля, а вместе — Египет. Статуя богини была очень древней — ее привез из Фив[31] первый из Птолемеев. Богиня восседала на каменном троне, увенчанная короной-солнцем, и прижимала к груди своего сына Гора. Он был похож на обычного ребенка, с человеческой головой, и все же опирался о спинку трона и обнимал мать соколиными крылами.

Такую Исиду Диона любила больше всего — мать и богиню, защитницу. Она хранит их всех, простых смертных, своих детей. Именно в защите нуждалась Диона, когда царицу уложили на кровать с изображением солнца и луны. И поэтому нисколько не удивилась, обнаружив еще одно существо, объявившееся во дворце. Оно потягивалось, зевало и наконец спрыгнуло — довольно неизящно — с колен богини на пол и свернулось у щиколотки Дионы. Кошка богини Бастет, тяжелая из-за котят, была очень кстати в этот длинный день и долгую ночь.

Нечто неуловимое в мыслях Дионы подсказывало ей, что дорогое время потеряно, а помощь может прийти слишком поздно. Она бросилась к алтарю, неподвижно постояла возле и положила на него руку.

Ее пальцы коснулись холодного камня, и она вдруг поняла… Как же она могла не понять этого сразу. Схватки должны были начаться еще до того, как отошли у Клеопатры воды. Это произошло, наверное, около часа назад. А солнце садилось, приближалась ночь, несущая с собой сонмы злобных тварей, охотившихся за душами младенцев.

«Предрассудки», — сказала какая-то часть ее сознания. Каждую ночь в этот мир приходят дети — целыми и невредимыми; души одновременно с телом. Но не такие: Диона вдруг похолодела, представив, что Клеопатра родит солнце и луну; что они с Антонием занимались магией, не посвятив ее в это. Близнецы для Двух Земель… А магия, связанная с

деторождением, очень сложна и опасна.

Конечно, другие жрицы обладали не меньшим даром, чем Диона, — они могли песнями вызывать звезды на небосклон и вздымать горы на равнине. Некоторые из них находились сейчас подле царицы. Диона колебалась: не обратиться ли за помощью? Она уже было направилась к ним, чтобы попросить прибегнуть к обрядам, но кошка выгнула спину у ее ног и остановила ее.

Близилась ночь, ночь без звезд — словно огромный хищный зверь, пожирающий луну. Диона сильно дрожала, временами почти теряя сознание. Здесь не было ни снадобий, ни колдовских книг — только она сама и кошка, и богиня, безмолвствующая внутри. И тень возле стены — с головой шакала и зеленовато-желтыми глазами.

Бог Анубис провожает покинувших этот мир в подземное царство, Царство Мертвых. Но здесь он стоял как страж, защитник от жутких полуночных существ, живущих по ту сторону луны. Он протянул руки, наклонил голову с остроконечными ушами и улыбнулся ей, сверкнув клыками. У Дионы не было сил улыбаться в ответ, но его присутствие успокаивало. С ним она чувствовала себя сильнее — пусть ненамного, но все же сильнее.

Она тяжело вздохнула. В царских покоях, на хрупкой грани между сознанием и беспамятством, царица вела сражение, как каждая женщина, рождающая ребенка. Диона сама родила двух сыновей и знала всю силу и власть этой боли.

Предстояло сотворить вселенную, мир вокруг тех двоих, которые стремятся пройти сквозь врата жизни. Мозг работал быстро, четко — Диона вспоминала все, что слышала о том, как это делали боги: бросали зерна в пустоту, творили мир из частей тел собратьев-богов, замешивали глину из хаоса и пустоты и лепили землю, как гончар лепит горшки.

Она простерла руки над алтарем.

— Земля! — Простое слово было сказано: имя, мощь и власть, заключенная в этом имени.

Диона почувствовала землю в своем теле — кости, бывшие ее остовом, ноги, стоявшие на камне, лежавшем на земле под сводом небес. Она погрузилась во тьму — вся пронизанная неизъяснимым ощущением и ароматом растущего и умирающего. И смерти. Все живое и не живое было ее частичкой. Ею была Черная Земля, благословенный дар Нила, роскошная плодородная почва, которая кормила эту часть мира. Ею была и Красная Земля — настолько же пустынная и бесплодная, насколько изобильная Земля Черная; Красная Земля со всех сторон обвивала мир живущих мертвящими объятиями сухих, знойных песков. Из Земли был сделан алтарь, и на Земле же он твердо стоял. Земля — это надежность, это опора, на которой покоится весь мир.

Диона стояла возле алтаря, словно судно на якоре, сжимая руками массивный камень, мощный и незыблемый. Камень тащил ее вниз, и она отчаянно сопротивлялась. Она — часть земли, как и всякая плоть. Но ее дух, магия, живущая в ней, должны быть свободны.

— Воздух, — проговорила она и взмыла ввысь, но невысоко; сила земли удержала ее. По комнате без окон пронесся порыв ветра, раздувая ее волосы и платье, заставляя мигать и метаться пламя свечей. Он словно стремился освободить Диону от объятий земли, подчинить и сделать частью лишь своей стихии. Этого тоже нельзя было допустить. Все, что не являлось воздухом, было землей, твердой, прочной и неизменной. Воздух всегда куда-то рвался, никогда не знал покоя, и все же без земли он был лишь полоской атомов в пустоте. А без воздуха земля станет пустынной, бесплодной — ничто не будет жить на ней и расти. Они кружились в своем древнем бесконечном танце, давая начало миру: земля — под ногами,

небо — над головой.

Но это было лишь полдела.

— Вода, — еле слышно сказала Диона, балансируя между землею и небом, пока обе стихии сражались за право обладать ею целиком.

Вода, серебряная, прохладная, разливалась по черной земле, искрилась в воздухе легчайшими каплями. Вода была луной — изменчивой, но постоянной. Она текла в жилах всех живых существ, наполняло чрево женщины, соленая, как море, и дитя плавало в нем, словно странная, невиданная рыба. Вода была для ребенка самым знакомым — его первой стихией, первыми воспоминаниями, первой памятью — темнота, уют и плеск моря.

Вода была женщиной и луной, таинственной магией в ночи, Селеной египтян, Артемидой эллинов, Луной римлян, океаном, руками, скромным ручейком в саду, мощным разливом полноводного Нила… Вода была жизнью; она приносила Черную Землю на Красную, оплодотворяя ее и объединяя Египет.

Диона парила между небом и землей, безмолвная, как вода, обладающая ее мягкой силой, которая побеждает даже камень. До чего же соблазнительно было бы всегда плыть также невесомо, в тишине и покое… Но даже теперь мир сотворен не до конца. Была Земля, на которой стоят воздух, чтобы дышать, вода, чтобы питать жизнь, — но сама жизнь была последней из необходимых стихий.

— Огонь! — воскликнула она, и это был крик боли — боли и триумфа.

Пламя солнца, пламя золота в горне, пламя жаркое, чистое и очищающее, изгоняющее мрак из воздуха, шипящее при соприкосновении с водой, бешено бушующее на земле. Огонь был жизнью. От его касания земля становилась плотью, вода превращалась в кровь, а воздухом могло дышать все живое.

Однако и сейчас ее труд был не завершен. Диона сотворила и назвала целый мир. Но есть еще пятая, иллюзорная, стихия, которую она не могла ни укротить, ни приручить словами, — без этой стихии все остальные останутся лишь бесплотным шелестом ветра. Плоть им могла дать лишь богиня. Но ее нельзя принудить. Богиню можно только просить: мягко, почтительно — а тем временем магия слабела и тени сгущались.

Все сотворенное Дионой висело, как стеклянная сфера, и царица покоилась внутри нее, занятая нелегким трудом рождения детей. Жрецы молились, астрологи смотрели в гороскопы, лекари бормотали что-то невнятное, верша свою премудрую науку. Но стоит богине лишь шевельнуть пальцем — и вселенная содрогнется, мрак ночи ворвется снаружи, и грянет смерть — смерть матери, ее ребенка, одного или обоих сразу.

— В твои руки, — проговорила Диона, почти неслышно. — Мать и Богиня, отдаю все, сотворенное мною. Без тебя я ничто; и мир суть ничто, суета и тщета. Только скажи; склони голову, обрати сердце к милосердию, благослови созданное нами. Разве ты не этого хотела с самого начала? Разве мы не выполнили все твои желания?

Молчание было почти осязаемым. Еще теснее столпились тени, поблескивая голодными жадными глазами. Диона прижалась к алтарю, ожидая ответа богини, и силы оставили ее…

Из самой глубины тишины донесся звук, слабый, как горло, из которого он вырвался; как писк котенка, пришедшего в мир. Диона подняла голову, казавшуюся неподъемной, словно камень, всмотрелась… Из чрева богини появился Гор. А неподалеку лежала кошка и что-то еще: мокрое, блестящее, слепо тыкавшееся в мать. Диона всмотрелась пристальнее. Живот кошки содрогнулся в конвульсиях, и еще один котенок появился на свет.

И, словно в ответ, из-за святилища, послышался звук, такой тонкий и хрупкий, как писк

котенка. Этот звук гулом отозвался в ее голове — пеан[32], песнь победы: крик царицы, давшей миру новую жизнь, и вскоре — заливистый плач царевича.

Богиня заговорила: ночь побеждена; луна и солнце взошли над Двумя Землями.

16

Александр Гелиос и Клеопатра Селена были неотделимы друг от друга с самого мгновения их рождения. Обычно так и бывает с близнецами, но сейчас это казалось почти волшебством. Диона сотворила мир для их душ, чтобы они без страха вошли в эту жизнь, разогнала странных, зловещих тварей ночи и держала их подальше до тех пор, пока не миновала опасность, что злые духи одолеют младенцев. Самым явным результатом ее действий было то, что они совершенно не боялись темноты; но иногда Диона начинала сомневаться: не слишком ли рано оставила она свои обряды? Вдруг она выхлопотала место лишь для одной души, которая вошла в оба тела?

Близнецы были достаточно крепкими и явно разными по характеру; Гелиос — шумливый, с живым нравом и довольно упрямый, Селена — более спокойная, но и более искусная в получении желаемого. Если Гелиос бунтовал, когда что-то оказывалось ему не по нраву, пока не сдавался или не доводил себя до истерики, его сестра искала лазейку, пытаясь убедить сдаться взрослых. Вместе они были неотразимы; ни одна нянька не могла устоять перед ними, а стражники царицы преданно служили им.

Они были словно две разные половинки одного существа. Селена родилась темноглазой и темноволосой, как и ее мать. Гелиос же появился на свет с довольно темным пушком на голове: а когда чуть подрос, стал белокурым: глаза его никогда не теряли голубизну новорожденного. Его кожа была светлее, чем у Цезариона, славного смугловатого сероглазого мальчика — такими в его возрасте были все Юлии. Иногда Диона гадала: может быть, имя создает облик ребенка? Великий Александр был белокурым мужчиной, а солнце имело цвет золота.

Трудно сказать, постаралась ли только природа или помогли жрецы с их магией, но близнецы, даже новорожденные, составляли красивую пару. Клеопатра позаботилась, чтобы к Антонию послали гонцов — сообщить о рождении детей. Царица не была наивной и не надеялась, что, получив это известие, он тут же вернется в Александрию, но все же, когда прошло лето и снова начал разливаться Нил, она стала его ждать. Диона полагала, что это глупо, даже абсурдно.

Дела Антония приняли далеко не лучший оборот. Октавиан намеревался блокировать берега Италии с помощью военного флота, принадлежащего сыну Помпея, старинного союзника и врага Цезаря. Помпей Великий умер в Египте, правда, без помощи Клеопатры, и его голова была даром Египта Цезарю, когда тот прибыл в Александрию. Теперь Помпей-младший, которого звали Секст Помпей, хозяйничал, словно царь пиратов, в водах Западного Средиземноморья, и жители Рима и соседних с ним областей испытывали постоянный недостаток продовольствия. Октавиан привнес в эту морскую войну таланты своего друга Агриппы, обладавшего довольно редким для римлянина даром: он был флотоводцем, и отменным — даже блестящим. И был предан — если не Риму, то самому Октавиану.

Поскольку главный соперник Антония был занят очисткой морей от пиратских армад Секста Помпея, триумвир получил возможность сосредоточить усилия на войне с Парфией. Но этого не случилось. Антоний обнаружил, что его войска в Сирии оказались ненадежными, как и предвидела Диона. Пока он разбирался с ними, его жена-римлянка подняла восстание в Италии. Пришлось отказаться от войны на Востоке — Диона

догадывалась, в каком он пребывал расположении духа, — дабы удостовериться в том, что мятеж Фульвии потерпел поражение, а сама она сбежала. Впав в неописуемое бешенство, он настиг ее в Греции, велел жене следовать за ним как можно скорее, а сам отправился в Рим, собрав многочисленные войска. Но Фульвия умерла прежде, чем он достиг Италии.

— Ну, теперь ему нечего делать в Риме, — сказала Клеопатра, узнав такие новости. — Скоро он вернется ко мне.

Клеопатра по-прежнему не хотела слушать Диону — а та знала правду, но от комментариев воздержалась. И когда прошел слух, что Антоний с Октавианом заключил мир, она по-прежнему молчала, а Клеопатра все еще ждала своего возлюбленного.

— Скоро приедет ваш папочка, — говорила она детям, уже вышедшим из младенческого возраста и начавшим ползать, что стало для нянек сущим кошмаром, — он привезет с собой сокровища, достойные царей, и даст вам каждому по сенатору в слуги.

Дионе не верилось, что Клеопатра стала до такой степени наивной, какой сейчас казалась. Конечно, отчасти ее поведение объяснялось отчаянием, отчасти — добровольной слепотой. Когда еще был Цезарь, она не раз говорила, что не боится ни одного соперника в человеческом облике — будь то женщина или мужчина; но против Roma Dea [33] устоять не в силах. Ни одна женщина — как бы велико ни было ее могущество, как ни разносторонни таланты ее ума, тела или магии — не могла соперничать с богиней.

Если даже Цезарь, не склонявший голову ни перед одним мужчиной и признающий лишь нескольких особо почитаемых им богов, был рабом Roma Dea душой и телом, то чего же ждать от Марка Антония? Он тоже подчинится мощи и воле этого города. Такое положение вещей казалось Дионе вполне логичным. Но не она родила ему детей, и у нее не было причин ждать его возвращения. По правде сказать, она даже радовалась тому, что он уехал — своей страстью к вину и непомерной шумливостью он отвлек Клеопатру от дел насущных.

Вернувшись из Тарса, Диона лишь однажды видела своего сына Андрогея, да и то на расстоянии: она шла по одной стороне улицы, а он — по другой. Тимолеона ей приходилось видеть не чаще. Он обзавелся друзьями: мальчиками и юношами из почтенных родов, некоторых из них он знал с раннего детства. Все они встречались друг с другом в гимнасии, находившимся рядом с домом Дионы, на уроках риторики, учились ездить верхом и охотиться, и даже осваивала приемы владения оружием под неусыпным оком наставника, о котором Диона слышала только хорошее. Всего этого, казалось, с лихвой достаточно даже для неугомонного ума Тимолеона. Его вечно не было дома — то он с одним мальчиком, то с другим, то на уроках, то в гимнасии — туда Тимолеон ходил, чтоб научиться всему, что должен уметь мужчина.

Диона тоже вносила свою лепту в образование сына. Разумеется, она не могла обучить Тимолеона искусству становления мужчины, и он искал себе наставников самостоятельно, не особенно интересуясь, из чьего кошелька платят риторикам, учителям верховой езды, за лошадь, уздечки, седла, а также за грума, сопровождающего его. Диона оплачивала все, что было необходимо Тимолеону при его положении в обществе.

В один из долгих вечеров, в компании кошки и списка Гераклита на коленях, Диона загрустила. Ее сын растет и получает образование, как и положено молодому человеку. Но от этого ее одинокие вечера не становились короче, а книжки — интереснее. Сейчас она обрадовалась бы даже дерзости Тимолеона, которая в последнее время почти всегда была наготове.

Маленькая кошка посмотрела на Диону загадочными глазами и устроилась поудобнее у нее на коленях. Счастливое существо. Она еще несколько раз окотилась, и ей это только шло. Золотисто-рыжего кота давно уже отдали Александру Гелиосу, а серебристо-черную кошечку — Клеопатре Селене. Котята, казалось, знали, что были даром богов: не раз Диона находила их всех вместе — котята мурлыкали, а дети спали, улыбаясь во сне.

Их мать-кошка возвратилась к своему царственному одиночеству и возобновила опеку над Дионой. Диона погладила отливавшую золотом солнца шерстку и вздохнула. — Ах, если бы с детьми было так же просто…

Может быть, сегодня она пойдет в храм. Жрицам Исиды будет приятно видеть свою сестру и ученицу: они порадуются, что она возвратилась — хотя и ненадолго.

Диона снова вздохнула. В комнате было очень тихо. Светильники теплились, и ветерка почти не ощущалось.

Послышались голоса. Слуги закрывали двери на ночь, хотя было еще не поздно. В кухне, наверное, уже разведен огонь и оставлен ужин для Тимолеона если он придет и захочет поесть. Правда, сын просил разрешения поужинать с одним из приятелей, и она не возражала. Диона надеялась, что он вернется не слишком поздно. Все-таки Тимолеон был еще ребенком — как бы ни старался казаться мужчиной.

Голоса становились все громче. Она слегка нахмурилась. Слугам не запрещалось говорить в ее доме так, как им вздумается, но она вовсе не поощряла криков и перепалок.

Диона уже было собралась встать и выяснить, что стряслось, как вдруг дверь распахнулась. Возмущенный Сенмут, загораживая вход, пытался вытолкать непрошеных визитеров — но не тут-то было! Настырный гость, высокий, широкий в плечах и крупный телом, без труда оттолкнул Сенмута и упал перед Дионой на одно колено.

— Марсий? — удивилась она, — что это тебе взбрело?

— Госпожа, — перебил он ее, — если ты позволишь просить тебя и если этот болван перестанет путаться под ногами, может, ты пойдешь со мной?

Такое поведение было весьма необычным — в сущности, просто из ряда вон выходящим. Слуги, носившие ее паланкин, никогда не врывались к хозяйке, тревожа ее уединение. Сенмут, однако, тоже твердил нечто невразумительное — правда, гораздо пространней и цветистей, пока чья-то рука не зажала ему рот. Рука была черной, как ночь, — Геба взглядом заставила его замолчать. По выражению ее лица Диона поняла, что служанка не видит нужды раньше времени сообщать ей малоприятное, судя по всему, известие.

— Госпожа, пожалуйста, — не унимался Марсий. — Я бы никогда не позволил себе побеспокоить тебя, если бы на то не было причины.

Это было правдой. Он никогда раньше так не вел себя.

— Что все-таки стряслось? Кто-то пытался ограбить сеновал?

Он густо покраснел сквозь бронзовый загар.

— Мы не были на сеновале, госпожа. Мы ходили в город — дышать свежим воздухом. Ты же позволяешь нам отлучаться — разве ты забыла?

Диона не забыла, конечно, но она и не помнила, чтобы когда-либо позволяла им отлучаться всем вместе. Служанка просила дать ей немного серебра; наверное, хотела купить что-нибудь из одежды. Носильщик паланкина просил позволения по вечерам навещать своего друга, который прислуживал в другом доме. На Гебе и в самом деле было новое платье — шафранное, с прелестной голубой каймой, стоившее, вероятно, большей

части ее серебра.

— Так что же случилось? — спросила Диона более настойчиво.

Слуги переглянулись поверх головы Сенмута. Лица обоих вдруг стали бесстрастными.

— Это касается твоего сына, госпожа, — сказал наконец Марсий, словно по одному вытаскивая слова наружу. — Я имею в виду Тимолеона.

Диона вскочила — сотни мыслей промелькнули в ее голове.

— Что?! Он заболел? Ранен? Умирает? Он умер?

— Нет-нет. Ничего подобного, госпожа, — быстро ответил Марсий. — Но тебе надо бы пойти со мной.

Больше он ничего не сказал, а Геба взяла ее за руку. Диона схватила первое попавшееся покрывало, поспешно накинула его на голову, не обращая внимания на возобновившиеся протесты Сенмута, и побежала вслед за Марсием и Гебой.

Еще не стемнело. Небо было усыпано звездами, слабо мерцавшими на еще светлом небосклоне; на западе горизонт пылал кровавым закатом. Марсий нес фонарь, который он зажег от светильника у ворот — его не гасили до возвращения Тимолеона. Несмотря на все уверения Марсия, что ничего подобного нет и в помине, воображение Дионы преследовали жуткие картины: он лежит навзничь на земле, истекает кровью, умирает. Что могло быть еще хуже? Что заставило носильщика паланкина ночью вытащить ее из дома и повести в город? У нее лишь на секунду мелькнула мысль, что это ловушка. Но враги — если у нее есть враги — нашли бы лучший способ добраться до нее, чем через двух преданных слуг.

Они двигались быстро, хотя на улицах все еще было много народу. Диона, поглощенная тем, как бы не отстать от Марсия, и подгоняемая Гебой, не сразу поняла, что их путь лежит к гавани, а не к гимнасию или дому, где должен был ужинать Тимолеон. Дорога здесь была темнее, уже, ухабистее и провоняла рыбой и кошачьей мочой.

Диона не понимала, что происходит, но у нее было достаточно времени на размышления. Куда же ее ведут слуги? Они отказывались что-либо объяснять ей — просто тащили вперед. Может, Тимолеона записали в моряки? С тех пор как Антоний уплыл из Александрии, он не упоминал об этом, но уж кто-кто, а она хорошо знала, что видимое спокойствие детей бывает обманчивым и даже опасным, если их желания идут вразрез с желаниями матерей.

Диона была наслышана о портовых тавернах. Она даже знала, чего там можно ожидать: духоты, пропитанной запахом толчеи потных тел, и воздуха, настолько густого, что кажется, будто его можно пить. Из того, что там на самом деле можно пить, подают не пиво, а прокисшее вино. Все эти сведения, насколько она знала — непонятно откуда, — больше относились к греческой таверне, чем к египетской.

На пороге она застыла, как пораженная громом. Свет коптящих светильников был приглушен до полумрака. Фигуры в тусклом свете корчились, извивались, вопили, как духи в челюстях Пожирателя Душ; болтали, смеялись, пели и опивались вином. И даже — Диона с ужасом заметила это — предавались интимным занятиям на столе возле стены; клубок волосатой и гладкой плоти; молодое стройное тело и жилистое бывалое — старше. Гладкое принадлежало мальчику — нет, слава всем богам, не Тимолеону! Лицом он был не старше сына Дионы, но выглядел куда взрослее; с безразличным терпением мальчик ждал, что произойдет с ним дальше.

Марсий и Геба одновременно подтолкнули Диону вперед, чуть не свалив на пол —

застыв, она не могла сдвинуться с места. Сильные руки носильщика паланкина подхватили ее и понесли, и Диона порадовалась, что ей не нужно ступать ногами на этот омерзительный пол. Все тут было словно пропитано мерзостью, кроме того, она вовсе не хотела знать, что там пролито и сколько лет назад мыли полы.

Неожиданно она оказалась в зловонной темноте. Тут было тише: ступеньки, ведущие вверх, никакого освещения — Марсий где-то по дороге избавился от своего фонаря, наверное, на улице. Пахло больше кошками, чем вином и потом, и воздух казался почти чистым после клоаки внизу. Марсий бережно поставил ее на ноги; Диона была благодарна ему — не очень-то приятно преодолевать ступеньку за ступенькой между Гебой, стремившейся вперед с распростертыми руками и самим Марсием, тяжело дышавшим сзади.

Геба внезапно остановилась. Дверь была закрыта. Служанка отодвинула задвижку и медленно отворила ее. В глаза Дионе ударил свет.

Хотя освещение было слабым, после мрака на лестнице этот свет показался ей ослепительным. Комната за дверью была больше, чем внизу. Здесь пахло вином получше — с едва уловимым ароматом меда, в воздухе разливался удушливый запах цветочных духов. Людей было меньше — по крайней мере, так казалось, и они создавали меньше шума. Диона услышала звуки авлоса[34], барабана и хрустальный перезвон струн лиры.

Когда ее глаза попривыкли к полумраку, она увидела что-то вроде пиршественной залы; повсюду стояли многочисленные ложа и низкие столики. Стены были разрисованы фривольными сценками, вогнавшими Диону в краску — она тут же отвела взгляд. Похожие сцены можно было воочию увидеть почти на всех ложах: мужчины и женщины, и даже чаще — мужчины и мальчики.

Сердце ее упало. Не стоило обманывать себя — было абсолютно ясно, что здесь происходит. В этой комнате обслуживались более богатые и капризные клиенты, чем внизу; здесь была лишь избранная публика, что показалось Дионе еще омерзительней. В лица вглядываться не хотелось, но сил удержаться не было — она должна найти сына. Один из мальчиков был ей знаком: она раньше видела его с Тимолеоном, и другого, лежащего на соседнем ложе, — тоже. Судя по всему, они не теряли времени даром; оба, изрядно уже пьяные, отвратительно хихикали, а партнеры тем временем ласкали их юные тела в свое удовольствие.

Был здесь и танцор; поначалу Диона его не заметила. Она в панике шарила глазами то по одному ложу, то по другому. Но ни один из мальчиков не был ее сыном. Танцор, одурманенный вином или кое-чем похуже, поражал абсолютным бесстыдством: бронзовое тело, умащенное до блеска, тугие темные завитки волос переливались иссиня-черными глянцевыми бликами. Один из зрителей попытался сграбастать его в объятия. Танцор со смехом увернулся и упал на колени мужчины, распаленного, как бык. Смех смолк, словно задохнулся, — мужчина зажал ему рот поцелуем.

Диона даже не помнила, как вошла в комнату. Какой-то подвыпивший юнец ухватился за волочившийся по полу конец покрывала и сдернул его с ее головы. Еще кто-то нагнулся и вцепился в подол; платье порвалось, обнажив одну грудь. Диона лишь на секунду остановилась, чтобы запахнуть его. Она действовала, словно сомнамбула, и легко, без малейшего усилия вырвала сына из объятий распаленной скотины.

Тимолеон был мертвецки пьян — однако не настолько, чтобы не узнать мать. На мгновение он остолбенел, но потом его опять одолело хихиканье:

— Прелестная мамочка. Прелестная, прелестная, прелестная мамочка…

Диона быстро огляделась. Омерзительный огромный мужчина, у которого она выхватила Тимолеона, вернулся к своей предыдущей пассии — совершенно голой женщине с пышной гривой волос цвета светлой бронзы. Никто больше не обратил на Диону внимания, разве что послышались насмешки и вопросы — что она собирается делать со своей юной пригожей добычей? Но любопытные быстро угомонились.

Она схватила с ближайшего ложа гиматий — трое его обитателей были слишком заняты, чтобы обратить на это внимание, и накинула на Тимолеона. Ее любимый сын пошатывался, хихикая, и беспрестанно бормотал ужасающие скабрезности. Диона влепила ему пощечину, и Тимолеон наконец замолчал.

Когда же он успел вырасти — она даже не заметила. Сын был на полголовы выше ее, длинноногий, как годовалый жеребенок, и совершенно беспомощный. Диона подтолкнула его к лестнице, потащила вниз и волокла за собой до тех пор, пока наконец не появился Марсий. Он подхватил мальчика и перекинул через плечо.

Тимолеон прекратил хихикать только на улице, когда Марсий швырнул его на землю. Несколько раз мальчика вырвало в канаву, но слуги не делали ни малейшей попытки помочь ему. Диона же была не в состоянии что-либо предпринять, то ли от ярости, то ли от потрясения.

Когда все выпитое за ночь вино вышло наружу вместе с пищей, съеденной за день, Марсий опять подхватил Тимолеона — на этот раз осторожно — и понес дальше.

В бастионе ее семьи, дома, на Диону смотрел дрожащий, испуганный ребенок с бледно-зеленым лицом. Она велела его выкупать; мальчика одели в чистую льняную тунику, причесали волосы; венок сорвали с головы и сожгли. Диона сидела на своем любимом стуле — в комнате, где обычно читала по вечерам, и изучала сына строгим холодным взглядом.

— Ну? — произнесла она наконец, потому что сам Тимолеон по-прежнему не выказывал ни малейшего желания заговорить. — Что скажешь?

Если бы сын заплакал, Диона могла бы совершить нечто непростительное: избить его, накричать, отослать к отцу. Но он стоял молча, и взгляд его становился все более уверенным, хотя щеки по-прежнему были залиты румянцем — розовые пятна на бледных щеках.

— Прости, мама. Я очень сожалею.

— Да? — Она приподняла брови, все такая же суровая. — И сколько раз ты уже сожалел — после походов туда?

— Я был там только один раз, мама. Честное слово.

Диона на минуту задумалась. Похоже, сын говорил правду.

— Кто тебя туда завел?

— Все получилось случайно, — ответил Тимолеон и прикусил губу. Из нее уже сочилась кровь — без сомнения, он пытался сдержать слезы. — Андроник иногда туда ходит. У него есть друг — мужчина, которого он называет дядей, но на самом деле он ему вовсе не дядя… Этот мужчина часто заходит в гимнасий, потому что обожает общество мальчиков… Он велел в следующий раз привести с собой друга или пару приятелей. Сначала вызвался Мелеагр. Он хотел взглянуть, на что похожи эти пирушки. Я сказал, что там не может быть ничего любопытного и особенного — они наверняка ничем не отличаются от вечеринок господина Антония. И тогда они оба уговорили меня пойти с ними и посмотреть самому.

— Значит, ты мне солгал? — возмутилась Диона. — Ведь ты сказал, что будешь

ужинать в доме Мелеагра.

— Неправда! — взбунтовался Тимолеон. — Я сказал, что хочу поужинать с Мелеагром. Ты мне разрешила. Ты же не спросила, где…

Голова у Дионы раскалывалась. Она осторожно опустила ее на ладонь.

— О, боги! — проговорила она. — Неужели это расплата за то, что я столько времени провожу у царицы?

— Я не собирался делать ничего плохого, — заторопился Тимолеон. — Правда, мама, честное слово. Мне дали вина — пришлось выпить. Ну посуди сама, разве я мог проявить невежливость и отказаться? Они мне все подливали и подливали. Я вспотел и поэтому снял одежду. Они приставали ко мне с разными странными просьбами, и тогда я решил встать и пойти танцевать, чтобы они оставили меня в покое. Мама, а я и вправду красивый? Или они просто хотели заставить меня целовать их?

Диона смерила сына более чем выразительным взглядом. Тимолеон опустил глаза и замолчал.

— Хватит изображать из себя невинное дитя. Ты отлично знал, чем они занимаются. Я еще мшу поверить, что ты пошел танцевать, чтобы избавиться от их рук — я поступила бы так же. Но тебе ведь понравилось там, не так ли? Тебе же хотелось, чтобы они смотрели на тебя и, может быть, даже касались твоего тела.

Мальчик дернулся, словно от удара хлыстом.

— Мама!

Но на этот раз Диона была безжалостна. Она больше не имела права проявлять милосердие, хотя сердце яростно протестовало: ей так хотелось обнять сына, погладить по голове, успокоить, словно он был не старше Гелиоса или Селены.

— Ты уже не ребенок, Тимолеон. Ты взрослый мальчик, почти юноша. Тебе было любопытно посмотреть, что делает Андроник со своим мнимым дядей?

— Я и так знаю. Он мне рассказывал.

— И все равно пошел?

Тимолеон опустил голову. Голос его стал совсем тихим.

— Я хотел увидеть.

Она медленно кивнула.

— И увидел?

— Да, мама, — едва слышно прошелестело в воздухе.

— Что ж, — начала Диона, — не буду тебя сечь. Это слишком легкое наказание. Пожалуй, я настою на том, чтобы ты снова пошел туда и рассмотрел все как следует, а потом подумал — хочешь ли жить так, как живут эти люди. Разве ты не за тем туда пошел?

Тимолеон впал в настоящую панику, и его глаза стали совсем круглыми.

— Нет! Я больше не хочу туда!

— Именно поэтому я и заставлю тебя пойти.

Он упал перед ней на колени.

— Нет, мама! Нет!

— Прекрати! — оборвала его она. — Ты, кажется, испугался? Ну что уж там такого страшного? Обыкновенная клоака, помойка, куда протоптало дорожку стадо погрязших в дерьме безмозглых скотов.

— Именно поэтому — не пойду! — ответил он, достаточно жестко для такой ситуации. — Пожалуйста, мама, я не хочу туда… Я не желаю снова оказаться там. Клянусь

богиней!

— Хорошо, допустим. Но что еще ты выкинешь?

Ошарашенный, он поднял на нее глаза. Диона вздохнула, не зная, плакать или смеяться.

— Ох, дитя ты мое, дитя… Какой же ты еще ребенок! Я ведь безумно испугалась, а потом так рассвирепела, что готова была убить тебя. Как Марсий узнал, куда ты пошел?

— Он встретил меня на площади, в гавани. — Тимолеон сам чуть не плакал. — Я обругал его, и он ушел. Мне никогда и в голову не пришло бы, что Марсий направиться прямо к тебе.

Диона погладила влажные кудри сына.

— Да, — промолвила она, размышляя вслух. — Кажется, я знаю, что мне делать. Тебе необходим сильный человек, который держал бы тебя в ежовых рукавицах, и проворный, чтобы поспевать за тобой. Марсий отлично с этим справится.

Тимолеон заморгал. Из уголка его глаза выкатилась слеза и побежала по щеке, но в то же время он явно был в недоумении.

— Марсий? Ты приставишь ко мне Марсия?

— Да, я отдаю его в твое распоряжение. И это еще не все. Я разрешу ему лупить тебя, если ты заслужишь.

— Мне, в общем-то, нравится Марсий… — начал было Тимолеон, но прикусил язык, видимо, не собираясь называть имена тех, кто ему нравился меньше или не нравился вовсе, например Сенмута или Дарайявахауша. Эти двое были весьма неуступчивы и вечно привязаны к дому. И они не такие сильные, как Марсий, а уж о сообразительности и говорить не приходится.

Диона погладила сына по щеке. Он не отстранился, как обычно случалось в последнее время, даже когда мать целовала его в лоб.

— Иди спать, дитя мое. С разгадкой твоих уловок я могу подождать до утра.

Он не улыбнулся — или улыбнулся незаметнее, чем она.

— Прости меня, мама. Я очень сожалею.

— Надеюсь, сын. — В этот момент она ему даже верила.

17

В лагере Антония у Клеопатры был свой человек — египтянин-астролог и прорицатель, не обладающий магическим даром, но необыкновенно наблюдательный и с великолепной памятью — он помнил все, что видел и слышал. Именно от него царица узнала о неприятностях в Сирии, восстании Фульвии и ее внезапной смерти. А также об отбытии Антония в Италию. Через быстроногих гонцов он посылал ей вести и о менее важных новостях, разнообразных слухах и сплетнях, даже отправлял с ними послания Антония.

Клеопатра хранила их, словно величайшие редкости — как показало время, они и были таковыми. Вскоре после отплытия Антония она — получила от него письмо — набор официальных фраз, подобных тем, которые глава одного государства шлет другому правителю в знак благодарности за гостеприимство. Через своего слугу она получала послания, которые значили для нее гораздо больше. В одном из них ей сообщали, что Антоний здоров, но скучает по своей госпоже, еще недавно согревавшей его по ночам. Или писали, что Антоний болел, но нет нужды беспокоиться — он уж выздоровел, потому что крепок, как задубевшая кожа, то она вдруг узнавала, что состоялся поединок с кем-то из царевичей или других важных особ; ее мужчина вел себя как круглый дурак, говорилось в послании, и его госпоже следовало бы находиться рядом с ним, чтобы вправить ему мозги.

Однажды пришла весточка и для Дионы. Правда, не от Луция Севилия; просто гонец сообщил, что ослик ее сына по-прежнему в Тарсе и живет прямо-таки по-царски. Некоторые из горожан считают его божеством и потчуют подношениями в виде свежей травы и цветов. Диона неудержимо рассмеялась, вспомнив одно из многочисленных приключений Тимолеона. Ее смех был такой редкостью в последнее время; у нее потом еще долго болели бока, но она почувствовала себя лучше. Лучше, чем когда-либо за эти долгие месяцы.

Примерно через две недели после этого события Диона присутствовала на одном из философских диспутов царицы. Философы были именно такими, какими им и полагалось быть: бородатыми и снисходительными к своим неразумным слушателям. На сей раз философы снизошли до разговора о природе — они так и сыпали учеными фразами о повадках птиц и спорили о климатических различиях условий жизни антиподов[35]. Как раз в тот момент, когда разговор зашел об истоках и происхождении Нила, вошел гонец. Казалось, в общей суматохе его никто не заметил, и это было неудивительно. Поскольку оба философа не сходились во мнении по столь важному вопросу, диспут был не менее шумным, чем пирушки Антония, правда, не таким веселым.

Клеопатра наслаждалась перепалкой ученых мужей, принимая в ней участие с энтузиазмом прирожденного философа. Однако приезд гонца был ею отмечен: блеснувшие глаза, секундная пауза в речи — вопреки всегдашнему самообладанию. Только гонцы из лагеря Антония могли появляться пред ее очи так запросто — без позволения, оглашения во всеуслышание их прибытия и сопротивления со стороны стражников. В таких случаях Клеопатра продолжала заниматься своими делами, но старалась побыстрей покончить с ними и, по возможности, скорее узнать новости.

Диона, будучи зрителем, а не участницей происходящего, в отличие от царицы могла позволить себе поразмышлять на далеко не ученые темы. Она заметила, что гонец бледен, и подумала, что Антоний болен, но тут же отогнала от себя страх перед плохими известиями. Если бы Антоний умер или был смертельно ранен… Клеопатра давно уже знала бы об этом

— их связывали более тесные узы, чем могло показаться постороннему взгляду. Они ощущали тела друг друга даже через огромные просторы моря.

Когда Клеопатра закончила диспут и передала ученых мужей на попечение дворовых распорядителей, которые должны были позаботиться об их ужине и всяческом ублажении, ее нетерпение, казалось, достигло предела. К счастью, философы не задерживали ее. Диона улыбнулась про себя — похоже, ученые мужи донельзя довольны своими победами. Правда, двое из них — более одержимые или более выносливые, чем их собратья, не возражали бы продолжить, но Клеопатра улыбкой выставила их вон.

У гонца было достаточно времени, чтобы взять себя в руки и подготовиться к разговору, но все же его лицо выдавало тревогу, под глазами по-прежнему отчетливо проступала бледность. Клеопатра могла быть осторожной и изворотливой, как змея, но бывала и убийственно прямолинейной и стремительной, когда хотела. Царица устремила на гонца пристальный взгляд в упор.

— Ну, что стряслось? Он проиграл войну? Потопил свой флот? Отказался от прав триумвира и удалился на виллу как философ?

Гонец явно нервничал. Он судорожно сглотнул слюну и сбивчиво заговорил:

— Нет, госпожа… Не знаю, как тебе сказать… В сущности, он выиграл войну и получил в награду империю.

— Ах, даже так? Неужели это так скверно, что заставляет тебя дрожать под моим взглядом?

Гонец, крепкий мужчина далеко не робкого десятка, прибыл сюда, невзирая на все опасности, подстерегающие его в пути, но сейчас у него были причины для страха. Он вез не особенно приятные новости и знал, что царица скора на расправу, если вести оказываются ей неугодны.

— Нет, все в порядке, если ты имеешь в виду Рим. Антоний встретился с Октавианом при Брундизии; они заключили мир, опять поделили свою империю, и Антоний получил львиную долю. Он настолько близок к тому, чтобы стать царем Рима, насколько это возможно при живом племяннике Цезаря, стоящем у него на пути.

Глаза Клеопатры блеснули.

— Ну? А дальше?

— Что ж, дальше вот что… — Гонец слегка терял решимость по мере того, как приближался к сути дела. — Сделка совершена не за красивые глаза. Ему пришлось отдать Октавиану кое-что взамен.

Клеопатра ждала. Внешне царица казалась спокойной, поза была непринужденной, но ее руки крепко стиснули подлокотники стула, и костяшки пальцев побелели.

— Вернее, — продолжил гонец, — Октавиан кое-что отдал Антонию. Они заключили сделку на родственной основе. Сестра Октавиана, Октавия, стала и залогом, и обещанием. Антоний женился, госпожа. Он взял Октавию в жены, и между властителями Рима воцарились мир и дружба.

Клеопатра не сказала ни слова. Выражение ее лица не изменилось, дыхание оставалось таким же ровным, а руки даже не шевельнулись.

Гонец все-таки недостаточно хорошо знал ее и явно утратил бдительность.

— Это было очень легко, — заговорил он вновь. — Октавия недавно овдовела, у нее трое детей — несомненно, она может дать мужу наследников. Проблема Состояла в том, что она не могла официально выйти замуж в течение нескольких месяцев. Но Сенат разрешил

отступление от закона, дал ей повеление, и они сразу же поженились. Октавия — прелестная женщина, очаровательная, милая. Она не завивает волос и не румянит щек, ведет себя скромно, как девушка, и не говорит ничего, кроме «да, мой господин», «нет, мой господин» и «как пожелает мой господин»…

Клеопатра сделала движение раньше, чем Диона поняла, что происходит. Лицо царицы по-прежнему было неподвижным, неподвижно-бесстрастным, как искусно раскрашенная белая маска под изысканной филигранно уложенной прической. Она сбила гонца с ног метким ударом, который посрамил бы даже Антония, по силе равному самому Гераклу.

Гонец лежал почти бездыханный, но, похоже, так и не понял, что ему грозит. А может, понял и потому оцепенел, беспомощно скорчившись под занесенной над ним ступней Клеопатры. Еще мгновение — и царица убьет его.

Диона была невелика ростом и слаба, но у нее хватило сил оттащить гонца в сторону.

— Уходи! — скомандовала она. — Немедленно!

Однако бедняга замешкался, и Диона уже была готова счесть, что ему пришел конец, или предложить в качестве жертвы себя. Но едва Клеопатра оправилась от шока, вызванного дерзостью Дионы, как гонец пронзительно взвизгнул, словно умирающий кролик, и бросился вон.

Диона осталась встречать бурю в одиночестве. Слугам хватило одного взгляда на лицо царицы, чтобы обратиться в бегство. Однако Диона не заблуждалась относительно белых лиц и зловещих глаз, сверкавших из проемов дверей и из-за колонн — кто-то даже стоял возле окна.

Клеопатра в бешенстве бывала на редкость безжалостна. Однажды, в сильном припадке ярости, она поклялась, что получит на подносе голову своей сестры Арсинои. Ей это не удалось только потому, что Арсиноя уже сбежала в Эфес, и царица отвела душу, сокрушив содержимое целого зала — бесценную глиняную и фаянсовую посуду, подчас даже более древнюю, чем пирамиды Гизы. Но на этом она не успокоилась и приготовилась ждать, пока кто-нибудь не поймает и не убьет ее сестру. И дождалась-таки…

Дионе такое было не в новинку, и она научилась исчезать прежде, чем Клеопатра вспомнит о ее существовании. Но сейчас пути к отступлению не было.

Наверное, именно так чувствует себя голубь в когтях коршуна, или мышь, когда на нее бросается кобра. Казалось, безграничная бесконечность отделяла ее от любого убежища, любой лазейки — двери, окна или галереи. Трон царицы мог стать защитой лишь на ничтожно короткое время.

Но пристальный, прожигающий насквозь взгляд Клеопатры внезапно смягчился.

— Ну что ты, дружок. Неужели я так похожа на безумную?

— Ты и сама знаешь, даже лучше меня. — Голос Дионы был слаб и тих, но слова звучали достаточно отчетливо. — Если ты собираешься швыряться вещами, будь добра, выбирай подушки, жемчуга или что-нибудь такое же легкое. Или ты хочешь разнести все и всех вдребезги?

Клеопатра рассмеялась — почти естественным смехом.

— Я подумаю над этим. А сейчас тебе лучше уйти. Я не уверена, смогу ли удержаться и не швырнуть в твою голову подушкой.

Диона колебалась. Но ей ничего больше не оставалось, если только не превратиться в живую мишень. Она сказала себе, что Клеопатра нуждается в уединении, чтобы справиться с яростью — тогда царица сможет трезво рассуждать и нормально общаться с людьми.

Взгляд кобры снова мелькнул в ее глазах. Диона почтительно наклонила голову и спаслась бегством.

Но ушла Диона недалеко. Обычный здравый смысл направил бы ее домой или в храм — но она не была столь благоразумной. Некая доля иллюзии, что царица может нуждаться в своей жрице, вкупе с совершенно непростительным любопытством, удерживали ее во дворце.

Грохот бьющейся посуды так и не донесся до нее, не слышалось и глухих хлопков от ударов подушками. В царских покоях стояла мертвая тишина. Прислуга и придворные обмирали от страха и даже не пытались заглянуть туда и поинтересоваться, что же делает их госпожа. Хотя служанок била дрожь, когда они представляли себе кинжалы, и отраву, и мертвое тело царицы, распростертое на полу. Диона тоже холодела при такой мысли — но не настолько, как если бы эта картина присутствовала в настоящем видении. Собственной смерти Клеопатра желала сейчас меньше всего. А вот отомстить Антонию или его новой римской жене…

Эта мысль блуждала в подсознании Дионы, тогда как сознание было взбудоражено до предела. Ее раздражали и болтовня прислуги, шушуканье придворных — непонятно, что больше. Слуги хотя бы непрестанно думали о царице. Придворные же, легкомысленные, как и всегда, тут же принялись пережевывать старые привычные сплетни и новые скандалы, одновременно обсуждая последний крик моды: подведение глаз.

Болваны — все как один! Разряженные куклы! Диона боролась с сильным искушением наслать на придворных удары грома, напасти вроде чумы или козней демонов, чтобы проучить их, вызвать в их мелких душонках хоть какие-то чувства.

Такие мысли свидетельствовали о ее полном смятении и испуге. Диона всегда очень серьезно относилась к магии. Магия принадлежала богам; она была их даром, и даром бесценным — им нельзя пользоваться по пустякам.

Часы тянулись медленно. Солнце утонуло в заливе. Приближалась буря, и не только в покоях царицы. В воздухе было разлито то же тревожное предчувствие и тягостное ощущение — небо изредка прорезали далекие всполохи молнии, и пахло грозой.

Если она хочет дойти до дома раньше, чем разразится гроза, нужно уходить немедленно. Когда Диона преодолевала один из коридоров, старательно обходя группку женщин, громко споривших, как правильно обращаться со щипцами для завивки, из ниоткуда появилось гибкое, мягкое тельце и прижалось к ее ногам. Она посмотрела вниз — в золотисто-зеленые глаза кошки Баст. Оба котенка были с ней: солнечно-золотой кот, ставший уже вдвое больше матери, и серебристая кошечка, поменьше, но стройнее и с более длинными лапами — настоящая храмовая кошка. Вся троица терлась о ноги Дионы, вырисовывая лапками на земле незримые прихотливые узоры.

В узорах был определенный смысл. Поначалу Диона отказалась признать это, считая, что кошки попросту требуют пищи или внимания, либо приписывая их поведение загадочности, непостижимости кошачьей природы. Но кошки были неотвязны. Кон тянул свою «песню», мяукая от сопрано до тенора — это выглядело бы очень смешно, если бы его вопли были не такими громкими и менее настойчивыми. Он встал на задние лапы и вытянулся почти до талии Дионы, цепляясь когтями за ее одежду. Его ярко-золотые глаза сверкали, словно монеты. У его сестры глаза были чистого зеленого цвета. Глазам их матери от природы досталось что-то среднее между этими двумя цветами, и она словно

гипнотизировала Диону нечеловечески мудрым взглядом.

Она вполне могла сопротивляться им: кошки не были существами, рожденными под знаком насилия, они соблазняли, уговаривали. А эти еще и упорно настаивали на своем, и сил всех троих вполне хватило бы, чтобы не пустить Диону идти другим путем. Этот же путь, к ее удивлению, вел к покоям царицы.

— Очень хорошо, — сказала она кошкам. — Но если царица меня убьет, я буду преследовать вас до самой вашей смерти. И не оставлю в покое даже в Царстве Мертвых.

Но их не тревожили людские угрозы, даже самые страшные. Кон шел впереди, кошечка замыкала столь своеобразную процессию, словно для того, чтобы Диона не попыталась сбежать.

Это шествие кошек сквозь покои царицы было очень странным — иногда они двигались в длинных косых лучах заходящего солнца, иногда — в полумраке светильников. Обычно здесь повсюду попадались люди: слуги, придворные, ученые, просители всех мастей, жаждущие милостей царицы, — всех не перечесть. Но сегодня тут не было ни души. Все сбежали подальше от разящего наповал гнева царицы, подобного молнии, или попрятались неподалеку, поджидая, пока минует монаршая гроза.

Они поступили мудро. Диона же шла за своими провожатыми с когтистыми лапами в то крыло покоев царицы, которое обычно редко посещала. Это помещение было таким же древним, как и сама Александрия — далекое прошлое Египта. Невозможно было избавиться от ощущения пропыленности, зловещей тусклости света — ноздри словно чуяли запах веков и забвения, хотя крыло содержалось в идеальной чистоте и постоянно проветривалось, а пыль здесь сметали намного чаще, чем того пожелала бы царица. Этими помещениями совершенно не пользовались. Никто здесь не жил; ни один человек даже не помнил о них и не собирался вспоминать, кроме того, у кого сегодня на то была причина.

Диона бывала тут и раньше — но очень давно, еще при жизни старого царя. Его дочь была тогда просто упрямым ребенком с пытливым неугомонным умом. Позже сама Клеопатра приводила сюда Диону, рассказывала истории о Птолемее II, который был магом, как и все Птолемеи, — но его магия считалась сильнее и серьезнее, чем у многих из них и, без сомнения, более странной. Его дар был самым загадочным и непостижимым. В книгах он звался великим царем.

— Он воистину был велик, — заметила тогда Клеопатра. — Но никак не унимался и без конца задавал вопросы — даже если в ответах было больше мрака, чем света.

Все это пронеслось в голове Дионы, когда она пересекала длинную, слабо освещенную комнату. При входе горел светильник, и еще один — в дальнем углу, но путь между двумя горящими точками был погружен в темноту. Она не слышала ничего, кроме своего дыхания, стука крови в ушах и еле слышного звука шагов собственных сандалий по мрамору пола. Кошки двигались бесшумно и молча. Помещение было не слишком большим, и скорее напоминало длинный коридор, чем комнату, но чем дальше шла по ней Диона, тем сильнее охватывало ее странное, тревожное чувство, словно само пространство здесь было неопределенно-бесконечным.

Кожу стало покалывать. Воздух казался пропитанным магией — ощущение было тонким, хрупким и едва уловимым, словно слабое жужжание пчел, доносящееся с отдаленного луга. Воздух пропах той особой свежестью, которую приносит гроза. Да, сомнений быть не могло. Это — ярость, ярость Клеопатры и ярость богини.

Инстинкт, более сильный и проворный, чем воля, будто возвел вокруг нее стены, отводя

удар, мобилизовал все защитные силы и приемы, которым научилась Диона — научилась тогда, когда впервые сила ее магии по-настоящему превратилась в мощь, стала одновременно и опасностью, и искушением. Боковым зрением где-то там, за пределами зримого мира, она видела некие существа, мерцание глаз в полутьме, слышала шорох, скольжение теней. Дети ночи всегда голодны — они жаждут света и крови живых. Магия воззвала к ним и сама привела их сюда; духи зла слетелись, распаленные страшной поживой, потому что царица обещала накормить их кровью и светом. Из бездны и мрака небытия они почуяли зов, хотя свет, так манивший их, был всего лишь мертвенно-бледным, слабым мерцанием светильника старого кудесника.

И тень ее защитника тоже пришла. Анубис шел за Дионой — ростом выше любого египтянина, с шакальей головой и горящими глазами. Он тоже был тенью и тоже вскормлен на крови, но Диона чувствовала его реальность, хотя и не слышала дыхания. Его ноги совершенно бесшумна ступали по каменному полу. Она знала — если дотронуться до него, коснешься вещества, теплого, как плоть, хотя и очень странного.

С каждым своим шагом она уходила чуть дальше из мира, ведомого людям. Силы, которые привела в движение Клеопатра, были мощными; людская плоть подчинялась им, и дух слабел. Даже под защитой собственной магии, кошек богини Бастет и тени Анубиса Диона ощущала давящий груз слепой воли, алкавшей сломить и покорить ее.

Клеопатра даже в магии не терпела соперников — ни одного. В сущности, Диона, одобряла ее. Царица использовала свой дар так, как полагалась, а не уподоблялась разозленному ребенку, неумело размахивающему мощным орудием богов.

В таких раздвоенных чувствах она дошла до конца коридора и попыталась открыть дверь. Неземная сила замкнула запор. Диона открыла его словом. Это был риск, вызов судьбе, и она вполне могла погибнуть в реве огня.

Но ничего не произошло. Комната за дверью была такой же, какой помнила Диона: обиталище чародея, полное разных редкостей и курьезов. Одни из них были волшебными, другие — внушали ужас, а третьи — просто забавными и любопытными. Чучело крокодила все так же свисало с потолка, сова казалась чуть больше изъеденной молью, чем обычно, а гомункулус[36] по-прежнему был отчетливо виден сквозь стеклянные стенки колбы. Мумии кошек, птиц и шакала смотрели неподвижными, слепыми взглядами с книжных полок, рядами покрывавших стены.

Клеопатра сдвинула с места необъятный, чудовищно тяжелый резной стол. Как ей это удалось, Диона не представляла — разве что с помощью магии. Ни у одной женщины не хватило бы сил на такое. Однако Клеопатра сумела передвинуть его к стене, и взору открылся Великий Круг, выложенный на полу. Инкрустация мерцала в свете, шедшем отовсюду и ниоткуда — колдовском свете, холодном, как блеск бриллианта. Магический узор был выложен из золота, серебра, меди и бронзы; присутствовал и жемчуг, любимый царицей. Знаки стихий мерцали переливчатым отблеском драгоценных камней.

Абсолютно в духе Птолемеев — все это великолепие вполне мог заменить круг, нарисованный мелом на чистых изразцах. В этом же кругу были оставлены воротца с позолоченными палочками, предназначенными для того, чтобы закрывать их. Такую палочку и держала сейчас в руках Клеопатра.

Она не казалась помешанной или чрезмерно расстроенной — вовсе нет. Ни вздыбленных растрепанных волос, ни изодранного в горе платья или исцарапанной кожи, не было и в помине. Царица сменила свое одеяние на простые белые одежды без каймы, сняла

украшения, смыла с лица белую краску, расплела полосы, разрушив причудливую, искусную прическу, и тщательно расчесала их. Ее ноги были босы. Клеопатра походила на воина накануне битвы.

И все же даже сейчас Диона могла кое-что изменить — невзирая на магический круг и воротца четырех сторон света. Клеопатра очень редко занималась подобными вещами — ведь это была магия иного, высшего уровня, и исполнять с ее помощью любой каприз не решился бы никто, Диона знала, что царица скоро поостынет, и тогда то, что в приступе холодной ярости виделось ей правильным, может показаться смешным и нелепым.

Такая магия могла быть направлена и на добро, и на зло. Чему она послужит на этот раз, гадать не стоило. Стекла светильников были цвета запекшейся крови. Кровь была и возле бассейна, и в центре круга, и на палочке в руках Клеопатры, которой она сейчас закрывала воротца. Диона побледнела, испугавшись, что кто-то все-таки пал жертвой плохих новостей и ярости царицы. Неужели кто-то из слуг? Но вскоре ужас рассеялся и страх угас — она различила очертания животного, лежавшего возле бассейна. Это оказался молодой козлик; шерстка его отливала черным глянцем, а янтарные глаза были широкое раскрыты в предсмертном ужасе.

— Клеопатра, — спокойно окликнула ее Диона. Она говорила негромко, но имя все равно зазвенело в тишине, стремительно разбегаясь по комнате гулким, многократным эхом.

Рука царицы замерла.

— Клеопатра, — повторила Диона. — Что ты делаешь?

— Уходи, — отозвалась царица. В ее холодном твердом тоне было бы, наверное, больше тепла, если бы она обращалась к одной из теней, толпящихся по углам. — Здесь я никогда не нуждалась в твоих услугах. Убирайся — или я велю тебя вышвырнуть.

— Сомневаюсь, — возразила Диона. Переча царице, она рисковала не больше, чем когда пришла нарушить ее магическое действо: если придется заплатить за вторжение, все остальное войдет в эту цену. — Разве так полагается встречать новости, пришедшиеся нам не по нраву или неожиданные для нас.

— А как еще их встречать? — властно спросила Клеопатра, но прекратила свои манипуляции, к тайному облегчению Дионы, и не двигалась с места, чтобы завершить магический круг.

— Можно подождать, — проговорила Диона, — и посмотреть, что будет дальше.

— Я ждала, — отрезала Клеопатра, — но ты сама видишь, как я вознаграждена за свое ожидание. Забыта — как мода прошлой недели, как мелкая интрижка, которую он завел себе на Востоке. Как только Антоний вернулся в Рим, Рим пожрал его. А эта тварь пожрала его душу.

— Вздор! — возразила Диона более решительно, чем следовало. Она слишком хорошо понимала, что имела в виду Клеопатра и что собиралась делать при помощи этого круга, крови и паутины магии. — Кого ты собиралась призвать? Тривию — Гекату [37]? Эриний[38]? Нашего египетского Пожирателя Душ? Или всех разом? Разве ты сумела бы справиться с ними, о моя владычица, царица Двух Земель? Это ведь не заурядные шкодливые демоны или бесплотные призраки. Одной только кровью нельзя уплатить по их счету. И магический круг, как бы хорошо он ни был очерчен, не может удержать их — если только они сами не сочтут забавным остаться в нем. Безусловно, один раз они сослужат тебе хорошую службу, но что потом? Ты же навсегда станешь их рабой.

— Какая ты мудрая, — съязвила Клеопатра. — Какая благоразумная,

предусмотрительная… Все-то ты предугадываешь. Но что даст мне мудрость? Чем поможет благоразумие? Что изменит?

— А что тебе даст твоя магия? Фурий, изводящих соперницу. Пожирателя Душ, вгрызающегося в ее печень? Прелестная картинка! Такую обычно рисует в своем воображении рассерженный ребенок. Ты, наверное, еще наслала на Антония собак за то, что он проявил слабость и не устоял перед нею. А дальше что? Октавиан получит весь Рим. Сможешь ли ты затащить его на свое ложе, как затащила остальных?

— От этого, — спокойно заявила Клеопатра, — меня стошнит. А что мне мешает наслать на него эриний так же, как и на его сестру?

— Ничего, — согласилась Диона. — Кроме небольшого сожаления о том, что случится потом.

— Потом будет хаос, — промолвила Клеопатра. — И я смогу использовать его в своих интересах.

Диона покачала головой. Как и следовало ожидать, она не смогла переубедить царицу, не сумела тронуть ее душу — Клеопатра по-прежнему стояла внутри круга, сжимая окровавленную палочку. Но к этой волшебной палочке, слегка подрагивающей в руках царицы, крались кошки. Похоже, она ничего не замечала. Диона тоже старалась не смотреть на них. У нее уже мелькнула мысль, которую она почти тут же отбросила: схватить палочку. Но разрушать даже неоконченный магический круг опасно, особенно если это делает маг: последствия могли оказаться непредсказуемыми — уж лучше оставить Клеопатру в покое и дать завершить свое магическое действо. Силы, бывшие внутри, когда создавался круг, по-прежнему находились там, и Диона, выпустив их наружу, стала бы уязвимой для толпящихся вокруг теней, алчущих крови.

Кошки же были божествами по праву рождения. Магия не в силах подчинить их себе. Чем они помогут царице, Диона не представляла, но почему-то доверяла своим ощущениям, говорившим ей, что именно эти зверьки могут повлиять на исход страшного спора.

Она изо всех сил старалась помочь им.

— Что ж, прекрасно. Значит, тебе неважно, какую цену ты заплатишь за вспышку своего гнева. Ты уничтожишь их движением руки, превратишь Рим в прах и, может быть — может быть! — спасешь Египет от ярма. Но что же ты ответишь детям Антония, когда они спросят, почему у них нет отца? Скажешь, что наслала на него фурий? И скормила его душу Пожирателю из подземного царства? Как они после этого будут к тебе относиться?

— Царица делает то, что ей положено, и это не подлежит обсуждению, — ответила Клеопатра, тронутая не больше, чем всеми остальными ее словами.

— Верно, — согласилась Диона. — И конечно, лишившись души — ее ведь сожрут с твоей любезной помощью, — Антоний больше не будет преследовать тебя. Разве что во снах?

— Я смогу заставить себя забыть его, — отрезала Клеопатра. — Точно так же, как он забыл меня.

— Зачем же? — возразила Диона. — Он ведь уже был женат на римлянке, когда ты легла на его ложе в Тарсе. Так какое тебе дело еще до одной римлянки, если он вернется к тебе?

— Не вернется, — молвила Клеопатра, резко и просто. — Фульвия стала его женой еще до того, как он впервые лег в мою постель. Октавию же он взял вместо меня. Назло мне. Антоний сделал мне зло. Я верну его зло ей — и ему тоже.

— Выходит, во всем виновато зло, — заметила Диона. — Ну, в этом я не сомневалась.

Клеопатра не сводила с нее глаз. Златошерстный кот был уже внутри круга и полз на животе к женщине и ее палочке. Царица по-прежнему ничего не замечала. Его сестричка и мать заняли свои позиции у ворот, словно безмолвные изваяния стражей.

Диона напряглась, став предельно осторожной, и следила за каждым своим вздохом и взглядом.

— По-моему, ты теряешь разум, Клеопатра. И свое величие. Неужели ты подчинишься низшим божествам в угоду вспышке ревности?

— Я царица и богиня, Исида на земле. Антоний был моим Осирисом и Дионисом — и предал меня. Боги уничтожали богов за гораздо меньшие проступки.

— Иногда боги бывают ребячливыми и мелочными, — возразила Диона, пораженная то ли величием, то ли простотой слов Клеопатры.

Страха не было — она оставила его позади, за пределами покоев царицы.

— Можешь оставаться богиней, никто тебе не мешает. В эту минуту, например, ты очень похожа на Геру, обнаружившую новую интрижку Зевса. Но откуда ты знаешь, что Антоний забыл тебя? Пойми, он совершил сделку, простую сделку. Ты должна это допустить. Представь себе — взять женщину и получить с нею Рим. Обычное, скучное дело. Говорят, что Октавия такая же нудная, как и ее брат, но не обладает ни умом, ни убежденностью в том, что заслуживает чести править империей. Могу побиться об заклад на мое лучшее шелковое платье, что уже через неделю она надоест Антонию.

— Так долго ждать? — Казалось, к Клеопатре вернулся ее юмор, спрятанный под ворчливым грозным тоном. — Антоний обещал мне вечную верность — и нарушил слово. Неужели ты думаешь, что я позволю ему сбежать подобру-поздорову? Он должен поплатиться за свое вероломство.

— Он поплатится с лихвой, когда вернется, — заметила Диона с озорным блеском в глазах.

— Нет, — отрезала Клеопатра.

Казалось, она хотела что-то добавить, но тут злато-шерстный кот, наконец, занявший исходную позицию, ринулся в бой. Царица увернулась, палочка дернулась в ее пальцах; он прыгнул еще раз и выбил ее из рук царицы.

Клеопатра, как кобра, молниеносно бросилась к палочке. Кот запустил когти в ее руку. Она вскрикнула и попыталась стряхнуть его.

Круг магических сил содрогнулся, словно был сделан из стекла, рухнул и разбился вдребезги — на мириады осколков, пронзавших до костей.

Диона, охраняемая таинственными силами, не могла ни пошевелиться, ни оторвать глаз — жуткое величие и мощь силы, разрушившей круг, казалось, зачаровали ее. Клеопатра повалилась на пол, пав жертвой собственной магии и — слава богам! — освободившись от нее. Кот бессильно распростерся возле границ круга. Очнувшись от оцепенения, Диона прыжком бросилась к царице.

Клеопатра лежала побелевшая, неподвижная, но дышала. Когда Диона упала рядом с ней на колени, она резко выдохнула, закашлялась и тряхнула головой, пытаясь побороть оцепенение, как борется со сном спящий. Диона поймала дрожащую руку царицы и держала до тех пор, пока та не успокоилась.

Кошки вылизывали уши кота. Он тоже судорожно дергался, как и Клеопатра, но ему повезло больше: через минуту он уже неуверенно поднялся, тряся головой, и начал

энергично, с необычайным упорством облизывать лапу. Мать покусывала его шею, словно покрывая своеобразными кошачьими поцелуями. Кот распушил хвост трубой и направился, правда, немного нетвердо, тереться о ноги Клеопатры.

— О, сокрушитель миров, — начала Диона на староегипетском — на этом языке она всегда молилась, — ты заслужил на ужин рыбу, целую огромную рыбу!

— В самом деле? — поинтересовалась Клеопатра. Ее голос был слабым, словно она снова вот-вот впадет в забытье, но слова звучали ясно и отчетливо, как всегда. — Только сначала я поужинаю его печенкой.

— Если тебе удастся его поймать, — ответила Диона, скрывая облегчение за некоторой резкостью. — И если я тебе позволю. Это было сделано на славу — больше ни один кот на свете не сумел бы так. Мсти Антонию, как может мстить женщина и царица, — я даже помогу тебе. Но оставь в покое магию. Это слишком дорого стоит.

— Ах да, ты осмелилась… — Голос Клеопатры замер.

Диона подумала, что царица опять лишилась сознания, но та просто закрыла глаза, пытаясь справиться с очередным приступом гнева. Немного погодя она продолжила:

— Когда-нибудь ты зайдешь слишком далеко. И поплатишься за это.

— Но не сегодня, — засмеялась Диона с громадным облегчением. — Ты можешь встать? Круг разрушен, твои чары развеялись, но ты взбудоражила половину призраков и духов всего Египта. Нам повезет, если мы сумеем быстренько их утихомирить — до того, как они нашлют на город чуму или что-нибудь еще в этом роде.

Клеопатра окончательно пришла в себя и была готова снова обрушиться на Диону. Но теперь она и сама видела, что все закоулки и углы комнаты словно ожили: тени бормотали неясными голосами, и у каждой за спиной были крылья, как у птиц — но птиц с головами людей. Души мертвых пришли сюда — рыскать возле обломков могучих чар. За ними прятались еще более темные твари — не каждый маг мог их увидеть, а тем более хорошо рассмотреть.

— Только кот, — сказала Клеопатра, — мог разрушить такое сооружение и остаться целым и невредимым. А какая была ювелирная работа!

Она перехватила взгляд Дионы.

— Да-да, мне пришлось изрядно потрудиться. А теперь взгляни-ка вокруг. Мы провозимся с ними до рассвета.

— Значит, лучше сразу дать им понять, кто сильнее. Ну что, за дело? — уверенно отозвалась Диона.

18

Они успокоили призраков и загнали духов в их обиталища еще до рассвета. Но все же несколько тварей ускользнули. Шли месяцы, прошел даже год, но все равно Диона то и дело слышала, что нет-нет, да какой-нибудь дом и пострадает от нашествия духов зла: то ей говорили про сад, куда не залетала ни одна птица, то про рысканье сонма теней по разным кварталам города.

Но цена, как бы ни была она высока, вполне обоснованна — ведь они вторглись в мир, за вход в который с простых смертных взимали страшную плату. Им еще повезло — они остались живы. Но Диона чувствовала себя изможденной и выжатой как лимон, глаза ее стали сухими и тусклыми, как пески пустыни, а магический дар на время полностью покинул ее. Клеопатра пришла в себя быстрее. Она никогда не призналась бы даже себе, что Диона имела право вмешаться в ее действия, но не приказала прогнать жрицу с глаз долой; царица помогала ей всю ночь и больше не пыталась призвать на помощь духов, чтобы изничтожить римскую соперницу. Сейчас она была ближе всего к признанию своего поражения, чем когда-либо раньше, — настолько близко, насколько это вообще возможно для царицы, тем более для Клеопатры.

Решив быть благоразумной, терпеливо ждать и предоставить Антонию самому искать пути к ней, Клеопатра погрузилась в повседневные занятия, хотя подавленная энергия временами так и бурлила в ней, не находя выхода. Она правила царством, растила детей, поклонялась своим богам, занималась философией, не чуждалась царица и магии, хотя и не пыталась заставить силы зла снова служить ей. Клеопатра не заводила любовников, как поступила бы простолюдинка с низменной натурой, отвечая изменой на измену. Но она не была для этого создана, для столь мелкой мести.

Месяцы перетекали в годы. Селена и Гелиос подросли. Это были прелестные дети — смуглая и светлокожий, спокойная и непоседливый. Их брат Цезарион утратил последние трогательные черты, присущие детству, и «расцветал красой молодого мужчины», как сказали бы греки. У Тимолеона ломался голос; но его детские годы, дни и минуты, улетавшие в загадочную страну, откуда приходит и уходит время, не прихватили с собой его красоты. Это стоило Дионе больших тревог и забот, чем она могла бы признаться любому, даже царице.

У обеих женщин было много забот, и это помогало отчасти не думать об отсутствии милых сердцу мужчин, их ветрености и забывчивости. Клеопатра давно уже решила превратить Египет в богатейшее царство мира. Она истово отдалась этой задаче и, казалось, предвидела все: от малого до великого — от приумножения запасов хлеба и пива для нужд ремесленников до идей: как сделать жизнь царевичей и царевны еще роскошнее.

Занималась она и политикой. Ирод из Иудеи, изгнанник и будущий царь, прибыл к ней искать союза и помощи против парфян, завоевавших его царство. Она послала его в Рим в качестве дара Антонию, сделав это не без задней мысли; Ирод был красивым молодым человеком — смуглым стройным сладкоречивым юношей со скользким талантом говорить то, что от него хотели услышать. Грубоватый, порывистый и вспыльчивый Антоний, без сомнения, усмотрит в Ироде опасного соперника. Или хотя бы встревожится.

Об Антонии царица слышала много — сама она мало говорила и спрашивала, но никогда не отсылала гонцов прочь. Сейчас он находился в Греции. Война с Парфией

затянулась, и он отсылал своих полководцев туда, где они были нужнее, а сам оставался с войском и выигрывал сражение за сражением. Он снова встретился с Октавианом в Брундизии и в одночасье стал победителем и сильной политической фигурой. Октавиан же был слаб и измотан затянувшейся войной с Секстом Помпеем. В Греции находилась и жена Антония — Октавия; он называл себя Дионисом, а она была его Афродитой, его богиней и супругой бога.

На это Клеопатра не сказала ни слова.

Они собрались все вместе в самый разгар зноя, на четвертое лето после отъезда Антония из Александрии. На корабль, покачивавшийся на глади озера, царица взяла с собой небольшую компанию: человек сто или около того. Было прохладно — правда, в такой одуряюще-жаркий сезон любой, самый незначительный спад зноя мог зваться прохладой. Легкий ветерок носился над водой; малыши и дети постарше плескались внизу, а ладьи дрейфовали, насколько позволяли цепи якорей, брошенных глубоко в песок.

Диона, борясь с искушением окунуться в воду, облокотилась о борт. Навес защищал ее от солнца. Геба обмахивала свою госпожу веером, сбрызнутым водой из озера. Все были полуодеты, если не сказать — почти раздеты. Газовая туника Дионы с вырезом на египетский манер, оставлявшим открытыми руки и грудь, просвечивала насквозь.

— Римляне были бы шокированы нашим видом, — лениво произнесла она.

Клеопатра вяло повернула голову — тягучим движением, словно кошка, спавшая у ног Дионы. Как и ее жрица, она предпочла одеться по-египетски. Нагота не возбуждала чувственности летом в этой стране.

— Их все шокирует, — усмехнулась она. — Будь они сейчас с нами, то уж точно вырядились бы в доспехи и тоги.

Диона промолчала, наблюдая за Тимолеоном — он сражался с детьми царицы в морском бою. Другие, молодые и постарше, окружили их плотным кольцом, и вскоре места для зрителей уже не осталось.

Неожиданно для самой себя она сказала:

— И все же мне их не хватает — несмотря ни на что.

— Их? Или его?

— Всех, — ответила Диона, с несокрушимым самообладанием, освоенным за долгие годы практики.

— Антоний снова в Азии, — обронила Клеопатра.

Новость не была такой неожиданной, как могло показаться. Диона уже давно гадала, упомянет ли об этом. Клеопатра. Ни для кого не составляло секрета, что вскоре после свадьбы триумвир покинул Рим и отправился в Афины, где поселился с новой римской женой. Оттуда он руководил казавшейся бесконечной войной с Парфией и правил Азией — сам, без Клеопатры. Все знали и о том, что Октавия родила ему дочь. Когда новость достигла Египта, Диона мгновенно решила: нужно постараться отвратить царицу от новых попыток обратиться за помощью к магии или от обыкновенного убийства. Но Клеопатра приняла известие с ледяным спокойствием, свойственным ей с того дня, когда Диона помешала призвать для расправы низших богов.

— Дочь для римлян, — сказала она, — не царица и не дитя богов, как у нас, а сплошное разочарование. А я дала ему сына. Пусть вспомнит о нем; дадим ему пораскинуть мозгами. Я могу и подождать.

Диона пораскинула мозгами намного раньше и еще тогда пришла к тому же выводу, что и теперь: Антоний вряд ли примет это во внимание. Разве что поначалу придет в ярость — и только.

— Антоний и раньше бывал в Азии, — заметила она. — Когда он или один из его генералов победил парфян — этого было вполне достаточно, чтобы обеспечить ему триумф в Риме. Однако тогда он тоже не свиделся с тобой, даже не послал хотя бы весточку.

— Но на этот раз, — заявила Клеопатра, — жены с ним нет. Он отослал ее домой. По слухам, Октавия опять беременна, и срок уже приличный; кроме того, у нее куча детей, за которыми нужно присматривать. Конечно, со всей этой возней она подустала, и он тоже — что говорить, им обоим досталось. Но все же… Антоний мог поехать с ней или оставить ее в Афинах и забрать туда детей — если бы хотел.

— Римляне покидают жен, когда им удобно, — сказала Диона. — Они поступают так с тех времен, когда Эней покинул Дидону в Карфагене[39].

Клеопатра покачала головой.

— Нет. Сейчас все будет по-другому.

Диона внимательно изучала ее взглядом. Царица никогда не была склонна к фантазиям, и предвидение не было ее даром. И все же она так уверена…

Диону не посетило ни одно видение, она не чувствовала никаких проявлений воли богини и, в сущности, сейчас была не более склонна к пророчествам, чем любая обычная женщина. Такое состояние очень беспокоило ее, хотя она не признавалась себе в этом, исподволь пропитывало ее голос раздражением и заставляло говорить более резко, чем ей было свойственно.

— Все лелеешь надежду, не так ли? Вздыхаешь и грезишь, как влюбленная девчонка! А если он никогда не вернется?

— Вернется. Вот приму ли я его — это уже другой вопрос.

— А почему бы не принять? — заявила в пику ей Диона. — Для твоей богини он бог. Его шатания по свету ничего не меняют.

— Люди называли Октавию ликом богини Афродиты, когда он правил вместе с нею в Афинах, — парировала Клеопатра. — Возможно, так оно и было. Но я — больше чем лик. Я сама богиня на земле.

— А он — бог, — не унималась Диона. В нее наконец вселилась некая сила, вещавшая голосом богини. Она взглянула поверх озера, поверх копошащихся, смеющихся детей на город, дремлющий в чаду зноя и палящего солнца.

— Смотри-ка! — воскликнула она уже другим тоном, но все с той же силой, запрещающей ей молчать. — Из города несется лодка. О боги! Да она просто летит!

Будь у лодки крылья, как у птицы, и тогда бы она не могла двигаться быстрее. Гребцы, казалось, не замечали изнурявшего зноя, что неудивительно, если им хорошо заплатили. На носу стоял мужчина в римских доспехах и с лицом римлянина. Вначале Диона приняла его за Квинта Деллия, который тогда приглашал Клеопатру в Таре. Но это был совсем другой человек, очень знатный и почитаемый; не посыльный Антония, но его друг, Гай Фонтей Капит, легко несший бремя своего благородного имени и приветствовавший Клеопатру улыбкой и галантным поклоном. Антоний снова призывал к себе царицу Египта.

На сей раз речь шла об Антиохии, а не о Тарсе. Это будет не единственным отличием, заметила себе Клеопатра.

— Стало быть, Антоний во мне нуждается, — вымолвила она. — Итак. Он пришел

умолять. Удивительно, что он еще помнит меня.

Капит покачал головой и улыбнулся. Он был красивым мужчиной, как и Антоний, но с большим чувством юмора. Казалось, ничто на свете не смущало и не беспокоило его, даже холодный пристальный взгляд царицы и ее ледяные слова — возможно, они даже холодили его тело, закованное в тяжелые душные доспехи. Взяв кубок с вином, Капит уселся на нагретую солнцем скамью — палящие лучи пробивались даже сквозь навес.

— Он никогда тебя не забывал. Ни на минуту.

— Вот как? В самом деле? Даже на белых бедрах Октавии?

Капит даже не покраснел.

— Ах, она и в самом деле красавица! Я не стал бы тебе лгать. Но Октавия — смесь воды и молока. «Попробуй отрезать ножом воду», — однажды сказал мне Антоний.

— Положим, все эти годы ему это удавалось, — сухо заметила Клеопатра. — Сколько детей она ему родила? Двоих? Или троих?

— Одного, — ответил Капит. — Второй ожидается, если будет угодно богам. Ты же не можешь винить его за это? Мужчина делает то, что положено мужчине, а она поддерживает мир между ним и своим братом.

— От ее брата нетрудно избавиться, — отрезала Клеопатра. — И от нее, в сущности, тоже.

— Царица изволит быть слишком решительной и прямолинейной, — отозвался Капит. Он по-прежнему улыбался, но тон был твердым и безапелляционным. — Рим этого не позволит. Верь мне, владычица: Антоний думает о тебе беспрестанно с тех пор, как покинул Александрию. Политика держит его вдали от тебя и диктует ему линию поведения, чтобы сохранить союз с Октавианом. Но его мысли принадлежат только тебе. Каждый раз, разрабатывая очередную стратегию, он мысленно советуется с тобой. А будучи предоставленным самому себе, постоянно расспрашивает нас о тебе, гадает, что ты сейчас делаешь, и всем сердцем желает увидеть сына и дочь.

— Любопытно. Так что же ему мешало? Он мог увидеть их в любой момент, — иронично заметила Клеопатра. — Достаточно было просто приплыть в Александрию.

— Ты сама знаешь, что он не мог, владычица. — Капит прикрыл глаза ладонью, щурясь от солнца. — А дети здесь? Я сгораю от любопытства увидеть чудо Востока — Солнце и Луну, как ты их назвала; кстати, римляне, должен признаться, сочли это величайшей гордыней и заносчивостью.

— Очень мило. Впрочем, в этом я нисколько не сомневалась, — царственно ответила она и повернулась к служанке: — Ступай во дворец и вели приготовить детей, чтобы их не стыдно было показать людям.

Через некоторое время детей привели — с еще влажными после купания волосами, но должным образом одетых: Гелиос был в тунике, Селена — в египетских одеждах. Черные и золотистые локоны, карие и голубые глаза поразительно смотрелись рядом, а лица детей — одно белое, позолоченное солнцем, а другое — теплого смуглого цвета, потемневшее до терракоты — были удивительно похожи. У обоих был одинаковый разлет бровей, одинаковые, чуть крючковатые даже в столь раннем возрасте носы, одинаково решительные гордые подбородки. Они были истинными Птолемеями, но при этом необыкновенно походили на Антония и выглядели именно так, как должны выглядеть дети, рожденные быть царями.

— Отлично! — одобрил Капит, разглядывая их с головы до ног, и близнецы ответили

ему тем же. — Лучше не бывает. Нет никакого сомнения в том, кто их родители. Ты рожаешь красивых детей, владычица.

— Как породистая, но некрасивая кобыла, — спокойно проговорила Клеопатра. — Красота у меня в крови. Так?

Капит рассмеялся. Ни язвительный тон, ни вызывающие реплики Клеопатры не могли поколебать его независимости и нарушить непринужденное доброжелательное расположение духа.

— Я всегда считал тебя красивой женщиной, владычица, и самой умной на свете. Надеюсь, свой ум ты им тоже передала? Кстати, маленькая Антония прелестна — вся в мать и, кажется, более покладиста.

— Бедный Антоний! — вздохнула Клеопатра.

— Мама, — вмешалась Селена, произнося слова чистым внятным голосом. — Это — римлянин?

Казалось, Капит был слегка поражен, что она умеет говорить. Это удивило Диону — девочке было уже три года, и она болтала без умолку чуть ли не с пеленок. Рановато, мягко говоря, но Тимолеон рос таким же не по возрасту разговорчивым; болтливость была словно знаком отличия их рода.

— Да, — ответила Клеопатра. — Это римлянин.

— Он — наш отец? — потребовал ответа Гелиос, настроенный более воинственно, чем сестра, и вызывающе посмотрел на мать.

— Нет, — ответил Капит за Клеопатру. — Нет, юный господин, — увы! — я не твой отец. Твой отец в Антиохии и ждет, когда ты к нему приедешь.

— Я его не знаю, — заявил Гелиос, — и он должен сам приехать ко мне. Он — простой римлянин, а я — царевич.

Диона строго сдвинула брови. Клеопатра велела сыну замолчать. Капит же казался изрядно позабавленным.

— Но ты наполовину римлянин, а твой отец правит римлянами. Все-таки тебе следует отправиться к нему.

— Мы можем встретиться где-нибудь посередине, — опять вмешалась Селена. — Я буду рада увидеть папу. Он ведь бог, ты же знаешь. Он заставляет расти виноградные листья.

— Это верно, — засмеялся Капит и повернулся к Клеопатре: — Итак, они унаследовали и твой ум, и твою гордость. Антоний будет в восторге. Он никогда особо не жаловал послушания — ни в детях, ни в ком-то еще.

— Но, похоже, послушная жена ему по душе. — Клеопатра протянула к детям руки. Селена и Гелиос с двух сторон прижались к ней, с вызовом поглядывая на римлянина. Селена, казалось, была склонна доверять ему, но ее брату нужны были более веские доказательства, чем белозубая улыбка и несколько льстивых слов. Даже в столь юном возрасте он уже прекрасно был знаком с повадками придворных.

Но Гай Юлий Капит — это было очевидно — знал повадки и натуру царей и цариц не хуже, он развел руками и вздохнул.

— Наверное, тебе будет трудно его простить. Именно это причиняло Антонию невыносимые муки, было для него настоящей пыткой. Он был на волосок от того, чтобы отказаться жениться на этой женщине, но не видел другого способа сохранить мир — а Октавиан был настойчив и неуступчив. Вопрос встал ребром: либо Антоний женится на Октавии, либо Рим опять начнет раздирать гражданская война.

— На его месте я сказала бы: ну и пусть раздирает, пропади он пропадом, — ответила Клеопатра. — Правда, это было бы варварством. Но ведь со мной Антоний имел абсолютную власть над Востоком. Что по сравнению с этим кучка римских легионов?

— Ты права, владычица, римские легионы сами по себе не представляют особой силы, — спокойной отозвался Капит. — Но все же, как ты и сама говоришь, вам есть чем править вместе. Антоний зовет тебя к себе, чтобы напомнить об этом. Он не ждет немедленного прощения, но просит тебя понять, что толкнуло его на такой шаг. Ты могла бы поступить точно так же, если бы давление на тебя было столь же сильным.

— Сомневаюсь, — отрезала Клеопатра. — И на этот раз Антоний не заманит меня в свои сети. Пусть он сам приедет ко мне — или мы больше никогда не увидимся.

— Владычица, — возразил Капит, — Антоний предполагал, что ты ответишь именно так. Он примчался бы сам, прямо сюда, если бы это было возможно. Но дела в Азии слишком сложны, важны и неотложны. Он говорит… — Капит пригнулся к ней и понизил голос. — Он говорит, что останется на Востоке. Пока у Октавиана есть Рим, Антоний завладеет остальным миром. И он хочет, чтобы ты была рядом, когда это произойдет. Октавию он отослал к брату — ему надоела ее слащавость и повадки скромницы. Но развестись с ней он не может, потому что их брак — основа соглашения с Октавианом. Однако во всем остальном он фактически — твой муж и всегда им останется.

Клеопатра казалась непреклонной.

— Но разве я его жена? — спросила она риторически, ни к кому не обращаясь. — Не знаю, хотела бы я этого? Ни одна женщина не может прожить без мужчины, по крайней мере, так устроен мир. Но у меня есть прекрасное убежище для оставленной жены — мои дети. И чего ради я должна снова привязать себя к человеку, который с такой легкостью бросил меня и отправился прямиком на ложе другой женщины?

— Ради той незримой связи, которая есть между вами. И еще: вместе вы будете править миром.

— С меня довольно Египта, — холодно проронила Клеопатра. Но Диона почувствовала, что она колеблется и намеренно ожесточает себя, пытаясь сопротивляться. Царица была горда, а Антоний уязвил ее гордость. Ему будет легко получить ее назад. Но Клеопатра все же поедет к нему — притяжению силков трудно противостоять. Однако гораздо важней то, что она любила его.

«Бегемотина, бурдюк с вином, дубинноголовый мужик…». Царица не скупилась на ругательства с того самого дня, как он бросил ее ради Октавии. Но, предельно ясно осознавая ситуацию, она не могла отрицать, что этот мужчина затронул ее сердце, даже глубже, чем Цезарь. Великий император был холоден, умен и мудр. Любовь к нему можно было использовать, и Клеопатра делала это так же безжалостно и без сожаления, как и он сам. Антоний — человек гораздо меньшего масштаба — но с ним было намного теплее.

Лицо царицы смягчилось: чуть-чуть, всего лишь на мгновение. Но Дионе этого было достаточно, чтобы понять: владычица не устоит. Она позволит Капиту умолять и уговаривать ее в течение долгих дней, может быть, недель, но в конце концов согласится.

19

Клеопатра прибыла в Антиохию не затем, чтобы поразить мир великолепием и роскошью. Конечно, роскоши и великолепия было не занимать — иначе она не двинулась бы с места, но теперь Антонию отводилась роль соблазнителя; ему предстояло доказать, что он зовет царицу к себе не просто из практических соображений. Пока же она прибыла к нему не как любовница к своему возлюбленному — это был визит правительницы Египта к своему союзнику, который (при перемене ветра) мог превратиться во врага.

На сей раз Клеопатра не отправилась к нему на корабль, а велела отвезти себя в город на золотой повозке, в которую впрягли молочно-белых мулов. Она двигалась в сопровождении вооруженного эскорта; многочисленная свита, разряженная в парадные одежды и сверкающая украшениями, окружала ее. Цезарион ехал верхом подле повозки матери, одетый как фараон. Александр Гелиос и Клеопатра Селена ехали вместе с нею. Они и раньше часто сопровождали Клеопатру в поездках по всему Египту и сейчас сидели гордо и прямо, как и подобало царственным особам: слегка наклоняя головы в знак милости к толпам народа, сбежавшимся поглядеть на царицу.

Как и в Тарсе, в Антиохии Антоний поджидал ее, сидя на кресле, стоящем на возвышении. Это было продиктовано лишь величайшим доверием — ведь он рисковал подвергнуть себя унижениям и насмешкам — либо просто соображениями удобства: на этот раз он решил не терять времени понапрасну, Клеопатре же предстояло ждать своей очереди среди других посланников — она будет принята после послов Иудеи.

От иудеев быстро избавились — но не настолько быстро, чтобы это могло польстить ей. Когда Клеопатре наконец позволили приблизиться к возвышению — позволили, словно она была обычной просительницей, а не царицей Египта! — она пребывала весьма в несговорчивом настроении.

Царица дала страже знак отступить от повозки. Когда путь освободился, она встала, приняв руку своего диойкета, и вышла из повозки с грацией, свойственной ей с детства. Такой же грацией поражали и Гелиос с Селеной, хотя были еще очень маленькими. Гордо выпрямившись и держа детей за руки, она прошла короткое расстояние до возвышения, бесстрастно глядя Антонию прямо в лицо.

До какого-то момента он тоже пытался казаться равнодушным, но вскоре его лицо расплылось в улыбке. Он поднялся с достоинством, подчеркнутым тогой сенатора, и сошел вниз по ступенькам. Оказавшись с царицей лицом к лицу, он улыбнулся ей с высоты своего роста, такой маленькой рядом с ним, и с изумлением и едва сдерживаемым восхищением уставился на близнецов.

— Владычица, — произнес он. — Ах, владычица, как же я скучал по тебе.

Клеопатра вскинула брови.

— В самом деле? Я этого не заметила.

Но Антоний не собирался позволять втянуть себя в ссору — только не здесь, не на глазах у доброй половины Востока. Он опустился на одно колено, чтобы оказаться ближе к своим детям. Близнецы смотрели на него в упор; он ответил им тем же.

— Мама на тебя гневается, — без обиняков заявил Гелиос.

— Позволь тебя поздравить, — засмеялся Антоний. — Как я погляжу, ты унаследовал ее нрав.

— Я Птолемей, — гордо произнес Гелиос. — И наполовину римлянин.

— Само собой. — Антоний снова не удержался от смеха. — Эта половина идет от меня.

Он посмотрел на Селену.

— Ну что, маленькая царевна? Ты заодно со своим братом?

— Еще не знаю, — призналась девочка. Она освободилась от материнской руки и подошла поближе, разглядывая отца внимательно, но осторожно. После долгой паузы она протянула руку и погладила его по щеке. — Кажется, ты мне нравишься. Ты — добрый.

Антоний прижал ее к себе. Селена не отстранилась, даже когда он встал, держа ее на руках. Толпа повеселела. Он аккуратно поставил ее на ноги и взял на руки сына, высоко подняв его в воздух. Пораженный поначалу Гелиос залился смехом. Это привело толпу в неописуемый восторг. Люди кричали до тех пор, пока у них не заболели глотки.

Оказавшись на вилле триумвира — толпы остались снаружи, как и большинство свиты и военных, — Клеопатра не оттаяла. Настроение ее не улучшило даже то, что оба ее ребенка радостно примостились на коленях отца, а он угощал их кусочками торта и фруктами с медом.

Антоний, нарочито бодрый, словно не чувствуя ее настроения, улыбнулся ей поверх темной и белокурой головок, тепло заговорил:

— Я ждал этого дня с тех пор, как покинул Александрию. И, спасибо богам, он наконец наступил.

— Да, благодаря богам — но не тебе, — иронично сказала она. — Как поживает твоя жена, господин? Она уже родила тебе сына?

— Еще нет, — ответил Антоний любезно, как всегда. — Попробуй-ка вина. Цекубского нового урожая — не такое сладкое, как обычно, но зато покрепче.

Клеопатра даже не посмотрела на кубок, поднесенный слугой.

— Похоже, ты думаешь, что я вернусь прямиком к тебе на ложе, одурев от одиночества. Ты покинул меня не на одну ночь, а на четыре года — это еще можно понять: я знаю, как мужчин носят по свету дела. Но я не желаю делить тебя ни с одной женщиной — тем более с Октавией.

— Вряд ли тебе стоит об этом беспокоиться. Ты же не римлянка, и потому не понимаешь такой необходимости. Я не виню тебя, но и не прошу прощения. С Октавией я оставался до тех пор, пока был вынужден, а теперь отправил ее туда, откуда она появилась. Пришло время взять Восток в свои руки — целиком, а не частями. Ты хочешь заняться этим вместе со мной?

— По-моему, ты прекрасно справлялся и без меня.

— Но еще лучше, если бы мы были вместе.

— Ты мог объединиться с любым царем.

— Но Клеопатра всего одна.

Она нахмурилась.

— Мне почему-то кажется, что ты отрепетировал этот разговор до того, как я здесь появилась. Неужели я настолько предсказуема?

— В некоторых отношениях — да, — улыбнулся он. — Но иногда ни за что не угадаешь, что придет тебе в голову.

— Во всяком случае, я не позволю тебе снова распоряжаться мною! Ты утратил эту привилегию, когда связался со своей необходимостью… — Ее губы дрогнули в ироничной

усмешке… — и представил Октавиану возможность женить тебя на ней. Тоже мне миротворец… Ну да ладно, я стану твоей союзницей — но придется заплатить за это.

— С лихвой, я догадываюсь. Но ты не поднимешь руку ни на Октавию, ни на ее брата.

— В Риме хватает крови и без меня. Теперь мне нужны земли, Марк Антоний, и чтобы их хватило на целую империю. Сделай меня царицей Востока по праву — можно даже без твоего участия.

— Только земли? — Он приподнял бровь. — И все?

— Богатые, плодородные земли, — уточнила она. — Такие, каким когда-то был Египет и, надеюсь, каким станет. Я знаю, что тебе нужен египетский флот — чтобы обеспечить мир на море и охранять себя самого от твоих римских приятелей, которые не преминут предать тебя при первом же удобном случае. Я построю для тебя корабли, обучу команду и предоставлю людей, если ты дашь мне достаточно лесов, плодородных земель и городов, которые наполнят мои сокровищницы золотом для оснастки кораблей.

— У тебя же есть Кипр и Ливан. Разве этого мало? Что еще тебе нужно?

— Десятиградье, — быстро ответила она. — Побережье Сирии, Итурию — до Дамаска, Киликию. И еще… — Она запнулась, словно собираясь поразмыслить. — Эдом и Иудею.

— Только не Иудею, — спокойно сказал он. — О ней не может быть и речи. А что до остального… — Антоний потер подбородок. — Я подумаю. Ты ведь просишь самую малость — всего-то полмира.

— Ты прав, этого действительно мало. Наверное, мне следовало попросить весь мир. И голову Октавии в шелковом мешке.

Антоний рассмеялся, но это не улучшило ее настроения.

— Вот за что я тебя люблю. Ты — сгусток страсти, даже когда торгуешься, как образцовая жена на рынке.

— А почему не Иудею? — властно поинтересовалась она, не обращая внимания на его слова и отказываясь от примирения.

— Я отдал ее Ироду, — ответил он. — Кстати, мне только сейчас пришло в голову, что вы ведь были друзьями — больше, чем друзьями, если верить слухам. Что там у вас стряслось — ссора любовников?

Клеопатра плеснула ему в лицо вином.

Все замерли. Наступила зловещая, долгая тишина. Антоний сидел неподвижно; вино стекало по его щекам, как кровь. В сущности, отчасти так и было — край серебряного кубка порезал ему скулу. На фоне побагровевшей маски его глаза, светло-карие, почти золотые, как у льва, казались бледными. Как странно, подумала Диона, сидевшая рядом с царицей, что она не замечала этого раньше, наверное, потому, что они всегда были красноватыми от вина или сужены смехом? Она еще никогда не видела их широко распахнутыми.

Антоний шевельнулся. Все напряглись, опасаясь, что он ударит царицу. Но он только обтер лицо и прижал к щеке салфетку, чтобы остановить кровь. А потом безучастно уставился в окно. Было ясно, что он будет ждать, пока не заговорит Клеопатра.

И она заговорила, тщательно подбирая слова. Каждое слово отчетливо звучало словно в грозовой тишине.

— Можешь думать все, что угодно. Я приютила его, когда он был изгнанником, предложила помощь и дружбу, защитила от тех, кто мечтал его затравить. Теперь же он платит мне насмешками и презрением. Может ли Ирод дать тебе корабли, Марк Антоний? Может ли держать оборону на море, пока ты воюешь — и уже очень давно — с парфянами?

— Это не в его силах, — бесстрастно ответил Антоний. — Но Ирод полезен в другом. Я не отдам тебе его земли.

— А как насчет тех, которые на самом деле принадлежат Египту?

— Я тебя понял. Ты хочешь получить старую империю целиком. С твоей стороны, разумно. Но Ирод мне нужен. Он прикрывает меня от парфян. Возможно, это кажется ему обременительным, возможно, он преследует свои цели, но я не стану ни избавляться от него, ни отбирать часть его царства.

— Тогда ты ничего от меня не получишь, — отрезала Клеопатра, вставая.

Антоний остался на месте, с детьми на коленях.

— Ты готова отказаться от всего, предать нашу любовь из-за куска земли, полезного для войны, которую я веду.

— Этот кусок может быть полезен, если будет принадлежать мне.

— Нет, — возразил он. — Как говорят в народе, кишка тонка. Ирод в Иерусалиме преграждает Парфии выход к морю. Его воины — мужчины с гонором, как, впрочем, и все мужчины. Они не станут служить женщине, к тому же чужестранке, так как служат ему.

— Этому можно научиться, — надменно проговорила Клеопатра.

— Только не иудеям, — заметил он и поднял свой кубок в ее честь. — Поразмысли над этим на досуге. Я подарю тебе все побережье Азии — кроме крохотного пятачка, который сохраню для своих нужд. Это — щедрый жест, как сказали бы люди.

— Ирода нужно прогнать, — настаивала она.

— Нет, — твердо сказал Антоний.

Клеопатра мерила шагами пол монарших покоев триумвира, как львица в клетке. Близнецов увели от отца и отдали на попечение нянек — потребовалось кое-что посильнее уговоров, чтобы угомонить их. Цезарион сидел на полу, поодаль от матери, обняв колени Дионы. Бесстрашный, как и его отец, он молчал, со спокойным интересом наблюдая за Клеопатрой.

Настроение царицы достигло апогея раздражения и усталости.

— Или Антоний выполнит мои требования, или я возвращаюсь в Александрию! Он нужен мне гораздо меньше, чем я ему.

— Может быть, — согласилась Диона, усталая до предела. Слушать перепалку великих мира сего — тяжкий труд. Она тоже была разочарована и поэтому злилась и даже презирала себя. Среди свиты Антония присутствовал член коллегии жрецов, мужчина преклонных лет, с глянцево-лысой головой и благородным римским носом — но Луция Севилия там не оказалось.

Клеопатра ходила взад-вперед, бурля от гнева, хмурилась и сверкала глазами, что-то бормотала и сыпала проклятиями. То и дело она подходила к столу с разложенными на нем картами и рассматривала их. На карте, лежащей сверху, были отмечены необходимые ей земли. Красным были обведены те земли, которые Антоний отказывался отдавать: в частности, Иудея, а еще Тир и Сидон — но там давно уже установилось что-то вроде самоуправления, и в данном случае Клеопатра не возражала против отклонения ее претензий — даже в приступе гнева. Большую часть Киликии Антоний тоже хотел оставить себе, но все же он собирался отдать ей два города на побережье, очень богатых, изобиловавших строительным лесом, с оживленными торговыми гаванями.

Когда бормотание царицы стало совсем невнятным и она надолго склонилась над

картами, и так и эдак перечерчивая границы вожделенных земель, Диона взяла Цезариона за руку и выскользнула из комнаты. Мальчик без возражений последовал за ней, правда, в нем тут же проснулась гордость, и он выдернул руку, словно давая ей понять, что уже давно не ребенок.

— Спасибо тебе — я уже не чаял оттуда выбраться. Как ты думаешь, могу ли я попросить кухарку приготовить мне поесть? Ты, наверное, можешь подождать до ужина, но я очень голоден.

Пытаясь скрыть улыбку, Диона ответила:

— Конечно, иди поешь. Иди, иди, не обращай на меня внимания. Я немного подышу свежим воздухом.

Цезарион помедлил, словно ждал — вдруг она скажет что-то еще, но потом быстро развернулся и побежал по коридору. Диона пошла в другую сторону — к лестнице на крышу. Как и во всех жарких странах, крыша была плоской, на ней можно было гулять и даже спать. Без Цезариона она почувствовала себя одинокой и позабытой, но тут же отмахнулась от этого ощущения и полезла наверх.

У моря и в дороге человек забывает о пекле городов. Но даже на этой вилле, на самом возвышенном месте города, от удушливых испарений некуда было деться. Диона поймала себя на том, что задерживает дыхание; — что ж, придется дышать медленнее. Через некоторое время она попривыкла, и ей стало легче. У края крыши росло несколько розовых кустов в кадках — в полном цвету. Диона сорвала алую розу и с наслаждением вдохнула аромат.

Солнце садилось. Длинные лучи заката раскрасили город в роскошные цвета: кроваво-красный и золотистый. Диона поймала себя на мысли об Антонии и о вине, выплеснутом Клеопатрой, стекавшем по его щеке, смешиваясь с кровью. Их союз в Тарсе и потом в Александрии был Священным Браком богом, над которым не властно время, как и измена — настоящая или вынужденная. Но Клеопатра не была бы Клеопатрой, если бы позволила Антонию легко покончить с их размолвкой.

Диона устала думать и о Клеопатре, и об Антонии, и о том человеке, которого здесь вовсе не было. Она села на парапет и, машинально поглаживая розой щеку, стала смотреть поверх городских крыш. Мысли были странными и неуловимыми. Если потом она захотела бы припомнить увиденное, это ей вряд ли удалось бы. Может быть, то была далекая пустыня, а может… — она сама не знала.

Она медленно приходила в себя. Роза уже увядала от зноя, роняя ей на колени кроваво-красные лепестки. Глаза бездумно следовали за ними, но боковым зрением поймали что-то еще. Тень человека, который молча стоял и глядел на нее.

Все защитные силы тела, ума и магии даже не всколыхнулись, не предупредили ее. Это привело Диону в ярость. Еще больше она разозлилась, взглянув наверх, в узкое большеглазое лицо над тогой, теперь уже не просто белой. Тогу украшала кайма цвета густого тирского пурпура. Итак — сенат наконец-то отметил его.

Он казался не более важным, чем всегда. И, похоже, был рассержен — смотрел на нее так, словно заказал вина, а ему принесли египетского пива.

— Выходи за меня замуж, — услышала она.

Луций Севилий сказал это по-гречески, очень чисто, грамотно, но Диона смотрела на него так, словно он нес околесицу. Не мог же он в самом деле иметь в виду то, что сказал! Она была слишком распалена, чтобы игнорировать такую явную и обидную бессмыслицу, и

спросила:

— Что ты ел за обедом? Чемерицу?

— Я не сошел с ума. Я пришел сделать тебе предложение.

Диона встала. Это были не те слова, которые можно слушать, сидя на краю крыши и рассеянно глядя на сад возле кухни. Она глубоко вздохнула, потом еще раз, собралась с мыслями и выпалила то, что показалось ей разумным:

— Ты покинул меня почти на четыре года, не прислал ни одного письма, не напомнил о себе хотя бы весточкой. Ты прокрался ко мне без предупреждения и даже не поздоровался. А потом говоришь, будто хочешь жениться на мне. Как я могу после этого думать, что ты в здравом уме?

— Я совершил единственную глупость — уехал от тебя, не открыв своих чувств.

— О каких чувствах ты говоришь? Разве любая женщина в Риме не вышла бы замуж за твое состояние? Особенно теперь — когда ты обзавелся этим?

Она указала пальцем на кайму его тоги.

— Некоторые были очень непрочь, — сказал он не так, как человек, который хвастается своими победами. — Одной я чуть не уступил. Ее родственники были весьма настойчивы и, похоже, очень заинтересованы во мне.

— Так почему же ты не взял ее в жены? — воскликнула Диона, окончательно потеряв самообладание.

— Потому что ты, узнав об этом, тут же наслала бы на нее проклятие.

Слава богам, что Диона стояла, а не сидела на парапете — она могла бы упасть с крыши — так всколыхнул ее гнев.

— Да как ты смеешь так обо мне думать!

— Я видел тебя, — сказал он. — Во сне. Тебя и царицу, в кругу, снаружи шныряли злые духи.

— Это дела царицы, — отрезала Диона. — Я только пыталась ее остановить. Она хотела наслать проклятие на Октавию.

— Именно так и было, — кивнул головой Луций Севилий. — Но это неважно. Я наконец-то понял, что не хочу жениться на четырнадцатилетней девочке с поместьем в Этрурии. Я всегда мечтал о женщине моих лет, с поместьями неизвестно где. У тебя есть поместье?

— Есть, — сказала она тоном, каким шутят с сумасшедшими. — Немного земли на берегу озера Мареотис. — Она одернула себя: — Тебе вовсе не нужны земли в Египте!

— Конечно, нет. Но мне нужна женщина, которой они принадлежат.

Внезапно Диона почувствовала резкую боль в руке. Она удивленно посмотрела вниз. Роза… ее шипы впились ей в пальцы. Стиснув зубы, Диона вынула обломившиеся кончики, сердитым взглядом отклонив его предложение помощи, положила на парапет окровавленные шипы, опавшие лепестки — все, что осталось от цветка, и вновь повернулась к Луцию Севилию.

Теперь она немного успокоилась, оправившись от первого потрясения.

— Если бы ты попросил моей руки четыре года назад, даже три, я бы, возможно, еще и подумала над твоим предложением, хотя какой в этом прок — римлянин не может официально жениться на чужестранке. Но все же пару лет назад ты, наверное, смог бы меня уговорить. Даже год назад ты мог бы упрашивать, уповая на время и терпение. А теперь… Я не хочу снова замуж. С меня хватило Аполлония.

Странно, но Луций Севилий вовсе не походил на отвергнутого воздыхателя.

— Правда? А как он поживает?

— Полагаю, что неплохо. Я не видела ни его, ни Андрогея с того самого дня — помнишь, перед твоим отъездом. Мне ясно дали понять, что я могу и дальше присматривать за Тимолеоном, раз уж он так безнадежно испорчен, но его брат должен остаться чистым и незапятнанным недостойным поведением матери.

— Неужели все обернулось так скверно?

Если бы он начал ее жалеть, Диона, вероятно, в сердцах влепила бы ему пощечину. Но Луций Севилий говорил спокойно; он не казался шокированным или неприятно пораженным, он был просто огорченным, как мог быть огорчен друг. Они ведь были друзьями. И в память об их дружбе Диона сказала:

— Нет. Кризис назрел давно — еще до твоего появления, а в тот день нарыв наконец прорвался. Как только у Аполлония появился повод окончательно разлучить меня с Андрогеем, он использовал его сполна. Надеюсь, тебе понятно, почему эта история внушила мне отвращение к повторному замужеству.

— Со мной все было бы иначе, — сказал он.

— Аполлоний тоже не с этого начинал, — проговорила Диона и взмахнула рукой. — Не надо спорить. Я до смерти устала от споров. Мне хватило их с Аполлонием. И с Тимолеоном — когда я сказала, что не возьму его с собой в Антиохию. Мне с лихвой хватает их с…

— Кстати, почему ты приехала в Антиохию без Тимолеона? — перебил ее Луций Севилий. — Я надеялся его увидеть. Наверное, он уже стал молодцом хоть куда…

— Тимолеон учится в Мусейоне, — остановила его Диона. Глаза ее сузились: — Не расстраивай меня.

Луций Севилий пожал плечами и вздохнул; он выглядел наивным и невинным, как ребенок, и это не казалось странным. Лицо его было гладким; в волосах не блестела седина. Он был красив, как всегда. Диона вдруг ощутила странное желание — ей захотелось встряхнуть его.

— Я правда люблю тебя, — сказал он своим мягким голосом с едва уловимым акцентом. — Если, конечно, это любовь — каждую минуту думать о тебе, смотреть на любую признанную красавицу и считать ее дурнушкой по сравнению с тобой; помнить каждое слово, сказанное нами друг другу, — даже самое мимолетное и банальное. Если это и есть любовь, значит, я люблю тебя с того самого дня, как впервые увидел.

— Ах! — воскликнула Диона. — Истинная поэзия! А теперь ты будешь цитировать Сапфо[40]!

Луций Севилий передернулся и отступил назад, но тут же взял себя в руки.

— Тебе не нравится Сапфо?

— Иногда нравится — под настроение. Когда ей есть что мне сказать. «Луна взошла, и Плеяды. Я лежала на ложе, одна…»

— Я не поэт, — спокойно сказал он, — и не щеголь, обожающий цитировать стихи к месту и не к месту. Я вижу правду о себе и говорю тебе ее. Я люблю тебя.

Диона покачала головой. Она верила ему, но очень уж стремительно надвигалось на нее что-то огромное, внезапное после такого долгого-долгого ожидания… И как безмерно она жаждала этих слов — если бы только могла позволить себе; если бы только…

— Это совсем не по-римски, — только и сказала она. — Мне всегда казалось, что римляне отбрасывают такие пустяки, как любовь, получив свой первый официальный пост.

— Не все, — возразил Луций Севилий. — Некоторые из нас почти живые люди. Например, Антоний — он ведь любит египетскую царицу.

— По-моему, он любит корабли, которые она может ему построить, — сказала Диона.

— Да, отчасти ты права. Но их связывает гораздо большее. Она — его вторая половинка.

Сейчас Диона чувствовала почти то же самое, но не хотела чувствовать — по крайней мере, не теперь, не к этому мужчине… Она оттолкнула его словами, подобными удару кинжала.

— Но я-то не твоя вторая половинка. И не хочу снова выходить замуж. А если я и выйду, то совсем необязательно за тебя. Я ведь тебя совсем не знаю. Ты — незнакомец, встреченный мною четыре года назад, который снимал у меня комнату на один сезон. Разве это повод для того, чтобы принять твое предложение?

— Конечно, нет.

— Но твое сердце, конечно, подсказывает тебе другой ответ?

Луций Севилий казался шокированным.

— Повторяю: я не поэт. Возможно, я и выжил из ума, но я — честный дурак. Могу ли я получить позволение хотя бы ухаживать за тобой?

— Нет, — ответила Диона.

— Тогда могу ли я считать себя твоим другом? Разве это так уж много?

— А почему ты не спросил об этом с самого начала?

— Потому что я дурак. И что еще хуже — честный дурак.

— Хорошо, — сказала Диона. Ей было неимоверно трудно сердиться на него. Луций Севилий сейчас очень походил на Тимолеона — если бы Тимолеон был взрослым мужчиной, римлянином и не приходился ей родственником. — Дорогой друг! Какая радость снова видеть тебя!

Он колебался — то ли застигнутый врасплох ее чуть ироничным тоном, то ли ему тоже нужно было успокоиться и вспомнить, кем они были друг для друга раньше. Столь прохладные отношения были для него нелегким делом — как и для нее, но это единственное, на что она согласилась — до поры до времени, пока не обдумает его предложение. Немного помешкав, но постепенно обретая уверенность, он взял ее за руку.

— И вправду, радость, друг мой. Хорошо ли жила ты все это время?

Диона подавила смех. Это выглядело нелепо. Она заставила себя сосредоточиться на простых, ничего не значащих словах.

— Неплохо. А ты?

— Изнывал от любви к… — Он перехватил ее взгляд. — К египетскому пиву.

Она прыснула.

— Ты же ненавидишь египетское пиво.

— Ты что-то путаешь. — Луций Севилий потянул ее назад, усадил на парапет и сам сел рядом, все еще держа ее руку. Диона напряглась и попыталась высвободиться, но он мягко сказал:

— Расскажи мне обо всем. Что придумывал Тимолеон, чтобы безвременно свести тебя в могилу. Он до сих пор Гроза Матерей?

— Конечно, — ответила Диона. — Как ты мог сомневаться? Знаешь, где я его нашла однажды поздно вечером? Он танцевал в борделе. А оправившись после этого приключения — что, слава богам, заняло добрую часть года, — решил поискать приключений вдоль Нила. Я дала ему возможность добраться до Мемфиса, прежде чем отправить домой. Его чуть не

продали в рабство, в каком-то городе он затеял заварушку и якшался в пустыне с бандитами. Тимолеон до сих пор получает от них весточки, а однажды они заявились его проведать и подарили ему одну из своих большеглазых маленьких лошадок. Теперь Тимолеон ездит на ней без седла и уздечки.

Луций Севилий хохотал до слез.

— Ох уж этот Тимолеон! Ну, а я не могу похвастаться такими интересными приключениями. Правда, я провел год среди галлов: меня приняли в какое-то племя — в основном из-за моих способностей к охоте и благодаря тому, что я выучил несколько слов из их языка.

— И спас жизнь сыну вождя?

— Ничего подобного. Разве я похож на героя легенды?

С минуту она изучала его взглядом.

— Немного. Да, что-то есть.

Луция Севилий вспыхнул румянцем именно так, как она помнила, с тем же чудесным смущением.

— Очень жаль! Мне бы этого не хотелось.

— Наверное, твоя римская невеста пыталась льстить тебе подобным образом.

— Почти. — В его тоне промелькнуло едва заметное раздражение. — Я все же думал, что ты встретишь меня чуть-чуть теплее.

— А-а, ты, наверное, ждал, что я скажу тебе, какой ты красивый, — рассмеялась Диона.

Его щеки стали совершенно пунцовыми, но настроение оставалось вполне сносным. Дионе вдруг захотелось так поддразнивать его всегда, в любую минуту, всю жизнь… Но жизни их были в руках богов.

— Не обращай на меня внимания, — сказала она. — Расскажи-ка мне о галлах. Или лучше поговорим о римлянах?

Какое-то мгновение ей казалось, что Луций Севилий откажется говорить о чем бы то ни было. Но он внезапно смягчился, и даже стал подтрунивать над собой.

— Галлы… Кстати, о галлах — я все время писал тебе оттуда письма, потому что знал — тебе интересно все, что со мной происходит. Эти письма здесь. Я все не находил времени, чтобы отправить их, и оставил у себя — до того дня, когда мы снова увидимся.

— Я… мне хотелось бы их прочесть, — проговорила Диона и сама не знала, почему дрогнул ее голос.

— Нет ничего легче, — сказал он. — Итак, мы приплыли в Нарбон[41] в самую бурю — проплыв наискось к Массалии[42], ты не поверишь…

Диона слышала каждое его слово, но часть ее существа была погружена в свои собственные мысли. Эта часть заметила, что ее рука все еще в его руке; что они сидели наверху, на крыше, где их мог увидеть каждый; и что ей это безразлично. Лицо Луция Севилия было воодушевленным, как никогда, глаза сверкали: он рассказывал свои истории, втягивая в них Диону вопросами и восклицаниями. Возможно, он просто любит рассказывать — она замечала это и раньше, когда он занимался с Тимолеоном. Но сердце говорило ей: он рад рассказывать именно ей, рад всей душой говорить так отчетливо, словно он сам произнес эти слова.

И ей было радостно сидеть здесь и слушать его. Но не настолько, чтобы выйти за него замуж — это абсурд. Такая мысль была для нее запретной. Вот стать его другом — да, его дружбу она принимала всем своим существом.

20

Антоний избегал споров об Ироде. Другие, менее существенные вопросы — пожалуйста; но чем неистовей Клеопатра настаивала на разговорах обо всем без исключения, тем упрямей он отказывался.

— Так ты не уступишь мне этого эдомского выскочку?

— Пока он мне нужен — нет.

— Ну-ну… — сказала она. — И все же ты держишь меня, как ястреба на кулаке. Но раз я ястреб, меня нужно кормить хорошим мясом — и его должно быть много, иначе я могу взлететь в небо и больше никогда не вернуться.

— Но ты просишь не мяса для ястребов, — заметил Антоний. — Ты требуешь сердце своего товарища-сокола. Мы не кормим наших ястребов мясом друг друга, моя дорогая небесная охотница.

— Но ты же принес мне голову моей сестры. А жизни Ирода мне не надо — я прошу земли, которые раньше принадлежали Египту.

— Это было давно, — возразил Антоний. — Следуя твоей логике, я должен отдать Египет парфянам, если они потребуют. Он ведь принадлежал им, до того как Александр завоевал его: или ты уже забыла?

— Я ничего не забываю, — отрезала Клеопатра.

— Ясное дело, этого ты наверняка не забудешь. А чем, в самом деле, так насолил тебе Ирод?

— Тем, что присвоил себе земли, которые должны быть моими.

Антоний замолчал, поднял кубок и обнаружил, что он пуст. Когда виночерпий наполнил его, покраснев до ушей от своей оплошности, Антоний сказал:

— Ирод будет по-прежнему пользоваться «присвоенным». Он нужен мне именно там, а ты — везде, кроме этих земель.

— Ну, тогда добро пожаловать в Александрию — там я и пальцем не пошевелю ради тебя.

— Не думаю, — произнес Антоний с чуть ироничной улыбкой. — Я предлагаю тебе полмира.

— Да, но некто уже отгрыз от него изрядный кусок. Я не ем яблоко, если в нем завелись черви.

Он усмехнулся и бросил ей яблоко из большой чаши, стоявшей перед ним. Клеопатра метнула его назад. Антоний рассмеялся и кинул опять. Кто-то еще, уже в серьезном подпитии, поймал его и бросил взамен одно из своих. Друг Антония, Капит, отвел удар, который едва не пришелся в центр стола, где сидела особенно теплая компания. Случись это, наверняка началась бы почти всамделишная война.

Несколько часов спустя слуга вычесывал кусочки спелого яблока из волос Антония, растянувшегося обнаженным на ложе. Он был разгорячен вином и поединком; а прикосновения гребня — даже когда он застревал в слипшихся от яблочного сока волосах, успокаивали его и погружали в полудрему. Но какая-то часть сознания бодрствовала, и внезапно он ухватился за ее соблазнительное предложение.

Не послать ли за какой-нибудь служаночкой. Как ты считаешь, Лисий? Кто лучше: малышка-брюнетка или блондиночка повыше? Или позвать обеих?

— Обе обойдутся, — услышал он голос позади себя.

Антоний моментально очнулся от дремы и обернулся, сбросив на пол подушки. Клеопатра улыбалась хитрой торжествующей улыбкой. Гребень был в ее руках; а Лисия не оказалось и в помине.

— Клянусь Гадесом[43], как тебе… — начал он.

Ее палец лег ему на губы.

— Никогда не выпытывай у женщины ее секреты.

Он справился с собой быстро, как подобает солдату.

— Я думал, ты уже никогда не придешь.

Клеопатра уступила неожиданно, даже не смягчившись: просто легла поверх него. Лишь тонкое блестящее шелковое платье разъединяло их тела. Но она не позволила себя раздеть.

— Я настаиваю на своей цене.

— Опять старая песенка?

— А как же.

Антония как магнитом тянуло к ней. Он не смог унять дрожь, но лицо его стало жестче.

— Нет.

Клеопатра рывком отстранилась от него. Но просчиталась: Антоний мертвой хваткой держал ее в своих объятиях. Он был сильным, как и все римляне, а это означало силу по любым меркам: огромный мужчина со стальными мышцами, лишь с капелькой жира. Его руки были словно из железа, а лицо казалось каменным, пока он не засмеялся.

— Поняла? Кое в чем ты не можешь меня побороть.

— Не делай на это ставку, — посоветовала она.

— А я хочу с тобой поторговаться. Ты говори, говори. А я послушаю. И решу для себя.

— Ты уже решил, — холодно парировала она.

— Я решил… А я решил? Так ты поэтому так стараешься уговорить меня отдать все? Что ж, я почти сдался.

— Почти, — подчеркнула Клеопатра.

— А тебе всегда мало!

— Отчего же, иногда бывает достаточно.

Она потерлась о него так, что он задохнулся, а потом чуть-чуть отодвинулась — не больше чем на дюйм — и продолжила свои речи.

— Отдай мне Иудею.

— Нет.

— О боги! Я готова рвать на себе волосы! Зачем, зачем я отправила к тебе этого маслянистого, скользкого семита. Его роль заключалась в другом — вызвать твою ревность и быть вышвырнутым вон.

— Разве? А почему? — невинно спросил Антоний. — Он очарователен. И очень, очень полезен.

— Народ ненавидит Ирода. Люди презирают его. Он не имеет прав на свое царство; женился на женщине из древнего рода; назначил первосвященником ее брата, а потом уничтожил. Если ты не покончишь с ним ради меня, его народ сделает это ради себя самого.

— Приму к сведению. Но пока Ирод слишком полезен для меня, и я не стану от него избавляться, — добавил Антоний, сверкнув рядом ослепительных зубов, — он освобождает тебя от чрезмерных хлопот. Я дам тебе власть, любовь моя — но не такую, чтобы ты могла бросить мне вызов.

— Мудро, — съязвила она. — Но неучтиво. Не следовало бы говорить, что ты мне не доверяешь.

— Я доверил бы тебе даже свою жизнь, — сказал он. — Я также могу доверить Ироду и его приятелям-царькам блюсти мои интересы; до тех пор, пока это удобно им самим. Полагаю, что так продлится долго, ведь я — азартный игрок. Как только мы с тобой усядемся в Персии на трон Александра и Кира[44], я отдам тебе Ирода в собачонки — чтобы грел твои колени. Но до тех пор он нужен мне самому.

— Ну-у, если у нас вообще так далеко зайдет, — она сморщила нос, — я велю повесить его в его же собственном храме.

— Как пожелаешь, — сказал он. — Но не сейчас.

Клеопатра задыхалась от страсти. Как же давно она не с ним! И когда Антоний снова потянулся к ее одеждам, она не сопротивлялась и не старалась вырваться. Платье порвалось, но они оба не заметили этого. Его руки зарылись в ее волосы; она изо всех сил прижала его к груди.

Они застыли, слившись воедино. Антоний посмотрел ей в глаза.

— Вот теперь я дома, — еле слышно сказал он.

Сейчас вполне можно было воспользоваться моментом и вернуться к вопросу об Иудее, но, казалось, ей порядком надоели политические проблемы, как и ему. Однако, когда они сполна насладились телами друг друга — а это произошло очень не скоро, — она сказала:

— А я все равно буду стоять на своем.

Но Антоний уже спал. Клеопатра вздохнула, нахмурилась, но все же не выдержала и улыбнулась.

— У нас еще будет вдоволь времени для войны и для любви. Доброй ночи, дорогой мой римский лев.

Он что-то пробормотал — это могло означать: «Доброй ночи».

Ее улыбка стала шире и мягче. Она положила голову ему на грудь и, чувствуя себя в его объятиях уютно и спокойно, тоже уснула.

Действие третье
ЕГИПЕТ И ВОСТОК
36—34 до н. э

21

Река была как расплавленное золото: берега рдели, доспехи воинов алым золотом пылали в лучах восходящего солнца. И это был только авангард величайшей армии в мире — основные силы еще не подтянулись. Еще ни одна армия не казалась столь несокрушимой, как эта, и не продвигалась так целеустремленно в глубь Востока, прямо в сердце вотчин богов, под их ревнивым пылающим оком — только армия великого Александра когда-то, но его остановили свои же, вынудили вернуться и, как гласило предание, сломили его волю к победе.

Антоний являл собой грозный образ царя-победителя. В отличие от Александра, бежавшего от фурии, которая приходилась ему матерью — по крайней мере, так о ней говорили, — Антоний оставлял в тылу любимую желанную женщину. Провожая своего господина и бога на войну, к которой он так долго готовился, Клеопатра приняла свой самый царственный облик и вооружилась храбрейшей улыбкой. Царица была вся в серебре — по контрасту с его золотом, — на белом коне; и вообще постаралась на славу — ее мантия была такого густого пурпурного цвета, что даже солнце меркло и казалось тусклым и темным по сравнению с нею.

Они стояли на песчаном берегу Евфрата, позади растянулась армия, ждавшая их знака, чтобы выступить в поход. Клеопатра пристально смотрела вдаль, поверх блиставшей золотом великой реки. Антоний не сводил с нее глаз.

— Я почти готов остаться, — сказал он.

Она удостоила его взглядом.

— Столько хлопот, такие средства — и ты хочешь все это засунуть псу под хвост? Не будь глупцом, мой бедный Антоний.

Он посуровел, но потом рассмеялся.

— Ты, как всегда, практична, моя госпожа. Неужели ты так рада от меня, избавиться?

— Я с пользой потрачу это время. У меня много дел.

— Отлично… А Александр, наверное, не тратил времени на долгие прощания? На коня — и вперед. Облако пыли — и след простыл.

Она кивнула — резко и коротко.

— Скорее всего… — Антоний махнул ей рукой и повернулся к оседланному коню.

Клеопатра вцепилась в него прежде, чем он вскочил в седло, и повернула лицом к себе. Они сжимали друг друга в объятиях, не в силах разъять рук.

— Выиграй эту войну, — мягко, но страстно сказала она. — Покори Азию; стань властелином мира. А потом возвращайся и положи его у моих ног.

— Слушаюсь, моя владычица.

Он положил руку на ее живот, где опять вызревала новая жизнь.

— Я вернусь еще до конца года. Клянусь тебе.

— Не надо опрометчивых клятв. Лучше побеждай — и возвращайся. — Она оттолкнула его. — А теперь иди — или ты не уйдешь никогда.

Антоний все мешкал, но она больше не могла удерживать его, не показавшись смешной, а на людях Клеопатра всегда ощущала себя царицей. Он взял уздечку из рук конюха и по-прежнему стоял, переминаясь с ноги на ногу. Потом нехотя успокоил коня — жеребец прядал ушами и бил копытом. Антоний похлопал его по боку и легко вскочил в седло.

— Вперед, — сказал он так тихо, что могла слышать только она, а потом уже громче, звонко, ясно — и да, да, — даже радостно: — Вперед! Вперед на Азию!

— Отличный спектакль, — сказала Диона.

Луций Севилий давно уже сидел верхом, но его конь, словно зная, каким долгим будет этот день, не упускал возможности пощипать травки, еще не вытоптанной копытами римских коней, и потихоньку отходил в сторону от войск. Армия строилась в легионы, и вокруг царила суматоха: слышались выкрики, окрики, ржание коней и раскатистый рев командиров. Было ясно, что пройдет еще немало времени, прежде чем они действительно тронутся в путь.

Здесь находился авангард армии: подальше от сутолоки, поближе к полководцам. Место Луция Севилия было среди них — но пока еще можно было не спешить присоединиться к военачальникам, к чему он, впрочем, и не стремился.

— Не нравится мне это, — медленно проговорил он. — Зачем так явно подражать Александру?

Судя по всему, подобные мысли зрели в нем давно. В Александрии Луций Севилий был на редкость тихим; и становился все молчаливее, пока дни проходили в пирах, шутливых поединках, экстравагантных выходках с размахом — и в подготовке к войне. На сей раз он не остановился у Дионы, настояв, что поселится во дворце; но все же виделись они достаточно часто, и пару раз ужинали в ее доме в присутствии Тимолеона, что придавало этим трапезам должную невинность. А когда они отправились в Азию с царицей и триумвиром, Луций и вовсе умолк.

Но теперь все было готово, война начата, армия собрана и приведена в движение, и он наконец решил высказаться, вместив в эти последние короткие минуты все, о чем так долго молчал.

— Неважно, что говорит или думает царица. Она старается, он изо всех сил пытается ей угодить — напрасный труд! Антоний — не Александр Македонский. Он римлянин. Его армия — римская до мозга костей. А Рим всегда стоит на страже своих интересов. Завоеванные им земли будут подчинены Риму, а не… — он помедлил, — не Египту.

Диона подняла глаза, Луций Севилий смотрел не на нее. Он пристально глядел на сверкавшие золотом доспехи Антония, который стоял чуть впереди своих полководцев в окружении ближайших друзей.

— Взгляни-ка на него, — сказал он. — Дешевая, мишурная роскошь. Золото и пурпур, черный конь — даже у самого Александра не было такого здоровенного ниссанского[45] жеребца — ни в жизни, ни в мифотворческих дифирамбах Каллисфена[46].

— Не забывай, что Антоний крупнее Александра, — заметила Диона. — И конь ему нужен побольше.

— Не пытайся его оправдать. Это впечатляет толпу, не правда ли? И — солдаты такое любят. Полководцы не в ладу с чувством меры. Потребность устраивать спектакли у них в крови.

— Но если они еще умеют воевать, разве это так ужасно?

— Нет. — Он покачал головой, недовольно хмурясь. — Но хотелось бы, чтобы Антоний все-таки был больше римлянином, чем греком. А он ни разу не надел тогу с тех пор, как выехал из Антиохии. Словно, отослав восвояси Октавию и вернувшись к Клеопатре, он решил полностью стать греком и совсем позабыть Рим.

— Я так не думаю, — помолчав, сказала Диона. — Он не может забыть Рим — ведь нельзя же забыть свое дыхание. Но здесь не. Рим; здесь Азия. Он вынужден принимать правила игры, если хочет стать победителем в этой войне.

Луций Севилий взглянул на нее долгим, пристальным взглядом, словно впервые ясно увидел и, судя по всему, удивился увиденному. Может быть, у нее появилась седина или морщины, которые утаило зеркало?

— Ты — не римлянка.

— Конечно, нет, — сказала она твердо. — По крови я персиянка, мидийка, македонка и гречанка. А если короче, я александрийка, египтянка, а еще — чужестранка.

Он покачал головой.

— Нет, я имел в виду совсем другое. Извини, если я обидел тебя. Конечно, вам нужен новый Александр, а не очередной римский покровитель и господин. Александр был вашим.

— Мне не нужен Александр, — сказала Диона. — Мне нужна Клеопатра — и я принимаю все, что она делает для своего царства. Даже если берет себе в мужья римлян и использует их.

— И превращает их в греков.

— Ты считаешь, что я тоже превращаю тебя в грека?

Конь тряхнул головой, Луций Севилий ослабил поводья с усилием, не ускользнувшим от ее внимания.

— Ты ничего подобного не сделала.

— Только не согласилась стать твоей женой. Наверное, ты клянешь царицу за то, что она превратила в грека своего римлянина, потому что я не последовала ее примеру.

Луций Севилий развернул коня. Он был хорошим наездником, Диона это заметила — как люди в моменты кризиса замечают любые мелочи и ищут в них спасения от неотвязных мыслей о большом и болезненном. Персиянка в ней одобрила, как легко он держит поводья даже сейчас, когда на душе скребли кошки.

Уже повернувшись, на Восток, он не вонзил шпор в бока животного и не послал его галопом в строй. Конь, стряхнув с себя лень бездействия, оказался не менее горячим, чем жеребец Антония, но он не желал тратить силы, вставая на дыбы и бесцельно гарцуя. Ноздри его, почуяв ветер, раздувались; конь мягко пофыркивал, словно говоря: он поскачет, но только если его хорошенько попросят.

— Ты поступила… разумно, — сказал он дрогнувшим голосом, наконец нарушив молчание. — Вряд ли ты могла принять предложение человека, который так надолго покинул тебя, ничего не объяснив и не прислав даже весточки.

— И к тому же римлянина, — добавила она. — А я — восточная женщина.

— Это как раз неважно.

— Однако то, что Антоний тоже связался с женщиной с Востока для тебя важно.

— Антоний — совсем другое дело. Но я не триумвир, не живое воплощение Рима и не его лицо. И никогда не собирался им становиться.

— Ложная скромность, — обронила Диона.

— Нет. — Он натянул поводья. Жеребец выгнул шею и забил копытом, не одобряя проволочку. — Я никогда не мог похвалиться последовательностью. И беспристрастностью в том, чего жду от своего полководца.

— Но ты честен, — напомнила она. — И всегда был таким. Обещай мне кое-что.

— Если смогу.

— Обещай, что ты будешь присылать мне весточки — и почаще, если получится. Не оставляй меня наедине с твоим молчанием — как тогда, когда ты уехал в Рим.

Луций Севилий кивнул не колеблясь, — она видела это.

— Обещаю.

— Нет, возразила она. — Этого мало. Обещай.

Он понял — как поняли бы большинство мужчин.

— Клянусь тенью моего отца. Я всегда буду помнить о тебе и сделаю все, чтобы и ты помнила меня тоже.

— И пришлешь письмо, записку, словечко на крыльях духов ветра — все, что только можно.

— А если я все это сделаю?

«До чего же римляне хитрые!» — улыбнулась про себя Диона. Римлянин — всегда римлянин, даже тогда, когда он дает клятву друга… или любовника.

— Если ты все это сделаешь… — Диона подошла поближе, подождала, пока он успокоит своего жеребца, и притянула его голову вниз, пока их лица не оказались на одном уровне. Луций Севилий не сопротивлялся; он словно ждал этого момента. Диона легко коснулась поцелуем его губ, пахнущих корицей.

Он медленно выпрямился. Лицо его было мрачным, но глаза сияли.

— Как бы я хотел, чтобы это случилось много месяцев назад.

— И я тоже. — Диона быстро отступила назад прежде, чем… Она не знала, что ей взбредет в голову, и была готова или прыгнуть к нему на коня и умолять взять ее с собой, или просить остаться с ней, или увезти ее за тридевять земель. Неожиданно для самой себя она полностью утратила рассудочность — после стольких месяцев хорошей обороны. Будущее настигло ее внезапно — сейчас они расстанутся, и одни боги знают, надолго ли.

Диона выпрямилась и призвала на помощь все свое самообладание, пытаясь взять себя в руки. Это было очень непросто — но она не напрасно столько лет училась владеть собой, служа царице.

— Доброго пути. И помни свое обещание.

— Обязательно. Я вернусь. И тогда… ты выйдешь за меня замуж?

— Может быть.

Луций Севилий медлил. Его конь снова забил копытом и заржал.

— Что ты, — сказал он наконец, — этого мне хватит надолго. И когда-нибудь ты все же будешь со мной.

— Главное — помни, — ответила она. — И возвращайся.

22

— «Луций Севилий, гаруспик, из Армении — госпоже Дионе из рода Лагидов, в Александрию, с приветом и пожеланием доброго здравия».

Диона сделала паузу. Она читала письмо Тимолеону. Ее пальцы дрожали, что было смешно. Это ведь просто письмо, а не поэма любви.

— Смотри, он пишет salve и chaire[47] — как римлянин и как грек. — Она надолго замолчала.

— Читай дальше, — попросил Тимолеон.

Диона с напряжением всматривалась в мелко исписанный папирус.

— Сейчас. Где же я остановилась? «…с приветом и пожеланием доброго здравия. И Тимолеону Аполлониду — с горячим приветом и теми пожеланиями, о которых он наверняка сам догадается».

Тимолеон громко прыснул. Диона слегка шикнула на него и улыбнулась, но продолжала читать.

— «Надеюсь, что письмо найдет вас всех в добром здравии и благоденствии. Надеюсь я также, что вы наслаждаетесь миром и покоем вашего чудесного города, который я тоже успел полюбить. Покинув тебя и твою царицу, госпожа, мы пошли маршем на север, по римскому берегу Евфрата — в Армению. Нас уверяли, что эта страна наш друг, в основном благодаря стараниям полководца Публия Конидия Красса. Народ действительно оказался дружелюбным и гостеприимным, но местность была столь же непроходимой, как и те, где я бывал раньше: гора на горе и сверху еще по горе. Так мы и шли, с грехом пополам, пока не дошли до Caranus — самого сердца Армении.

Здесь нас уже ждал Конидий с оставшейся армией. И какой армией! Он, госпожа, я уверен, что даже сам Александр в зените своей славы не видел ничего подобного. Казалось, она простиралась на тысячи и тысячи двойных шагов[48] вокруг города — вернее, городка, как ты назвала бы его после Александрии, но в той части мира он выглядит как могущественная метрополия. Наша армия набилась в него до отказа, даже прихватила поля вокруг городских стен. К исходу дня все еще казалось, что этому не будет конца. Наконец, все расположились и развели походные костры. Их огни мерцали, как звезды на черном небе. Я стоял на городской стене, смотрел вниз и думал: наверное, такое видят боги, глядя с высоты на планеты.

Ну, тут уже запахло поэзией, а я не поэт. Хочу только сказать: это — великая армия, величайшая армия эпохи. И каждый воин в ней душой и телом предан тому, кто ведет их на битву. Их преданность — нечто невероятное; она фанатична. Вздумай какой-нибудь безумец даже только шепнуть что-то, кроме слов глубочайшего обожания, и он тут же обнаружит, что окружен вооруженными, угрожающе-опасного вида людьми, готовыми умереть за доброе имя своего полководца; они почтут это за счастье. Маршируя перед ним, воины кричали и ликовали до тех пор, пока у них не осипли глотки; тогда они стали бряцать копьями о щиты, подняв такой шум, что, казалось, горы гудят от звона.

Они любят его, моя госпожа, и называют Великим. Но Антоний для них еще и простой смертный, которому не чуждо ничто человеческое. Завидев, как он тащится в свою палатку после одной из пирушек, люди смеются и говорят: «Смотрите, как бог вина опять его накачал». Но потом опять истово поклоняются ему, служат ему, как служили бы богу, и

каждый, не моргнув глазом, отдаст за него жизнь. Антоний дает этим людям то, что им нужно больше всего — войну, на которой они могут сражаться, и полководца, который поведет их в бой. Именно это давал своим подданным и Александр.

У Антония, как и у его великого предшественника, есть дар устраивать спектакль из всего и талант к великому и грандиозному. По-моему, и тому и другому он научился у Цезаря — и у Клеопатры. Он оказался способным учеником.

Итак, сейчас, собрав все силы, мы выступили в поход. Армия необъятна — словно население целого города, карабкающееся по горам в Мидию. Антоний собирается взять Атропатену, которая — очень кстати! — является главной сокровищницей царства. Тогда парфянам будет нанесен удар в самое сердце, а наша армия баснословно обогатится — такое не приснится и самому алчному смертному, даже царю».

Диона остановилась, чтобы перевести дыхание.

— Весьма цинично, — с восхищением заметил Тимолеон. Он уже довольно давно предавался вселенской тоске и разочарованиям — кроме тех моментов, когда поддразнивал мать. — Маловато у него иллюзий. Вообще, Луцию Севилию следовало родиться в Александрии. Он и наполовину не так прямолинеен, как полагается римлянину.

— Ну, я не назвала бы Цезаря прямолинейным, — сказала Диона.

— Но Цезарь не был и римлянином из римлян, — заметил Тимолеон с мудростью юности. — А вот Антоний именно такой, даже в греческом платье, с греческими манерами и всем остальным. Но ведь это все игра. Теперь каждый мужчина — весь Рим.

— Может быть, — рассеянно проронила Диона, потягивая из чаши апельсиновый сок, все еще прохладный от снега, с которым был перемешан — снега с гор Армении, упакованного в солому, уложенного в лодки и отправленного в Египет как дар Антония царице. У него был незатейливый, хотя и немного странный вкус — он чувствовался даже сквозь горечь апельсина.

Она опять взяла в руки письмо. Луций Севилий явно писал его частями — дат не было, но местами цвет чернил менялся, почерк становился торопливей — словно о событиях более важных он рассказывал взахлеб.

— «После нескольких дней пути мы подошли к озеру Матина, и вечером, когда мы расположились лагерем, я увидел знамение — над бескрайней водой повисли три солнца, одно над другим: нижнее было самым большим, а то, что выше всех — самым маленьким, и вокруг всех трех пылал нимб белого огня. Это был знак, мы все так решили — и простые солдаты, и жрецы и астрологи; никто из нас не понимал, что он предвещает. Сам же я подумал об Александре, величайшем из царей и завоевателей, который, говорят, проходил через эти земли. Тогда второе солнце — над ним — могло быть Антонием. Но если я прав, то почему три солнца, а не два? Однако потом я подумал, что третье, возможно, — это Гелиос, которого царица назвала так с гордостью, граничащей с гордыней. Может, оно и так — а может, и нет; одни только боги знают — они ведь знают больше, чем может вообразить человек. Пока я стоял и смотрел, огромное солнце село, среднее потонуло в облаках и погасло, но третье росло и распускалось, как огненный цветок, пока не заполнило все небо; и тогда настала ночь.

Наутро мы гадали по внутренностям животным, как и положено, но не узнали ничего полезного. Боги хранили свою тайну. Итак, не ведомые богами — но они не остановили нас, — мы шли к Востоку от озера. Местность здесь была совершенно открытой — ни лесов, ни гор; и тут стало ясно, что обозы замедляют наше передвижение до черепашьего шага.

Осадные машины, которые нам понадобятся при взятии Атропатены, всей тяжестью давили на повозки, и быки едва тащили их по равнине. Поэтому Антоний решил разделить армию: половина ее, налегке, быстро отправится к Атропатене и начнет осаду; оставшаяся — с большинством обозов, осадными машинами и двумя легионами[49] для охраны — потихоньку пойдет следом.

Такая стратегия в какой-то степени мудра, страна эта считается дружественной, и чем раньше армия дойдет до цели своего похода, тем вероятней будет застать город врасплох. Возможно, даже не потребуется настоящей долгой осады — если наши солдаты смогут прорвать оборону еще до того, как прибудут осадные машины.

Однако мне кажется, что Антонию не следовало дробить армию. Конечно, обозы очень замедляют ее продвижение — но зато меньше соблазна для тех, на чье дружелюбие к Риму положиться нельзя; и, госпожа, мои слова относятся к царю Армении. Я так и сказал Антонию. Конечно, он не был так груб, чтобы рассмеяться в ответ, но все же намекнул, что мне лучше держать свои знаки и книжную премудрость при себе и дать солдату возможность самому судить о премудростях военных. Вероятно, он прав, ведь я действительно в душе не солдат, хотя и участвовал во многих сражениях и достаточно потаскал доспехов и армейского скарба, отчего мои плечи покрылись шрамами, как и у любого ветерана…»

Дионе пришлось остановиться. Горло у нее пересохло, и не только от беспрерывного чтения. Она допила остаток холодного сока.

— Антоний не должен был делить свою армию, — произнес Тимолеон.

— Возможно, — сказала Диона. — Но я не вижу в этом смертельной угрозы — ни для Антония, ни для Луция Севилия. Если бы им грозила опасность, я бы уже знала. Богиня сказала бы мне.

Это были не пустые слова — и не самоутешение. Она чувствовала какую-то внутреннюю уверенность — и неспроста.

— Но есть вещи не менее страшные, чем смерть, — мрачно сказал Тимолеон.

— Хватит. Перестань, — остановила его Диона и заставила себя вернуться к письму: — «Я остался подле Антония и больше об этом не заговаривал — а он не их тех, кто спрашивает совета в своих военных планах. Без обозов мы действительно быстро дойдем до Атропатены. Правда, как только равнина кончилась, нам опять пришлось тащиться с черепашьей скоростью, карабкаясь вверх-вниз по бесконечным горам. Мы вошли в Мидию вчера: местность там была более-менее ровной, а люди попрятались или бежали. Даже без имущества наша армия могуча, мы идем, словно растекаясь по стране, как гигантская волна, с походной песней, когда в горах достаточно для этого воздуха.

Здесь, в самом сердце Азии, мои оценки стали меняться. Я понял, почему Александр шел все дальше и дальше в глубь Востока. Его гнала вовсе не жажда завоеваний; это было нетерпение и любопытство — дойти до горизонта, перешагнуть через него, идти дальше и найти новые земли, новые города, новые пути, новые расы людей. Но его армия выдохлась, растеряла свое мужество прежде, чем достигла вод Великого Океана. И это тоже можно понять. Очень немногие могут все бросить и, воодушевившись лишь пылом души и силой духа, идти вперед, руководствуясь только эфемерными путеводными звездами. И я задумался вот о чем: хотел ли Александр идти вперед, когда армия стала ему помехой, жалел ли, что он — царь, а не простой смертный, свободный в своих поступках? Не собирался ли он продолжить свой путь к краю света в одиночку, на свой страх и риск?

Но здесь я должен одернуть себя. Я — не Александр и не Антоний. И уместно ли их сравнивать? У Антония своя цель: он должен завоевать эту страну для Рима. Потом он вряд ли захочет покорять Индию. Антоний знает пределы своих возможностей. Как только сокровища Атропатены станут нашими, мы возьмем Парфию за горло. Нам останется только сжать его, и тогда все царство — наше. Так говорит Антоний, и кто я есть, чтобы оспаривать или комментировать его слова?

Ну что ж, до свидания, госпожа моя, до моего возвращения. Я привезу тебе свою долю сокровищ Парфии; ты можешь посмеяться над ними, обрядить в них ослика Тимолеона или раздать нищим на улицах. Мне до этого нет никакого дела — только бы снова увидеть тебя».

— Ох, да он поэт! — воскликнул Тимолеон лишь с крохотной ноткой насмешки. — Мама, а ты выйдешь за него замуж? Он ведь обожает тебя!

Щеки Дионы вспыхнули. Ее нахмуренные брови не возымели должного эффекта — Тимолеон лишь усмехнулся и подмигнул.

— По-моему, ты тоже его обожаешь, — заметила она.

— Ну-у, — ответил он, лишь слегка озадаченный. — По-своему, да. Может, ты часом слышала разговорчики моих друзей о Недоступном Красавце, как они его называют. Он равнодушен ко всем — к женщинам, к мужчинам, к мальчикам. Ко всем, кроме тебя. Это немножко необычно, но здорово.

Диона подавила вздох.

— А ты, надо полагать, Доступный Красавец?

— Надеюсь, что нет, — ответил он с едва уловимой разубеждающей резкостью. — Просто мне нравится думать, что я не совсем урод и на меня, может быть, приятно посмотреть. Мама, так ты выйдешь за него замуж? У всех же глаза на лоб полезут!

— Несомненно, — согласилась она. — А разве тебе не нужно идти на симпосий[50]? С армией обожателей?

— Их только трое, мамочка. Всего трое. И я намерен разбить им сердце, влюбившись в танцовщицу. Но ты не разбивай его сердце, мама. Я тебе этого никогда не прощу, так и знай.

Он чмокнул ее в лоб и умчался на свой симпосий — Диона знала, что эти пирушки вовсе не были такими дебошами, как пытался изобразить Тимолеон.

Богиня-кошка, свернувшаяся у ее ног, подняла голову и сказала:

— Мя-яу!

— Вот именно, — строго заметила Диона. Но она улыбалась.

23

Александр Гелиос и Клеопатра Селена пришли в этот мир с величием, под всполохи огней. Их брата осеняли тишина и покой; благоприятные знаки предшествовали его появлению на свет, тихим, легким и почти стремительным было и само его рождение. Даже для новорожденного он был спокойным ребенком, большеглазым и молчаливым.

Но все же у Дионы не было никакого сомнения, что этот ребенок, как и его братья, рожден стать царем. Мать назвала его в честь величайшего из всего рода — Птолемей Филадельф[51].

Младенец нес благородную тяжесть своего блистательного имени без малейшего усилия. Диона, склонившись над колыбелью наутро после его рождения, положила палец ему на лоб. Он важно и пристально уставился на нее. Диона подумала, что он может стать кареглазым и белокурым.

— Ты назвала его верно, — сказала она.

— Он принадлежит к богам, — ответила с ложа Клеопатра. Она почти не устала — таким легким было рождение ребенка, благословенное, как назвали его жрецы, и благословен был плод его. Жрецы желали, чтобы появление на свет царственного младенца являлось благим знаком победы Антония в Мидии. Того же хотела и Клеопатра.

— Да, я вижу, — согласилась Диона. — Он весь светится своим божественным предназначением. И это сияние — такое спокойное, тихое, как и все в нем. Я смотрю на него и думаю о летних вечерах — и о кошке на охоте.

— Покой вместе с опасностью, — улыбнулась Клеопатра. Да, такие мужчины в твоем духе. Как, по-твоему, похож он на отца?

— Нет, — сказала Диона. — Он настоящий Птолемей.

— О боги! — шутливо воскликнула Клеопатра.

Диона повернулась к ней.

— Это — благородное наследство.

— Да, особенно нос, — засмеялась Клеопатра и вздохнула. — Ну да ладно. Могло быть и хуже — слава богам, что он не родился девочкой.

Диона подошла к ее огромному ложу и села на краешек, поджав под себя ноги, как любила сидеть в юности. Клеопатра помнила это: она улыбнулась, потянулась и весело подмигнула ей; хорошее настроение не покидало царицу со времени появления ребенка на свет.

— Ты осознаешь, — сказала Диона, — что ты дала Риму и Египту трех сыновей и дочь, которая станет царицей? Надеюсь, ты гордишься собой?

— А разве когда-нибудь я не горжусь собой? — опять подмигнула Клеопатра.

— Ты знаешь, что я имею в виду, — очень серьезно ответила Диона.

Клеопатра кивнула. Они замолчали, и молчание их было спокойным и непринужденным, а ребенок уснул, пока нянька качала его колыбель. Диона не спала всю ночь, но почти не устала. Творить мир для этого младенца было так же легко и просто, как произносить слова. Она не позволяла себе думать, что все оказалось слишком просто. Он был Птолемеем — и этим все сказано. Для Птолемеев мир уже давно сотворен и только ждет, когда они придут и объявят его своим — не то что Гелиос и Селена, нуждавшиеся в новой вселенной.

Все это напоминало состязание. Три сына и дочь. Сын — Цезарю, еще два — Антонию, а дочь — Клеопатре. Если будут еще — слава богам. Но главное в том, что род Лагидов в Египте уже не пресечется.

Ум Клеопатры уже переметнулся с дел житейских на дела государственные — Диона хорошо знала этот взгляд из-под слегка нахмуренных бровей. Пусть себе спокойно думает, она подождет.

Диона откинулась на золоченое изголовье ложа и закрыла глаза. Она вовсе не собиралась спать, но голос Клеопатры, казалось, донесся откуда-то из снов.

— Октавиан, — промолвила царица. Она никогда не произносила этого имени без яда, но сейчас язвительная нотка была тут же приглушена, и голос прозвучал задумчиво. Диона заморгала, пока не стала ясно видеть лицо Клеопатры. Та казалась погруженной в свои мысли. — Интересно…

Диона тряхнула головой, отгоняя сон.

— Да нет. Ничего новенького — ничегошеньки. Просто… он заставляет меня думать. Я презираю его. И всегда буду презирать. Но ты заметила, как ему невольно удается — чтобы он ни делал — заставить думать о том, что делает? И додумывать — каплю за каплей? В нем нет ни капли верности кому-либо, ни чести, ни воспитания — даже элементарной способности выполнять свои обещания. И все же, Диона… И все же… А что, если то, что он говорит о себе, правда? Что он так же велик, как Цезарь? А вдруг он еще более велик?

— Это невозможно. Цезарь был сам ум и очарование. У Октавиана нет ни того, ни другого.

— Без ума можно обойтись — иначе как выжила бы вся эта орава придворных? Очарование — пустой звук, если за ним не стоят культура и ум. Я всегда считала, что такие качества необходимы мужчине, призванному править, но теперь начала сомневаться в этом. Октавиан не скрывает своей уверенности, что он — и только он — способен править Римом так, как должно им править; дать мир империи, не знавшей ничего, кроме гражданских войн, со времен, когда Ромул убил своего брата Рема у стен новорожденного Рима. А вдруг эта вера — истина? Что, если мы выбрали не того супруга для царицы?

— О, богиня! — ахнула Диона. — Да ты просто не в себе!

— Не в себе, — резко согласилась Клеопатра и, помолчав, продолжила:

— Конечно, я преувеличиваю. Я никогда не смогу проявить благосклонность к этой холодной рыбе. Но, как бы ни любила я моего римского льва, я знаю и всегда знала, что кое-чего ему не хватает: величия, блеска ума, способности править в мире и покое так же, как и на войне.

— Зато это есть в тебе. Вот почему боги и свели вас вместе. Антонию подвластно искусство войны, тебе дано искусство править и дар мира. Вместе вы — гармония целого.

— Да… — молвила Клеопатра с оттенком сомнения. — Я хотела бы… о, боги, я хотела бы, чтобы эту тварь удавили еще в колыбели.

— И все мы — тоже. И многие римляне хотели бы того же. Октавиан не относится к людям, пользующимся любовью своих сторонников.

— Но, тем не менее, он является их вожаком. У него нет ни малейшего таланта воевать. Но он умеет изворачиваться и интриговать, как любой восточный царек. И не колеблется. Его не мучают угрызения совести — ни малейшие. Он неуязвим.

Диона вовремя прикусила язык, но Клеопатра докончила за нее.

— Ты считаешь, я ему под стать? Но, Диона, я — всего лишь человек. И во мне есть кое-

что уязвимое — сердцу ведь не прикажешь. Я люблю Марка Антония, не собираюсь делить его ни с кем и не отрекусь от него.

— Но у Октавиана тоже есть своя слабость, — сказала в замешательстве Диона. — Он — азартный игрок.

— Но, играя на царства, он делает ставки только там, где может выиграть.

Диона никогда не могла победить Клеопатру в войне умов. Она развела руками и вздохнула.

— Ну хорошо. Пусть Октавиан недосягаем, как вершины Альп. Но он один, а вас двое. И у него нет Египта.

— Пока нет, — сказала Клеопатра. — И не будет — пока я жива.

Диона грезила. Она знала это — как знает каждый, кому такой сон ниспослан богами, а не является плодом работы ума простого смертного. Ее греческая половина сказала, что он пришел из врат рога божества, раздающего блага изобилия, из врат истины. Но все же она была египтянкой и обладала крылатым духом «ба»[52]. Его оболочка была одиноким соколом, птицей Гора, но с головой человека, с человеческим умом и волей.

Диона летела на сильных крыльях сквозь облака миров своей грезы. Кое-где дымка поредела, и она увидела дворец, спящую царицу и детей в их покоях; маленькому Птолемею было уже три месяца, близнецы спали в своих кроватках вместе с кошками — золото и серебро; увидела она и Цезариона — в личных покоях и с собственной стражей у дверей, как и подобало царю одиннадцати лет от роду, коим он и был. Диона благословила их всей своей магической силой. Близнецы заворочались во сне, словно почувствовали ее присутствие. Птолемей открыл карие спокойные глаза и улыбнулся.

Отблеск его улыбки остался с нею, когда облака снова скрыли земной мир от ее взора. Ветер подхватил Диону и понес все быстрей и быстрей — быстрей, чем могли нести ее крылья.

Облака опять засияли разрывами. Она неслась над пиками отвесных гор — острыми и сверкающими, как зубы Титанов. В Египет уже пришел сезон сева — сезон свежей, волнующей под ветром зелени после благодатного разлива обильного Нила, но здесь царила зима. Пики белели снегами. Холод пробрал ее до костей, хотя она была просто духом.

Горы оборвались так внезапно, что у нее захватило дух: земля камнем упала вниз — бескрайняя равнина, коричнево-бесплодная зимней порой, расстелилась перед взором, реки струились вдоль, прорезая ее.

Ветер, который нес Диону в поднебесной лазури, легко, словно птичье перо, теперь мчал ее вниз, и она в ужасе закрыла глаза — вот сейчас она разобьется о землю! Но ее полет вдруг замедлился и ветер ослаб, словно по мановению дыхания богов. Дрожа, Диона открыла глаза. Она парила низко над землей — но все же намного выше человеческого роста. Скупая равнина громоздилась перед нею камнями и стволами упавших деревьев. То ли ей чудилось, то ли впрямь камни пахли кровью и гарью пожарищ, а деревья кровоточили и со стоном умирали?

Она больше не — была безвольной пушинкой — и получили в дар от ветра малую толику свободы; этого было довольно, чтобы замереть и начать снижаться долгими, большими кругами. Внизу были люди, перевернутые и покореженные повозки, и на каждой — черный смертоносный знак, следы беспощадного жадного пламени. Но все же она смогла различить, что повозки везли на себе — негодные остатки скарба армии, вышедшей в долгий

поход. Уродливые и острые обломки, похожие на скелеты невиданных животных, могли быть только остатками осадных машин; кроваво-красные островки — плащами римских легионеров, сильных, еще недавно цветущих мужчин, павших на поле брани.

Нет, такой сон не мог быть явью. Это ночной кошмар, образ мировой катастрофы, разрушения и смерти. Это сама смерть — видение конца.

Диона в панике повернула прочь, но ветер снова безжалостно подхватил ее и понес туда, откуда она спустилась к земле. Она ясно увидела мужчин верхом на конях, нагруженных награбленным или тянущих повозки, которые когда-то принадлежали римлянам, а теперь стали добычей предателя. Лица мужчин, толкавших повозки, были неразличимы для ее незрячих сквозь покровы неведомого глаз, но богиня, присутствующая в ней, сказала, что это армяне. Армяне, которые называли себя друзьями Рима, но предали его, как только римская армия вступила в Мидию.

Союзники Антония в войне против Парфии оказались вероломными и жадными. Здесь не было ничего нового, ничего из ряда вон выходящего в мире восточной политики. Но хладнокровие предательства, подлого удара в спину, страшный пейзаж после битвы, после кровавой оргии пламени и смерти — два легиона полегли, изрубленные, а имущество разворовано, сожжено, разворочено, изгажено, словно тупыми дикими свиньями, — все это потрясло Диону; ей казалось, она навек онемеет от ужаса.

Однако богиня по-прежнему была здесь. Диона молила отпустить ее, даровать духу свободу от ночного кошмара, нести бремя которого было уже не под силу. Но ветер опять подхватил ее и снова потащил на Восток, прямо в серый зловещий рассвет. Равнина вновь вздыбилась горами, и богиня сказала: смотри, это горы Мидии. Да, перед нею лежала Мидия, и сердцем ее был город, окруженный стенами, похожий на кричащую аляповатую, но дорогую побрякушку. И Диона увидела армию, плотным кольцом расположившуюся у стен.

Неожиданно — как бывает только во сне — она оказалась внизу, словно проделала свой путь по земле, вместе с армией, и стремительно двинулась вдоль строгих рядов походных шатров от костра к костру, не различая лиц мужчин, не слыша их разговоров. И вскоре оказалась внутри самого большого шатра.

В этот предрассветный час шатер казался громадным, как дворец, и пустым — словно там обитало лишь эхо. Но в нем было несколько спящих мужчин, похрапывающих после вчерашней попойки. Не спали только двое. Они сидели лицом к лицу в дальнем углу шатра, отделенные от остальных полотняной стеной. Один откинулся на стуле, держа в руках кубок. Другой оперся локтями о стол, стоявший между ними, уронил подбородок на кулаки и невидящим взглядом смотрел в темноту, теснившуюся за светом лампы.

Антоний с размаху поставил кубок на стол. Луций Севилий выпрямился. Антоний невесело засмеялся.

— Да не глади так мрачно — ты же мужчина. Это еще не конец света.

— Нет? — Луций Севилий опять уронил подбородок на кулаки и тяжело вздохнул. — Ты не сможешь вести осаду без машин.

— Но мы сделаем их, — сказал Антоний таким тоном, словно твердил об этом весь долгий угрюмый день и еще более долгую ночь.

— Чем? И когда? Уже почти зима. Чтобы выбраться отсюда, нам придется лезть по горам и пробиваться с боем сквозь Армению. Если, конечно, ты не хочешь остаться здесь и погибнуть в сражении. Или замерзнуть насмерть — если боги будут милостивы к нам.

— Ну-у, Александр попадал в передряги и похуже. Однако выжил.

— У Александра были сокровища Азии, чтобы расплачиваться с войском.

— Так за чем дело стало? Я последую его примеру — когда сокровища Атропатены окажутся в моих руках.

Луций Севилий покачал головой и отхлебнул вина. Диона вдруг в ужасе поняла: он, всегда знавший меру, теперь был совершенно пьян, и кубок, стоявший на столе, принадлежал ему, а не Антонию. Антоний отнял у Луция кубок.

— Тебе не взять Атропатену. Так говорят мне боги. А еще они советуют уносить отсюда ноги, пока мы целы, прежде чем начнется зима и сожрет нас целиком.

— Боги? А может, тебе в голову ударило дрянное вино? Смотри, чтобы оно тебе вообще не отшибло мозги, старина Луций. Ты пьешь слишком лихо. И вообще, кто из нас должен напиваться? Разве это у тебя оттяпали весь обоз… и, может, всю войну вместе с ним?

— Нет! — ответил Луций с упорством очень пьяного человека. — Но с меня хватит! Ты — не Александр. И не стремись быть им! Ты — Антоний, Марк Антоний из рода Антониев. Ты принадлежишь Риму — не Персии, не Македонии, не Египту. Да, именно — не Египту.

— Ну ладно, ладно. Пойдем-ка, — примиряюще вымолвил Антоний. — Идем, я отведу тебя в твой шатер. Жаль, что там сейчас нет твоей египетской шлюшки — вот что тебе не помешало бы сегодняшней ночью.

Луций Севилий мгновенно вскочил на ноги и угрожающе наклонился к Антонию, вцепившись руками в край стола.

— Не смей так говорить о ней! Не смей даже думать о ней так!

— Да сдалась она мне, — ответил Антоний с непоколебимым спокойствием. — У меня своя есть. — Он обошел стол, сгреб Луция в охапку и потащил к выходу. Тот все пытался что-то доказать, но они уже добрели до его шатра — гораздо меньшего, чем у триумвира, но расположенного рядом. Слуга ждал его — он подогревал жаровню и не потушил светильника возле постели.

Антоний посадил Луция на походную кровать и не отпускал до тех пор, пока слуга не снял с него залитую вином одежду. Диона, стоявшая в тени, знала, что не должна смотреть — но никак не могла удержаться. Обнаженный, он не обманул ее ожиданий — красивый, загорелый, стройный, Луций Севилий походил на мальчика, хотя было ему уже под сорок.

Когда его раздели, он успокоился. Антоний ушел; слуга омыл и помассировал его тело, накрыл его одеялом, повалился на пол и заснул, как это обычно делают рабы — внезапно и до утра.

Луций притворялся спящим, пока на него смотрели другие, но, оставшись в одиночестве, открыл глаза — сон не шел к нему. Крепкое вино все еще дурманило мозг, но взгляд стал осмысленным, ясным и грустным.

Диона не шелохнулась, не позволяя себе ни малейшего звука, ни единого движения. Взгляд Луция упал в ее сторону и задержался.

Он не мог ее видеть, ведь Диона была духом, сном, бесплотной грезой. Но Луций был провидцем, а сейчас находился во власти Диониса, бога, который — Диона припомнила — пришел из Азии и покорил Запад. Почему же он не смог покорить этого римлянина?

Взгляд Луция повел ее к нему, и она пошла — на своих ногах, в своем теле, с глубоким облегчением отметив, что была в одежде: египетское платье скрывало немногое, но являлось оправой, необходимой ее телу. Диона опустилась на колени возле кровати и коснулась его щеки. Хотя все происходило во сне, у нее была плоть, и она чувствовала тепло его плоти, жесткость бороды, не бритой несколько дней, овал его затвердевшего подбородка.

— Тебя вызвал Антоний? — потребовал он ответа.

— Антоний? С какой стати? — Диона покачала головой. — Меня сюда принесла богиня. Я… все видела. Все, что случилось.

Луций Севилий моргнул — быстро, но она заметила.

— Не знаю почему, — сказал он, — но предательство армии потрясло меня до глубины души. Как же я не хотел этой войны. Я считал ее пустой тратой времени, чем-то вроде прогулки, пародией на войну.

— Однако эта война могла бы стать триумфальной — будь Антоний Александром.

Из его груди вырвался крик — крик боли:

— Но он не Александр! И никогда не был им.

— Но это и не конец света, и даже не конец Антония. Просто неудача — не более того.

— Нет, — возразил Луций Севилий, упрямый, как всегда, и неожиданно очень напомнивший ей Тимолеона. Он вполне мог бы сойти за отца ее младшего сына — так они были похожи. При этой мысли Диона вспыхнула.

Луций Севилий не видел этого, погруженный в свое отчаяние. Такое иногда случается с мужчинами, которые редко поддаются власти вина.

Диона погладила его щеку и лоб. Луция чуть лихорадило — он был взволнован и выбит случившимся из колеи. Ее же сейчас огорчало иное: она проделала такой длинный путь на крыльях грезы, ей была дана плоть, чтобы говорить с ним, касаться его, и Луций тоже мог ощущать ее реальность, а он, казалось, даже и не замечал, как это чудесно.

Но она — в отличие от римлян — умела распознавать абсурд, в чем бы он ни воплощался. Смеяться нельзя: он будет смертельно оскорблен. И, будучи духом, а не плотью, Диона поступила так, как желал дух, как ему было дозволено: легла рядом с Луцием — вполне благопристойно, поверх одеяла — и обвила его руками. Он не сопротивлялся и охотно обнял ее; голова легла ей на плечо чуть выше упругой груди.

Все выглядело очень невинно. Луций Севилий не потянулся коснуться ее — как мужчина касается женщины. Он был нежным и теплым на ощупь — вот и все. И ей показалось, что иначе не бывает, хотя и не знала, откуда ей знакомо такое ощущение. Аполлоний словно состоял из сплошных углов, и лежать с ним было все равно что с поленицей крестообразно сложенных дров. Луций не мягкий — вовсе нет; но его углы были словно под стать изгибам ее тела. Антоний дополнял Клеопатру, о чем Диона не раз говорила царице, правда, имея в виду таланты, которыми одарила их природа и боги. Теперь она поняла остальное, это была не только долгожданная встреча двух умов, духа с духом. Это была и гармония тел.

Можно ли спать во сне? Но она уснула рядом с Луцием Севилием, положившим голову ей на плечо, здесь, в его шатре, в Мидии, возле стен Атропатены — за полмира от Александрии, где покоилось ее тело. Она спала, и в этом сне ей не грезилось ничего, кроме покоя и мира.

24

Луций Севилий, гаруспик, проснулся, как от толчка. Он продрог, чувствовал себя нездоровым — и был жутко, невыносимо одинок. Он потянулся к теплу, согревавшему его всю ночь, — но оно исчезло. Впрочем, тепла этого никогда и не было. Диона из рода Лагидов, прикорнувшая радом с ним и гладившая его по голове, просто ему приснилась.

Он сел, очень медленно, и выпрямился. В шатре было зябко — несмотря на жаровню, с которой возился слуга.

— Гай, — позвал он.

Мужчина обернулся и поклонился. Он никогда не проявлял непочтительности, как и не был по-рабски услужлив; редко говорил. Имя пленника из Транспаданской Галлии было непроизносимым — сплошным сгустком странных слогов. Для удобства Луций дал ему самое распространенное среди римлян имя; галл пожал плечами и молча согласился на него отзываться.

— Гай, — повторил Луций. — Ты ничего не слышал… ночью?

Тот покачал головой. Его лицо было непроницаемым, как почти у всех рабов. Луций хотел было расспросить его понастойчивее, но передумал. Даже если он и слышал или видел ночную гостью, сам Луций не был уверен, что на самом деле хочет это знать.

Медленно — как требовали разламывающаяся голова и протестующий желудок — он встал, оделся и вышел наружу. Предстоящая осада выглядела фарсом, ведь у них не осталось машин, чтобы проломить толстые стены. Антоний постоянно твердил, что сделает новые — но на это нужно время. А зима приближалась — горная зима, со снегами, выпадавшими внезапно и обильно, как белый обвал.

Вдруг на душе у Луция потеплело — он вспомнил сон, всего лишь сон… Но этот сон придал ему силы — на неопределенно долгое время, на нескончаемые недели, пока Антоний будет упрямиться перед лицом неизбежного.

— Мы в состоянии это сделать, — сказал Антоний. Его слова всем давно приелись: с тех пор как пришла весть о предательстве Армении, он повторял их постоянно.

Полководцы уже перестали с ним спорить. Тем утром они сидели, закутавшись в толстые накидки и глядя из шатра триумвира на небо.

Жители Атропатены преспокойно и самодовольно сидели за стенами. От случая к случаю Антоний высылал кучку людей со всем необходимым; его умельцы сделали-таки парочку катапульт. Горожане созерцали атакующих с презрительной скукой, игнорируя снаряды, стукавшиеся о стены. Им пора было хотя бы проголодаться — ведь они сидели в осаде с лета. Но те, что время от времени являлись на переговоры, не выглядели желанно тощими или опухшими от голода.

— Мы возьмем этот город, — не унимался Антоний. — Вытурим их из норы голодом или забросаем снарядами — как только у нас будет побольше машин…

— Хватит водить себя за нос, Антоний, — прервал его Канидий Красс. — Ничего у тебя не выйдет.

Все молча уставились на него. Канидий Красс был лучшим из них — это чуть не всякий с радостью признавал. Он менее других был склонен к пустым словам, говорил редко и только по делу — бил в самую точку. До сего момента он избегал споров, молча слушая, или уходил заниматься тем, что было на самом деле необходимо.

— Александр действительно заполучил Тир после целой зимы осады, — продолжал Канидий. — Но Тир — морской порт, и Александр построил себе флот. И не занимался осадой посреди вражеской территории. Мы каждый день теряем людей — в ненужных рейдах и мелких заварушках. Запас продовольствия у нас смехотворно мал, а мы совершаем рейды в глубь пустынной и бесплодной местности. А теперь еще и зима на носу.

— Зима? — рявкнул Антоний. — Великий Геркулес, еще только октябрь!

— Октябрь в Мидии, — спокойно сказал Канидий, — совсем не то, что в Риме или Египте, где солнце почти никогда не прячется в облака. Оставшись здесь, мы не доживем до весны — замерзнем до смерти или нас перебьют мидийские лучники.

Антоний недоуменно уставился на него.

— Ты предлагаешь мне поджать хвост и ползти назад к морю?

— Я предлагаю тебе мудрое отступление, пока еще возможно. Между здешним царством и «дружественной страной» скверная местность; если мы еще задержимся, эти горы будет трудно или вообще невозможно преодолеть.

— Тогда мы останемся здесь.

Канидий глубоко вздохнул, словно призывая себя к терпению.

— Марк Антоний, здесь мы погибнем. Это ясно как день. Мы и так уже на урезанном пайке. А когда эти земли скует зима, останемся вообще без пайка. Мы должны уходить отсюда прямо сейчас, если вообще хотим убраться подобру-поздорову.

— Атропатену нам не взять, — сказал чей-то голос. Луций Севилий с изумлением обнаружил, что голос принадлежит ему самому. Подобные мысли не раз приходили ему в голову, но он не был голосом богов, как Диона; до сих пор ни один бог не говорил посредством него.

Антоний перевел взгляд с Канидия на Луция.

— А кто считает, что мы проигрываем войну?

— Мы все, — ответил Луций, хотя в прежние времена постарался бы уйти от ответа.

Интересно, чувствует ли то же самое Диона, когда говорила то, что приходит ей в голову. Это оказалось захватывающим, хотя и немного жутким — как скакать галопом по горному склону.

— Все мы, и тебе это известно, — повторил он, раз уж приговорил себя наугад броситься со скалы. — Не ударь армяне нам в спину, у нас были бы сейчас обозы и машины, и мы бы уже возвращались с золотом Парфии в повозках. Но теперь мы ничего здесь не добьемся, а если все же пересидим зиму и доживем до весны, на нас обрушится парфянская армия. Конечно, ты волен делать эту гиблую ставку.

— Можно подумать, — съязвил Антоний, — что ты подсмотрел эти милые сценки в волшебном зеркале.

Луций засмеялся. Некоторые жрецы, случалось, убивали словами, но для него смех был естественнее и легче и в какой-то степени являлся более грозным оружием.

— Не беспокойся, Марк Антоний. Если ты нас вынудишь, мы останемся, ведь иного выбора нет. Останемся во вражеском царстве, под носом у надвигающейся зимы. Но мудрый полководец знает меру: он понимает, когда необходимо остановиться, прекратить терять людей и отступить. Твои люди по-прежнему принадлежат тебе и душой, и телом, но даже они готовы вернуться домой — или по крайней мере в Египет.

— Вот теперь-то я знаю, что чувствовал Александр в Индии, — пробормотал Антоний, встал со стула и начал мерить шагами пол палатки, издавая звуки, похожие на рык льва,

запертого в клетке. Остальные расступились, давая ему дорогу; он рявкнул на них и внезапно остановился: — Боги всех вас развратили и лишили разума. Какие из вас теперь воины? Ну что ж, готовьтесь. Завтра утром мы выступаем.

Луций не ощущал триумфа — победа далась ему слишком легко. Утром они никуда не тронулись — бестолковая суматоха задержала их еще на два дня. Люди были взвинчены, и не одна драка была прекращена как раз вовремя, пока не пролилась кровь. Но в целом все были счастливы поскорей убраться восвояси из этого гиблого места. Между собой воины называли его гораздо более крепкими словами, за что Луций Севилий не мог их винить.

На третье утро, под солнцем, казавшимся неестественно теплым после внезапной мерзкой пурги, по тающему снегу воины двинулись в долгий поход назад к морю. Звучали песни, и незнающий человек мог бы подумать, что армия возвращается с победой. Поначалу вражеские отряды не преследовали их; казалось, Мидия так же рада видеть их спины, как и они счастливы послать ее к черту.

Вскоре пение заглохло: воины с трудом пробивались сквозь снег, а когда солнце взялось за работу и колонна растянулась по дороге от Атропатены — и сквозь глубокую вязкую грязь. К вечеру грязь подморозило, а к закату она стала как железо.

А потом появились враги.

Позднее Луций Севилий немногое мог вспомнить об этом долгом жутком походе. Двадцать семь дней, как они подсчитали — если только вообще можно было сохранить силы и мозги, чтобы считать, — шли воины Антония от Атропатены до глубоких стремительных вод Аракса, бешено несшегося между Мидией и Арменией. Они пережили восемнадцать сражений — сражений в полном смысле слова, — а также бесчисленные стычки и бесконечную спешку, в попытках увернуться от мидийских всадников и парфянских лучников — то, чего не успевал враг, доделывали сама местность и воздух, отравленный болезнями. Мужчины падали и на полях боя, и на марше.

Луций потерял коня в третьем сражении — или в четвертом. Он не просил замены — другие нуждались в лошадях больше. Недуг уже подкрадывался и к нему, но он не отдавал себе в этом отчета: воинов постоянно трясло от жара — а он еще мог идти. Опустив голову, Луций Севилий упрямо шел вперед, стараясь особенно не расслабляться — случай еще одной, новой, неожиданной битвы.

Лихорадка сражала их так же часто, как удары меча или полет стрелы, их тошнило на снег.

— Луций! Эй, Луций Севилий!

Он поднял голову, тяжелую как камень, — египтяне говорят, что даже мертвый должен отозваться на звук своего имени. Что-то массивное нависло над ним. Медленно он распознал всадника на коне: огромный цветущий мужчина — несмотря на лишения, — большой черный конь…

— Антоний, — слабо проговорил он.

— О боги! Да ты кошмарно выглядишь! — сказал властелин Восточного мира. Они уже приблизились к границам Мидии. — Тебе худо?

— Ничего страшного. Я вполне могу идти дальше.

Он бросил взгляд искоса: Антоний сиял — в прямом смысле слова, словно солнце над тучами. Луций подумал, что сверкают его золотые доспехи, но сегодня не было солнца, лучи

которого могли бы зажечь такой огонь. Облака набухли от снега, и первые хлопья уже падали вниз.

Антоний что-то говорил, но Луций не мог сосредоточиться, чтобы разобрать слова. Потом он понял, что внезапно очутился наверху, затем ощутил под собой коня — а Антоний смотрел на него снизу вверх. Он поглядел на свои руки, оказавшиеся на густой черной гриве, и затем — на лицо Антония.

— Нет, — только и смог произнести он.

— Брось, — отмахнулся Антоний. — Да и потом, я ведь тебя знаю — ты можешь ехать верхом и во сне, я видел. Только не слишком бей его по бокам. От этого он взвивается на дыбы.

— Я не… — начал Луций Севилий.

Но Антоний уже ушел, смешавшись со строем легионеров — он похлопывал по плечу то одного, то другого и улыбался, подбадривая своих солдат. Луций, усаженный на жеребца триумвира, не находил достойного способа спуститься вниз. Все, кто не смотрел на Антония, разглядывали его с весьма недвусмысленным выражением. Похоже, кое-кто даже смотрел так, словно ему следовало бы снести голову за столь щедрый дар полководца.

Возможно, он еще долго раздумывал бы над этим, но конь Антония закусил удила и понесся вперед. Однако Луций Севилий не упал; Антоний был прав — он мог держаться в седле, что бы ни вытворял жеребец. Это он умел делать отменно.

Черный конь Антония ринулся туда, где привык находиться всегда — во главу армии. У Луция кружилась голова от лихорадки; он был слишком слаб, чтобы сопротивляться, и пришлось подчиниться. Но теперь, по крайней мере, он мог сидеть прямо, и дурнота немного отступила. Не посади его Антоний на коня, неизвестно, сколько бы он еще протянул.

Однако теперь он стал неплохой мишенью для врага, и если его подстрелят, преимущества его нового положения явно потеряют свою прелесть. Но что толку об этом думать, если все равно ничего не изменить, как сказала бы Диона. Луций даже словно слышал ее слова.

И еще — он физически ощущал, что рядом нет теплых рук, обнимавших его, тепла ее тела, на котором покоилась его голова. Больше он ничего не хотел — мысль, порожденная лихорадкой, была необычайно ясна — с тех самых пор, когда впервые увидел ее в Тарсе, на корабле Клеопатры.

Если только он доживет до того дня, когда снова увидит Диону, то ни за что не позволит ей отказать ему. На сей раз — нет. Каким же дураком он был, с места в карьер сделав ей предложение, сразу же, не дав опомниться, привыкнуть к мысли, что она снова видит его после такого долгого отсутствия. Надо было терпеливо ждать ее благосклонности, ухаживать за нею, завоевывать ее как подарок судьбы — именно так поступают умные любовники. Она должна была понять, что любит его.

Диона любит его, здесь нет сомнений. Но, возможно, пока не знает этого. Она была немного отстраненной, холодноватой — муж-педант приучил ее к сдержанности. А то, что она александрийка, еще ухудшало дело. Александрийцы — странные люди, самые странные из всех известных ему народов. Они склонны все называть своими именами и думают, что тем самым становятся хозяевами вещей и явлений. Но разве это хоть на йоту увеличит понимание того, что стоит за названиями?

«С ума сойти, — подумал он. — Римлянин учит эллинку искусству любви.

Восхитительный абсурд!»

Кажется, он засмеялся вслух, но этого никто не заметил. В задних рядах началась заварушка: поднялся шум, послышались выкрики, лязг металла; ряды коней и люди — когорты, которых держало войско во время походного марша — смешались, это был единственный приказ — идти строем до последнего и двигаться вперед. Армия не должна была останавливаться и — кроме самого крайнего случая — не должна ввязываться в сражения.

Снег повалил сильнее, окутывая поле боя густой пеленой. Луций надвинул капюшон пониже и поплотнее закутался в плащ. Но ему и так не было холодно — лихорадка не отступала. Ему даже не хотелось выздоравливать — лучше пусть это случиться на вилле у моря, и одна небезызвестная госпожа будет ухаживать за ним и менять мокрые полотенца на лбу.

Правда, скорее всего, она велит ему не лениться и менять их самому.

«Только представь… — сказал он на ухо лошади, — представь, что я мог бы… если бы она…»

Но лошади это было неинтересно. Воинственный запал сражавшихся начал иссякать, враги рассеивались, растворяясь в белой пурге. Были ли убитые? Луций не знал. Он видел уже так много смертей. Воздух кишел призраками, завывавшими, как воют все привидения, алчущие человеческой крови.

— Мы же вас уже похоронили, — сказал Луций. — На худой конец, сожгли или забросали землей ваши кости.

Но какое дело до этого ушедшим? Они умерли слишком далеко от родного очага; их души не могли найти дороги домой.

— Туда, — проговорил он, вздернув подбородок в том направлении, куда шла армия. Но мертвые не могли слышать Луция сквозь шум крови, струящейся в его жилах. Кое-кто из них уже упивался кровью, сочившейся из ран пока еще живых римлян. Он должен, должен сказать: надо отогнать этих хищников. Но призраки оставались глухи к словам. Он был бессилен.

Жрец и гаруспик — и бессилен. Как плачевно. Но немыслимо совершить обычные обряды, сидя верхом. Луций мог покрыть голову капюшоном, он помнил необходимые слова, но здесь не было ни алтаря, ни священных сосудов, ни жертвы. Только лихорадка, снег и лошадь под ним, устало трусившая под хлопьями снега, опустив голову.

Слова, вырвавшись на свободу, зажили своей, отдельной жизнью, как стрелы, сорвавшиеся с тетивы лука. Половина из них, казалось, не имела смысла, вернее, он не знал его. Все остальное было скверной поэзией, сказкой, нелепой песенкой, какой нянька усыпляет страх или возню неугомонного ребенка и бог знает чем еще, только не тем, что может укротить силы мрака.

Конечно, следовало быть осторожнее. Луций Севилий не мог не знать, что играет с огнем. Он был жрецом и понимал, что совершает нечто недозволенное — хотя и из лучших побуждений. В высшей степени недопустимо повторять магические слова верхом на коне, а не у алтаря и не в храме.

Диона посмеялась бы над ним, назвала бы круглым дураком. При мысли о ней Луций ощутил тепло. И это не было жаром лихорадки, словно ее руки коснулись его рук — маленькие, но сильные, а глаза смотрели в упор, темные и яркие одновременно.

«Ну? Понял? — казалось, говорили они. — У тебя есть магический дар».

— Ни капли, — возразил он.

Диона засмеялась — он явственно слышал ее смех: она находилась рядом, и Луций Севилий знал это наверняка.

— Неужели? А куда же делись мертвецы, дорогой мой глупец?

— Мертвецы? — повторил он, словно эхо. — Пропали… А потом, подумав, сообщил: — Никаких мертвецов! Я бредил.

— Тебе видней, — поддразнила его Диона. Но откуда ей здесь быть — разве она могла бы плыть в воздухе впереди его коня? Ни один человек, кроме него, ее не видел, и никто, судя по всему, не замечал, что Луций Севилий, гаруспик, говорит с пустотой. Он ниже надвинул капюшон.

Конечно, ему все это привиделось: Диона вовсе не дрожала от холода, хотя и была в одном из своих шокирующе-нескромных египетских платьев, едва прикрывающих тело.

От одного взгляда на нее на сердце потеплело. Луций протянул руку, на мгновение позабыв, где находится, но наткнулся на пустоту и мокрый снег…

25

Внезапно Диона проснулась. Ей опять снился тот же странный сон: снег, дождь и армия, погибавшая в далекой заснеженной стране солдат за солдатом. Двадцать тысяч римлян и римских союзников навсегда остались среди снегов Мидии…

Каюта казалась саркофагом. Впечатление усугублялось темнотой — светильник давно потух. За время путешествия Диону довольно сильно укачало. Они плыли к армии Антония, спасшейся из Армении и Мидии и нашедшей убежище на побережье Сирии, вернее, к тому, что осталось от этой армии. Клеопатра везла с собой одежду и провизию для воинов. Корабль мчался на всех парусах, но все равно казалось, что движется он удручающе медленно: уже наступила зима, а они еще не достигли цели.

Хотя роды прошли легко, царица поправлялась не так быстро, как следовало бы — возраст уже давал о себе знать. Диона чувствовала ее состояние: магия снова была ее постоянной спутницей. Скорее всего, Клеопатра не знала, насколько серьезно она больна. Но после разлива Нила болезнь ее усиливалась почти день в день с отступлением Антония из Мидии. Если Антоний погиб…

Но Диона отгоняла от себя такие мысли, по крайней мере сейчас, в темноте. Нет, страха не было, и она вовсе не собиралась вставать и зажигать светильник. Но все же… не время и не место думать о смерти.

Теплый тяжелый комочек зашевелился, перекатился через нее и прошелся вдоль всего тела. На груди он остановился, мягко потеревшись о ее щеку, и тихонько мяукнул. Диона взяла кошку на руки. Та свернулась и замурлыкала.

Утро уже забрезжило сквозь бортовое окошко — промозглое, серое, но спать по-прежнему не хотелось. Кошка моргнула золотисто-зелеными глазами, зевнула и выскользнула из обнимавших ее рук. Диона села и набросила на себя одеяло. Геба еще спала. Кто-то сидел возле дверей, замотанный в одеяла: спутанные белокурые волосы, явно не заспанные глаза — похоже, он не спал всю ночь.

— Цезарион? — изумленно сказала Диона. — И давно ты здесь?

Царевич пожал плечами. Он уже терял мягкую округлость черт детства, и Диона ясно видела угловатость и нескладность будущего подростка. Яркие глаза, пухлые щеки, твердый римский профиль… Когда пройдет этот период, он станет красивым мужчиной, но сейчас его внешность явно оставляла желать лучшего. Однако Цезарион ужасно рассвирепел бы, скажи ему Диона что-нибудь подобное.

От звуков голоса Дионы проснулась Геба и уставилась на Цезариона без удивления или тревоги. Она встала, расправила сбившееся набок платье, завернулась в одеяло, служившее ей также и накидкой, и вышла из комнаты — как делала каждое утро, — чтобы принести своей хозяйке воду для умывания и завтрак: кубок разбавленного водой вина с лепешкой.

Ее поведение, по крайней мере, объясняло, как попал сюда Цезарион. Но было неясно, зачем он здесь.

— Я беспокоился, — коротко промолвил он в ответ на пристальный взгляд Дионы. — Мама очень бледная. И так давно болеет. Она умирает?

— Нет, — успокоила его Диона. — Просто твоя мать родила ровно столько детей, сколько ей было суждено. Тело женщины само сообщает ей об этом, прежде чем следующий плод убьет или покалечит ее.

— Но у мамы пока только четверо.

— Четверо детей родились живыми и сильными, ни один из них не умер в младенчестве, у нее не было выкидышей. Редким женщинам выпадает такое счастье. Но на этом все. Так говорит богиня.

— Ах вот оно что, — протянул Цезарион.

Он явно не верил ей, но воспитание не позволяло сказать это. Иногда Дионе хотелось, чтобы царевич был чуточку менее вежлив и чуточку больше раскован. Но такая роскошь не дана царям и царицам, как и их детям. Однако его маленький бунт — появление в спальных покоях жрицы — почти обнадеживал, и Диона, подтянув к себе колени, кивком указала на краешек ложа.

— Садись сюда. Устраивайся поудобнее. Сейчас Геба принесет завтрак, его наверняка хватит на двоих. Поколебавшись, Цезарион сел, разом утратив царственное величие. Золотистая кошечка прыгнула ему на колени. Удивленный, Цезарион погладил ее.

— Почему… — На какое-то мгновение он показался Дионе совсем ребенком. — …я ей нравлюсь?

— Ты всегда ей нравился. И раньше нравился, и потом будешь нравиться. Скажи-ка, тебя сюда привела тревога за мать или что-нибудь еще?

— Нет, — возразил он. Больше ничего. Я не мог уснуть и просто извелся от этих мыслей. И жалел…

— О чем?

— Я жалел, — промолвил он, — что не ушел на войну вместе с Антонием.

Обыкновенный мальчишка! Этого Диона, конечно, не сказала, только заметила:

— Тебя могли бы и убить — или еще похуже.

Цезарион отмахнулся.

— Ну, такое я уже слышал. Мама говорит то же самое. Но зато это — по-мужски!

— Однако Антоний проиграл войну и потерял две пятых своей армии.

— Ты — женщина, — заявил Цезарион с высоты своих десяти лет. — Тебе не понять.

— Надеюсь, — молниеносно парировала она. — Мужчины устраивают кровавые бойни, а женщинам приходится вправлять им мозги.

— Хорошо, что я — не женщина, — отрезал Цезарион.

— Но мог родиться ею…

Диона неожиданно развеселилась. Будь Цезарион поменьше, она крепко обняла бы его, но царевич был уже достаточно большим и смотрел на такие нежности свысока. Конечно, он не выказал ни малейшей благодарности — просто остался с ней, но играл с кошкой, а когда Геба принесла завтрак, съел его пополам с Дионой. К этому времени его и обнаружили стражники. Царевич ушел вместе с ними, высоко подняв голову, отвечая на их укоризненные взоры взглядом, в котором уже сейчас чувствовалась сила духа. Будущий царь… А цари, как слышала Диона, всегда принадлежат своему народу. Цезарион может радоваться, что он не женщина. Но Диона была гораздо больше рада тому, что не родилась царем.

Антоний, потерпев поражение, нашел пристанище вовсе не в большом городе-крепости, а в городишке под названием — Leuke Kome — Белая Деревня. Но все же это был город, а армия Антония, хотя и уменьшившись почти вдвое, по-прежнему оставалась великой армией. Диона не понимала, почему он предпочел это местечко всем остальным — такое же захолустье, как и многие другие на побережье: возможно, сейчас для него хорош любой

укромный уголок, где можно зализать раны.

В городе было некое подобие гавани — достаточно просторной, чтобы в нее могли войти корабли царицы. Имелся и волнорез, вернее, стена из камней, которую можно было так назвать, с верфью, расположенной поблизости. Сам город был пыльно-серым, хотя летом, на солнышке, нагромождение белоснежных хижин и домишек, по-видимому, весьма оживляло тусклый блеклый пейзаж.

Среди столь скромных декораций роскошь и величие Антония казались неестественными, ненастоящими. Царица сошла со своего судна поприветствовать его — но встреча эта, судя по манере ее поведения, являлась лишь встречей союзников. Когда Антоний протянул руки, намереваясь обнять ее, она отступила назад, устанавливая пристойную дистанцию.

— Господин, — произнесла она. — Рада тебя видеть. Я привезла с собой столько провизии, сколько смогла собрать.

Антоний опустил руки, лицо его стало холодным и напряженным, но он спокойно сказал:

— Ну что же, отлично. А удалось ли тебе собрать денег?

— Нет.

Его брови взлетели вверх, но он еще не рассердился: не побагровел и не побледнел.

— Почему же?

— У меня не было времени.

— Не было желания, ты имеешь в виду. В твоем распоряжении был месяц.

— Вопреки всеобщему мнению, — беспечно сказала она, — золото не растет на песке Египта.

Антоний, не замечавший состояния Клеопатры — искусница Диона скрыла бледность ее щек под румянами и красками, — явно намеревался продолжить пикировку.

— Госпожа была больна, — вмешалась она. — И приехала, как только ей позволили лекари.

Взгляд Клеопатры был убийственным. Но Диона думала лишь о том, чтобы Антоний прекратил ссору.

— Пустяки, — отрезала царица. — Обычная простуда. Горячка лихорадки.

— Родильная горячка, — уточнила Диона. — Твой сын жив и здоров, господин, и отлично себя чувствует. И владычица окончательно поправится, если о ней будут хорошо заботиться. Я бы не выпустила ее из дому и послала бы к тебе гонцов с весточкой и кораблями. Но царица настояла, чтобы поехать самой.

— Идио-от! — закричал Антоний, и вопль его был полон любви. Он сжал Клеопатру в объятиях, прежде чем она пошевелилась и запротестовала. Оказавшись в его власти, она не могла сопротивляться, не теряя достоинства. Антоний бережно поцеловал ее и понес в лодку, а оттуда на руках перенес на судно.

В каюте царицы Диона почувствовала, что может оставить их одних. Они наверняка продолжат ссориться, но в конце концов дело закончится миром.

Когда Диона вышла на палубу, порывистый ветер ударил ей в лицо, словно плотная воздушная стена. Стена эта, казалось, вся утыкана ножами, коловшими кожу снегом и льдинками. Однако она не искала спасения в каюте. На ней были две накидки, и верхняя отделана мехом. А воздух был чистым и лишь чуть морозным.

У поручней борта стоял человек, явно не матрос. Когда Диона приблизилась к нему, он поднял голову. Она подошла к нему так же непринужденно, как если бы это был Тимолеон. Мужчина схватился за поручни как раз вовремя, иначе оба упали бы за борт, в ледяную воду.

Он рывком прижал ее к себе, так же сильно, как и она прижалась к нему. До чего же худой: кожа да кости. Диона отшатнулась, пораженная тем, что ощутили ее руки.

— Да ты весь горишь!

— Это из-за тебя, — со смехом сказал Луций Севилий, хотя дыхание у него почти перехватило. — Я просто пылаю!

— Я здесь ни при чем, — отшутилась Диона. — У тебя лихорадка.

— Она уже почти прошла…

На лице Луция было не больше плоти, чем на черепе мумии, глаза сияли слишком ярко, а нездоровый румянец на щеках заставил Диону сразу же потащить его вниз, в свою каюту. Только гораздо позднее ее поразила мысль, что так же поступил Антоний с Клеопатрой.

Среди ее вещей были разные лекарства: может быть, что-то поможет ему. Она усадила его на свое ложе и торопливо искала нужное снадобье. Луций Севилий вяло протестовал, бормоча, что лекарства нужны ей самой, что такая беспомощная, неприглядная роль тяготит его и что это — женская спальня.

— Каюта, — поправила она, торжественно извлекая пузырек из мешочка. — А Геба защитит мое доброе имя огнем и мечом. Геба, будь добра, принеси воду, да погорячее, и полотенца. И вина — мне понадобится вино. Пусть кухарка сдобрит его корицей и гвоздикой.

Тебе оставалось только повиноваться — как и Луцию Севилию, хотя он и пытался возражать. Может быть, он вправду был не так плох, хотя верилось с трудом — Дионе слишком не нравился его вид.

— Если я тебя сейчас потеряю, — сказала она, — то призову с того света и буду держать при себе, пока не умру.

— А как — в золотом ящике, запечатанном свинцом и кровью?

— Именно так. Я рада, что мы понимаем друг друга.

— Лучше бы не понимали, — произнес он с кривой улыбкой. — А что говорят тебе обо мне твои знаки?..

— Мои знаки говорят, что у нас понемногу начинает прорезываться здравый смысл. Диона легонько подтолкнула его, и Луций упал на ложе. Он пытался сопротивляться, отводил ее руки, но вскоре бессильно откинулся на подушки.

— Вот и отлично. — Она накрыла его одеялом, хотя Геба еще не вернулась с водой и вином, и взяла его руки в свои. Они были холоднее, чем ветер на палубе. — Теперь ты должен быть послушным и благоразумным, потому что мне не нужен муж, лишенный таких качеств.

Луций Севилий так долго молчал, что Диона уже начала сомневаться — слышит ли он ее вообще?

— Но ты ведь не собираешься выходить за меня замуж.

— Почему же, собираюсь.

От изумления он почти потерял дар речи.

— И когда… ты это… решила?

— Однажды ночью, — ответила она. — Когда я была в Египте, а ты — в Мидии.

Луций сразу же понял, о какой ночи идет речь, и его щеки внезапно залились густым

румянцем.

— Это был сон.

— Да, — отозвалась она. — Но и реальность. Тогда мне стало ясно, что я хочу только тебя.

— Ты меня попросту утешаешь — потому что я болен и похож на мертвеца. Но я не умираю, дражайшая моя госпожа. Я еще поправлюсь — как только согреюсь.

— Ты согреешься в Египте, — сказала Диона, — и в моих объятиях.

Она приблизила его руки, теперь уже потеплевшие, к своим щекам. Он провел по ним пальцами.

— Но почему…

— Ты написал мне письмо.

— Ах, если бы все было так просто!

Луций Севилий вздохнул. Его губы дрожали: он пытался улыбнуться и в то же время сдержать улыбку. Диона наклонилась к нему и поцеловала в уголок губ, по-прежнему пахнувших корицей. Он был теплее на ощупь, чем тогда во сне — но отчасти и из-за лихорадки.

Вошла Геба, гремя посудой — Диона предпочла бы, чтобы она вела себя потише. Луций Севилий покраснел до ушей. Геба округлила глаза и занялась своим делом — ей предстояло протереть его полотенцами, смоченными в горячей кипяченой воде. Диона, мудро отказавшись от этого удовольствия, чтобы не лишать его последних сил, глоток за глотком вливала ему в рот подогретое вино.

Геба принесла и хлеб — свежеиспеченный, только что из печи, с толстым ломтем сыра сверху. Диона кормила его по кусочку. Хотя Луций утверждал, что не голоден и не хочет пить, пил он жадно и ел с аппетитом, что ее порадовало. Когда он был сыт, вымыт и опять закутан в одеяла, Диона сказала:

— А теперь я ненадолго оставлю тебя одного. Тебе надо поспать, а у меня есть дела. Геба за тобой присмотрит. Если тебе что-нибудь понадобится, попроси у нее.

— А она даст мне тебя?

Диона засмеялась, потому что на лице Гебы отразилось самое неприкрытое неодобрение.

— Я скоро вернусь. А теперь спи. Когда ты проснешься, я уже буду здесь.

— Я чувствую себя ребенком, — пробормотал он.

— Можно подумать, что ты взрослый, — поддразнила его Диона. — Спи, любовь моя. Расти большой и сильный.

26

Солдат на зимних стоянках хочет немногого — быть сытым, находиться в тепле, и еще — случайную женщину, а если его вкусы обширнее — мальчика. Диона сделала такой вывод, глядя на зимовья армий, которые ей довелось видеть. Тепло пришло вместе с Клеопатрой — в виде зимней одежды, пищу и вино она тоже привезла с собой. А женщин и мальчиков они могли найти сами где угодно.

Полководцы, однако, не довольствовались такой малостью. Царица согревала ложе Антония и вливала в его тело силу, однако было не похоже, что ее возлюбленный весел и доволен жизнью — он, наоборот, становился все мрачнее и мрачнее.

Это стало особенно явным почти сразу же после приезда Клеопатры. Царице уже заметно полегчало: холодный, свежий, здоровый воздух делал свое дело — как и близость любимого, хотя она чаще ссорилась с ним, чем проводила время в мире и покое. Только что затухла одна из таких перепалок. Что на этот раз послужило поводом, Диона уже и не помнила: то ли деньги, то ли Иудея. Один из сановников принес охапку писем — одно он держал отдельно от других, и Антоний взял его с проклятием, подобным львиному рыку.

Диона, стоящая поблизости — за троном Клеопатры, — закрыла руками уши. Она разглядела, что печать на письме принадлежит Октавиану.

Антоний не сразу вскрыл письмо. Он держал его в руках и сыпал ругательствами.

— Опять эта лиса со своими уловками! Понаписал, небось, всякой галиматьи. Могу побиться об заклад. Наверняка увиливает от разумных доводов, нарушает слово и все договоры, а в вероломстве обвиняет меня — за то, что я выбрал тебя, а не его бледнолицую сестрицу.

— Ну, так прочти письмо, — засмеялась Клеопатра, — и покончи с этим делом.

Казалось, Антоний готов вновь разразиться руганью, но он только пожал плечами и сломал печать. Он читал вслух — вернее, бормотал, слишком быстро и неразборчиво, чтобы можно было хоть что-то понять — до тех пор, пока не изрыгнул проклятие, которое сотрясло шатер до основания.

— Чертов сын барачной шлюхи!

— Ты ему льстишь, — заметила Клеопатра, уже смягчившаяся после отбушевавшей бури. — Что он на сей раз выкинул?

Но Антоний, казалось, онемел. Сначала он был слишком зол, чтобы вразумительно ответить, а потом — озабочен. Какие еще новые бездны коварства ждут его в письме совладельца миром? Постепенно, однако, он успокоился и смог говорить внятно и здраво.

— Триумвирата больше нет. Октавий избавился от Лепида[53]. — Эту жалкую крысу отправили в ссылку писать мемуары. — И это самая вонючая новость, какую я когда-либо получал. Она воняет Гадесом!

Диона опустила руки. В ушах все еще звенело, но слова Клеопатры она слышала вполне отчетливо.

— Может быть, есть другое письмо, из которого ты узнаешь больше?

— Ты же знаешь, что нет. — Антоний в ярости расхаживал по шатру, стиснув письмо в руке. — Октавиан думает: если он получил Рим, то получил все. Но это не так. Ничего у него нет кроме раздоров.

— Но ты же сам презираешь Лепида. Ты считал его полезным лишь для того, чтобы

создавать видимость триединой власти над Римом. Однако такая власть давно изжила себя. Можешь ли ты винить Октавиана за то, что он выбросил обветшавшие декорации? По крайнем мере, он оставил Лепида в живых.

— Ты в этом уверена? — Антоний пропустил волосы сквозь пальцы, приведя в беспорядок тщательно уложенные локоны. Стала заметна намечающаяся лысина на затылке, но, его, казалось, сейчас не волновали такие мелочи.

— Дело не в том, что Октавиан избавился от Лепида. Но он не согласовал свои действия со мной. Да, считается, что мы правим автономно — каждый в своих владениях. Но для наших сторонников важен общий эффект триумвирата: мы все должны решать сообща.

— Только не говори мне, что это на самом деле тебя удивило.

— Что именно?

Клеопатра пожала плечами. Пока Антоний говорил, она рылась в пачке и извлекла еще одно письмо.

— А вот и от Октавии. Взглянем, что она пишет о нас всех?

— Не желаю! — зло ответил Антоний, но Клеопатра вскрыла письмо.

— Отлично, — приговаривала она, читая. — И это отлично, и это, все просто замечательно.

Антоний попытался выхватить письмо, но Клеопатра держала крепко и продолжала читать так же спокойно, как если бы его здесь не было.

— Проклятие! — рявкнул Антоний. — Ты хуже Октавиана.

— Ничего подобного, — мимоходом обронила Клеопатра. — Смотри, как трогательно она к тебе обращается. «Моему горячо любимому мужу, с приветом и пожеланиями доброго здравия. Дети здоровы и скучают по отцу. Особенно Антоний-младший — он очень просит тебя не забывать его и помнить о некоем обещании, которое ты ему дал…»

— Дай посмотреть! — На этот раз Антоний отвоевал письмо, поскольку Клеопатра не стала утруждать себя сопротивлением. — Силы небесные! Да она посылает мальчика ко мне! Она что, пытается заманить меня назад при помощи моего собственного сына?

— Вероятно… Прочти чуть дальше. Видишь? Она пишет, что отправится в Афины, как только позволит погода; и привезет тебе деньги, одежду для твоей армии, провизию…

— «…семьдесят кораблей и две тысячи солдат-рекрутов…», — Антоний читал оба письма одновременно, перебегая глазами с одного на другое. — Он должен мне двадцать тысяч, черт бы его побрал. И что я стану делать с семьюдесятью кораблями — без матросов. Каждый мужчина в моей армии, умеющий поставить парус или держать в руках весло, уже внесен в списки кандидатов в матросы на твои корабли. Этот пройдоха хочет всучить мне хвост, а себе оставить целого быка. Послушай-ка, что он тут понаписал:

— «Рим празднует твою блистательную победу и триумфальный марш по Мидии. А мы между тем под сенью твоей славы делаем все, что в наших силах. Но силы эти ограничены, и имеющиеся средства не позволяют нам полностью оплатить содержание твоей армии. Тем не менее тебе будет приятно узнать, что войска, которыми мы располагаем, отправлены на войну в Иллирии; тем самым мы решаем сразу две проблемы: завоевываем новые провинции для Рима и освобождаем его казну от обузы содержания солдат. А тебе, конечно, по-прежнему принадлежат богатства Египта — и мы желаем тебе распорядиться ими самым полезным для тебя образом».

— Итак, — прокомментировала Клеопатра, — Октавиан приписал тебе победу. Очень мудро с его стороны — ведь он должен поддерживать в Риме мир и порядок.

— Ну, если он прав и я победитель, тогда небо — зеленое, а море — сухое, как песок. Ушлая бестия! — Антоний гадливо отшвырнул письмо Октавиана и тряхнул письмом Октавии, разворачивая его, чтобы лучше видеть.

— А теперь послушай, что пишет она. «Сенат был очень великодушен и щедр к нам, мой возлюбленный муж. Представь себе: он постановил воздвигнуть статуи — твою и моего брата — в храме богини Мира и на форуме. А если тебе покажется этого мало, знай, что он также даровал вам обоим привилегию обедать в храме вместе с женами и детьми. Разве это не широкий жест? Когда ты вернешься домой, мой обожаемый муж и повелитель, мы все пойдем возблагодарить сенат и богиню, чья милость правит в гармонии с миром и всеми нами, и преломим хлеб пред ее милосердными очами».

Антоний швырнул на пол и это письмо.

— Сенат! Как бы не так! Ищи дураков. Тут видна лапа Октавиана — или я парфянин, провалиться мне в преисподнюю! Он ни на секунду не дает Риму забыть, что у меня римская жена и римские дети, а я бросил их ради тебя.

— Ну что я могу тебе сказать? — промолвила Клеопатра с хорошо разыгранным безразличием. — Брось свою египетскую шлюху, возвращайся в Рим, тебе ведь не впервой. Но на этот раз — безвозвратно.

Диона была совершенно уверена, что Антония хватит удар — так почернело его лицо. Но он устоял на ногах и заговорил достаточно ясно и спокойно, чего она от него никак не ожидала.

— Нет. Нет, милейшая. Мой выбор сделан. Они могут о нем и не знать, вернее, не быть уверенными — но для меня пути назад нет.

— Даже если она родит тебе сына, а не вторую дочь? — поддела его Клеопатра.

Никто в целом мире, кроме нее, не осмелился бы заявить такое, стоя в пределах досягаемости кулака Антония. Но он ни за что на свете не ударил бы свою царицу. Клеопатра знала это так же прекрасно, как знала и свои границы дозволенного. Она встала, обошла вокруг Антония, бурлящего бешенством, подняла с пола письмо, сложила его и положила на стол.

— Позволь полюбопытствовать — ты поедешь к ней, когда она прибудет в Афины?

— Нет, — глухо ответил Антоний.

— А может, надо бы. Ведь если ты и дальше собираешься делать вид, что вы женаты, следует соблюдать хотя бы минимальные приличия. Вообрази, как взбесится Октавиан, как ты расстроишь его планы, если его ожидания будут обмануты — он ведь убежден, что ты бросишь его сестрицу и останешься со мной.

— Я уже получил от нее все, что мог, когда мы были в Афинах, — возразил Антоний. Я позволил Октавии поехать туда — ей очень хотелось, и это чуть дольше дурачило ее братца. Но я не собираюсь с ней жить. Я уже провел свой последний день в ее так называемом приличном обществе.

— Приличия могут быть великолепными силками, — заметила Клеопатра.

— Но не для меня, — снова возразил он.

Диона услышала все, что хотела услышать. В ней не особо нуждались; она не ушла раньше просто потому, что тут было теплее, чем на улице, да и Клеопатра не возражала против зрителей соответствующего ранга и воспитания. Но теперь можно было ускользнуть — правда, не так быстро, как хотелось бы, но все же… Диона это удалось, и ее исчезновения никто не заметил.

Оказавшись снаружи шатра, она чуть не налетела на мальчика, по виду ровесника Цезариона, который сидел на земле, подставив лицо солнечным лучам. Мальчик встал и оказался выше царевича, шире его в плечах и крепче сложенным; с широкого, приятного лица из-под густой копны темных, курчавых волос на Диану спокойно смотрели светло-карие, почти янтарные, глаза. Низко посаженные брови были густоваты и сильно кого-то напоминали Дионе.

— Только не говори мне, — сказала она, — что Октавия послала тебя сюда вместе с письмом.

Казалось, мальчик был немного ошарашен.

— Госпожа? — произнес он на хорошей латыни. — Разве мы с тобой знакомы?

— Ты меня не знаешь, — ответила Диона, — но я о тебе слышала. Мое имя — Диона. Я служу царице Египта. А ты, полагаю, Марк Антоний-младший?

— Дома меня зовут Антониллием, — представился он. — Или Антиллом — те, что работают под греков.

— Что ж, я буду звать тебя Антиллом. — Она оглянулась на шатер и вздохнула. — Даже и не знаю, стоит ли тебе сейчас туда заходить. Твой отец понятия не имеет о твоем приезде.

— Он там… с Ней?

Он сказал именно так: словно о богине или духах преисподней.

— Да, твой отец с Клеопатрой, — ответила Диона и внезапно предложила. — Слушай, ты, наверное, замерз и проголодался. Это твоя стража, да? — Она кивнула в сторону двух мужчин, неуютно переминавшихся с ноги на ногу и выглядевших так, словно они хотели вышвырнуть ее отсюда, но никак не решались. — Пусть один из них идет с нами, а второй останется здесь и немного погодя скажет Антонию, что ты в шатре-кухне госпожи Дионы. Там тепло, — добавила она, — а кухарки Антония творят чудеса: настоящую пищу богов, с медом и специями.

Антилл был послушным ребенком: он охотно кивнул и пошел за ней со счастливым безразличием к недовольству стражников. Они явно отличались обилием здравого смысла — если бы только в нем была необходимость — и заявили: откуда им знать, могут ли они доверять кому-то из людей Клеопатры? А вдруг ее подослали отравить старшего сына Антония — соперника собственных сыновей царицы.

Но Антилл, похоже, не слышал их — или предпочел не слышать. Антоний тоже обладал такой способностью — слышать только то, что ему угодно.

Кухарки были рады услужить сыну полководца, только что прибывшему из Рима и терпеливо ждавшего вкусной еды. Антилл ослепительно улыбался, как и его отец, и поражал отменными очаровательно-непринужденными манерами. Забавно, что он не разделяет отцовского пристрастия к вину — может, просто слишком молод. Он не стал сразу пить из кубка с ледяной водой, а взял его вместе с полной тарелкой и отнес наружу, на солнышко.

День был теплым, но Диона, тонкокожая египтянка, не рассталась с гиматием. Антилл же отбросил свой паллий в сторону, как только начал есть. Он обладал отличным аппетитом здорового мальчишки и прекрасными манерами — лучше, чем у Тимолеона в его возрасте.

Когда Антилл утолил первый голод и стал жевать медленнее, наслаждаясь едой, Диона заметила Цезариона, приближавшегося к ним по дорожке, разделяющей ряды шатров. Солнце пылало в его волосах, заставляя их гореть золотом ярче обычного. Он облачился в парадный наряд царевича — что было делом не совсем обычным, — и двое стражников

шествовали за ним на почтительном расстоянии. Дионе он показался очень красивым.

Рядом с ней раздался неожиданный звук — Антилл присвистнул и сделал стойку, словно собака.

— Силы небесные! Это что за пава? — потребовал он ответа, даже не стараясь говорить потише.

Диона приподняла бровь, но Антилл не мог знать нюансов ее мимики и понять, что это — предостережение, да к тому же был юным горячим римлянином и потому продолжил в том же духе. Может, он подумал, что чужестранец глух или не понимает по латыни?

— Ой, умора, ты только посмотри на него! Ну и красавчик! Он похож на кудлатую собачонку-визгунью моей мачехи.

Цезарион остановился, нарочито не замечая Антилла, поклонился Дионе и произнес без акцента на изысканнейшем греческом:

— Госпожа, рад тебя видеть. Не правда ли, сегодня чудесный день?

— Прекрасный, — согласилась Диона с еле уловимой иронией.

— Да! — вмешался Антилл, явно понимавший греческий. — Чудный денек! Чем же от него так несет? А глаза-то, глаза! Чем он их размалевал?

На самом деле царевич никогда не пользовался благовониями и не подводил глаз. Но Диона не успела и слова молвить, как Цезарион тут же сказал:

— Я вижу, тебе докучает назойливая муха, госпожа. Как он к тебе попал? Он, кажется, очень плохо воспитан. Сюда таких не пускают. Это что, ублюдок одного из солдат?

Диона подавила вздох.

— Где твои манеры, Цезарион? Птолемей Цезарь, познакомься с Марком Антонием-младшим. Антилл, познакомься с царем Египта.

Но Антилла было не так-то просто осадить.

— Царь? Вот этот? Да он похож на плясуна царя Армении.

— Вифинии, — процедил Цезарион сквозь стиснутые зубы тоже на латыни и с акцентом, ничуть не худшим, чем у Антилла, когда тот говорил по-гречески. — Мой отец, как утверждают, танцевал между простынями с царем Вифинии. Ты даже оскорблять не умеешь прямо — все исподтишка.

— Ни один Цезарь не имеет к тебе отношения, — парировал Антилл. — Кто засунул тебя в Клеопатру? Один из ее конюхов?

— А по тебе сразу видно, что ты — плевок Антония, — ответил Цезарион со слащавым ядом в голосе. — Я слышал, он когда-то любил иногда побаловаться с грязными женщинами.

— Расфуфыренный индюк! — издевательски проговорил Антилл.

Диона уже подумывала прекратить стычку, пока она не переросла в конфликт посерьезнее. Стражники Цезариона и Антилла метали друг в друга враждебные взгляды, готовые в любую секунду защитить своих господ. Можно, конечно, приказать египтянам от имени Клеопатры: они с легкостью разнимут драчунов. Но Диона решила, что мальчишки, как и котята, тоже имеют свои права.

Цезарион набросился первым, сбив Антилла с ног. Царевич был ниже ростом, легко сложенный, гибкий и крепкий — весь в отца; Антилл перенял сложение Антония, но это не всегда бывает преимуществом. Худощавый мальчик — если он царевич — рано узнаёт, как сражаться с более крупным противником.

Антилл, оправившись от первого неожиданного удара, продемонстрировал противнику, что голова у него тоже неплохо работает — он был не только выносливым, но и хитрым

бойцом.

Мальчишки катались в грязи, как разъяренные псы. Один из них — или оба, было трудно понять — ругался самым изощренным образом. Стражники уже готовились разнять их, но вмешалась Диона.

— Не надо. Пусть сами разберутся.

Возможно, стражники и заспорили бы с ней всерьез, но они тоже были не так уж давно мальчишками, особенно сопровождающие Антилла, и поэтому до поры до времени не двигались с места, как и Диона, не спуская глаз с дерущихся. Нельзя было допустить, чтобы эти дети покалечили друг друга.

Диона всегда чувствовала переломный момент драки. Цезарион находился внизу, слышались звуки ударов, но он так извивался, что Антиллу пришлось попотеть, чтобы не промахнуться. Наконец Цезарион неожиданным рывком вернул утраченные позиции, но тут же поплатился за это: Антилл мертвой хваткой схватил его за горло и съездил по челюсти.

Все замолчали, затаив дыхание. Диона подалась вперед.

Цезарион засмеялся — придушенно, но искренне.

— Ох, дружище! Ты — что надо!

Антилл усмехнулся сквозь остатки злости.

— Да и ты не хуже. Сдаешься?

— Ни за что, — отрезал Цезарион.

— Отлично, — сказал Антилл с искренним сожалением. — Тогда я тебе сейчас ка-ак врежу!

— А я — тебе, — заявил Цезарион.

— Интересно, каким образом?

— Очень просто!

Диона даже не поняла, что он сделал — так извивается в броске змея, или кот выскальзывает из ошейника. Через секунду Цезарион уже сидел у Антилла на голове, и тот опешил и от неожиданности онемел. Цезарион вскочил на ноги, не выпуская Антилла и широко ухмыляясь.

— Сдаешься, — уверенно сказал он.

— Скорее умру, — парировал Антилл.

Цезарион завопил с радостным одобрением:

— Ур-ра!! Мир! Ты мне нравишься. Давай-ка вставай, будем мириться. Никто еще не задавал мне такой трепки.

Антилл встал с суровым лицом, но тут же расплылся в улыбке, которая была едва ли не шире, чем у Цезариона, и принял протянутую ему руку с видимым удовольствием. Но все же он с сомнением смерил царевича взглядом сверху донизу.

— Ты щуплый, как девчонка. Наверное, ты неженка и нюня.

— Не мне судить, — сказал Цезарион. — А луплю, как Цезарь.

Антилл понимающе кивнул.

— Но ты ведь царь. Так сказала госпожа — и в Риме мне тоже говорили: Птолемей Цезарь — царь Египта, но его мать поможет, где нужно.

Диона затаила дыхание. Но Цезарион предпочел не возобновлять ссору.

— В драках с мальчишками неважно, царь я или нет. Ты же меня не испугался?

— Да, — согласился Антилл. — Но я — римлянин.

— И я — тоже, — подчеркнул Цезарион. — По крайней мере наполовину.

— А на другую половину — царь. И этим все сказано.

— А ты тоже не дурак, — заметил Цезарион. — Чего не скажешь о твоем отце, хотя дерется он хорошо. И моя мать любит его.

Антилл снова сел на землю возле шатра-кухни. С царским пренебрежением к своей одежде и внешности Цезарион устроился рядом.

— Моя мать умерла, — промолвил Антилл. — Отец говорил, что она могла бы стать царицей, если бы не была римлянкой. Я не знаю, любили ли они друг друга. В Риме мы не говорили о таких вещах. Это был взаимовыгодный союз — вот все, что я знаю. Однако она слишком далеко зашла. Люди говорят, что она умерла от стыда, но я думаю — от отчаяния.

Он говорил бесстрастно и обстоятельно, как истинный римлянин. Цезарион, бывший наполовину эллином, обнял его за плечи.

— Послушай, прости меня.

— Перестань, — свирепо, но без вражды в голосе сказал Антилл. — Октавия послала меня привезти отца домой.

— Не надо, не продолжай — я понял это, как только услышал твое имя. Ты хочешь попробовать?

— Не знаю… Может быть. Я обещал ей, что попробую.

— Антоний останется с нами, — с гордой уверенностью сказал Цезарион. — И ты можешь остаться.

— И твоя мать это допустит? Я — соперник ее сыновьям.

— Но ты ведь римлянин, и потому не можешь быть царем Египта.

— А в Риме нет царей, — кивнул Антилл, словно объяснил все. Возможно, в его воображении так и было. — Если я не смогу уговорить его, то останусь. Октавия хорошо к нам относится. Но слишком *хорошо.* Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Цезарион. — Ты никогда не забываешь, как именно хорошо она к вам относится.

— Точно, — поддакнул Антилл. — И знаешь, что еще хуже? Она гладит меня по головке. И называет своим дорогим мальчиком.

Цезарион выразительно замолчал. Кивок Антилла был не менее выразительным и очень резким.

— А знаешь, что еще она делает? Я тебе расскажу…

Диона улыбнулась про себя. Конечно, надо бы велеть их обоих искупать и отправить под присмотр — но не сейчас. Им было слишком хорошо вдвоем.

27

Цезарион вернулся в Александрию рука об руку с Марком Антонием-младшим, другом и братом по духу, и дрались они не чаще и не более жестоко, чем можно ожидать от мальчиков, рожденных быть царевичами. Это явилось громадным облегчением для их родителей — по крайней мере для Клеопатры. Антилл не особенно усердно уговаривал отца вернуться в Рим — не более усердно, чем требовало связавшее его обещание.

В один из теплых солнечных дней, в разгаре весны, Диона отправилась во дворец поискать Луция Севилия. Примерно через полчаса она нашла его в зимнем саду царицы — в компании полосатой кошечки. Он сидел и читал книжку, а кошка дремала у его ног, мурлыча в островке теплых ласковых лучей. Оба казались беспечными и довольными.

Луций Севилий уже оправился от лихорадки, измотавшей его в Мидии. Он по-прежнему был худ и бледен, но лоб — когда Диона его целовала — оказался прохладным.

Он улыбнулся ей. В последнее время Луций Севилий делал это постоянно; и потому Диона словно летала на крыльях и чувствовала себя юной девушкой с мыслями легкими, как птичьи перья, а не умудренной жизнью женщиной. Возраст, положение, опыт — все это было пустым звуком, когда он смотрел на нее так, как сейчас, и глаза его говорили: на свете еще никогда не было женщин красивее и желаннее ее.

«Глупости!» — журила себя Диона. Но откуда было взяться благоразумию, когда Луций Севилий явно был ей в этом не помощник. Он сам отказывался быть благоразумным.

— Завтра, — сказал он, откладывая книгу.

Она села рядом на скамейку — но не касаясь его. Это было удовольствием, близким к боли: находиться так близко от любимого — и так далеко. Диона лелеяла сладость этого ощущения до замирания сердца и знала, что очень скоро, может быть, даже сейчас она преодолеет последние мучительные, до головокружения притягательные дюймы и коснется его руки.

И завтра, завтра ночью…

Диона сильно вздрогнула — и слегка покачнулась. Луций Севилий тут же заглянул ей в лицо, побелев от волнения.

— Тебе плохо? Голос был испуганным.

— Нет, — проговорила она. — Нет. Я…

Она умолкла. Любовь — это болезнь, как говорят поэты. Ее дыхание прерывалось; горло сжало спазмом; лицо посерело, потом побледнело, и взгляд затуманился. Биение сердца вдруг стало совсем еле слышным. Ею овладели страх, паника, ужас, мгновенная уверенность в том, что она не сможет… — все сразу. Она не стоит его. Она не умеет. Она не способна. Она не…

— Диона… — Этот голос она знала лучше всех на свете, но сейчас он вдруг показался совсем незнакомым. Акцент был странным, тембр другим. Он исходил откуда-то из глубины горла; и это была певучая звучность греческого или звонкая стремительность египетского. — Диона! Госпожа моя, любовь моя, нежный мой друг, не отвергай меня!

Эти слова не прозвучали патетично — хотя шли из самых глубин сердца, да и фраза была соответствующей, даже чуть цветистой. Но был в ней уловимый оттенок надменности, с которой рождаются все римляне — какими бы нежными они ни казались, и Диона сразу же напряглась и замкнулась в себе.

Но вскоре ее взгляд прояснился. Луций Севилий держал ее за руку. Его пожатие было якорем в зыбком море, связавшем Диону с миром реальности.

— Я чуть не струсила и не сбежала, — призналась она.

— Но ты ведь не трусиха.

— Нет.

Она снова вздрогнула, хотя солнце грело мягко и ласково.

— Теперь я знаю, как боятся Пана[54] — властелина диких пустынных мест. Паника ужаса, белая, как кость, красная, как кровь… Это почти красиво.

— Перестань, — попросил Луций Севилий. — Не мучай меня.

Она попыталась улыбнуться ему.

— Теперь ты видишь, что получишь, дорогой мой римлянин. Ты уверен, что этого хочешь?

— Я хочу тебя — всю без остатка, — сказал он без колебания. — И даже то, что может меня испугать.

— Ох, только не это! — воскликнула Диона.

Луций Севилий поднес ее пальцы к губам, поцеловал обе ладони и сжал их в руках.

— Все эти годы я знал, чего просил и прошу. Пойми, за столько лет я мог разглядеть тебя, понять и решить, что хочу только тебя: жрицу, женщину, голос богини, жену…

— Но я останусь прежней, Луций. Я принадлежу богине. Аполлоний не понимал этого. Он надеялся изменить меня: уменьшить, втиснуть в земную оболочку, вытеснить из нее богиню. Никому это не под силу. Даже тебе.

— А я и не буду пытаться, — твердо сказал он.

— Но все же ты боишься голоса богини, живущего во мне.

— Значит, мне придется научиться не бояться.

Диона покачала головой — но она не отвергала его.

— Я всем сердцем люблю тебя. Но можешь ли ты принять меня целиком — всю меня? Способен ли вообще мужчина на такое?

— Я попробую. И буду стараться.

Он был таким храбрым, потому что сказал то, что думал. И Диона вдруг поняла, что ей нет дела до того, что может случиться потом, даже если он пожалеет о сказанном — и о сделанном. Сейчас Луций Севилий сказал то, что думал. И этого достаточно.

Она наклонила голову. Завтра они произнесут слова клятвы. Завтра сбудется то, что началось еще в Тарсе.

28

— Ни к чему все это, — в который раз повторила Диона.

— Глупости, — отмахнулась Клеопатра — так она говорила с тех пор, как вытащила Диону из комнаты, где та отдыхала — правильнее сказать, пряталась. Остальные женщины — служанки, придворные дамы, жрицы, приятельницы царицы и подруги Дионы — смеялись, купая невесту. По обычаю, невесте обязательно следовало принять свадебную ванну; это означало прощание с девичеством, и все они должны были учить ее уму-разуму, готовить к тому, чтобы стать женщиной — благословляя мудростью веков и множества жизней, словно она снова была неопытной девушкой.

— Но зачем этот спектакль? — упрямо сопротивлялась Диона. — Я никак не могу понять. Каждый знает, что здесь не дом моего отца, а твой дворец. И дом, в который меня понесут, — мой собственный дом. Такая суета невероятно нелепа и смешна.

— Это свадьба, — терпеливо втолковывала Клеопатра. — Разве я не могу занять место твоих родителей, пока они отдыхают с миром в царстве Осириса, моего божественного супруга и брата? Разве у меня нет права вручить тебя мужчине, которого — кто об этом знает? — я выбрала для тебя? Нет, ты не думай, — добавила она уже другим тоном, — что я считаю тебя неспособной справиться самой. Но ты стоишь таких хлопот. И на тебя так приятно смотреть. Все просто лопаются от зависти.

На самом деле все хихикали, сыпали шуточками и тащили Диону из ванной, вытирая ее душистыми полотенцами; они массировали и умащали благовонными маслами каждую пядь ее тела. Когда она впервые выходила замуж, все было совсем не так. Нет, тогда тоже была настоящая свадебная ванна, а потом трапеза и все остальное — но она прошла через эти церемонии, как ягненок, отданный на заклание. А теперь она с трудом сдерживала нетерпение. Поскорее бы отделаться от этой кутерьмы! Ей хотелось, чтобы все прошло тихо и мирно, почти уединенно, если возможно, — но Клеопатра не хотела и слышать ни о чем подобном, да и Антоний шумно протестовал. Они жаждали надлежащей свадьбы — впрочем, чего еще ждать от монархов, привыкших к постоянным пирушкам и яркому блеску веселья?

Но все же Диона отметила про себя, что не так уж и неприятно находиться в центре праздничной суеты, когда все тебя ублажают и превращают в настоящую красавицу. Правда, говорили, что она и так красива — сама Диона никогда ничего подобного не думала и не чувствовала, даже глядя по утрам в зеркало. А почему она должна им верить? Ее лицо было просто ее лицом, ее тело — ее телом. А теперь они делали из них нечто приметное: греческую красоту для греческой свадьбы — и бурно жестикулировали, протестуя против скромности ее платья и утверждая, что она должна выходить замуж как египтянка — в самом невидимом наряде из газа.

— Нет, нет и нет, — безапелляционно заявила Клеопатра. — Скромность — лучшая приправа. Она заставляет мужчину мечтать.

Женщины вздохнули: замужние — умудренно; незамужние — беспечно, но немного боязливо. Дионе хотелось успокоить их — но ей самой было не по себе. Как боги на небесах назовут то, что она делает?

Выходит замуж за мужчину, как наверняка сказала бы Клеопатра, если бы Диона имела глупость спросить ее. Царица всегда называла вещи своими именами.

Выходит замуж за мужчину… Диона отогнала эту мысль, когда уже была одета. Ее волосы, расчесанные, умащенные благоуханной миррой, свободно падали на плечи, словно она была девушкой. Их заплетут потом, когда она — опять! — станет замужней женщиной.

Надо забыть прошлое. Она должна помнить только настоящее: этот ритуал и этого мужчину.

Клеопатра вместе с самой искусной из служанок ловко укрепила на голове Дионы невесомое, воздушное свадебное покрывало, оно было прозрачным, но все вокруг стало казаться ей немножко нереальным — как во сне; прохладная вуаль мягко касалась щек и рук. Сквозь шелк цвета пламени мир стал золотистым и алым — как огонь, как кровь. Как жар плоти.

Наконец все было готово. Очистившуюся душой и телом при помощи обрядов, умащенную благовонными маслами, тщательно одетую и закутанную в вуаль невесту повели на пир. Женщины с облегчением вздохнули — они потрудились на славу.

Залы дворца были залиты светом. Слышались музыка, пение высоких голосов, смех, возгласы и невнятный гул разговоров. Диона различила возбужденно-веселые раскаты голоса Антония, шушуканье придворных, и еще — словно физически ощутимое молчание. Диона знала, что нельзя услышать тишину, услышать, как молчит человек в шумной толпе, но сердце сразу подсказало ей: это — Луций Севилий, гаруспик, ее жених.

Она не могла коснуться его или хотя бы встать рядом — ей полагалось лишь смотреть на него через большую многолюдную залу. Сначала принесут жертвы богам, а потом будет пир. И все до одного играли в веселую игру — как можно дольше разлучать их друг с другом. Лишь двое казались тихими и спокойными в центре бурлившего смехом и гамом водоворота пестрой толпы — он и она. «Надо уметь ждать, — говорила себе Диона. — Помни, ты — не перепуганная девчонка и не распутница, чтобы бежать не чуя ног через зал прямо в объятия любимого».

Наверное, она ела и пила. Наверное — потому что не замечала этого, хотя есть и пить под покрывалом очень трудно. Гораздо естественней было бы откинуть вуаль с лица или сложить руки на коленях и ждать, пока остальные насытятся.

Луций Севилий должен был управляться с горами яств на своих тарелках и словно бездонными кубками. Пир был безжалостно долгим и монотонным для новобрачных, жаждущих поскорее остаться наедине друг с другом, но для остальных это был повод к веселью, которому они предавались сполна. И еще — это очень смущало Диону — удобный случай заставить уши соседа гореть от рискованных шуток. Антоний всегда был в таких делах неистощимый мастак. Но никого не удивляло, что под стать ему оказалась Клеопатра.

Диона от всей души желала, чтобы они замолчали — напрасная надежда! Наоборот, все острили без умолку — а тут ведь был и ее сын, и дети Клеопатры. Может, для Тимолеона это не так страшно — в конце концов, он уже юноша, но Цезариону, Антиллу и близнецам — брат с сестрой давно клевали носом, но уходить спать не хотели — вряд ли стоило слушать такие скабрезности.

Царевичи, казалось, скучали. А у Тимолеона был такой вид, словно он задумал какую-то каверзу и теперь размышляет, как ее осуществить. Диона не представляла, что же на сей раз пришло в его буйную голову. Оставалось только надеяться, что это произойдет как можно позднее.

Казалось, пиру не будет конца. Диона выпила довольно много вина, и у нее слегка кружилась голова, но ко сну еще не клонило. Близнецы прикорнули на краешках огромного

пиршественного ложа: Селена — на женской стороне, а Гелиос — на мужской. Судя по всему, они угомонились и уснули. Голова Цезариона упала на плечо Антилла.

Тимолеон раскраснелся — было ясно, что вином он себя не обделил — и на глазах становился дерзким.

— Ты посмел говорить о моей матери? *Что* ты сказал о моей матери?! — услышала Диона. Сын свирепо сверкал глазами в сторону молодого человека — похоже, слишком бойкого на язык.

Клеопатра, сидевшая рядом с Дионой, быстро спасла положение. Она встала и подняла руку, призывая всех к вниманию. Какое-то время Диона смотрела на нее в замешательстве: она не сразу вспомнила, что ей полагается делать. Но потом резко — и поэтому не слишком грациозно — встала. Шум мгновенно затих. Наступила почти мертвая тишина — все молчали и смотрели во все глаза. Диона видела лишь мужские глаза — женщины все сидели на ее половине, и через столы на нее глядели только мужчины.

Она поднесла руки к покрывалу. Неожиданно вуаль показалась ей уютным, надежным укрытием — как тихая гавань во время шторма. Сняв его, она словно подставит лицо всем ветрам, дувшим с четырех сторон света.

Она отогнала эту мысль. Вуаль выскальзывала из пальцев, словно сопротивляясь, но Диона была сильнее. Огненно-красное покрывало упало вниз. Мир, открывшийся ее взору, был неожиданно четким, контрастным — странные переливы золотого и белого мелькали перед глазами; свежий воздух холодил щеки. Этот мир пах вином, благовониями и цветами.

Долгий вздох вырвался у всех находившихся в зале. Так бывало всегда, когда невесте открывали лицо. Покрывало делало ее незнакомкой; даже тогда, когда все хорошо ее знали и встречали по много раз в день. Теперь же невеста словно заново родилась, и мир ждал, когда она явит ему свое лицо, самое красивое из всех, — и неважно, совершенны ли на самом деле его черты или нет. Здесь, сейчас, она была единственной — избранной.

В мареве огней и блеска, в кружении лиц Диона видела лишь одно лицо — узкое, загорелое, обрамленное короной из полевых цветов. Оно было восторженным и одновременно будто ушедшим в себя; глаза Луция Севилия, гаруспика, были задумчивыми, словно он грезил наяву.

Внезапно тишину нарушил новый взрыв смеха и голосов. Слуги забегали с факелами. Музыка загремела неистово-громко и бойко.

Мужчины и женщины повскакивали со своих лож. Женщины подхватили Диону и потащили к двери; на улице ждала повозка, чтобы доставить невесту в дом мужа — в ее собственный дом. Но мужчины со смехом преградили им дорогу.

Это не входило в ритуал. Оцепенение Дионы сменилось удивлением. Мужчины напирали — нет, буквально продирались сквозь толпу женщин, кричавших от страха — настоящего и напускного. Диона ахнула от неожиданности, когда кто-то обхватил ее сзади, но тотчас узнала это прикосновение, эти худощавые сильные руки. Она дернулась, пытаясь повернуться к нему лицом.

— Луций!..

Перекидывая ее через плечо, он смеялся — Диона чувствовала, как тряслось его тело, — но сквозь смех ему удалось тихо сказать:

— Таков римский обычай[55]. Идея Антония. Ты можешь драться, брыкаться — только не сильно. Немножко.

Но Диона инстинктивно брыкалась в полную силу. Умом она понимала, что это —

Луций, но тело в страхе кричало: это же нападение! похищение! насилие! нарушение приличий!

Луций Севилий вряд ли донес бы ее до дому, хоть был не слабее Антония, но с легкостью преодолел расстояние до повозки, что само по себе было достаточно впечатляющим. Он тяжело дышал, но твердо стоял на ногах, когда усадил ее на подушки — плавно и мягко. От потрясения у Дионы перехватило дыхание, она потеряла дар речи. Луций едва успел сесть рядом с ней, как Антоний — пошатывающийся, веселый и пьяный — ликующе рявкнул, и белые мулы резко тронулись в путь. Диона навзничь упала на подушки, и рука Луция обняла ее. Она попыталась отстраниться — но не очень охотно.

Мужчины были донельзя довольны собой. Женщины — во главе с Клеопатрой — шушукались и замышляли месть.

Диона, чувствуя себя в повозке словно в капкане, накинула на лицо покрывало и постаралась отодвинуться как можно дальше к краю. Испуг уже прошел, и она начала злиться, но ни Луций, ни Антоний, казалось, этого не замечали. Хорошо бы превратить их в змей или в лягушек. Нет, лучше в мышей. Из римлян получатся отличные жирные мыши — кошкам Баст будет чем поживиться.

Магия всегда была к услугам Дионы. Это было сродни ее нраву: внешне спокойная, она могла в любую минуту разразиться гневом — если бы разрешила себе. Но она не стала будить спящую собаку — и вовсе не из милосердия к колобродам Антония: просто мыши могли легко спрятаться на улицах Александрии.

Они пели — *«Hymen Hymenaie»*[56]. Диона знала эти стишки, предназначенные для того, чтобы вогнать девушку в краску до тех пор, пока она не заплачет. Факелы ярко пылали в вечерних сумерках. Одна за одной на небе загорались звезды, и среди них самая роскошная — вечерняя звезда.

«Io Hymen Hymenaie, Hymenaie Hymen!»

Женщины пели по-гречески, а мужчины — как только сейчас поняла Диона — на латыни; были ли они все римлянами или только хотели ими быть? Горожане останавливались и смотрели им вслед. Свадебные процессии в Александрии не редки — но разве каждый день увидишь, что ее возглавляет царица Египта с супругом?

Повозку тряхнуло на выступе камня мощеной дороги, и Луций Севилий чуть не упал на Диону. Ни секунды не думая, она обняла его, и когда от сразу последовавшего нового толчка он качнулся обратно, оказалось, что она летит вместе с ним. Диона мгновенно внутренне напряглась и приняла холодный вид. Его лицо в свете факелов было бесстрастным; он даже не смотрел на нее и слушал Антония, что-то говорившего ему на ухо, смеясь и кивая.

«Io Hymen Hymenaie, Hymenaie Hymen!»

Руки ее сжались в кулаки.

«Ну хватит с меня! — мысленно заклинала их она. — Хватит!»

Но дом Дионы вовсе не казался ей собственным домом. Он был полон цветов и пылающих светильников; повсюду толпились люди. Луций Севилий вынес ее из повозки — уже переставшую сопротивляться, но все же не беспомощную, — перенес через порог[57] и поставил на ноги под бурное веселье и одобрение зрителей.

— Удачи! — кричали они во все горло и кидали ей под ноги пригоршни орехов, золоченых и простых. — Удачи!

Во время благословения домашнего очага — когда Диону вводили в ее собственный дом

как в чужой, — Клеопатра взяла на себя роль свекрови, как до того была «отцом» невесты. Это было абсурдным не больше, чем все остальное. Домашние, казалось, были весьма позабавлены. Растроганные слуги ухмылялись глупыми улыбками или плакали просто ради удовольствия пустить слезу. Сверху на нее сыпался дождь из орехов и сушеных фиг, которыми бросались довольные дети, радуясь поводу устроить возню. Фиги были немытыми, и весь пол покрылся землей и песком.

Диона вновь оказалась возле Луция Севилия. Он держал ее за руку. Его ладонь казалась холодной и чужой. Взгляд Дионы блуждал по лицам, окружавшим ее.

Один из мужчин в средних рядах показался ей знакомым — но она не узнавала, кто это. Он был худым, высоким, белокурым: юноша, пока еще нескладный и долговязый, с густой немодной бородой.

Диона долго смотрела на него, пока в памяти не всплыло имя: Андрогей.

В восторге она закричала:

— Андрогей!

Он вполне мог не слышать ее — стоял такой гомон, что она и себя-то не слышала. Ее старший сын здесь, на ее свадьбе — она не видела его лет пять или даже больше: с тех самых пор, как Луций Севилий впервые поселился в ее доме.

Диона хотела пробиться сквозь толпу, найти сына и потребовать ответа: где он был столько лет, что делал, зачем и как пришел. Но узы обычаев, воплощенные в руке Луция Севилия, были слишком сильны.

Он повлек ее за собой сквозь анфиладу комнат, но это не значило, что она слепо подчинялась его воле — ноги сами вели ее. Остальные тянулись сзади, распевая свадебную песнь — эпиталаму. Они пели о любви и желании: двое во тьме, нежность и страсть, тепло и зной.

Диона пыталась задержаться, объяснить, почему ей нельзя сейчас уходить.

— Там Андрогей… мне нужно знать… как…

Бесполезно. Свадьбы не оставляют ни места, ни времени для подросших детей от первых браков.

У дверей спальных покоев невесте позволили остановиться. Ей нужно было повернуться к толпе, заполнившей коридор. Мир снова хотел видеть ее лицо. На сей раз Дионе не требовалось напоминаний: руки уже взялись за покрывало, снимая его, давая свободно упасть волнами вниз. Это было встречено всеобщим ликованием — мужчины смеялись и радостно вопили. Луций Севилий подхватил Диону и понес ее в покои, пинком закрыв за собой дверь.

Наступила внезапная — почти мертвая — тишина. Потом снаружи снова запели. Они будут петь всю ночь в коридоре и под окнами. Некоторые попытаются пробраться внутрь или хотя бы заглянуть сквозь ставни. Но Диона повесила на окна плотные занавеси, сквозь которые ничего невозможно увидеть.

Горел светильник, слабо освещая комнату, и повсюду разливался аромат благовоний — изысканная смесь из душистых трав и масел, специально приготовленная, чтобы сдобрить восторги влюбленных. Ложе, застеленное новыми простынями, было усыпано цветами. Диона чувствовала благословение магии — слышалась тихая, сладчайшая музыка. Ни один земной инструмент не мог породить такое чудо.

Сквозь эту дивную мелодию послышался вполне реальный голос.

— Ты, кажется, в ярости, — вымолвил Луций Севилий. — Кто-то что-то сказал, и это тебя расстроило?

— Сказал? — воскликнула Диона. — Не сказал — сделал! Как ты посмел схватить меня и тащить?

— Так принято в Риме, — ответил он без особого раскаяния.

— Отлично! Что еще принято в Риме? Разделять волосы новоиспеченной супруге на пробор острием окровавленного копья[58]? По-твоему, у меня настолько варварская натура?

— И да и нет, — кивнул он, сел на край ложа и стал развязывать сандалии.

— Ты такая забавная, когда сердишься: словно вот-вот зашипишь, как кошка. Я еще никогда не видел тебя такой.

— Ты собираешься со мной из-за этого развестись?

— Пока нет. — Он снова встал и начал обстоятельно снимать тогу вместо того, чтобы рывком стащить ее и бросить на пол.

От такой прозаической аккуратности Диона буквально онемела. Ведь ему полагалось остолбенеть от красоты своей возлюбленной или сорвать с нее одежду и овладеть ею прямо на полу — в общем, совершить любое безумство, только не вести себя, как муж после многолетнего брака, которого присутствие жены волнует не больше, чем вид его рабов.

Отчасти от смущения, отчасти желая посмотреть, что же будет дальше, Диона протянула руку и взяла тогу. Она показалась ей неимоверно длинной и тяжелой. Ну вот, теперь они ведут себя как добрые приятели, усмехнулась про себя Диона, когда они вместе свернули тогу и положили на стул для одежды. Без тоги Луций Севилий казался тоньше, изящнее — но не менее римлянином.

Диона разгладила сверток, который у них получился, скользнула ладонью по чистой белой шерсти к пурпурной кайме. На ощупь кайма оказалась другой — более гладкой, лучше вытканной.

— Мне кажется, я тебя совсем не знаю, — сказала она, словно обращаясь к кайме.

— И ты жалеешь об этом?

Диона взглянула на него. Луций Севилий убийственно спокойно выдержал ее взгляд. Да, он никогда не позволяет себе расслабляться; он вышколил свое лицо, заставляя его оставаться бесстрастным при любых обстоятельствах, а тело… что ж, тело тоже должно подчиняться приказу.

— Да, жалею. Как я могла выйти замуж за чужестранца, да еще и римлянина? Наверное, я сошла с ума.

— Что ж, я дам тебе развод. — Голос его был спокойным, а лицо — совершенно равнодушным. — Ты хочешь лечь на ложе? Тогда я устроюсь на полу. Если, конечно, ты не собираешься выйти к ним и сказать, что все кончено.

— Ох! — она запнулась, не в силах унять колотившееся сердце, но через секунду ее гнев выплеснулся наружу: — Ох, какой же ты идиот! Какой же ты идиот! Ты… ты… римлянин! Конечно, не все кончено!

— Но… — пробормотал Луций Севилий. — Если ты хочешь… если ты…

На мгновение Диона испугалась, что он заупрямится, и положила руки ему на плечи — чтобы встряхнуть или не отпускать.

— Я хочу, — начала она. — Я хочу… тебя. Только тебя. И без всякого фиглярства.

— Но это фиглярство — часть ритуала. Не мы его придумали, — возразил Луций Севилий. Он снова хорошо владел собой; лицо опять посуровело. Но ее руки чувствовали,

как он дрожит, наверное, от ярости.

— Да, слава богам, не мы придумали эти гадкие стишки! А изюм и финики! До сих пор голова гудит — словно в меня швырялись камнями. А пол теперь никогда не отмыть!

— Отмоют, — сказал он и протянул к ней руку.

От прикосновения его пальцев слова протеста замерли у нее на губах, и на душе вдруг стало тепло и спокойно. Странно, мелькнуло у нее в голове, что она чувствует руками жар всего его тела. У нее перехватило дыхание, но все же она еще не сдавалась и проговорила:

— Мне не нравится, когда от меня отрекаются.

— Больше такого не будет.

Глаза ее сузились. Было непохоже, что он шутит.

— Поклянись, — потребовала она.

— Клянусь, что больше никогда не отрекусь от тебя, — торжественно произнес он. — Пока ты сама не попросишь.

— Ни за что!

— И все же… Никто ничего не знает наперед.

Диона покачала головой.

— Ну вот, теперь ты считаешь меня ветреной и ненадежной.

— Да, я ведь трезвый и расчетливый человек. Я — римлянин.

Неожиданно Дионе показалось, что он очень далеко от нее. Она порывисто прижалась к нему, всем телом чувствуя биение его сердца.

С Аполлонием было все совсем иначе. Он уставился на нее и долго смотрел таким взглядом, что она съежилась и ей захотелось уползти под кровать и спрятаться. Потом он велел ей лечь. Она подчинилась, потому что была слишком испугана, чтобы воспротивиться. Потом он потушил светильник, лег рядом, задрал ей юбку и сделал то, что делают все мужчины. Об этом ее предупредила мать. Но то, что делают мужчины, оказалось очень болезненным и омерзительным.

Потом Диона узнала, что так бывает не со всеми женщинами. Для многих это было наслаждением, и они искали его везде и всюду.

Но сейчас Диона думала совсем о другом. Она просто хотела, чтобы этот мужчина был с нею рядом, жил в ее доме, обедал вместе с ней за одним столом и держал Тимолеона в узде, насколько вообще можно держать в узде молодого мужчину. Выйти за Луция замуж означало, что люди перестанут косо смотреть на нее. Впрочем, некоторые по-прежнему будут судачить, что она вышла замуж за римлянина.

Наверное, она может попросить его не брать ее, как жеребцы берут кобыл. Возможно, он даже согласится на это. В конце концов, они же друзья. Он может найти себе мальчиков-рабов, если захочет, или женщин из свиты царицы. Но он никогда не искал ничего подобного, насколько она знала. Может, он вообще равнодушен к таким вещам? Но, глядя на него, в это трудно поверить. И хотя Луций Севилий не похож на других мужчин, но евнухом он явно не был.

Диона хотела что-то сказать — она сама не знала что, — но он закрыл ей рот поцелуем. Она напряглась — но лишь немножко. Против поцелуев она не возражала. Это было приятно. Даже с Аполлонием, хотя его губы всегда были мокрыми. Прежде чем лечь с ней в постель, он жевал гвоздику. Луций Севилий предпочитал корицу. И еще его губы пахли вином и медом.

Диона застыдилась, и ей показалось, что будет спокойнее, если она спрячет лицо и

посильнее прижмется к нему, телом к телу. Она обняла его за шею; его руки обвили ее талию.

Луций улыбнулся ей, но она не смогла улыбнуться в ответ. Он погладил ее по голове, откинул с лица волосы…

— Что, любовь моя? Ты боишься?

Ей почему-то захотелось плакать. Луций Севилий был поражен и явно расстроен, но не подал виду. Он обнимал Диону, пока она не успокоилась, и долго потом не отпускал, гладя ее по голове.

— Все хорошо, — приговаривал он.

Внезапно Диона резко высвободилась из его объятий.

— Перестань! Я не ребенок.

— Надеюсь, — мягко усмехнулся он.

Она посмотрела вниз — пол казался ей необъятным.

— Тогда перестань так со мной обращаться.

— Не буду, — улыбнулся он. — Пойдем?

Диона чуть было не отказалась, почти отказалась, но у ее тела было свое мнение на этот счет. Оно скользнуло назад, в его объятия, и не сопротивлялось, когда он расстегнул пряжки на плечах. Лиф платья упал вниз, обнажив грудь. Дионе стало чуть зябко в прохладной комнате, ведь на дворе была зима и ночь — хотя жаровня и пылала огнем.

Мягко и медленно, словно она была маленьким зверьком, которого легко испугать, Луций Севилий развязал ее пояс. Диона хотела его остановить, но руки, не послушавшись приказа, порхнули к кайме его туники. Когда платье легло к ее ногам, она без труда сняла с него тунику, потому что Луций помогал ей от всего сердца.

— Ох! — сказал кто-то из них, а может, и оба. — Ох, как ты красив! Как ты красива!

Луций Севилий покраснел, впрочем, как и Диона. Они казались невинными — а ведь ему уже исполнилось сорок, да и она была ненамного моложе.

— Ты когда-нибудь… — ее голос вдруг задрожал — был…

Он кивнул и, похоже, рассердился.

— С женщинами?

В какое-то мгновение Диона подумала, что он сейчас ее ударит. Но Луций засмеялся — как человек, который пытается скрыть, что он смертельно оскорблен.

— Конечно, с женщинами. За кого ты меня принимаешь?

— За мужчину… — Она хотела попросить прощения, но не находила нужных слов.

— По-видимому, за грека. — Он по-прежнему пытался разрядить обстановку. — А я чужестранец, да?

— Да, — сказала она.

Его плечи были такими красивыми — оливково-загорелыми, широкими и гладкими, немножко острыми там, где выступали кости, — но время и чувство сделают свое дело, и она привыкнет в этому. Диона скользнула по ним руками. Луций вздрогнул, и явно не от отвращения, однако она почему-то испугалась.

Он коснулся ее груди. Она тоже дрожала, сильнее, чем он, но отчасти от страха. Казалось, Луций Севилий понял это: его руки обняли ее, гладя и успокаивая, — такие сильные, спокойные, теплые… Он всегда был спокойным, этот Луций Севилий. Диона не могла припомнить, чтобы он хотя бы раз повысил голос.

— Ты меня боишься, — проговорил он.

— Нет.

— Боишься… Что он делал с тобой, этот пень вместо мужа? От тебя бил?

— Нет! — Диона чуть снова не отстранилась, но это уже было нелегко. — Он всегда был почтителен со мной. Иногда он спрашивал меня…

— Хочешь ли ты с ним спать?

От неожиданности Диона широко раскрыла глаза. Это было сродни грубости, ругательству, если только такое вообще возможно в устах истинного римлянина.

— Не делает ли он мне больно.

— Он *бил* тебя. Пусть не руками.

На какое-то мгновение Луций Севилий показался ей незнакомцем; незнакомцем, способным на убийство.

— Нет, — повторила она, прижимаясь теснее и заглядывая ему в глаза. — Нет, Аполлоний никогда меня не бил. Он даже ни разу не поднял на меня руку — хотя я бывала невыносимой. Просто… просто я устроена не так, как надо. Кажется, я не могу получать удовольствия от того, что бывает между мужчиной и женщиной.

Ну вот. Слова сказаны. Диона напряглась, отыскивая в себе силы встретить его отвращение или отречение. Сейчас Луций прогонит ее.

Но ничего подобного не случилось.

— Аполлоний совсем не думал о тебе, правда? — мягко спросил он. — Просто входил в комнату, делал свое дело, а потом засыпал. И получил от тебя двух сыновей. Боги, разве это мужчина?!

Диона вряд ли могла ему возразить — потому что не могла не согласиться. Но все же попыталась объясниться.

— Я люблю тебя. И хочу быть рядом с тобой. Если ты… если тебе это будет приятно… я не против, правда, не против… Я буду счастлива видеть тебя счастливым.

Она опять его рассердила; настолько, что он оттолкнул ее.

— О, великий Геркулес! Ты говоришь, совсем как Октавия!

— Ты был с нею?

Казалось, он был ошеломлен, а потом окончательно разозлился. Таким злым Диона не видела его никогда.

— Нет! Мне рассказал Антоний. Ты думаешь, я действительно буду счастлив, если ты будешь лежать, как рыба, вынося любую боль и все мои прихоти ради того, чтобы я получил минутное удовольствие? За это я могу заплатить женщине с рынка!

Диона с ужасом почувствовала, что они вот-вот серьезно поссорятся и потеряют друг друга. Она вдруг почувствовала себя одинокой и несчастной — у нее почти опустились руки. Но другая ее половина сказала: хватит ссор и мучений. Она бросилась к нему, развернула к себе лицом, и от резкого движения оба упали — к счастью, на ложе, а не на пол.

Диона была совершенно неопытна. Кое-что она знала, но совсем немного — много было лишь страха. Но постепенно страх ушел. А Луций Севилий вовсе не был евнухом, и злость его растаяла, как только ее рука коснулась его тела.

Это оказалось совсем неплохо, особенно когда она позволила себе отдаться своим чувствам. Поначалу было больно — она не сразу сумела расслабиться и казалась себе маленькой, словно девочка, хотя ее лоно и дало жизнь двоим сыновьям. Но потом боль отступила.

Диона еще никогда так не обнимала мужчину — двигаясь сообразно движениям его

тела, не каменея от отвращения к себе. Не было необходимости терпеть и ждать, пока он получит свое. Они словно плыли в танце, счастливые и чуть смущенные. Никогда они не знали друг друга так, как узнали сейчас.

Диона с удивлением подумала, что не прочь потанцевать еще — словно такое возможно повторить… Все оказалось совсем по-другому, когда этого хочешь, когда кто-то смотрит на тебя и видит тебя саму, а не просто женское тело; видит Диону, а не свое отражение в ее глазах.

— Красавица моя, — прошептал он. — Любимая.

Слова, даже такие, были излишними. Диона прижалась губами к его губам. И двое словно слились воедино — тело с телом, сердце с сердцем, и сердца их бились в такт. Танец, начавшийся медленно, неловко, смущенно, может, для него так же болезненно, как и для нее, стал свободней, быстрее. Но не слишком быстрым. Было что-то… что-то в ней…

Она почти отстранилась. Почти… Это оказалось так незнакомо… так ново… и было…

Но что слова? Не придумано еще таких слов. И поэты, мнящие, что нашли всему воплощение, просто глупцы. Разве можно потрогать руками музыку, запах цветов?

Луций Севилий никогда не понял бы, почему она засмеялась — если бы она засмеялась. А возможно, и понял бы; он, единственный из мужчин. И Диона дала себе волю, и раздался глас самого счастья, громкий и радостный, — радости, большей, чем она сама, больше, чем целый мир.

Пение снаружи внезапно прекратилось, но затем зазвучало по-новому — внутри нее.

«Io Hymen Hymenaie!»

И потом вдруг:

«Io triumphe!»

Действие четвертое
АЛЕКСАНДРИЯ И АФИНЫ
34–32 до н. э

29

Победа! Наконец-то победа. Победа в Армении, отмщение за жизни, пожранные войной с Парфией, радость и ликование, ликование на всех просторах восточного мира.

По крайней мере, так хотелось думать Клеопатре и Антонию, ее супругу. Целый год он готовился к новой военной компании, а потом выступил: с меньшей помпой, чем в прошлый раз, но явно с большим успехом. На сей раз Антоний покорил Армению и захватил ее царя, царицу, их сыновей и все богатства вероломного царства. Конечно, это были не те несметные сокровища, какие принесла бы им победа над Атропатеной, но все же он буквально купался в золоте, приговаривая, что ничтожная капля парфянской крови скоро потечет рекой.

Но с этим можно было подождать — до нового сезона войны. А пока Антоний решил насладиться триумфом победы.

Он прибыл из Азии, как Дионис: в блеске славы, гоня перед собой своих царственных пленников, закованных в цепи из золота, которые были намного тяжелее, чем мог нести человек. Антоний ехал позади них на золотой колеснице, и тащили ее раззолоченные кони самой редкостной породы, какая только нашлась в конюшнях его величества армянского неудачника. Этих коней вырастили где-то в глубинах Азии. Их попоны горели, как золотые пластины, гривы слепили серебром; золотая сбруя была немыслимо щедро усыпана драгоценными камнями.

Клеопатра поджидала его, сгорая от нетерпения, на троне из золота, сама вся в золоте, и очень скоро глаз уже не мог выносить его блеска и искал отдохновения на тенях храма Исиды. Статуя богини вздымалась за спиной Клеопатры, разубранная, как и сама царица, — Исида в камне и Исида на земле, холодный мрамор и живая упругая плоть, богиня и женщина вместе в единый победоносный миг истории мира.

Антоний направил свою колесницу прямо в придел храма — золотые колеса прогромыхали по мощеному полу. Его пленники остановились перед Клеопатрой. Дети плакали, но молча, с бесстрастными лицами. Мать старалась, как могла, утешить их, но цепи тянули ее к земле и не давали обнять сыновей; полусогбенная, стоя напротив Клеопатры, она всем телом подалась к ним, пытаясь прижать их к себе, защитить от позора.

Царь Армении, хотя и бесславно свергнутый, стоял перед царицей Египта во весь рост. По обычаю ему полагалось склониться перед нею, упасть на колени, но он был слишком горд для этого.

Двое стражников царицы бросились к нему, чтобы силой принудить его покориться, но Клеопатра остановила их жестом поднятой руки.

— Не надо, — промолвила она. — Этот человек совсем недавно был царем. Не отнимайте у него гордость — это единственное, что у него осталось.

— Однажды, — сказал плененный царь, слишком холодно для жертвы, — тебя тоже поведут в золотых цепях — во время триумфа в Риме.

— Только не меня, — бросила Клеопатра. — Я лучше умру.

Она дала знак стражникам.

— Уведите! Держите его под стражей, но обращайтесь с ним хорошо. Накормите его, если он захочет. Помните, что этот человек — царской крови, и он был царем.

Клеопатра — царица и триумфатор — могла позволить себе такой широкий жест.

Сейчас она была богаче, чем когда-либо раньше. Праздник, казалось, длился вечно — сплошная вакханалия, триумф Диониса. В самый его разгар толпы людей собрались под колоннами гимнасия, с трепетом благоговения взирая на лики божеств, сошедших с небес в земной оболочке. Золотые троны, инкрустированные серебром, возносились над толпой. Два самых высоких стояли бок о бок: на одном из них восседала живая Исида, а рядом — новый Дионис, живой Осирис, властелин и триумфатор на земле египетской. Чуть ниже, на тронах поменьше — но не менее подавляющих величием и роскошью, — сидели дети богов.

Голову Цезариона, старшего из них, царя Египта, венчали две короны: красная и белая. В руках он держал знаки божественной власти египетских фараонов — истоки их бессчетных династий терялись во мраке веков. Александр Гелиос тоже сжимал в руках знаки царского достоинства, но другого царства; он был одет в шаровары и обильно расшитую золотом парфянскую рубаху. А на голове его красовалась митра — высокая корона персидских царей, и стражниками его были армяне, совсем еще недавно охранявшие своего поверженного властелина. Голову сестры Александра, Клеопатры Селены, словно под стать его владычеству над Востоком, венчала корона Киренаики — земель, простиравшихся к западу от Египта; раньше половина их являлась провинцией Рима, а другая половина находилась под властью Крита. Теперь же Киренаику отдали ей — как детям простых смертных дают для забавы игрушки.

Младшему, Птолемею Филадельфу, чье имя было длиннее и больше, чем он сам, отошли царства Сирии и Малой Азии — земли, которые Антоний завоевал первыми, когда выступил походом из Македонии. Малыш был разодет, как царь Македонии: пурпурный плащ, широкополая шляпа, украшенная лентой диадемы; его стражниками были рослые дюжие македонские солдаты — такие некогда шли на Восток с самим великим Александром.

Клеопатра уже именовала себя царицей царей, а старшего сына — царем царей, господином и владыкой своих братьев и сестры. Он принял титул беспечно и нес его без труда. Куда больше значил для него — и для Рима — указ Антония, провозглашавший Цезариона законным и признанным сыном великого Цезаря. Это была пощечина Риму, и в первую очередь Октавиану — намеренная, точно рассчитанная и неслыханная по своей дерзости.

По мнению Цезариона, указ являлся всего лишь официальным признанием того, что и так все знали. Он мимоходом отметил это для себя, когда праздник завершился и можно было снова стать самим собой — сыном Клеопатры, братом и приятелем Антилла, любимцем Дионы с самого раннего детства. Пусть его называют царем царей — от него не убудет; мать правила очень успешно, и этот факт никак не задевал его самолюбия. Наоборот, Цезарион мог пока что быть таким же мальчишкой, как и все остальные: охотиться на птиц на болотах в окрестностях дома Дионы у озера Мареотис; скакать на золотисто-рыжем армянском жеребце рядом с Тимолеоном, у которого был нумидийский конь; сидеть вечерами в тени колоннады, подставив лицо легкому свежему ветерку, дувшему с озера. Уже месяц как спал летний зной, и после заката солнца воздух становился прохладным; но все же было еще тепло. Дул спокойный, приятный ветерок — подзывать птиц на озере было по-прежнему просто.

— Я — сын своего отца, — произнес Цезарион. — Теперь даже Рим должен признать это — как тогда, когда отец был жив.

— Но нас должен заботить не Рим, — возразил Тимолеон. — Не забывай об Октавиане.

Царь царей метнул в него мрачный взгляд. Тимолеон встретил его со спокойствием и

безмятежностью, которым, казалось, научился у матери. На мгновение Цезариону показалось, что сейчас рядом с ним сидит именно она — если бы только Диона могла быть высоким молодым человеком в щегольской ярко-зеленой тунике, густо расшитой серебром — глаз римлянина явно бы не одобрил ее, и Тимолеону это было отлично известно. Луций Севилий не сомневался, что тот носит ее нарочно. Тимолеону пришлось по душе замужество матери, и Луций знал это, но привязанность к нему пасынка не могла перевесить удовольствия эпатировать публику.

Помолчав, Тимолеон, считавший себя достаточно здравомыслящим молодым человеком, несмотря на смехотворный наряд и венок из лилий, украшавший его кудри, сказал:

— Впрочем, пропади он пропадом! Октавиан в Риме захватил многое, принадлежащее Цезарю, зато у тебя есть его имя — и власть над миром, какая ему и не снилась. Цезарь никогда не был царем царей.

— В Риме плюют на царей. Монархи внушают римлянам отвращение, — вмешался Луций.

Он не должен был так говорить — эти слова вырвались под напором его собственных чувств, зревших день за днем, неделями, месяцами. Новая египетская родня удивленно уставилась на него — даже Диона, молча сидевшая поодаль на своем резном стуле, а выражение лица Цезариона не предвещало ничего хорошего — Луций всегда опасался людей с такими лицами. Старший сын царицы вовсе не разозлился, как могло показаться поначалу, он даже не выглядел удивленным.

— Так вот как ты обо мне думаешь?

— Нет, — сказал Луций, и вполне искренне. — Ты — сын Цезаря, я вижу его в тебе. Но ты еще и сын своей матери, и благодаря ей — царь.

— Вот ее-то ты и презираешь.

— Нет, — повторил Луций. — Я ею безмерно восхищаюсь. Но мне известно, какова она на самом деле. А Рим… Рим знает только восточную шлюху, исчадие ада, царицу Египта, соблазнившую великого римского императора, а потом и его друга, который возвысил сына Цезаря, объявив его царем.

— Я никогда не мог понять, почему Рим ненавидит царей, — подключился к беседе Тимолеон. — Потому, что ваши древние цари были бестолковыми? Или потому, что твой народ злораден и завистлив?

— И то и другое, — ответил Цезарион, прежде чем Луций успел раскрыть рот. — Римляне никогда не забывают ни малейшей обиды и всегда жаждут мести. Даже через сотни лет.

— Какая глупость! — заметил Тимолеон.

— Не менее глупо, — усмехнулся Цезарион, — ненавидеть парфян через три века после того, как их покорил Александр и сделал своими слугами.

— У меня нет к ним ненависти, — возразил Тимолеон. — Во мне самом течет персидская кровь.

— Рим ненавидит царей, — сказал Цезарион, — потому что ему поперек горла любой мужчина, берущий на себя смелость возвыситься над ним. Даже диктаторы правили не больше полугода. Марий, Сулла, Помпей, Цезарь — все они искали пути объяснить правоту своей власти или замаскировать ее под что-то иное, заморочить голову тем людям, кому это могло не понравиться. Слова, имена, титулы — дань вежливости и, в сущности, фикция. А

мы называем себя тем, что есть на самом деле. Риму следует у нас поучиться — и научиться уважать нас. В противном случае он падет.

Луций вздрогнул, хотя было тепло.

— Итак, господин, ты проявил себя таким, как есть. И это — не по-римски.

Но Цезарион оставался спокойным — или не подал виду, что разозлился.

— Наполовину я эллин. А целиком — царь.

— Кем бы ты ни был, Рим никогда не признает тебя.

— Придется признать, — ответил царь царей без малейшего высокомерия: это был факт, простой и неопровержимый.

— Нет! — Луций заупрямился, сам не понимая почему — скорее всего, от безмерного, всепоглощающего отчаяния, неожиданно выплеснувшегося наружу. Он попытался смягчить свои слова. — Ну, хорошо, возможно, и признают: как чужеземного царя — но не своего властелина. Однако Антоний объявил себя владыкой Востока. Вот этого-то они никогда ему не простят.

— Римляне злобствуют потому, что мы — цивилизованный народ, а они всего лишь быть такими хотят, — вмешался Тимолеон. — Этого им никогда не вынести.

— Мы продолжим потом. — Луций резко встал. — Прошу меня простить. Я нездоров. Наверное, что-то съел…

— Наверное, ты что-то сказал, — поправила его Диона. В этом ее доме супруги бывали редко. Комната, в которой они сейчас находились, была больше, чем ее покои в Александрии — как, впрочем, и весь дом. Но он выглядел намного скромнее, потому что стоял у озера, далеко за городом, а тот, в Александрии, был выстроен по всем канонам.

— Да, — согласился он. — Я чуть было не нанес смертельное оскорбление его царскому величеству.

— А по-моему, уже нанес.

— По крайней мере, я не дал ему времени понять это. — Луций сел на стул и стал снимать сандалии. — Думаю, мне повезло, что с нами не было Антилла. Он сразу согласился бы со мной, и тогда не миновать драки — Цезарион не спустил бы ему.

— До чего же вы, римляне, упрямы и твердолобы, — сказала Диона. Ее маленькая странная кошечка бесшумно подошла, мягко ступая по коврам, потерлась о ее щеку и отправилась дальше — по своим делам. Рука Дионы поднялась к щеке, которой коснулась кошка, и застыла. Глаза ее потемнели, затуманились, словно она была в полудреме или ее посетили видения.

Но этой ночью богиня молчала. Диона вздохнула и сказала своим обычным голосом:

— Видимо, Антоний предполагал такое и потому удержал Антилла при себе; знакомство сына с насущными делами Рима — просто отговорки. Кстати, тебя не назовешь самым непроницаемым из мужчин.

— Но я и не такой несносный, как ты считаешь, — возразил Луций, явно шокированный.

— Иногда Антонию не нужно очевидных фактов, он и так все понимает. Особенно когда человек хочет что-то скрыть. И мне кажется, что за него видит Клеопатра. Уж она-то сущий стоглазый Аргус — как и подобает богине.

У Луция хватило ума не спорить. Из его груди вырвался сдавленный вздох.

— Итак, весь мир знает, что я думаю об этом «триумфе» в Александрии.

— Не весь, — улыбнулась Диона. — Антонию все ясно, по-моему. Он тоже римлянин — как бы ни старался быть греком.

— Будь Антоний истинным римлянином, он никогда не позволил бы себе вычурных манер и апломба восточных царей, и тем более не принял бы титул и не разрешил бы называть царями своих детей.

— Отчего же? Римляне прежде всего практичны, а римляне его склада жаждут власти. Если для того, чтобы обладать властью необходимо играть роль царя, он будет играть эту роль и найдет объяснения для Рима, когда придумает, что сказать.

— Очень уж ты много о нас знаешь, — заметил Луций достаточно едко, чтобы обидеть жену.

Но Диона никогда не обижалась на подобные выпады — политические амбиции были чужды ей. Она сберегла свое сердце для других вещей, более важных и истинных, по-настоящему значимых для нее — женственности, магии. Она протянула к мужу руки.

— Иди ко мне, любимый мой, презирающий царей. Неужели для тебя так важно, что ты никогда не сможешь понять нас, раз ты любишь меня?

— Да, — упрямо сказал он, но пришел в ее объятия, потому что руки жены были теплее, чем ночь… и принадлежали ей.

Вся ее сдержанность, беспокоившая и мешавшая ей в их первую брачную ночь, бесповоротно ушла. При ней остались скромность, нежность, деликатность манер — но еще были страсть и любовь. Но вот миновал пик страсти, и сейчас они лежали бок о бок, спокойно и тихо.

Луций забыл о докучных царях и *Roma Dea.* Голова Дионы лежала у него на плече, волосы благоухали ароматом ее любимого масла — смесь розы и чего-то еще с пряным, но сладким запахом. Она ласкала его осторожными, мягкими движениями, чтобы не взволновать вновь, но что-то в ее позе, в ритме дыхания неожиданно встревожило его.

— Любимая? Тебе хорошо?

— Больше, чем хорошо, — ответила она, но в этих словах было что-то недоговоренное.

Сердце его чуть не остановилось, а потом снова забилось с бешеной силой.

— Ты заболела?

— Ох, нет. Я здорова.

— Диона?..

Она слегка откинула голову, чтобы видеть лицо мужа, казавшееся сейчас таким большим, его огромные глаза и четко очерченный подбородок.

— У меня будет ребенок.

Голос ее прозвучал удивленно. Но что здесь удивительного, если она давно знает об этом — как все женщины, прежде чем решатся сообщить такую новость мужчине…

Но внезапно все значение сказанных ею слов обрушилось на него, словно лавина на голову — как он, разрази его Тифон[59], мог не подумать об этом. Только низшие боги могли бы ответить ему.

— Ты… — произнес он. — Ты…

— Я беременна. — В голосе его жены прозвучал едва уловимый упрек. — В мои годы… Это неприлично.

— Так ты не… не хочешь…

Потрясенный этим известием, Луций не мог разобраться в своих мыслях и чувствах. Он не понимал себя.

Разволновавшись, Диона оттолкнула его и встала.

— Конечно, хочу! Но я еще не привыкла к этой мысли. Я только сегодня убедилась… Мне казалось, я всего лишь мечтаю о ребенке — или просто глупа и смешна. Но сегодня ночью я попыталась прибегнуть к магии, чтобы угомонить наших сорванцов, и теперь сомнений не осталось — это случилось.

— Но, ради всего святого, объясни, при чем здесь…

Диона была необычайно терпелива и спокойна.

— Мы, слуги богини, ее плоть на земле… теряем самые щедрые дары, когда носим под сердцем ее детей. Именно ее — понимаешь? — ведь это она одаривает их магией. Клеопатра полностью утратила свой дар во время беременности. Я оказалась счастливее — или несчастливее, как тебе больше понравится. В отличие от Клеопатры у меня только сыновья, как и во всем моем роду. И я — не избранница богов.

Неожиданно Луция охватил ужас.

— Тогда как же ты себя защитишь?

— Ничего страшного. — Она гладила его по голове, словно одного из своих сыновей. — Все будет хорошо, успокойся. Меня защищает богиня. Ее покрывало всегда надо мной — оно такое плотное, что моя магия не может пробиться сквозь него. Как же я была глупа — не поняла сразу, только сегодня ночью. Думаю, срок уже месяца три.

— Но…

— Я уже тебе сказала — я отказывалась допустить такое. У женщин иногда случаются кое-какие нарушения. Но не так долго. И магия творит странные вещи — с теми, кто ею обладает.

— Так ты утратила свои магические свойства — как…

— Ох, нет. Наоборот, они усиливаются — по-своему. Богиня делает нас сильней, чем прежде.

— Я знаю, что мне делать, — негромко проговорил Луций.

— Сейчас ничего не надо делать, перебила его Диона. — Пока я не рожу ребенка и не выкормлю его. Такова воля богини. — Это прозвучало подобно молитве.

— Но мое слово что-то значит?

Диона заморгала огромными черными глазами, искренне удивленная.

— Конечно! Ведь в том, что ребенок существует, наполовину твоя заслуга.

— Всего лишь наполовину?

— Да. Будь ты любым другим мужчиной, женатым на любой другой женщине, все было бы иначе. Но это дитя богини.

— Я могу это оспорить.

— Надеюсь, что нет, — ответила Диона, невозмутимая, как всегда. — Аполлонию дважды выпадал выбор — к счастью, родились мальчики. Если бы он не позволил оставить их, на всем свете не было бы женщины несчастнее меня. И я почти наверняка взбунтовалась бы.

Луций взглянул жене в лицо — красивое лицо чужестранки — и вздохнул.

Она нахмурилась.

— Ты сердишься на меня?

Конечно, он сердился. И она больше не может провидеть. Его жена стала такой же, как любая обычная женщина.

Но Диона не была обычной женщиной. И никогда не сможет стать ею. Луций погладил

ее по щеке кончиками пальцев.

— Нет, любовь моя. Я не сержусь. Я только… просто я удивлен. И рад.

Он действительно радовался, но это чувство было для него новым — никогда женщина не говорила ему, что он станет отцом. Это было невозможно выразить словами, даже внушало трепет, нечто сродни ужасу — неудивительно, что она кажется такой напуганной.

Луций попытался объяснить ей свои чувства — но был он по-прежнему не поэтом и смог только произнести:

— Да, рад. И у меня нет слов, чтобы выразить свою радость.

— Даже если родится дочь?

— Еще одна Диона? — Он улыбнулся. — Надеюсь, что так и будет.

— Или еще один Луций Севилий. — Рука Дионы легла на живот, который пока не выдавал никаких признаков зародившейся в нем жизни. Его рука легла на ее руку, и она улыбнулась — улыбка была немного неуверенной, но храброй. — Мальчишки — ужасные сорванцы. Но если сын пойдет в тебя, это я выдержу.

— Может быть, боги благословят его. Или ее — если таково будет их желание, — сказал Луций.

Улыбка Дионы была единственным благословением, в котором нуждался он сам. А что до ребенка… боги о нем позаботятся. Он должен довериться им — хотя бы на этот раз.

30

Друг Антония, Планк, танцевал перед сливками двора — с ног до головы раскрашенный синей краской, увенчанный венком из камыша и с рыбьим хвостом. Сливки двора, купаясь в реках вина, пока Планк делал вид, будто плавает в воде, пели — иногда даже в такт — стихи, которыми сопровождался танец. Планк был Главком[60] — морским богом. Двор был самим собой: закадычные приятели Антония, его Неподражаемые; римские лица вперемешку с греческими — все без исключения багровые от вина и обильной трапезы.

Платье Клеопатры, усыпанное жемчугами, напоминало изысканный, одновременно бледный и яркий, как луна, каскад до самого пола. В волосы были вплетены жемчужные нити, длинные перлы качались в ушах. Жемчуга унизывали руки и пальцы. Царица казалась таким же сказочным существом, как и благородный обнаженный римлянин с синим телом и рыбьим хвостом, извивающийся на полу. Антоний, прислонившийся к ней плечом, выглядел почти прозаически: он восседал на пиршественном ложе в хитоне из куска раззолоченной материи; плащом служила обычная и вполне земная львиная шкура, а из головы царя зверей соорудили шлем. Сейчас плащ валялся на ложе, а в обеих руках Антония были кубки с вином: один принадлежал ему, другой Клеопатре — время от времени, поднося кубок к губам своей царицы, он поил ее лучшим цекубским вином. На мгновение — ради шикарного жеста — он обменялся с нею кубками, и Клеопатра тут же поняла, что вино в его кубке было почти не разбавлено водой, хотя она и велела соблюсти пропорции как положено, а не так, как любят македонцы.

Радостные крики и вопли Неподражаемых слышались даже за воротами дворца. Луций Севилий, гаруспик, прибыл с опозданием — к середине представления, разыгранного Планком. Он извинился и обежал глазами залу. Возле двери осталось свободное ложе. Место это считалось непочетным, и даже могло быть воспринято как оскорбление, но Луций пребывал вовсе не в том расположении духа, чтобы обращать внимание на пустяки. Он принял вино из рук слуги, попросил наполнить для него блюда, вынул из складок тоги салфетку и разложил перед собой. Мысли его занимало вовсе не пиршество, но он приказал себе быть если не учтивым и веселым, то по крайней мере спокойным и вежливым.

Однако, глядя на Планка, сохранить спокойствие было трудно. То, что благородный римлянин такого ранга танцует, — само по себе скандально. Но то, что Планк, синий, как гиперборейский[61] варвар, прицепивший сзади рыбий хвост, играет роль низшего божества, — просто уму непостижимо.

— Ты похож на деву-весталку[62] в борделе, — заметил Антоний, садясь на краешек ложа возле Луция Севилия и накладывая себе еды с одного из нетронутых блюд.

— Неужто я несносный? У меня что, на лице все написано?

— Кто-кто, а я-то тебя отлично знаю. Как поживает твоя госпожа? Хорошо ли она себя чувствует?

— Очень хорошо. — Луций Севилий, обрадовался возможности переменить тему. — Но немножко необычно. Она хочет ребенка.

— Наверное, как и все женщины, — Антоний прилег, опираясь на локоть. Чувствовалось, что царь Востока в ударе: беспечный, довольный; он наблюдал за весельем, еще больше разгоревшимся после танца Планка. Однако зрелища на сей раз были намного пристойнее и успокаивали душу — появились флейтистки и кифареды[63]. — Ты думаешь, я

слишком далеко зашел?

Луций слегка пожал плечами и протянул руку за засахаренным миндалем. На его вкус, орехи были слишком сладкими. Он отхлебнул из кубка вино, разбавленное водой, ему понравилось.

— По-твоему, здесь не место обсуждать такие вещи, — не унимался Антоний, — даже если бы ты и хотел. Да? Но где найти лучшее место? Нас никто не слушает — кроме тех, кто имеет на это право; впрочем, здесь можно доверять всем без исключения.

— Ты полагаешь? — Луций надкусил пирог с миндалем и медом — Дионе понравился бы. Надо не забыть принести ей в салфетке.

Антоний плавно перевел взгляд на Клеопатру. Царица была не одна: на ложе рядом с ней сидел мальчик, похожий на львенка, — слишком крупный и сильный для своих лет, но все еще очень юный, чтобы не краснеть, когда мимо него прошла одна из обнаженных служанок-египтянок с подносом, полным сладостей. Нагнувшись, она предложила ему взять что-нибудь, и ее пышная грудь заколыхалась. Мальчик вспыхнул еще ярче — и стал похож на девственницу в вертепе, которая не знает, куда девать глаза.

— Скоро он станет мужчиной, — с гордостью сказал Антоний. — Смотри! Разве он не римлянин из римлян?

— И греков, — вставил Луций. — Теперь все зовут его Антиллом. Насколько, по-твоему, это по-римски?

— Настолько, насколько повелю я, — парировал Антоний, и на мгновение в его улыбке мелькнуло что-то хищное. — Антилл умом шустрее меня. И лучше схватывает, куда ветер дует. Двор царицы — и его двор, здесь он в безопасности. Но он должен следить за каждым своим шагом и научиться каждому выкрутасу придворных танцев. Моя царица и ее сын обучают его всему, что знают сами.

— Кстати, а где сейчас Цезарион?

— Изучает звезды с бандой философов. Они звали с собой и Антилла, но он предпочел повеселиться. В этом мальчик весь в меня. Мой сын! Звезды звездами, но ум мужчины должен быть занят мужскими делами.

— Например, вином и рыбьими хвостами?

Антоний от души рассмеялся.

— Именно так! И царицами, старина. И царствами.

— Неплохо, — улыбнулся Луций. — Но некоторые поговаривают: царица вертит тобой, как хочет, водит за нос и опаивает вином, в которое ты всегда рад сунуть этот самый нос. А дела проворачивает сама.

— Я знаю, — миролюбиво согласился Антоний. — Так говорят те, кто слушает Октавиана. Ему очень на руку выставить меня полудурком, который упивается вином и целыми днями валяется в объятиях Клеопатры. Если бы я спился и испустил дух на ложе моей царицы, он был бы счастлив, и даже, по возможности, приблизил бы этот момент. Но пока что Октавиан пытается смешать с дерьмом мою репутацию в Риме и сделать мое имя посмешищем для любого бродяги. Однако хорошо смеется тот, кто смеется последним. А последним буду я. Не сомневайся, Луций Севилий.

— Хотелось бы верить, — проговорил Луций.

Антоний вдруг сжал его руку железной хваткой. Пальцы были теплыми, сильными и крепкими, как скала, несмотря на кувшины вина, которые триумвир влил в себя.

— Не сомневайся, — повторил он. — Это моя игра, Луций Севилий, гаруспик. На

самом деле царица в моей власти, а не наоборот, что бы там ни болтали в Риме и на задворках Александрии.

Луций Севилий взглянул в его янтарные глаза. Такие слова легко принять за протест мужчины, которого обвела вокруг пальца женщина, но Антоний вовсе не напоминал одураченного любовника — в его взгляде чувствовалась сила. Луций попытался взглянуть глазами постороннего на Антония — супруга, с головой ушедшего в отношения с женой и с пасынком, которого он сделал своим сыном; Антония — гуляку, отдающегося увеселениям и развлечениям со всей мощью неистощимого темперамента в чужеземном… впрочем, уже своем городе. Он не увидел ничего нового: восточный царь на золотом троне, душа компании Неподражаемых, непременный участник многочисленных попоек, любовник и супруг египетской царицы.

Да, все это на самом деле было так — но, тем не менее, он оставался Антонием, Марком Антонием, триумвиром Рима. Такое заключение не особенно успокоило Луция. Антоний был воплощением власти, у которой свои пути и законы. Были ли это законы Рима, Египта или самого Антония — Луций сказать не мог. Он не обладал даром Дионы читать в сердцах мужчин, а его дар гадать по печени овцы и полету птиц мало чем мог помочь здесь, в этой зале, наполненной одуряющими запахами благовоний и вина.

— Октавиан — всего лишь раб своих желаний, — сказал Антоний, по-прежнему крепко, уже почти до боли сжимая руку Луция. — И то, что они иногда служат нуждам Рима, — чистое совпадение, в лучшем случае. А мои действия здесь — и есть истинное служение Риму. Я покорил Восток во славу *Roma Dea*, что бы там ни болтали и как бы это ни выглядело. И буду править им твердой рукой, и сын мой будет править после меня.

— Сын? Или сыновья?

— Мои египетские сыновья — цари Востока. Но мой сын-римлянин — наследник Рима.

— Цезарь поступил точно так же, когда завещал Рим племяннику, — заметил Луций.

— Тем больший он дурак, — отозвался Антоний. — Цезарь прекрасно знал, что из себя представляет этот парень. Лучше бы он оставил Рим Цезариону — хотя Рим бы не смирился с таким положением дел. Римляне уже выставили Клеопатру сущим чудовищем.

— Возможно, Цезарь надеялся, что Октавиан сможет продолжить начатое им. Или — ты не допускаешь такое? — предвидел, что, как только его не станет, ты вспомнишь о Клеопатре и начнешь искать с ней союза, который она сама же и предложит.

— Скорее всего, ничего он не хотел, кроме того, чтобы о нем помнили. Может быть, ему было наплевать, что случится после его смерти и кто после него приберет к рукам Рим.

— Может быть. Он ведь был — и есть — Божественный Юлий. А кто может знать, что у богов на уме?

— Меня египтяне тоже называют богом, — озорно ухмыльнулся Антоний, блеснув ослепительно-белыми зубами. — Не могу сказать, что слишком гожусь на эту роль, разве что на ложе с моей царицей. Тогда я воистину владыка мира.

— А когда ты изображаешь солнце на троне, а дети, словно луны, толпятся у его подножия?

— Это всего лишь представление, — отмахнулся Антоний. — Лицедейство, дающее людям повод почесать языки, а Риму — поскандалить. Рим обожает скандалы. Я дам их ему с лихвой — а потом и Октавиана, на блюде, с гранатом во рту.

— Если только он первый не принесет на этом блюде тебя.

— Игра есть игра, — не без удовольствия произнес Антоний. — И я принял вызов.

Помнишь, что сказал Александр перед смертью? Когда его спросили, кому он завещает царство? Он ответил: «Сильнейшему». И этим все сказано — «сильнейшему»!

31

— Ждать — тоже проявление силы, — заметила Клеопатра. — А не только атаковать.

— Да, на войне часто приходится ждать. — Диона вздохнула. Беременность подходила к концу, и она очень устала. Ей приходилось не на шутку бунтовать, чтобы урезонить слуг, неожиданно ставших хозяевами положения; они вдруг взяли на себя труд решать, насколько их госпожа изнуряет себя, отправляясь в паланкине во дворец и пред очи царицы, словно царицей — и к тому же немощной — была она сама.

Даже Клеопатре с трудом удавалось уговорить ее забраться в бассейн. Она уверяла, что в прохладной воде Диона почувствует себя лучше, но та отказывалась, упрямо утверждая, что ей нигде не станет лучше, пока не родится ребенок.

Однако Клеопатра, с ее затейливыми речами, все же чуть-чуть отвлекала Диону от мыслей о ее раздобревшем животе. Луцию Севилию это удалось бы не хуже, но его не было дома. Вместе с Антонием он отправился в город взглянуть на новый строившийся лазарет для легионеров. Клеопатру тоже звали ехать, но она предпочла этому удовольствию тихо и мирно провести часок-другой со своей подругой.

— Чего же нам не хватает в последнее время? — продолжила она. — Наша жизнь великолепна, лучшего и желать нельзя — правда, Октавиан портит все дело. Но веселье стало слишком уж бурным.

Диона кивнула — это было безопаснее, чем выразить свое мнение. Но вскоре не выдержала:

— Все идет так, как хочет Антоний. Даже этот пират, Секст Помпей… мертв и сожжен, и можно выкинуть его из головы. Но чего хочешь ты?

— Желания Антония — мои желания, — молвила Клеопатра спокойно, без иронии, но добавила, поймав взгляд Дионы: — Нет, я не стала благодушной! Мы — союзники, как в делах сердечных, так и в политике. Вряд ли он поступал бы так, как поступает, если бы пекся только о Риме?

— Он печется о Клеопатре. И о Риме. Но больше всего — об Антонии.

— Ну, а я в первую очередь пекусь о Клеопатре — как бы я ни была предана своему супругу. А Клеопатра — это Египет. Египту выгоден союз с римлянами.

— *Этими* римлянами, — подчеркнула Диона.

— Ты замужем за одним из них, — заметила Клеопатра.

— Бесспорно. Но мой муж — не царь и никогда не собирался им становиться.

— Антоний — царь настолько, насколько ему выгодно: для упрочения власти Рима — и своей собственной.

— И ты это допускаешь? Ты от этого зависишь?

— Я на этом стою.

Клеопатра поднялась — она могла позволить себе такое, когда долг не приковывал ее к трону, и прошлась по комнате, вдоль стен, украшенных великолепной мозаикой: хищные животные, птицы, могучие воды Нила, катящиеся от Нубии до дельты. Проделав путь от бегемота, прятавшегося в высокой густой траве, до ибиса, настигшего добычу, царица сказала:

— Египту нужен Антоний. Антонию нужен Египет. Они неразделимы.

— Значит, если падет Антоний, падет и Египет, — закончила Диона.

Клеопатра быстро обернулась.

— Вздор! Как может пасть Египет? Октавиан интригует и торгуется в тщетной попытке быть на равных с военной мощью Антония. Рим — колосс на глиняных ногах, сотворенный его правителями. Парфия только и ждет, чтобы мы восстали и разрушили его. Мир — наш, и мы можем лепить его, как вздумается. И мы сделаем это — обязательно сделаем. Так сказали боги.

Диона, чья богиня безмолвствовала из-за ребенка, росшего в чреве, покачала головой.

— Тогда я буду твоим хором[64] и предостерегу тебя от гордыни.

— Ах, дорогая моя, — сказала Клеопатра с легкой иронией. — Ты словно раб на триумфе римлянина, который шептал ему на ухо: «Помни, что и ты смертен»[65].

Диона помнила и триумф Цезаря, и раба, шепчущего ему на ухо слова, которые, казалось, услышать невозможно. Но еще она видела Цезаря мертвым; видела его тело, покрытое ранами…

— Ты смертна, — подтвердила она. — Даже ты — Исида на земле. Каждое существо из плоти и крови должно умереть.

— Но некоторые умирают позже других. — Клеопатра распростерла руки. Безусловно, мы умрем, как и все люди, — но наши имена будут жить в веках.

— Как величественно, — сказала Диона и запнулась: ребенок толкнулся в животе ножкой. — Ох! Да у этой крохи ноги словно обуты в железо. Маленький легионер!

Клеопатра рассмеялась. Казалось, царица никогда не злилась, когда ее возвращали на землю — даже таким, не самым приятным образом, в частности упоминанием о легионерах. Она подошла к ложу, на котором лежала Диона.

— Можно мне?

Диона кивнула. Клеопатра положила руку на ее живот, и ребенок зашевелился, отозвавшись на прикосновение. Она улыбнулась.

— Уже скоро!

— По-моему, на этой неделе, — согласилась Диона. — Рановато — но не слишком. Помнишь, как ты ненавидела меня за то, что сама походила на бегемота, когда носила близнецов? Теперь-то ты отомщена?

Клеопатра взяла руки Дионы в свои.

— Ты — не бегемот. Рыба — куда ни шло; гладкая, холеная и откормленная. Дельфин, которому дивятся корабельщики. Дельфины — живородящие, ты знаешь? Один из моих натурфилософов видел неподалеку от Дельф дельфинью царицу в сопровождении свиты. А малыш, как только родился, поплыл за ней — сам, и запел.

— Запел?

— Так он сказал.

— Нелепые побасенки, — проворчала Диона, но улыбнулась. — Очень мило с твоей стороны развлекать меня, но ты вполне можешь заняться чем-нибудь поинтересней.

— Например, камнями для закладки больниц, или слушать бесконечную тягомотину о податях?

Диона сдалась.

— Да, наверное, это еще хуже… — вздохнула она, — но мое общество все же скучновато для царицы.

— Вряд ли я была лучше, когда носила своих, — сказала Клеопатра с едва уловимой ноткой резкости. — Позволь мне оказывать тебе хотя бы эти незначительные услуги — раз

ты уж не хочешь, чтобы я послала к тебе кого-нибудь из моих женщин помочь при родах. Кстати, может, еще передумаешь?

— У Гебы настоящий талант к родовспоможению, — возразила Диона. — Я бы даже сказала — своего рода магия. Мне хватит ее с лихвой, чтобы родить плоть. А дух… разве у твоих женщин есть такая власть? Могут ли они сотворить мир вокруг ребенка богини?

— Некоторые могут, — заверила ее Клеопатра. — И лучше всех это делаю я. Ты просишь об этом меня?

— Если тебе будет угодно.

Глаза Клеопатры блеснули энтузиазмом.

— Ты трижды творила миры ради меня — неужели я не окажу ту же услугу? С радостью! С твоей стороны даже мелочно и невеликодушно — просить! — поддела ее Клеопатра.

— Но я вынуждена просить, — подхватила Диона со слабой улыбкой. — Я спокойна и совсем не боюсь. Было страшно, когда я рожала старших. А сейчас — нет. Как ты думаешь, это что-то значит?

— Наверное, ничего — кроме того, что ты родила двоих, они выжили, а ты знаешь, как это делается.

— Правда? Но, когда родился Тимолеон, я была совсем юной… — Диона вздохнула, вспомнив о своем непредсказуемом сыне. — И он уже мужчина.

— Надеюсь, еще нет, — улыбнулась Клеопатра. — Хотя очень может быть. Он уже интересуется женщинами? Или ему больше нравятся мужчины?

— Насколько я заметила, нет. Сейчас он увивается за девушкой из города — к счастью, за гетерой. Похоже, у него есть дар избегать порядочных особ.

Клеопатра засмеялась.

— Ах, если бы мой сын был таким же мудрым!

— Твои сыновья не доставили тебе ни минуты беспокойства, — заметила Диона. — Могу тебе только позавидовать.

— Ну, это как сказать… — промолвила Клеопатра. — Конечно, Антилл, например, не сорвиголова и не особо строптив. Но… он крайне невоздержан на язык. И имеет склонность ходить туда, куда ему вздумается. Знаешь, что он заявил позавчера царю царей Египта?

— Нет, — едва слышно ответила Диона.

— Он сказал Цезариону, что тому пойдет на пользу разок нарушить приличие и перестать быть маленьким разукрашенным божком. Цезарион буквально лишился дара речи.

— Могу себе представить. Эти двое все никак не могут договориться?

— Не в этом дело, — возразила Клеопатра. — Мальчики отлично понимают друг друга, невзирая на некоторые разногласия.

Диона обнаружила, что в состоянии улыбнуться. К ней вернулось спокойствие, по крайней мере та доля спокойствия, которая возможна при таком сроке. Беременность не способствует душевному равновесию — скорее, желанию иногда пожаловаться. Диона устала бороться с этим желанием, кроме того, ей не нравилось состояние ее разума — он словно погружался в туман.

— Тимолеон, — Клеопатра продолжала свою мысль, — сам себе голова и живет по своим законам. Удивительно, как он еще не натворил большой беды.

Странно, но Диона не встревожилась, а следовало бы. Но если бы Клеопатра хотела сказать про ее сына нечто обидное, это вряд ли прозвучало бы так искренне, с такой явной

любовью.

— Тимолеон никогда не стремился стать царем, голосом богов или чем-то еще, кроме мирянина, обычного молодого человека. Даже в моей утробе он был сосредоточен на себе. Он родился и даже не заплакал — помнишь: он пришел в мир, но словно в свой собственный.

— Совсем как мой Птолемей, — подумала вслух Клеопатра. — Наверное, странно сравнивать такого живого и своенравного юношу с замкнутым, вернее, самодостаточным ребенком. Иногда он пугает меня.

— Как и все дети, — сказала Диона. — Мы рожаем их, но они — вовсе не часть нас. Наши дети такие, какие они есть.

— И мужчины тоже, — промолвила Клеопатра. — И мужья.

Она задумалась, огонь ее глаз погас, улыбка растаяла, лицо, так похожее на лица всех Птолемеев, стало наивным; царица казалась уязвимой, как дитя… Диона подумала, что сейчас Клеопатра воистину прекрасна.

— Я позволяю Антонию брать над собой верх потому, что мне это не мешает. И он не делает ничего, что я могла бы не одобрить. Наверное, ты назвала бы это гармонией. Или удобством. — Она подмигнула.

— Выгодой, — поддразнила ее Диона. — Вот слово, которого ты ждешь. Тебе выгодно уступать Антонию. Он слушает тебя — я заметила. Иногда он даже поступает так, как ты предлагаешь. Но с Октавией он не разведется и не сделает тебя своей законной женой.

— Да, — согласилась Клеопатра. — Пока…

32

Схватки начались, когда Диона вернулась домой. Она знала, что это — начало, но сохраняла спокойствие, не желая будоражить остальных.

К вечеру начали отходить воды. К тому времени Геба уже поняла причину спокойствия своей госпожи, отправила ее на ложе и с мрачным, торжественно-удовлетворенным видом выгнала из комнаты всех, кроме нескольких служанок, которых наметила оставить, и девушки-гонца — ей предстояло отправиться к царице тогда, когда она, Геба, сочтет нужным. Сама же нубийка занялась делом, состоявшим в основном в том, чтобы как можно лучше успокоить Диону — и ждать.

К утру после первой ночи схватки участились, но ребенок пока не собирался выходить на свет. Оба сына Дионы пришли в этот мир похвально быстро, и она держала себя в руках и не боялась, но силы были уже на исходе. Она попыталась уснуть или хотя бы подремать.

Казалось неуместным хотеть, чтобы здесь, сейчас, рядом был муж — при этом самом сугубо женском из всех женских дел. Но Диона отчаянно хотела видеть Луция Севилия и набралась смелости попросить позвать его. К ее величайшему удивлению, Геба кивнула. Служанки были потрясены. Девушка-гонец, несмотря на выразительный взгляд Дионы, рискнула протестовать, но потом всхлипнула и отправилась с поручением.

Луций пришел не сразу. Диона приготовилась рассердиться — запас спокойствия уменьшался в ней по мере того, как сокращались перерывы между схватками, — но муж выглядел таким усталым, небритым, взъерошенным и помятым, словно только что со сна, хотя явно не ложился, что она просто протянула ему руки. Поколебавшись, Луций обнял ее — бережно, боясь причинить жене боль, его руки дрожали. Диона поняла его: она чувствовала то же самое и погладила мужа по спутанным волосам.

— Что, любовь моя? Ты опять уснул за письменным столом?

Луций кивнул и попытался улыбнуться. Сквозь оливковую кожу со здоровым румянцем проступала неимоверная бледность; муж казался исхудавшим, как во времена возвращения из-под Атропатены. Он сильно тревожился, тем более что это был его первый ребенок. Диона хотелось улыбнуться ему, но боль опередила улыбку; у нее перехватило дыхание.

Когда она снова смогла дышать, Луций сжал ее в объятиях так, что хрустнули кости.

— Не пугайся, — прошептала она. — Ничего страшного. Обыкновенные роды.

— *Твои*, — сказал он.

— А все ты виноват. — Диона негромко засмеялась, но ему было не до смеха.

— Обнимай меня, — проговорила она.

Луций был готов обнимать ее весь день, но Диона вскоре заставила его пойти заняться делами. Он и уходить не хотел, и остаться боялся в путанице мыслей: Диона так и не поняла — то ли он выбежал из комнаты, то ли долго мешкал в дверях.

Без него комната сразу опустела — хотя вокруг было много людей. И боли. Боль не кончалась и, казалось, не кончится никогда. У боли был свой ритм — как у пульса, у сердца, регулярный и безжалостный. Но остановка этого пульса принесет не смерть, а жизнь.

Луций Севилий совершенно не помнил, что он делал в тот день, только предполагал, будто был чем-то занят и, кажется, зачем-то ездил в город. Ничем иным он не мог объяснить присутствие Антония в комнате для приема гостей и легионеров, застывших у дверей, словно бронзовые статуи.

Антоний, с тактом, которому позавидовали бы многие, говорил мало, и только легкие, беспечные слова: на ходу бросал замечания по поводу вина, ковра, фресок, нарисованных Луцием Севилием в подарок жене. Фрески были выполнены в греческой манере, но с египетским колоритом, ярким и сочным, как свет в этом краю вечно сиявшего солнца. В храме с колоннадой стояла женщина, возлагавшая подношения на алтарь. Статуя богини была вне живописного поля, но тень ее распростерлась на полу, накладываясь на тень женщины и создавая ощущение реальности происходящего. Шакалья голова богозащитника одновременно была и хищной, и милосердной, нестрашной; с загадочными зеленовато-желтыми глазами и длинными белыми зубами, обнажившимися в улыбке.

— Как необычно! — заметил Антоний. — Это их бог, который провожает души в Аид, как наш Меркурий?

— Анубис? Да. Он дух-хранитель дома моей госпожи.

Луций сказал, что сам видел этого бога, улыбавшегося в тени, когда жена находилась во власти воли богини. Когда сегодня его допустили в ее покои, он приглядывался, но тени были просто тенями — бесплотной пустотой. Это его обеспокоило — несмотря на логику и здравый смысл. Он был бы счастлив, будь хранитель там, возле нее.

Но, может быть, хорошо, что его там не оказалось. В конце концов, Анубис — провожатый мертвых, как сказал Антоний, и его отсутствие могло быть добрым знаком.

Луций ссутулился. Все эти часы он пытался — чаще всего даже неосознанно — уловить в недрах дома голос жены или, что еще лучше, плач ребенка, начинавшего знакомство с миром. Но было тихо. Все женщины кричат во время родов, но это было бы невыносимо. Однако Диона предпочла страдать молча, что было совершенно в ее духе и сводило его с ума.

Что-то тихо стукнуло возле локтя Луция, на ручке его кресла. Вздрогнув, он бездумно уставился на кубок с вином.

— Выпей, — посоветовал Антоний. — Волноваться легче чуть пьяным.

Луций покачал головой.

— Нет. Это меня не утешит.

— Выпей, — спокойно и тихо повторил Антоний, но в голосе прозвучала нотка приказа. Луций повиновался прежде, чем понял, что делает. Антоний откинулся на спинку стула и удовлетворенно кивнул.

— Тебе необходимо немного отвлечься. Это худшее на свете ожидание, уж поверь мне.

— Хуже, чем ждать перед битвой?

— Гораздо хуже. — Антоний поднял свой кубок и стал рассматривать рисунки, отчеканенные на золоте: Диона, заказывая кубок, сказала, что это слова. Луций не помнил их значения: что-то вроде молитвы пьяницы или поэма, посвященная богу вина. Антоний — Дионис на земле, если верить египтянам — задумчиво произнес:

— Когда Клеопатра рожала наших троих, меня здесь не было, но я помню рождение Антилла. Он мой первенец. Я не любил его мать, я тебе уже говорил, но в тот момент это не имело никакого значения. Она сражалась в битве ради меня — чтобы дать мне наследника. А я был солдатом — командующим, другом Цезаря, но не мог сделать ни черта — только сидеть и ждать. Вот что выносят женщины всякий раз, когда мы уходим на войну. Это заставляет задуматься, правда?

— По-моему, женщины выносят ради своих мужчин слишком многое, — вымолвил Луций. Сидеть было невыносимо, и он резко встал, отставив кубок, к которому едва

прикоснулся, но не начал мерить пол шагами, как любят делать некоторые, а просто стоял, немного покачиваясь и сжав кулаки. — Всемогущий Юпитер! А вдруг я убил ее?

— Садись-ка, дружище. И успокойся, — Антоний говорил легко, без всякой тревоги — похоже, ситуация даже забавляла его. — Она, такая маленькая, уже родила двоих детей, которые благополучно здравствуют, и без особых хлопот. А с этим приходится повозиться — вот и все. Не волнуйся.

— В последний раз она рожала восемнадцать лет назад, — обреченно сказал Луций. — То, что не повредит юной женщине, может убить ее.

— И тебе не стыдно так говорить, Луций Севилий? Твоя жена — одна из красивейших женщин Египта. Она будет красавицей и в шестьдесят. Полно, Луций, болван ты эдакий. Все обойдется — уж поверь мне.

Луций покачал головой, не в силах успокоиться. Антоний снова протянул ему кубок. Он тупо уставился на него, и внезапно ему захотелось вылить вино на пол. Но Диона рассердится, если он испортит ее прекрасный ковер. Он выпил вино одним обжигающим глотком, поставил кубок на стол — металл звонко стукнул о дерево — и резко распахнул дверь.

Легионеры стояли вразвалку. При виде Луция они не покраснели — это было делом чести, — но явно чувствовали себя глубоко уязвленными, будучи застигнутыми врасплох. Да еще в придачу стайка детей неожиданно вынырнула откуда-то.

Впереди шел Цезарион, за ним — Антилл, почти такой же дюжий, как легионеры. Оба были спокойны. Шедшие следом казались более расстроенными: близнецы, темноволосая и белокурый; Александр Гелиос и Клеопатра Селена; их брат Птолемей под охраной пары молодых людей. Тимолеона Луций, естественно, знал очень хорошо, но второй был ему незнаком.

— Что вам здесь… — начал Антоний, как и Луций, вовсе не обрадованный нашествием, но не до потери дара речи.

Цезарион обошел его и направился прямо к Луцию.

— Пойдем с нами, — властно вымолвил он, как истинный царь Египта. — Ты нам нужен.

Остальные — от маленького царевича Птолемея до незнакомца с каштановыми волосами — сбились в кучку, как наемные бандиты-головорезы, и смотрели на Луция с выражением непоколебимой решимости.

— Но у меня с собой совсем нет денег, — сказал Луций первое, что пришло ему в голову.

Тимолеон засмеялся, поняв его по-своему: как и всякий молодой человек, он иногда нуждался в деньгах.

— Нет, отчим, мы здесь не для того, чтобы тебя ограбить. Пойдешь сам, или тебя придется тащить?

— Куда?

Пришельцы переглянулись. Тут у Луция мелькнула смутная догадка, что незнакомец, должно быть, родственник Дионы, скорее всего, ее старший сын, которого он еще не видел; Аполлоний, его отец, все время держал мальчика при себе и ни на секунду не упускал из виду… Андрогей, так, кажется, его зовут. Но что он тут делает — после стольких лет отсутствия.

— Он должен был прийти, — раздался отчетливый детский голосок. Птолемей

Филадельф в упор смотрел на Луция — его глаза, казалось, могли видеть сквозь камень, а не то что сквозь тонкую оболочку человеческого черепа, и, судя по всему, он умел читать мысли. — Андрогей — тоже плоть от плоти своей матери. И чувствует, что ей сейчас очень нужна помощь. Он перестал притворяться, что ему нет до нее дела.

— Но она не умирает, — свирепо возразил Луций. — Просто роды затягиваются — вот и все. Она и раньше рожала.

Он повторил слова Антония как заклинание против страха.

— Конечно, — сурово сказал Андрогей. — Возможно, это полный идиотизм. Но кто знает? И — что бы там ни думали люди — моя мать мне очень дорога.

— А отец знает, куда ты пошел? — потребовал ответа Луций.

После секундного замешательства Андрогей твердо произнес:

— Я не должен перед ним отчитываться за каждый свой вздох.

— В Риме, — миролюбиво заметил Антоний, — многие могли бы с тобой поспорить.

Он оглядел их всех.

— Ну-с, молодые люди, я, наверное, могу понять, что привело сюда детей госпожи — общая тревога; но осмелюсь спросить: что делает здесь царственный выводок?

— Это необходимо, — ответила Селена немножко уклончиво — подобно братьям. — Нас послала мама. Мы не одни — неподалеку дворцовая стража. Мама тоже хотела бы прийти, но она должна оставаться на своем месте. Чтобы подкрепить наши действия. Понимаешь?

Луций ничего не понимал. Похоже, Антоний тоже не многое понял, но у них обоих не было возможности высказать свои сомнения — Селена уже схватила Луция за руку и потащила к двери.

— Здесь мало места. Пойдем быстрее. У нас почти нет времени.

Но он упирался, и Селена кивнула сыновьям Дионы. Оба юноши были выше Луция и сильнее, чем он мог ожидать. В голове мелькнула мысль, что очень глупо с его стороны считать их слабаками: Тимолеон проводил все дни в гимнасии — что бы ни делал по ночам, и Андрогей, судя по всему, тоже. Они знали трюк, который применяют легионеры, чтобы заставить человека следовать за ним, — ему остается только идти. Или его потащат.

Дети завели его недалеко — всего лишь в трапезную. Там стоял полумрак — ведь была уже ночь, — а ложа отодвинули к стенам. Они вошли, и светильники тут же вспыхнули, но не было видно ни руки, поднесшей огонь, ни земного огня, от которого их зажгли. Луций не особенно удивился. Казалось, эти дети поднаторели в магии больше, чем вся Коллегия авгуров[66] в Риме.

Он мимоходом отметил, что Антоний следовал за ними — с кубками и амфорой вина. Триумвир, а ныне царь Востока, поставил свою ношу в угол, поискал глазами ложе, подошел к нему, сел и приготовился наблюдать за происходящим — с интересом, но без суеверного трепета, словно это было для него привычным делом. Он жил бок о бок с детьми царицы и их матерью, а Клеопатра была докой в магии и любила обставлять свои действия с блеском. Диона относилась к собственным «странностям» намного скромнее и спокойнее, зная, что они могут смутить покой Луция.

Но никто из этих детей о его покое не заботился. Они составили ложа в круг, словно для пира — но нигде не было видно слуг, которые принесли бы им яства. Луций очутился в центре, на месте хозяина пира.

— Ты, — сказал Цезарион, — Запад. Запомни.

Сам он, сидя напротив Луция, стал Востоком. Птолемей Филадельф — Севером, а Селена — Югом. Остальные заполнили промежуточные стороны света: Тимолеон сидел справа от Луция, Андрогей — слева, а Александр Гелиос и Антилл — лицом к ним. Антоний оказался вне круга, словно не собирался принимать участия в ритуале, каким бы он ни был.

— Ты можешь прекратить это? — спросил его Луций.

Антоний пожал плечами, широко развел руки и поднял брови — размашистый римский жест.

— Я всего лишь бог на земле. У меня нет магического дара, о котором стоит упоминать.

«И у меня нет!» Луций приготовился протестовать, но это было неправдой. У него есть магический дар. Так говорила Диона. И он знал о нем, хотя предпочел бы забыть о его существовании. У Луция Севилия, гаруспика, это хорошо получалось — с тех пор, как он стал женатым мужчиной.

— Ваши глупости нас задерживают, — холодно сказал Цезарион. — Ты что, в самом деле хочешь, чтобы твоя жена умерла? Тогда продолжай в том же духе.

Луций окаменел, словно мальчик ударил его.

— Ты мог бы вести себя поделикатнее, — заявил Цезариону Антилл. — Он и так до смерти боится за нее, как и любой другой на его месте. А мы ему толком ничего не объяснили — просто притащили сюда.

— На объяснения времени нет, — отрезал Цезарион. — Он должен знать сам.

— Он — римлянин, — возразил Антилл. — Ему нужны объяснения.

— *Тебе* ведь не нужны, — парировал Цезарион. — Ну все, хватит. Он здесь. Если он сможет помочь — хорошо. Если нет, мы просто используем его дар. А любезности оставим на потом.

— Ты слишком суров и холоден, — вмешался Тимолеон. — Мама испугается.

— Если мы продолжим перепалку, твоя мать вообще ничего не почувствует — она просто не выживет, — сказал Цезарион. Не холодность была причиной его безжалостности — Луций вдруг очень ясно осознал это. Им владел ужас за Диону.

Вот теперь Луций понял, что от него требуется. Он пресек разгорающуюся ссору.

— Он прав, Тимолеон. Ты потом доспоришь с ним. Итак, что я должен делать?

Цезарион вряд ли похвалит его за то, что он взял себя в руки — сейчас не до похвал. Остальные, наверное, подумали: наконец-то. И лишь Тимолеон наградил его ободряющей улыбкой. У него были крупные белые зубы, и он блеснул ими от всей души.

Голос Цезариона вернул его к действительности, и с ней пришла невыразимая тревога.

— Просто сиди здесь и повторяй за нами. Госпожа Диона рассказывала тебе, как она творит мир для детей, которые рождаются в присутствии магии? Она сотворила вселенную для твоего ребенка, когда узнала, что он существует. Это было грандиозно, но и очень опасно. И наибольшая опасность грядет сейчас. Ребенок пытается принять ее дар — мир, который она для него сотворила, и переделать так, как ему покажется удобным. И это вынет из госпожи Дионы всю ее душу.

— Но… — начал Луций.

— Никаких вопросов, — свирепо отрезал Цезарион. — Следи за нами и повторяй, когда надо.

Однако Луций тоже был упрям.

— Я понимаю, что роды — это адский труд, но чем мы-то можем помочь? При чем тут магия?

Казалось, терпение Цезариона вот-вот лопнет, но в конце концов, он ответил, и ответ его частично удовлетворил Луция:

— Даже всему нашему роду — обеим его ветвям — неимоверно трудно изменить волю богов. К счастью, мы немного знаем, как это делается. И еще надеемся…

Он умолк, но Птолемей продолжил за него.

— Мы надеемся, что госпожа Диона не отдала ребенку слишком много. Она ведь не думала об этом — просто любила. Любила тебя, и поэтому он — часть тебя.

— Значит, я *убиваю* ее, — простонал Луций. — Я знал это. Знал с того самого мгновения, как…

— Хватит! — оборвал его Цезарион и распростер руки.

— Восток, — проговорил он. — Я — Восток, где встает солнце. Боги здесь сильнее, и лик их ярче. Солнце — могучее.

Обряд начался. Странно, но он успокоил Луция. Диона, по мере возможности, старалась обходиться без ритуалов, и никогда не обставляла их затейливо. Похоже, такими же были ее дети и дети Клеопатры.

— Юг, — сказала Селена, голосом мягким и чистым.

— Я — Юг, откуда течет Нил. Сила богов здесь глубже. Земля — могуча.

Наступила пауза, и в воздухе послышалось пение. И оттуда Луций взял слова, которые должен был произнести.

— Запад, — промолвил он; сначала его голос дрожал, но постепенно становился все тверже и тверже. — Я Запад, где садится солнце. Боги здесь неистовы и дики. И воздух — могуч.

Никто не прервал обряда, чтобы одобрить его, но он услышал общий вздох облегчения.

— Север, — продолжил Птолемей. — Я — Север, где море течет у ног Египта. Боги здесь проворнее. Вода — могуча.

Итак, они сотворили стороны света, на которых стоял мир. Но это было только началом. Внутри круга зияла пустота; нечто, что должно быть… чем?

Рождением. Ребенком. Окончанием боли.

— Восток, — снова заговорил Цезарион. — Восходящее солнце. Амон-Ра, Аполлон, Митра[67], свет и могущество! Душа рождается. Дитя идет к тебе.

— Юг, — подхватила Селена. — Грудь Востока. Таурт, Луцина, мать Гея [68] и мать Исида, все богини, дающие миру жизнь! Дитя идет. Вдохни жизнь в его кости.

Луций открыл рот, но Птолемей заговорил раньше.

— Север, — сказал малыш. — Текущие воды. Синекудрый отец-Нил; Нептун; Посейдон[69], колебатель Земли, Землевержец, повелитель коней! Дитя идет. Наполни его кровь водами жизни.

Все замолчали в ожидании. Теперь была очередь Луция. Но он не мог произнести слова, которые подсказывало ему сердце…

Но он должен.

— Запад, — вымолвил он с болью. — Власть воздуха, но и власть тьмы. Земля смерти позади Двух Египтов. Осирис, Гадес, Плутон, владыка подземного царства! Женщина трудится, чтобы родить дитя. Отверзни врата ее плоти. Дай ребенку родиться. Не назначай свою цену, не бери жизнь за жизнь.

Всему на свете назначена цена.

Воздух был полон тихих звуков, похожих на шелест — словно перешептывались тени. В покоях на противоположной стороне дома — и каким-то образом одновременно внутри круга — боролось с болью тело без имени и сознания, в нем жила только воля к рождению. Но ребенок отказывался выходить. Он привык к темноте и теплу. Он хотел только их. И это желание заменяло ему весь мир.

Круг был по-прежнему пуст, и все же в нем сновали видения. Сначала появился зеленый луг, весь пестревший цветами, и по нему бродили призраки — они походили на людей, но слабо мерцали, как облака в лунном свете. Потом сгустилась тьма, полыхнуло пламя, алое, как кровь. Из тьмы выплыли ворота — цвета крови, цвета ночи, но Луций даже обрадовался, опасаясь, что при истинном свете они будут белыми — цвета кости, слоновой кости. Согбенная фигура, похожая на зверя, прокралась в них; но эта бестия была с тремя головами.

Луций ахнул. Тьма дрожала, как отражение на воде. Тварь колыхала ее. Теперь у нее была только одна голова: смертоносный оскал крокодила, пасть, вооруженная огромными зубами. Тело твари смутно напоминало шакалье и в то же время — львиное. Эта голова наводила леденящий ужас, пугала еще больше, чем трехголовый монстр — она могла испугать до смерти.

— Вот он, явился, Пожиратель Душ.

Это был голос Александра Гелиоса. Луцию казалось, что мальчик сидел совсем радом, хотя находился он гораздо дальше — на другом ложе — и выглядел совершенно спокойным.

— Ждет своей трапезы… Но мы не собираемся кормить его, и госпожа Диона, по-моему, тоже — что бы она ни думала. Однако она уже почти готова сдаться, чувствуешь? Госпожа Диона считает, что может выйти из своего тела и предоставить Гебе принять ребенка, пока сама она будет бродить по цветущему лугу. Но она забыла о Пожирателе Душ. И о суде богов. Она потерпит поражение, потому что слишком скоро отказывается от жизни.

Но Луций уже пересилил ужас и страх, он возвысился над ними. Хватит с него! Парализованные страхом — плохие помощники.

Однако он испытывал странную ревность: это дитя знает о Дионе так много, а сам он — ничтожно мало. Но здесь был виноват только он сам. Ему осталось лишь заглянуть внутрь себя, в глубины своего сердца. Ее присутствие там — когда-то такое неизменное и почти зримое, теперь едва ощущалось; силы Дионы сходили на нет. О некоторых вещах Гелиос ничего не сказал — он еще слишком молод, чтобы знать о женских делах. Борьба за ребенка разорвала Диону. Она истекала кровью там, где этого быть не должно.

Тварь в воротах зевнула, обнажив огромные зубы. Луций подавил мгновенное, сильное желание продемонстрировать ему свое оружие. Зубы — не лучшая защита для человека. Ею был разум.

Если бы он мог войти в душу и ум Дионы или просто встряхнуть ее, заставить вспомнить о своей силе!..

Но Луций понимал: она уже прошла через это. Он очень надеялся на ее служанку. Геба была странным созданием, во многом непредсказуемым, но в одном он был твердо уверен: нубийка обожала свою госпожу. И уж пустила в ход все умение и средства, которые только у нее были, и исчерпала их. Но этого было недостаточно.

Они ничем не могли помочь ей.

Луций отогнал эту мысль, продиктованную отчаянием. У него есть оружие — и он должен суметь воспользоваться им. Эти дети… Да, пока только дети — но какие! Некоторые

из них были богами, по крайней мере, думали так. И здесь Антоний, хотя и благоразумно и трезво держащийся в стороне; и Клеопатра во дворце, со своими молитвами и заклинаниями — всем арсеналом богини, заключенной в земную оболочку.

У него есть все это — неужели они не смогут уговорить одного-единственного крохотного ребенка прийти в мир?

Он засмеялся неожиданно резко, и дети удивленно уставились на него.

— Послушайте, — сказал он обычным ровным голосом, словно сейчас был ясный, спокойный день и он учил их латыни. — Подумайте, в какие только ужасы мы не превращаем самые обыкновенные вещи на свете. В конце концов, что может быть естественнее рождения? Все рождается. И все умирает — но не сегодня ночью. Это очень упрямый ребенок — вот и все. Все мы пытались покорить его силой; но сила — как известно всякому, кто знает мою госпожу — крайнее и худшее средство для урезонивания упрямцев.

Он умолк. Никто из них не вымолвил ни слова — что само по себе было удивительно. Даже Тимолеон словно окаменел, хотя его молчание казалось не менее нарочитым, чем холодность Цезариона.

Луций кивнул, словно они что-то сказали.

— Вот и хорошо. Как вы думаете, скоро ли нам удастся соблазнить этого ребенка выйти наружу?

— Звучит отвратительно, — заявил Андрогей но, помолчав, вымолвил: — Мы должны сделать так, чтобы мир выглядел привлекательнее, чем темное лоно.

— Правильно, — согласился Луций. — А он действительно хорош?

Андрогей решительно кивнул и продолжил.

— Там, внутри, темно. Скучно. Разве можно предпочесть это место солнцу, восходящему над Фаросом: ослепительно-белому, над голубым-голубым морем. И корабли плывут на свет маяка отовсюду; одни под пурпурными парусами, другие — под белыми, а у многих они полосатые: золотые с алым. А иногда увидишь и зеленый парус над лазурной водой, летящей к белой башне.

— О-о, да ты любишь корабли! Хочешь стать моряком? — воскликнул Тимолеон — и он вовсе не смеялся над братом.

Андрогей, смутившись, резко пожал плечами.

— Просто мне нравится на них смотреть, — произнес он.

Тимолеон кивнул и подхватил:

— Не думаю, что в лоне матери спокойно — не спокойнее, чем в море… А на свете так много прекрасного. Авлос, кифара; их чистые звуки сплетаются в дивный напев. Туба, зовущая мужчин на войну и актеров на сцену. Барабаны, бьющие, как удары сердца. Голос певца — одного из евнухов царицы; они поют так, как, наверное, поют боги — высоко, чисто, и мы знаем, какую цену они платят за свое искусство…

Его перебил Цезарион:

— Подумай, малыш, каково плавать в водах жизни; да, там тепло — но скучно… каждый день одно и то же. Неужели можно предпочесть это прикосновению шелка к коже, или ощущению песка, струящегося сквозь пальцы, или даже уколам боли? Боль — это жизнь. Такова цена наслаждения. Ты помнишь, Антилл, как мы играли в снежки в Белой Деревне — в тот день, когда выпал первый снег? Он был холодным, но мягким, и таял, и тек по шее… — Царь царей зябко повел плечами, но тут же рассмеялся. — Ты визжал, как девчонка.

— Не я, а ты, — с достоинством возразил Антилл и усмехнулся. — Ты помнишь его

вкус? Вкус мороза и неба. Он чувствовался даже в вине, хотя оно было сладким и терпким. Тем вечером мы ели жареного вепря — его подстрелил на охоте Антоний. Мы все объелись — наши желудки урчали, как собаки. Чтобы променять все это на темное лоно матери? Да меня тошнит от одной только мысли!

— А запах стоял, как в Элизиуме[70], — с упоением продолжил Цезарион. — От духов моей матери исходил благоуханный аромат цветов. Я помню, пахло розами, жасмином и гелиотропом — не слишком сильно, ровно столько, чтобы придать духам роскошь. Только представь себе, дитя, что ты не выйдешь на этот свет и никогда не почувствуешь столь божественных ароматов. Разве можно не хотеть этого?

Селена подмигнула.

— Ну-у, не все пахнет так чудесно.

— Даже смрад стоит, чтобы жить на свете, — запальчиво сказал Тимолеон. — Все живое живет. И меняется. И не льнет к одним и тем же воротам, считая их самым безопасным местом на свете, до тех пор, пока ворота эти не исчезнут, и мать не умрет из-за эгоизма своего ребенка.

— Мягче, — предостерег Луций. — Бережнее.

Тимолеон строптиво взглянул на него, но подчинился. Это случалось нечасто, по-видимому, юноша просто потерял самообладание.

— Успокойся, — сказал Луций. — Просто успокойся. Вспомни, что такое жизнь.

Он ждал, что хоть один из них заспорит с ним. Но дети, по-видимому, пришли к соглашению или просто не находили иного выхода. Он сам не был уверен, что их усилия помогут, — оставалось только надеяться.

Нельзя думать о смерти. Надо думать о жизни. А жизнью для него была Диона, с непоколебимым ее спокойствием, вернее, годами выработанным умением быть спокойной внешне, покровом накинутым на живое сердце, нежное и страстное. Он все еще видел внутреннюю часть круга и глаза существа, стоявшего там, — дети называли его Пожирателем Душ. Эти глаза приводили в отчаяние, приказывали, насмехались в безапелляционной уверенности в том, что всякая жизнь ведет всего лишь к смерти.

Но до того, как умереть, надо жить. Он вызвал в память образ Дионы, стоявшей на палубе корабля Клеопатры, летевшего на крыльях ветра в Тарс: одетой, как нимфа, и красивой, как любая из богинь. Но тогда вовсе не красота привлекла его, а то, как она смотрела на сына, борясь с желанием сменить гнев на милость и рассмеяться.

Все вернется! Диона снова будет смеяться. Ее самый младший ребенок должен понять то, что поняли его братья. Он еще слишком мал, слеп и невежествен, чтобы знать, что такое жизнь. Но он научится знать это.

Никогда еще он не молился с такой страстью, как сейчас, никогда до такой степени не собирал в кулак волю, чтобы соблазнить строптивца войти в этот мир. А тот сопротивлялся со всей силой невежества.

— Вспомните, — сказал Луций детям, молча смотревшим на него. — *Вспомните*.

Воздух стал густым, густым, притихшим, наполненным ужасом, словно перед грозой.

Что-то шевельнулось в душе Луция — что-то похожее на надежду. Перед глазами предстал образ: Диона, словно пробуждавшаяся ото сна, потягивалась и глядела по сторонам еще мутным, полуосознанным взглядом.

— Что? — спросила она.

— Диона! — позвал Луций.

Она обернулась к нему, как делала всегда, просыпаясь, улыбнулась, сонно прижалась к нему и потянулась с поцелуем.

Нет, она здесь еще не вся. И все же она здесь. Ее губы были теплыми и одновременно холодными. Он прижимал ее к себе и вместе с тем странным образом находился внутри нее, борясь с волнами боли, разливавшимися по ее телу, не желающими отпускать.

— *Хватит*, — приказывал он боли. — *Заклинаю, проклинаю тебя — хватит!*

— Нет, — сказала Диона внутри него, снаружи него. — Так думают все мужчины. А ведь раньше ты был мудрее. Мы уговорим его. Мы заманим его. Смотри!

Да, это словно ворота, запертые изнутри. Но замком была плоть, а плоть может быть податливой, может сдаваться.

— Ну же, — проговорила Диона. — Иди, дитя, иди в этот мир. Выйди наружу и взгляни на солнце. Посмотри, какое оно.

А потом пришла боль — страшная, убивающая надежду, и нет слов, чтобы рассказать о ней. А потом… потом боль растаяла. Накатила волна и выплеснулась на берега всех морей мира.

33

Измотанный столькими страданиями и борьбой с неизбежностью Луций Севилий почти с разочарованием смотрел на маленькое красное сморщенное существо на руках Гебы.

— Дочь, — сказал он. — У меня дочь.

Геба широко усмехнулась. Луций, все еще в тумане нереальности, украдкой заглянул в крохотное личико. Оно было неожиданно, ошеломляюще уродливым.

— Я должен думать, что она красива? — беспомощно спросил он.

— Конечно, нет, дурачок, — этот голос он уже не надеялся услышать, почти не надеялся, даже сейчас, когда опасность миновала. Диона улыбалась ему с ложа, чуть озорно; лицо ее было измученным, но взгляд — победоносным. — Все новорожденные необычайно уродливы. Удивительно, как это они потом становятся такими очаровательными.

Луций бросился было к жене, но бдительная Геба опередила счастливого отца, сунув ему свою ношу. Луций опомнился и обнаружил в руках сверток пеленок и внутри — детское тельце.

— Маленькое чудовище, — сказал он ласково. — Маленькая убийца. Я должен ненавидеть тебя.

Дочь открыла глаза, слишком маленькие и беспомощные, чтобы видеть. И все же, казалось, они видели его и знали, кем он был и что здесь делал: в этом взгляде была мудрость только что пришедшего на эту землю. Глаза были голубыми, как у всех младенцев, но вскоре они потемнеют и станут карими — как у матери.

Встретив взгляд этих глаз, он ощутил вовсе не ненависть, даже не злость на то, что она чуть не убила свою мать. Она действовала инстинктивно, цепляясь за единственный источник надежности и безопасности, известный ей в этой жизни.

Бережно, почти со страхом, Луций коснулся пальцем ее щеки, невероятно мягкой. Чмокая губами, она повернула к нему головку, повинуясь первому инстинкту новорожденного существа.

— Лучше дай ее мне, — сказала Диона. — Сейчас ей нужно то, что не может дать ни один мужчина.

Луций засмеялся и отдал ребенка жене. Там дочь, казалось, гораздо больше на своем месте, чем в его неловких объятиях. Сердце его было переполнено разными чувствами, и говорить он не мог, только смотрел, как крошка нашла наконец грудь и атаковала ее с неожиданной, внушающей уважение силой.

Диона заморгала, но тут же улыбнулась.

— Она сильная. Слишком сильная, чтобы я могла кормить ее сама. Но я — первое утешение и покой, которые она знает. И будет помнить их всю свою жизнь.

Его снова пронзил страх.

— Тебе нехорошо?

— У меня все в порядке, — спокойно сказала Диона. — Но на сей раз у меня будет немного молока. Я знала это еще до ее рождения. Понимаешь, такова цена. Но она сильная и будет жить — мне обещано. Ты не очень будешь возражать, если я назову ее Мариамной?

Вообще-то, он хотел назвать дочь Севилией, как принято в Риме. Но сказал:

— Конечно, она будет Мариамной.

— И ты ее принял? — спросила Диона. — Ты признал ее? Нет, я не сомневалась. Но…

разве можно знать наперед…

Почему она спрашивает? Луций не мог припомнить, чтобы сделал что-то не так. Геба сунула ему в руки ребенка — да, это было; но он мог вернуть его назад. По закону, большего для отказа от ребенка не требовалось.

Луций пожал плечами. Он никогда бы не поступил так — во всяком случае, не после столь долгой борьбы и страданий, борьбы за то, чтобы его дочь пришла в этот мир.

Глаза Дионы слипались, но улыбка с лица не сходила. Луций нагнулся и поцеловал жену в лоб. Он оказался прохладным — лихорадки не было, но и холодности смерти тоже. Мягко улыбаясь, в полусне баюкая дочь, она уснула.

Кормилица, которую нашла Геба, была тихой, спокойной молодой женщиной, египтянкой, потерявшей ребенка за день до рождения Мариамны. Возможно, в другое время Луций и стал бы возражать против найма свободной женщины, ведь они вполне могли купить рабыню, но он все еще находился в эйфории от того, что стал отцом. И никогда не был жадным. Женщина казалась опрятной, чистоплотной, почтенной и прошла обучение в храме.

— Наверное, нам следовало нанять и ее мужа? — спросил он Диону.

— А мы и так уже наняли, — ответила жена. — Он — помощник управляющего нашим поместьем на озере Мареотис. Геба увидела там Танит и решила, что она вполне подходит для кормилицы, если, конечно, та захочет. Танит не возражала. Как жаль, что у нее умер ребенок. Для Мариамны было бы хорошо иметь молочного брата из старинного египетского рода.

Иногда женщины в доме Луция обделывали свои дела без его ведома. Насколько он знал, на такое самоуправство обычно жаловались все мужчины — и женатые, и неженатые. Луций придерживался другого мнения, а именно: его это нисколько не задевало.

— Так Танит должна была стать жрицей? Значит, у нее тоже есть магический дар?

— Да, она была жрицей, — сказала Диона. — Впрочем, она и сейчас жрица. Я была одной из ее наставниц много лет назад, когда жила в храме. Она очень умна, образованна и очень искусна в делах магии.

— А это было простым совпадением — что у нее родился ребенок почти в один день с тобой? — бездумно спросил Луций.

Диона спокойно ответила:

— Наверное. Хотя, когда служишь Богине, ничего нельзя знать наверняка. С Мариамной может возникнуть много трудностей. Она — дитя богини; ей нужна кормилица, которая умеет обходиться с такими детьми. Попытайся я ухаживать за ней сама, она бы стала совершенно невозможной, потому что впитала в себя очень много магии и крайне мало здравого смысла.

— Как же так? Ты у нас такая разумная женщина, — поддразнил ее Луций.

— Да, теперь я стала такой, — сказала Диона и улыбнулась с едва заметным огоньком озорства. — Ведь я замужем за римлянином.

Луций покачал головой — он изо всех сил сдерживал смех, но ему не удавалось даже хотя бы принять строгий вид.

— А наша новоявленная кормилица — на вид самая обыкновенная и безобидная, как мышка. Вы все такие хитрюги?

— Нет. Мы просто спокойные — но иногда вынуждены быть великолепными.

Да, подумал Луций, когда необходимо, они самые великолепные люди на свете. Даже его жена, в своей скромной ночной сорочке, без всяких драгоценностей, кроме кольца с изумрудом, которое он подарил ей на следующий день после рождения Мариамны.

Он не должен думать о том, чтобы высвободить жену из этой самой сорочки и отнести на ложе — сейчас ей пока нельзя… Но, судя по ее взгляду, Диона думала о том же самом. Оба удовольствовались довольно чинным поцелуем — по крайней мере вначале. Когда поцелуй начал становиться более страстным, Луций оторвался от ее губ. Это было очень нелегко, но римляне умеют быть благоразумными.

В душе Луций проклинал свое благоразумие, но не мог переступить через него — он слишком дорожил этой женщиной.

— Скоро ты поправишься, — прошептал он. — И тогда…

— Тогда, — сказала она, — будет нечто необыкновенное. Ожидание делает это только слаще.

Несомненно, она была права, но Луций с превеликим трудом подавил искушение поцеловать ее опять, целомудренно, в лоб — такое целомудрие не продлилось бы долго, — и едва выдохнул: «До свидания». Диона же была невозмутима, как всегда.

— Попозже придет царица — повидать ребенка. Ты будешь дома к ужину?

— Обязательно. А ты поужинаешь со мной?

— Если захочешь.

Они перекинулись еще парой незначащих фраз, не менее официальных, словно у них был брак по расчету. Но глаза обоих смеялись. Луций поторопился уйти, чтобы не позабыть о своих благих намерениях.

Клеопатра одобрила прибавление семейства рода Лагидов. Мариамна, казалось, одобрила царицу. Она позволила взять себя на руки и завороженно уставилась на серьги — маленькие каскады жемчужин, оправленные в золото.

— Придется отдать ей жемчуга, — сказала Клеопатра. — Одним золотом тут не обойдешься.

Царица уже пожаловала малышке в качестве дара новорожденному золотой сундук, полный всяких игрушек, от которых любой ребенок зашелся бы от восторга; там же лежал папирус, даровавший ей права на поместье под Мемфисом, поэтому Диона считала жемчуга совершенно излишними.

— Ты ее избалуешь, — заметила она.

— Конечно, избалую, — довольно заметила Клеопатра. — Я вынуждена быть строгой со своими. И мне нужна отдушина.

Это было логично. Диона ощущала то же самое по отношению к детям царицы — без их помощи Мариамна, возможно, и родилась бы живой, но сама Диона не выжила бы и не увидела дочь.

Она содрогнулась. Ей не хотелось — особенно в этот момент — помнить тьму и боль. В памяти должен остаться лишь свет, и первый крик ребенка, и прилив магии — мощный поток, захлестнувший ее с головой. И вместе с ним пришло знание: у нее больше не будет детей. Эта битва была последней.

Диона не особенно горевала. Сожалела, пожалуй. Ее печалило то, что она не смогла дать Луцию Севилию сына — ведь римляне так высоко ценили сыновей. Но когда он смотрел на дочь, Диона не замечала на его лице ни тени разочарования и знала, что все

будет хорошо. Он даже позволил ей назвать ребенка, не спорил из-за имени: Мариамна, или Мариамон по-египетски, по имени основательницы ее рода в Александрии.

На некоторые вещи у матери есть исконное право — и таким правом было имя Мариамны. Клеопатра передала ребенка кормилице. Диона еле слышно вздохнула.

Царица приподняла бровь.

— Устала?

— Немножко, — призналась Диона. — Никак не приду в себя. Но я не больна. Если честно, мне очень даже хорошо.

— Да, дети весьма изматывают, — вздохнула Клеопатра. А этот ребенок — из десятка сильнейших. А ее кормилица обладает другой силой, я заметила.

Кормилица не подняла глаз. Она уже дала Мариамне грудь и казалась такой сонной и спокойной, но Диона, умевшая видеть глубже, словно слышала слова заклинаний, отгонявших злых духов. Несмотря на молодость, Танит знала, что к чему. Мудрая женщина…

— Знание приходит с опытом, — сказала Диона. — Думаю, второго Тимолеона у нас не будет. Это дитя научится самообладанию с колыбели.

— Ну-ну, дети всегда найдут способ удивить нас, — Клеопатра улыбнулась, растянулась на ложе напротив Дионы и испустила глубокий вздох. — Ах, какое наслаждение! Вот где можно спокойно отдохнуть.

— Кутеж сегодня начнется рано?

— Вообще-то, нет. Антоний опять отправился в свой лазарет, а его Неподражаемые либо на учениях, либо на охоте. Но это не имеет значения: если уж человеку выпало родиться царицей, мир для него — сплошное столпотворение. А здесь много места, чтобы отдохнуть и подумать.

— Даже если весь мой дом может уместиться в одной царской ванне?

Клеопатра рассмеялась.

— А-а, ты это запомнила? Да, ты оказалась мудрой, когда настояла на том, чтобы жить в собственном доме. Надо бы почаще навещать тебя. Тебя и твоего римлянина — у вас тут тишь да гладь.

— Не обольщайся. Какая там тишь да гладь, если Тимолеон постоянно носится туда-сюда. Правда, сейчас он немножко присмирел. По-моему, он влюбился в гетеру из заведения Филлиды. Как ни странно, она не выкачала из него все деньги, а он не отдал ей нумидийского жеребца, как она ни просила. Это значит, что он не променяет езду верхом ни на одну женщину. Может, пора его женить? Или дать еще порезвиться на свободе?

— Пусть порезвится! Он ведь никому не причиняет вреда — при всех своих попытках выглядеть строптивцем. Ты же знаешь, что в душе он спокойный и разумный.

— Ох, знать-то я знаю. Но какой от этого прок? Я прекрасно понимаю: ему любопытно все в жизни испробовать. Слава богам, у Тимолеона нет магического дара — он натворил бы больших бед.

— Думаешь, так уж и нет? Ни капли? А мне кажется, есть, и не капля, а большой бурдюк. Просто силы небесные до поры до времени ведут себя тихо, вот и все. А еще у твоего сына есть дар общаться с людьми, дар любопытства, дар разбираться в людях и быстро становиться с ними накоротке.

— А мне с этим пришлось хлебнуть немало забот, — улыбнулась Диона. — Итак, по-твоему, его магия состоит в том, что он есть. А по мне, быть Тимолеоном — очень сомнительный подарок судьбы.

— А это и есть магия, — засмеялась Клеопатра.

И Дионе скоро представится случай убедиться в этом… А пока Танит отправилась уложить Мариамну в колыбельку, потому что малышка уснула прямо у ее груди. Никто из слуг, похоже, не нуждался в распоряжениях Дионы. Тимолеон, как обычно, был в гимнасии. Луций ушел в город по делам.

Она почувствовала себя одинокой и свободной — ощущение было непривычным, даже странным. На мгновение у нее мелькнула мысль сходить в какое-нибудь веселое, легкомысленное местечко, и она была уже почти готова осуществить это, когда в комнату заглянул Сенмут.

— Госпожа?

Диона подавила вздох. Все-таки она нужна, и наверняка для чего-то скучного.

Но Сенмут сказал:

— Госпожа, к тебе пришли: молодой господин. Впустить его?

Выражение лица слуги обещало нечто необычное. Сердце ее по непонятной причине забилось немного чаще.

— Да, — ответила она, — я приму его.

Посетитель пришел не сразу, и Диона успела заказать вина и освежающих напитков. Когда наконец Сенмут с поклоном ввел его в комнату, она уже приняла позу почтенной матери семейства и невидящим взглядом уставилась в новую книгу, которую Луций принес из Мусейона. Но слова на папирусе значили для нее не больше, чем цепочка муравьев, сновавших по полу.

Она подняла глаза и увидела широкое лицо: знакомое и одновременно совершенно незнакомое. Когда Диона видела это лицо в последний раз, оно принадлежало ребенку. Теперь перед ней стоял молодой мужчина с мягкой немодной бородой. Большая длиннопалая рука пожала ее руку с неожиданной силой, но Диона даже не почувствовала боли.

— Андрогей, — произнесла она, как и всегда, спокойно. — Какой чудесный сюрприз!

Нахмуренные брови все так же придавали его лицу выражение некоторой озадаченности и более чем некоторой надменности. Все теми же были неловкие движения, когда он плюхнулся на стул возле ложа, не выпуская ее руки. Голос его был богаче, чем у отца, со множеством обертонов.

— Мама, — проговорил он. — Я никогда не называл тебя так. Это очень злило… злит его.

Особенность начинать разговор с середины была больше свойственна Тимолеону, чем тому Андрогею, которого она помнила.

— Я видела тебя на моей свадьбе, — сказала она. — Очень хотелось с тобой поговорить, но не было никакой возможности — а утром ты уже ушел.

Андрогей часто заморгал, как и всегда, когда нервничал.

— Отец хотел запретить мне идти сюда, но я сказал, что мне нужно пойти. Он должен радоваться тому, что ты наконец стала почтенной женщиной, — Андрогей усмехнулся, — и тому, что разговоры о римских нахалах прекратятся. Ты была очень красива той ночью. И сейчас такая же. Твой муж хорошо с тобой обходится?

— Очень хорошо.

— Я так и думал. Твой муж — цивилизованный человек… насколько может быть

цивилизованным римлянин. И понимает, что такое ответственность. Наверняка он хороший отец для моего брата.

— Да, при Луции Севилии твой брат держит себя в руках.

— Замечательно, когда за мальчиком приглядывает такой мужчина, — сказал Андрогей с высоты своего очень юного мужского достоинства.

Диона предложила ему вина, фруктов, запеченных в меде яблок со специями. Андрогей казался настолько смущенным, что вряд ли смог бы что-нибудь есть, но яблоки со специями он всегда обожал. Она с болью в душе смотрела, как он деликатно берет с блюда маленькие кусочки и быстро жует — так ел бы оголодавший кот, пытаясь сохранить достоинство.

— Я… рада тебя видеть, — с некоторым трудом проговорила Диона, пытаясь справиться со спазмом, сжавшим горло.

Андрогей заморгал еще сильнее, чем обычно.

— Я часто видел тебя. И много слышал о тебе. И был рядом с тобой, когда рождался твой ребенок. Ты не можешь этого помнить. Мы все… мы должны были… я не мог остаться в стороне. Отец ничего не знает. Он думает, что я был у друга. Ты ведь не скажешь ему?

— Конечно, нет, — пообещала Диона. Можно подумать, что Аполлоний предоставит ей такую возможность — ее первый муж не виделся и не говорил с нею с того самого дня, когда устроил ей бурную сцену за знакомство с римлянином.

— Ты на него сердита, — проговорил ее старший сын. — Я понимаю: есть за что. Он плохо с тобой обращался.

— Ну, в сущности, — сказала она очень осторожно, — твой отец поступил правильно. Он всегда нуждался в жене, подобной Лаодис: спокойной, скромной и не обремененной большими заботами, чем забота о муже и домашнем уюте.

— Но я не могу быть только его сыном. Меня по-прежнему тянет к тебе, и я хочу быть всегда уверенным в том, что у тебя все хорошо, а иногда мне достаточно знать, что ты где-то рядом. И я пришел, чтобы сказать тебе это. Ты ведь чуть не умерла при родах. И я не мог не прийти.

— Ты поступил правильно. — Она сглотнула. Горло еще болезненнее сжалось от попыток сдержать слезы. Но все равно было так чудесно сидеть здесь, смотреть в лицо своего старшего сына, с которым она распрощалась много лет назад. Все эти годы Диона пыталась убедить себя, что Андрогей не ее сын: что он сын своего отца и для нее потерян.

И сейчас, когда она обрела его снова, было почти невозможно вынести такое счастье. Да, она вовсе не потеряла его — Андрогей выскользнул наконец из-под неусыпного надзора отца.

— Даже ты прибег к магии ради меня, — проговорила она. — Но ведь ты всегда ненавидел меня за мой дар. Как же ты решился?

Андрогей напрягся, неправильно поняв ее.

— Пришлось… ведь ты умирала. Можешь теперь сколько угодно смеяться надо мной.

Он сжал руки в кулаки — даже костяшки пальцев побелели. Диона протянула руку и стала гладить его пальцы, распрямляя их один за другим. У Андрогея была сильная рука — с худыми и цепкими пальцами.

— Нет, дорогой мой. Я над тобой не смеюсь. Я восхищаюсь тобой. Ты, ненавидевший ту часть меня, которая принадлежит богине, пришел помочь мне, когда я нуждалась в этом больше всего. И стал самым сильным из моих детей — потому что такое решение далось тебе нелегко.

— Но ты моя мать. Все это время я исполнял свой долг по отношению к отцу, но тебе я обязан гораздо большим. Возможно, он хочет, чтобы я тебя забыл. Но я никогда не смогу этого сделать.

— Луций Севилий оценил бы твой поступок. Он понимает, что такое долг.

— Я знаю. Я иногда встречался с ним. Он, в отличие от некоторых римлян, не вызывает неприязни.

В душе Дионы неожиданно всколыхнулось не очень приятное чувство: Луций Севилий видел ее сына, говорил с ним — и ни разу не упомянул об этом.

Андрогей иногда бывал очень чутким. Он заметил слабый румянец на щеках матери и понял причину ее гнева.

— Сначала он не знал, кто я такой. Я был для него просто еще одним из незнакомцев, живущих в Александрии. После того как родился ребенок, мы встретились подобающим образом, но я сам попросил его не говорить тебе. Ты могла огорчиться, потому что я не пришел сразу. Но отец тогда был в жутком расположении духа — его все бесило. Сейчас он немного успокоился, и, в конце концов, я — мужчина. И сам могу принимать решения.

— Да, ты уже взрослый. — Диона поцеловала руку сына, вспоминая время, когда она была не больше ее маленькой руки. — Когда сможешь, передай ему привет. Я больше не держу на него обиды. Он поступил так, как для него лучше, — и не его вина, что я никак не укладывалась в рамки его философии.

— Ты ведь не укладывалась и в мои рамки, — заметил Андрогей. — Но зов крови очень силен. Я помню, как ты сказала однажды это отцу. Тогда я думал, что ты не права. Я был жутким идиотом.

— Ты просто был маленьким, — улыбнулась Диона и умолкла. Она чуть-чуть успокоилась: слезы больше не подступали к горлу, и сердце билось не так сильно. — Знаешь, даже хорошо, что я умирала, если это привело тебя домой.

У Андрогея полностью отсутствовало чувство юмора — в этом был почти римлянином.

— Отец прав в одном. Ты не придаешь значения ни чувству собственного достоинства, ни приличиям… Но, — добавил он после короткой паузы, — ты моя мать и дорога мне. Могу ли я иногда навещать тебя?

— Так часто, как только захочешь, — сказала Диона. Сердце ее опять заколотилось — она едва дышала. — Заодно покажешь мне, как держаться с достоинством и прилично себя вести.

Глаза Андрогея сузились.

— Ты опять смеешься надо мной. Отец говорит, что ты — самая невозможная женщина на свете.

— Он прав, — лукаво улыбнулась Диона. — Но Аполлоний научился противостоять мне. По-моему, тебе тоже придется научиться этому.

— Он — не твой сын. А моя кровь уже подпорчена, я учусь прощать тебя за это.

— И правильно. Только делай это почаще. Ты уже видел свою сестру? Хочешь взглянуть?

Андрогей, похоже, пришел в ужас — ей даже стало жалко его, — но мужественно ответил:

— Да. Я должен посмотреть на то, что чуть не убило тебя.

— Ребенок. Только и всего.

Андрогей не поверил ей, пока не увидел крохотную девочку, спящую в колыбельке. Он

коснулся ее то ли с опаской, то ли завороженно, как любой молодой мужчина при встрече с новорожденной жизнью. Но, когда ему предложили взять сестру на руки, он испуганно отшатнулся.

— Нет! — Голос его по-мальчишечьи надломился, и на мгновение он показался Дионе ребенком, каким, в сущности, в душе и был. — Я ее разбужу.

— Ты прав, — улыбнулась Диона, очень позабавленная.

— И это то огромное темное существо, которое чуть не забрало у тебя все твои души? — Андрогей покачал головой. — Она такая крошечная.

— Как все младенцы. Но дети быстро растут.

— Я помню, — проговорил он. — Тимолеон был таким же маленьким. Но пошумней.

— Тимолеон всегда был голосистым, — согласилась Диона. — Мариамна — себе на уме.

— Она — такая кроха, и ты уже все про нее знаешь?

— Матери всегда это знают.

Андрогей вел себя слегка высокомерно, как и все молодые мужчины, но уверенный тон матери сбил с него спесь. Он кивнул — все еще опасливо, но более спокойно. Дионе было бы трудно пережить его разочарование. Тимолеон обожал свою сестричку, но Тимолеон есть Тимолеон. Андрогея занимали совсем другие вещи, — в этом он чем-то напоминал отца.

Достаточно уже того, что он пришел и придет снова. Диона даже не ощущала, что в ее мире образовался островок пустоты, пока не появился Андрогей и не заполнил его. Он исправил то, что было неправильным. Теперь ее мир стал окончательно полным.

34

На целый год после рождения Мариамны Диона предоставила царицу ее войнам и политике, а сама осталась в Александрии. Раньше она никогда не позволяла себе этого, но сейчас вдруг стала Дионой, женой Луция Севилия, гаруспика, матерью Андрогея, Тимолеона и Мариамны, жрицей храма Исиды и голосом богини-матери Двух Земель.

Голос этот вовсе не безмолвствовал, но и не очень утруждал ее. Трудно сказать, сама ли она заслужила мир и покой, или его даровала ей богиня, но у нее было не больше забот, чем у любой женщины, занимавшейся домом. Оказалось, что это очень непривычно — и в то же время восхитительно, но на самом деле было чем-то вроде затишья перед грозой.

Несмотря на свое добровольное уединение и покой, она вовсе не оставалась равнодушной к событиям, происходившим своим чередом в огромном мире вне стен ее дома. Ум Антония по-прежнему занимала война с Парфией, но он все не решался на настоящее, реальное вторжение. Слухи утверждали, что Клеопатра снова на его стороне.

Но все это меркло по сравнению с другой, более грандиозной сплетней, тревожившей умы: Октавиан наконец-таки разобрался с Западом и готов заняться Востоком — и человеком, который правил им. Между триумвирами велась словесная война, происходил обмен двусмысленными любезностями, но неприязнь друг к другу никогда не принимала зримой формы явной ненависти. А теперь они уподобились соперникам в сатировских драмах[71], обменивавшимся ударами в ядовитых куплетах. Антоний — пьяница, Октавиан — азартный игрок и мот; Антоний — покупатель женщин, порочных и замужних; Октавиан — любовник многих дамочек на всех семи холмах Рима[72]; Антоний — настоящий бог, Дионис-Бромий и Лиэй[73]; Октавиан — плюгавый гриб-паразит на могучем древе своего великого дяди, чьим именем он творит бесчисленные преступления против Roma Dea. Антонию сопутствует удача, которая и привела его на ложе Клеопатры, сущего чудовища. Но удача Октавиана — само божество, рядом с ним сам демон удачи[74], и Антоний должен бояться его. На это Антоний насмешливо ответил, что он не нуждается в услугах низшего божества, когда на его стороне сама Исида на земле, готовая защитить и благословить его своим присутствием — под боком.

Так ссорятся дети. Однако когда эти дети — владыки мира, миру стоит встревожиться.

Но не только перепалки пугали Диону. Были и более дикие вещи: тень пророчества и антипророчества. По мнению одних, Антоний и Октавиан — были спасителями Рима, земель вокруг Внутреннего моря и всего мира, по мнению других — погубителями. Много лет назад сумасшедший претор[75] пел о женщине, которая приплывет с Востока, чтобы попрать Рим своей пятой; а теперь и сумасшедшие, и вполне нормальные люди распевали эту песню на улицах Рима, за что грозила смерть. Как и за чтение книги, где записано такое пророчество. На роль женщины, упомянутой в пророчестве, сторонники Октавиана избрали Клеопатру. Они называли ее Женщиной с Востока; Вдовой, убившей своего брата-царя; Покорительницей, Поводырем царей — последнее было насмешкой над титулом, который она приняла на себя во время триумфа Антония, — либо Хозяйкой царей, в зависимости от того, кто говорил. А Антоний был Львом. Супругом, Повелителем рабов; снова всплыл Геркулес — он будет править или разрушать, завоевывать или сам превратится в раба, станет богом или игрушкой в руках богов при разделе мира.

В своих письмах Клеопатра издевалась над трясинами маразма, засасывающими

сторонников Октавиана, или высотами абсурда, до которых они заставляли воспарять приверженцев самого Антония. И Диона не чувствовала никакого ужаса в ее веселых беспечных словах. «Единственное, что действительно имеет значение, что реально, — писала Клеопатра, — это власть. А власть в наших руках. Мы правим Востоком. Позволим римскому выскочке помечтать, что он правит Западом. Когда мой господин будет готов к войне, мечта эта благополучно умрет, и Рим узнает правду о том, каков Антоний».

По мнению Дионы, Антоний солдат и любитель удовольствий, он настолько близок к божеству — Дионису ли, Геркулесу ли, неважно, к какому, — что представляет собой достойную пару царице Египта. Но с Октавианом? Богиня не говорила об этом. Она хранила свои секреты, когда ей было удобно. А может быть, удача Октавиана ослепила даже мать Исиду.

Добрая ли эта удача, или худая, Диона ответить не смогла. Она в храме Исиды провела целых три ночи[76] — из-за боли в суставах, — но ей снились обычные глупости снов: Тимолеон женился и стал отцом ребенка, еще большего проказника, чем он сам; Мариамна превращала мужчин в овец и пасла их на холмах Аттики; Луций Севилий принес одну из них в жертву и прочел на ее печени поэму: нечто грандиозное о ребенке, музах и Золотом веке.

Возможно, это она виновата во всем, живя в счастье, покое и далеко от Греции, а значит, и от Клеопатры. Чем чаще она ходила в храм, тем сильней становились боли. Диона скрывала это от детей, которые, казалось, ничего не замечали. С Луцием Севилием дело обстояло намного сложней, но его можно было отвлечь поцелуями или новостями, касавшимися Мариамны: первым зубом, первыми шагами, первыми и совершенно не по возрасту ранними словами.

Кошка-богиня из Тарса, уже не первой молодости, но по-прежнему шустрая и способная рожать целые выводки котят, привела свой последний приплод в колыбельку Мариамны — трех лоснящихся гибких зверьков, подобных храмовым кошкам Египта, и еще одного малыша, странным образом как две капли воды напоминавшего ее саму. Этот котенок, еще до того, как у него раскрылись глазки, то и дело бодро подползал к подолу платья Дионы и при помощи крохотных коготков взбирался ей на плечо. Именно по этому случаю Мариамна, глядя, как мать пытается спастись от хотя и маленьких, но остреньких колючек на лапках котенка, мрачно и торжественно провозгласила:

— Кошка.

— Кошка, — согласилась Диона с вполне понятной гордостью.

Мариамна кивнула. Она была такой же спокойной, как младший сын Клеопатры, — но, в отличие от него, не имела привычки иногда сдерживать улыбку. И сейчас она улыбалась, а когда кошка-мать хвостом пощекотала ей нос, громко рассмеялась.

— Кошка, — повторила она. — Кошка. Кошка. Кошка.

Конечно, это был знак, но не особо примечательный. Мелкие знаки — обычное дело в такой семье. Котенок отказывался возвращаться к матери. Он требовал Диону: громко мяукал, всеми своими коготками, вцепившись в ее платье, потому что все еще не завладел ее плечом. Она вздохнула и сдалась. Котенок уже достаточно вырос — его можно было не кормить материнским молоком. Конечно, кошка не возражала, что ее дитя хочет служить Дионе. Возможно, она даже радовалась тому, что у нее появился преемник, который станет жить возле ее хозяйки.

Когда, много позже, Диона отправилась в город, котенок все еще сидел на ее плече, вцепившись в платье. Первое слово Мариамны было, как и полагалось, передано по всему

дому; и малышке приходилось повторять его, пока не услышали все слуги и оба ее брата, даже Андрогей во время своего очередного визита. Луций услышит его вечером, когда вернется домой. Его попросили преподавать в Мусейоне философию и кое-что из математики — к обеим наукам у него был истинный талант. Это было большой честью, но он предпочел бы ее еще большей чести исполнять капризы дочери и узнавать о ее успехах.

Такая мысль согревала Диону в ее леденящей тревоге. Казалось, нет причины ни для беспокойства, ни для страха. В городе было спокойно, тихо, тепло благодаря дыханию весны, мягко перетекавшей в лето. Она решила воспользоваться паланкином, но потом вдруг предпочла идти пешком с носильщиками — в качестве стражи — и Гебой — для компании. Проходя мимо ворот, она увидела Тимолеона — в гиматии, беззаботно поглядывающего по сторонам. Но от ее чуткого уха не укрылось учащенное дыхание сына: судя по всему, он услышал, что мать уходит, и выбежал из дому, чтобы якобы случайно оказаться у нее на пути.

В свои почти двадцать лет Тимолеон был необыкновенно красив — и слишком хорошо об этом знал, тем более что люди постоянно отпускали на его счет восхищенные замечания, куда бы он ни шел. Но это не особенно занимало его — мысли ее сына были поглощены совсем другим: прелестной гетерой, пирушками с вином, а еще он обожал дразнить старшего брата, и сам не без удовольствия подвергался его шутливым нападкам. В последнее время Тимолеон стал читать толстые книги довольно туманных и невыносимо скучных философов. «Это очень интересно, — заявлял он, опережая красноречивые взгляды. — Особенно когда они противоречат сами себе».

Но в тот момент вид у него был совсем не философствующий. Он казался решительным и — когда Диона не стала возражать против его присутствия — слегка ошеломленным.

— Так ты не собираешься отправить меня назад? — спросил он, когда они вместе пошли вниз по улице.

— Нет. А что, нужно?

Тимолеон наклонил голову, словно размышляя.

— Не думаю. Возможно, я тебе пригожусь.

— И что же, по-твоему, я собираюсь делать? — поинтересовалась Диона.

— То, в чем я могу тебе помочь, — ответил Тимолеон не моргнув глазом.

Луций заметил бы, что Тимолеон вполне освоил искусство своей матери быть совершенно и раздражающе непроницаемым — или тупым, смотря что требовалось. Диона пожала плечами и вздохнула.

— Может быть… В любом случае я рада твоему обществу.

Тимолеон склонил голову — изящно и милостиво, как царь, и они, в окружении своей охраны, пошли рядом сквозь толпы Александрии.

Отсутствие царицы мало отразилось на жизни этого величайшего из городов. Во дворце было тихо, его пиршественные залы опустели — пирушки прекратились, когда весь цвет двора перебрался кутить в другие места. А жизнь Александрии продолжалась своим чередом — как текла со времен основания ее Александром; гавань трудилась непрестанно, выплескивая в мир богатства Египта и впитывая богатства этого мира.

Так и будет всегда. Эта мысль поразила Диону неожиданной, непреложной ясностью. Что бы ни случилось с ними со всеми, Александрия останется. Она старше и величественнее любого человека. И живет своей собственной жизнью.

Своеобразный уют ощущался даже в самом центре города, у Семы, гробницы

Александра. Мертвый, он жил — теперь уже больше легенда, чем человек.

Стражники у ворот, хорошо знавшие Диону, поклонились, когда она прошла мимо них. На мгновение ей стало интересно: каково это — провести всю жизнь, охраняя мертвого в городе живых, оживленном и пестром. Наверное, для человека, лишенного воображения, это обычное, нетрудное дело — дверь, долг, люди, входящие и выходящие, чтобы взглянуть на царя, лежавшего в саркофаге из золота и хрусталя.

Так как Диона заранее не сообщила о своем прибытии, зал для нее не освободили. Повсюду были люди — входившие или шедшие к выходу, восторженно глазевшие на великого мертвеца или, наоборот, делавшие вид, что его застывший лик не произвел на них ни малейшего впечатления. Некоторые вели себя довольно шумно: они захватили с собой детей, которые носились по склепу и громко кричали и визжали. Котенок в страхе вцепился в плащ Дионы всеми своими коготками. В доме Дионы никто никогда не визжал — разве что однажды, когда Тимолеон решил испробовать на одном из ее новых слуг свою последнюю выдумку — и то бедняга быстро умолк.

Похоже, та же мысль пришла в голову и Тимолеону. Он огляделся по сторонам с едва заметной улыбкой, кривившей его губы.

— Мне велеть их прогнать?

«По крайней мере спросил, — подумала Диона. — Какой прогресс!» Но вслух сказала:

— Нет. Нет, пусть остаются. У них на это такое же право, как и у нас.

Тимолеон вскинул брови.

— Но мы — Лагиды. А они — чернь. Сброд.

— Я вижу, ты вырос заносчивым, — довольно мягко сказала Диона.

Тимолеон был задет, но засмеялся и скроил спокойную мину. Диона повела его и остальной свой эскорт к саркофагу. Толпа здесь была гуще всего: многие тянули шеи через плечи и головы друг друга, вставали на цыпочки, стараясь рассмотреть фигуру, лежащую под хрустальной крышкой.

Дионе не нужно было заглядывать в саркофаг. Она знала это лицо так же хорошо, как свое собственное; а может, и лучше еще, потому что ей приходилось видеть его не только в зеркале. Она давно уже гадала, каким он был при жизни. Конечно, не застывшей мумией с иссохшей, ввалившейся на костях плотью, — но живым, стремительным. Наверное, его энергия проявлялась даже в движениях: быстрый поворот головы, вспышка глаз, ясная, быстрая, четкая речь, о которой слагали легенды. Он никогда не был тихим и спокойным человеком — как и не был лишен страстей.

Теперь все это ушло. Все в прошлом. Здесь, в настоящем, была только скорлупа, пустая оболочка, утратившая душу — или души, как верят египтяне: «ка», бывшее прообразом тела, «ба», крылатый дух, и другие, низшие тени, которые дают человеку возможность жить. Большинство из них отправились туда, куда уходят все умершие — на цветущий Луг или в Элизиум греков. Может быть, «ба» Александра и осталось здесь, говорят, что такое бывает, — в образе быстрого сокола с головой человека, но Диона никогда его не видела. Может быть, толпы народа спугнули «ба», или Александр, сын Амона, сам почти бог, покидая этот мир, взял все души с собой и не оставил ничего, на что могли бы дивиться дети земли.

Диона пришла не говорить с ним. Если бы ей случилось родиться такой самонадеянной, она пришла бы сюда ночью, когда мертвые чувствуют себя наиболее легко и свободно, когда Сема пуста и ее ворота закрыты, охраняя тишину и уединение. Она пришла сюда при свете

дня, исполняя желание богини, и потому хотела понять не только лежащего в саркофаге, но и свою душу. Александр, царь Македонии, архонт[77] греков, царь Азии, фараон Египта, великий царь Персии, создал империю, но не оставил после себя наследника, обладавшего его силой и мощью, чтобы править так, как правил бы он. Когда он умирал, люди спросили: кто же теперь будет править? кому теперь принадлежит мир? Но он не оставил им в помощь ни единого слова, никакого намека, где можно искать такого правителя; просто пробормотал слово, которое могло означать либо «кратер»[78] — так звали одного из его полководцев, — либо *«kratistos»* — «сильнейший».

Конечно, удобней всего верить в «kratistos». Войны, разгоревшиеся после его смерти, длились почти целую жизнь мужчины и окончились тем, что империю растащили на лоскутки, крохотные и не слишком, а тело царя украл его друг, полководец — и, по слухам, его сводный брат. Он отвез тело в Египет, где оно и осталось. От этого самого полководца происходил род Клеопатры. А Диона была потомком человека, которого усыновил его брат.

Понемногу толпа возле саркофага поредела. Диона подошла к нему. Царь лежал в своей хрустальной тюрьме, блистая золотом доспехов, как лежал уже много-много лет.

— Что бы ты подумал о нас? — спросила его Диона. — О тех, кто правит там, где когда-то правил ты? Что бы ты сказал о нашей царице, эллинке до мозга костей, которая видит и мыслит себя царицей Египта и хочет стать царицей всех покоренных земель? Ты восхищался бы ею или нашел бы достойной осуждения?

— Она пришлась бы ему по душе, — сказал Тимолеон, и Диона вздрогнула от неожиданности, совсем позабыв, что с нею был кто-то еще. — Ему нравилась бравада; он понимал женщин, ставших царицами. Мать его была именно такой.

— Его мать была мегерой. И бой-бабой.

— Клеопатра такая же. Она амазонка, боец. И я обожаю ее за это. Она… она грандиозна.

— Да уж, — иронично сказала Диона. Тимолеон оказал ей хорошую услугу: вернул на землю, к себе самой, и прочистил мозги. Она положила руки на саркофаг. Хрусталь был прохладным, почти холодным. На нем обитала, шевелилась жизнь: мысли, воспоминания, видения людей, которые приходили сюда и уходили отсюда все эти долгие триста лет. Ей стало бы дурно, позволь она всем этим жизням войти в ее душу и мозг. Она успокоила их словом и жестом: движением руки вдоль мерцавшего камня.

На нее смотрела толпа. Диона изгнала этих людей из своего сознания. Кто-то должен объяснить им, кто она такая; а может, и не нужно… Ее дюжие стражники внушали опасение и могли предотвратить любые неприятные инциденты; кроме того, рядом был Тимолеон. Неожиданно он оказался замечательным защитником: его белозубая улыбка разила наповал с не меньшим успехом, чем кинжал — если бы он висел у него на поясе.

— Скажи мне, — обратилась Диона к мужчине, лежавшему в хрустале. — Почему я не могу быть просто счастливой? Что заставляет меня постоянно волноваться, ходить туда-сюда и высматривать знаки в тенях стен?

— Не стоит спрашивать об этом его, — вставил Тимолеон. — Ты сама и заставляешь. Ты боишься, что кто-то у тебя отнимет все это.

— Нет, — возразила Диона. — Есть что-то еще. Богиня хочет, чтобы я была здесь. Зачем?

— Чтобы увидеть, — быстро ответил Тимолеон. — И понять.

— Что? Что Александр мертв? Что Антоний — не Александр? Что его преемницей

могла бы стать Клеопатра, но среди всех женщин на свете ни одна не согласится принять на себя такую роль?

— Ты все это знаешь уже много лет, — спокойно произнес ее сын. — Возможно, ты должна понять, что сейчас царица держит в руках весь мир и не упустит его, пока жива.

Диона содрогнулась.

— «Помни, — проговорила она, — что и ты смертен».

Краешком глаза она заметила, что Тимолеон кивнул, и услышала чистый молодой мужской голос, в котором было нечто — больше, чем просто нечто — от богини.

— Гордыня. Гордость, которая раздражает богов.

— Но они сами — боги.

— Как и он. — Тимолеон положил руку на саркофаг рядом с рукой матери. Обе руки были очень похожи: одна — совершенно гладкая, юная, другая — уже с первыми признаками времени; это было сродни маленькой смерти, намеком на то, к чему идут все мужчины и женщины, бредущие по дороге жизни.

— Даже боги смертны, — сказала Диона.

— Конечно, — согласился Тимолеон. — Они должны дать место тем, кто придет после них.

Диона перевела взгляд с сына, так похожего на нее, на крохотного котенка, пристроившегося в складках плаща — он был образом и подобием своей матери.

— Но не до конца… — Она пыталась заставить Тимолеона понять. — Все меняется. Иногда большое становится меньше, как сказали бы поэты.

— Но они действительно разные. Ты хотела бы Александра вместо Клеопатры?

— Нет. Вовсе нет.

Тимолеон кивнул так, словно говорить больше было не о чем. Но… — это не выразить словами. И Диона снова перевела взгляд — на сей раз на хрусталь между их рук. Там шевелились тени, силуэты, едва различимые образы и видения: почти невидимые, непонятные. Лицо Клеопатры под короной из золота. Антоний в доспехах; лицо скрыто в тени, но не остается никаких сомнений, что это он, его ширь плеч и упругая сталь тела. Корабли в море. Ревущее пламя. Легионеры; плащи цвета крови. Человек в белом — на нем тога, ошибки быть не может, как не может она скрыть неловкости его движений, их вымученное, несуществующее достоинство. Мужчина был молодым, щуплым, с длинной шеей, словно у птицы; рот крепко сжат, глаза прищурены, словно он подсчитывал каждый обол в кошельке.

Казалось, он взглянул ей в лицо и нахмурился, озадаченный и раздраженный тем, что за ним шпионят. Диона глазом не моргнула: ей нужно было разглядеть его целиком. Но он был слишком умен для нее, или, может, для богини, которая дала ей глаза, чтобы видеть. Мужчина накинул край тоги на голову, спрятав лицо, и растворился в общем белом пятне одежды и света — отблеска светильника на панцире Александра.

Но он не сумел скрыть своего имени. Гай Юлий Цезарь Октавиан. Цезарь Октавиан. Наследник Цезаря. Нет, только не он…

Диона заморгала. Мир снова обрел резкость. Страх ушел, но на душе стало беспокойнее, чем всегда. Однако теперь она знала причину.

— Мне пора, — сказала она.

Ее стража развернулась к дверям.

— Домой? — спросил Тимолеон.

— Нет. Или… да. Сначала домой. А потом я должна ехать.

— К Клеопатре?

Диона встретилась с глазами сына, раскрытыми шире, чем обычно; взгляд его был мрачен.

— Да.

— А потом?

— А потом, — промолвила Диона, — будет то, что угодно богине.

35

Вернувшись из Семы, Диона обнаружила, что дома все по-прежнему, а Луций до сих пор в городе. Мариамна уже проснулась и звала брата. Тимолеону, преданному ее рабу, пришлось выполнить требование сестренки, а именно: поучить ее ходить. Малышка держалась за пальцы его вытянутой руки и шажок за шажком приближалась к гостеприимным коленям брата, по-видимому, думая, что это замечательная игра.

Мысли Дионы приняли другое направление — но не окончательное. Кое-чем можно было заняться прямо сейчас: сборами, знакомыми по предыдущим отъездам, но уже подзабывшимся. Она начала складывать вещи, но вскоре бросила, борясь с желанием махнуть на все рукой и продолжить жить по-прежнему. Скорее всего, Диона просто трусила… И тогда она заперлась в своем кабинете, погрузилась в счета и долго не выходила оттуда.

Луций Севилий, вернувшись чуть позже обычного и чувствуя себя виноватым, обнаружил, что в доме все вверх дном. Чувство вины помешало ему спросить, чем все так заняты, почему хлопочут. Он только с огромным облегчением заключил, что у детей все в порядке. Может, он забыл, что к ужину ждут гостей? Но в трапезной было темно, а в его кабинете был накрыт стол к ужину — как всегда, когда гостей не ожидалось. Диона была чем-то занята. Лучше думать, что жена дуется на него за то, что он предпочел ее обществу споры с философами.

Виновный или невиноватый, но Луций был голоден. Он съел превосходный ужин, который принес его раб Гай, выпил вина — цекубского, из новой, недавно приплывшей партии. Вино было превосходным и довольно крепким. Встав, он сразу же понял это и пожалел, что не разбавил его больше, чем обычно.

Он не был навеселе. И у него достанет храбрости, чтобы встретить гнев жены. Успокаивая себя таким образом, он пошел на ее поиски.

Найдя жену, Луций чуть не рассмеялся. Столько волнений — а она просто позабыла о времени из-за очередной атаки на счета. Она ушла в них с головой, склонившись над столом с восковыми табличками. Повсюду лежали свитки папируса. Луций стал пробираться между ними. Довольно шумно, но Диона, казалось, не замечала его.

На свободном месте — недосягаемом для нее — он остановился. Жена сделала пометку на табличке, надавив на воск стилем[79] — быстрое сердитое движение, совершенно характерное для Дионы, когда она имела дело с финансами. После паузы она взяла кисточку, обмакнула ее в чернила[80] и сделала более подробную и спокойную запись на свитке, лежавшем перед ней. На щеке ее он увидел чернильное пятно; волосы выбились из прически — узла замужней женщины. Сейчас она казалась не старше царевны Селены.

Покончив с кисточкой, Диона отложила ее в сторону и снова вернулась к табличке. Луций украдкой потянулся к одной из шпилек, державших ее волосы. Шпилька выскользнула наружу: волосы рассыпались по плечам и спине.

Она обернулась быстро, как кошка. Выражение ее лица было ошеломленным и явно сердитым.

Луций усмехнулся, совершенно не раскаиваясь.

— Добрый вечер, госпожа, — произнес он.

Диона моментально скрыла все эмоции под маской своего обычного спокойствия. Но, как всегда, было в жене нечто неуловимое, неизменно наполнявшее его сочувствием к ней.

— Я уезжаю, — сказала она. Ни приветствия, ни вопросов о поводе или причине его опоздания — просто обыденное сообщение.

В такой ситуации разумнее всего было сохранить самообладание, и Луций невозмутимо поинтересовался:

— Мы уезжаем? Когда?

— Я уезжаю. Как только смогу найти, на чем плыть.

— Куда?

— Куда угодно — за царицей. Скорее всего, в Грецию. В Афины.

— Она тебя позвала?

Диона покачала головой. Она дрожала и казалась маленькой и замерзшей, и все же была так рассержена, что он не осмелился коснуться ее.

— Богиня… — голос Луция был ровным. — Опять она вспомнила о тебе. Неплохо было бы ей вспомнить еще и о том, что ты — не вьючное животное и не пехотинец, которые должны плестись туда, куда погонит их ее прихоть.

— Но я — ее суть и творение. Я должна ехать.

— Но почему сейчас? Из-за чего такая спешка? — Он одновременно требовал ответа и возражал. — Что произошло?

Луций был слишком настойчив и понял это сразу же, как только заговорил; он слишком сильно давил на нее. Но ведь по-своему он прав… Однако Диона замкнулась в себе и заговорила натянутым тоном.

— Ничего. Ничего не произошло. Просто мне придется ехать.

— Но должна же быть причина…

— Мне придется ехать, — повторила жена. Луций еще никогда не видел ее такой сердитой и строптивой. «Похоже, она ищет ссоры», — подумал он.

Но он будет выше этого — по крайней мере, попытается.

— Ну, если причины нет, то почему бы не подождать, пока она появится. — Он тяжело вздохнул, пытаясь успокоиться. — Твоя богиня так долго не тревожила тебя, оставляла одну. Пусть и дальше продолжает в том же духе.

Диона покачала головой.

— Я поеду. А ты останешься. Тебе нет необходимости уезжать. Здесь ты счастлив. А если не хочешь, отправляйся в Рим. Это не имеет значения. Я должна ехать к царице.

— Глупости! — Луций хотел разрядить обстановку, но даже ему самому собственный тон казался слишком суровым, как у отца, распекающего капризного ребенка. — Давай-ка поговорим. Что-то произошло, так ведь? У тебя было видение? Или ты чувствуешь себя виноватой из-за того, что ты дома и счастлива, а царица в Греции? Она тоже там счастлива, я уверен. С ней рядом Антоний; и она держит в руках весь мир.

— Ты совсем не понимаешь меня. — Диона рывком вскочила на ноги. Луций преградил ей дорогу.

— Сначала объясни мне, почему ты хочешь ссоры.

— Я не хочу ссоры. Я хочу поужинать. А потом я хочу поспать. А наутро я хочу найти корабль, который отвезет меня в Грецию.

— Ты не хочешь плыть в Грецию, — возразил он. — Оставайся-ка в Александрии. Царица сама тебя позовет, если в этом будет нужда. Тогда ты отправишься в путь, ясно

понимая зачем, и на одном из ее кораблей, что тоже немаловажно.

— Дай мне пройти, — тихо и твердо сказала она.

— Диона, — взмолился Луций. — Не будь смешной. Это из-за Аполлония? Он наконец заявился к тебе с разносом — за то, что ты вышла замуж за чужеземца?

— А ты такой же, как он, — враждебно сказала она, и он похолодел. — Ты хочешь, чтобы я осталась здесь, прислуживала тебе и забыла мою царицу и мою богиню. Ты разведешься со мной, если я поеду? Попытаешься отнять у меня детей?

— Диона! — Боль в голосе мужа поразила ее; она отшатнулась. Луций воспользовался этой маленькой победой: — Диона, моя дорогая, любимая жена, я никогда с тобой не разведусь за то, что ты — это ты. Я просто оспариваю внезапность твоего решения, удивляюсь ему, хочу понять его причину. От чего ты бежишь?

— К чему, — поправила его она. — Я бегу не «от», а «к». Перестань быть таким чертовски рассудительным.

— Но кто-то из нас должен быть благоразумным?.. — Его терпение подходило к концу. Он уже почти не отдавал себе отчета в своих словах и в том, какой вред они принесут. — Почему ты набрасываешься на меня? Что я тебе сделал?

— Я вовсе не набрасываюсь на тебя. Это ты отказываешься верить тому, что я вынуждена ехать.

— Я верю. Просто хочу знать почему.

— Потому что я должна.

— Это не причина.

— А больше ты ничего не услышишь. — Она сделала шаг к двери. — Дай пройти.

Через мгновение Луций отступил в сторону. Если бы Диона попыталась проложить дорогу силой, он мог потерять самообладание и, возможно, даже ударить ее. Он никогда не бил женщину. И не собирался делать это сейчас.

Диона, проходя мимо, задела его плечом, и он спросил:

— Ну, почему? Чем я заслужил такое?

Диона промолчала. Ей совсем не хотелось ссориться, да еще без причины, но в таком состоянии духа, как сейчас, она не была еще никогда — даже в тот день, когда пренебрегла угрозой Аполлония развестись с ней. Казалось, что в нее вселился демон: дух злобной, чужой, враждебной ей воли. Уставившись на ее мужа — любимого мужа, которого она любила больше всех мужчин на свете, демон шептал:

«Римлянин. Чужестранец. Чужой всему, что есть Египет».

Нужно вернуться назад, пока она еще здесь, попросить прощения, сделать так, чтобы они опять стали одним целым. Но это было невозможно. Она зашла слишком далеко, прежде чем одумалась и поняла, что творит. И она вышла из кабинета, добрела до спальни и заперла за собой дверь. У мужа есть собственная спальня, — правда, он никогда не пользовался ею — так пусть обновит ее сегодня ночью. Ей же нужно успокоиться и справиться с демоном, подчинить его, изгнать, пока он не натворил дел похуже.

Луций Севилий приказывал ей остаться в Александрии. Он просто хотел ее урезонить — вот и все. Обычно она и сама могла себя урезонить…

Но не сегодня вечером. Рассудок говорил, что она должна взять на корабль их всех — даже малышку — и плыть в Грецию с ними. Клеопатра будет очень рада ей. Антоний придет в восторг, снова увидев старинного приятеля Луция. Тимолеон получил передышку от своих

дружков по симпосиям. Можно превратить эту поездку в познавательное путешествие по островам Греции с главным пунктом остановки в Афинах.

Но Диона не могла заставить себя сделать это. Темный демон, поселившийся внутри, хотел, чтобы она была там, где Клеопатра. Его не заботило, какой ценой, кому это причинит вред — только побыстрее.

Если она отправится одна, то сможет найти себе каюту на первом же судне, которое возьмется довезти ее, и окажется в Афинах уже через несколько дней. Обремененной мужем, детьми, слугами, выводком женщин, обитавших в доме, ей придется ждать неделями, прежде чем найдется корабль, и еще пройдут недели, пока все они погрузятся на него.

А Луций Севилий вовсе не хочет ехать. Он осел в Александрии. Ему здесь уютно. Мужа раздражает, что его хотят сорвать с насиженного места из-за каприза женщины — несмотря на все протесты, именно так он наверняка и думает. Наверняка. Она видела его насквозь — как хрусталь саркофага Александра.

Если она сейчас поссорится с мужем, отшвырнет его от себя, ей гораздо легче будет покинуть его, оставить здесь, пока она будет выполнять волю богини. Вот почему сегодня она так ошеломила его, вот почему плеснула свой гнев, когда Луций Севилий имел все основания ожидать любви.

«Все к лучшему», — говорила она себе. Муж не желает, чтобы его таскали по всей Греции, как шлейф Клеопатры. Что ж, он может остаться здесь, преподавать в Мусейоне, смотреть, как Мариамна вырастает из младенческого возраста и вступает в пору раннего детства. Она спокойно оставит ее с ним — а когда-то ей даже в голову не приходило поручить Тимолеона заботам Аполлония.

Одна… Она останется одна на всем белом свете — только со своей богиней и царицей.

— Но почему? — спросила она вслух.

— Почему? — повторил мужской голос.

Диона вскрикнула от неожиданности. Сердце набатом застучало в ушах. До чего же она тупа — не подумала о том, что ее комнаты выходят в сад. Дверь в сад никогда не запиралась, просто плотно прикрывалась.

Луций стоял возле этой двери. На нем была греческая туника, но он казался совершенным и законченным римлянином; темные брови срослись над прямым римским носом.

— Зачем ты так мучаешь себя? — потребовал он ответа.

— Уходи.

— Нет! Нет — пока ты не придешь в себя и не начнешь понимать, что делаешь. Ты пытаешься избавиться от меня. Почему? Этого не должен знать римлянин?

— Нет!

— Тогда что же?

Диона повернулась к мужу спиной. Она не испытывала к нему ненависти, нет, она не смогла бы — никогда, но… ох… если бы он только ушел…

— Мне нужно побыть одной.

— Нет, не нужно. Этого тебе не нужно. У тебя есть я. У тебя есть дети. У тебя есть родные и дом. Какое сумасшествие тебя одолело? Почему ты хочешь отказаться от всего этого ради минутного порыва.

Диона с облегчением ухватилась за его слова.

— Сумасшествие? Да, я сошла с ума. Я во власти богини.

— Это слишком простое объяснение.

Она вздрогнула.

— Ты можешь это остановить?

— Я не могу тебе помочь, — сказал он. — Ты не позволишь мне. Ты хочешь склоки — одна Юнона[81] знает почему.

— Потому что… — Дионе казалось, словно она камнем падает вниз. — Потому что я не могу… позволить…

— Потому что ты не можешь позволить мне быть не таким, как Аполлоний? Так каким же я должен быть? Какую роль должен играть? Роль человека, вынужденного развестись с тобой, чтобы ты могла служить своей царице?

— Нет, — отрезала она, неожиданно возвратившись к самой себе, на землю, на которой ноги ее стояли твердо, а нрав был в узде. — Я не могу позволить, чтобы тебя убили. Или заставили предать Roma Dea.

«Это правда», — подумала она. У нее опять закружилась голова. Правда была болью, и когда она наконец вскрылась, стало еще хуже.

Луций не казался ни ошеломленным, ни встревоженным.

— Итак, все идет к этому. Антоний и Октавиан, я полагаю? Парфия всегда была побочным делом, что бы там ни думал Антоний. Настоящая война шла между двумя римлянами.

— И Клеопатрой, — добавила Диона.

— Клеопатрой, бывшей любовницей Цезаря, которая родила единственного ныне живущего сына Цезаря.

Губы Дионы сжались. Она не испытывала облегчения от того, что муж слишком быстро все понял — и так исчерпывающе. Не желала она, чтобы он ее понимал. Пусть бы он поссорился с ней, даже порвал с ней, но остался живым и невредимым в безопасной Александрии, а она тем временем поплывет в Афины.

— Какая же это безопасность, — спросил он, прочтя ее мысли, как иногда случалось, — если Антоний проиграет, а Октавиан обнаружит меня здесь, перешедшего на сторону врага?

— В Александрии риск погибнуть меньше, чем в армии Антония — сражаясь против Октавиана.

Луций покачал головой.

— Война — дело чести мужчин, и мужчинам-воинам многое прощается.

— Иногда.

— Чаще — да, чем нет. Особенно если сражаются римляне сенаторского ранга. Я доказал свою неблагонадежность уж тем, что надолго застрял на Востоке и женился на тебе. Очень рискую, если Октавиан явится сюда, шагая по телам убитых.

— Не говори так, — быстро сказала Диона. — Он не явится. Антоний победит. И Клеопатра. Но война приближается, я чувствую. И не хочу, чтобы ты в ней участвовал.

— А это не тебе выбирать!

Она снова метнула в него разъяренный взгляд, перестав заботиться о том, что это может привести к ссоре.

— Я могу попробовать.

— Ты уже потерпела неудачу.

— Тупой римлянин!

— Упрямая, твердолобая эллинка. Клянусь Поллуксом[82], женщина, ты сводишь меня с

ума!

— А мне наплевать! Зато благодаря моей магии ты будешь в безопасности.

— Я сам решу, что безопасно, что — нет.

— У тебя ничего не получится.

— Я… — Луций неожиданно умолк. — Боги! Мы ведем себя как пара подравшихся ребятишек.

Диона отказывалась смеяться. Ее ничем не подкупишь и не собьешь с пути.

— Я хочу, чтобы ты остался здесь, — сказала она, может быть, немножко жалобно, ну и пусть, лишь бы он уступил.

— Значит, я останусь здесь, наслаждаясь безопасностью, а ты тем временем будешь смотреть в лицо войне в Элладе?

— Ты должен остаться дома и оберегать детей, пока я буду делать то, что велит моя богиня.

Луций упрямо покачал головой — такой же упрямой иногда бывала и она сама.

— Первейший долг матери — оберегать своего самого младшего ребенка и остальных детей, а долг мужа — охранять жену. Если ты не можешь остаться, значит, и я не могу.

— Но дети…

— Тимолеон — уже взрослый мужчина. Мариамна… — Он умолк, и Диона уже почти надеялась, что он готов сдаться, но муж просто искал нужные слова. — Мариамне, несомненно, нужна мать, но у нее есть кормилица и брат — братья — они позаботятся о ней.

— Отец справится лучше.

— Он не может. Так же, как и мать.

— Но я действительно не могу! — воскликнула Диона с растущим отчаянием. — Не могу я взять Мариамну с собой — там вот-вот разразится война.

— Тогда оставь ее с братьями или пошли в храм. Ее кормилица — жрица; она и так уже наполовину их дочь.

Диона затрясла головой, раздираемая болью и гнетом воли богини.

— Не могу… я хочу…

Одним прыжком Луций оказался возле жены, и в следующую секунду она уже была в его объятиях.

Диона пыталась высвободиться, однако муж был слишком силен, и она сдалась, но тело ее оставалось напряженным, отказываясь ответить на его чувство, оттаять в любящих объятиях. Казалось, Луций не замечал этого. Его руки блуждали по ее спине, разыскивая узлы и пряжки и благополучно развязывая и расстегивая их.

— Любимая, — прошептал он, зарываясь в ее волосы. — О, моя любимая. Кажется, я почти ненавижу твою богиню за то, что она с тобой делает.

— Ей все равно. Ведь она — богиня.

— Прекрасно. Тогда она не покарает меня за такие слова.

Диона откинула голову назад и пристально смотрела на него. Луций ответил ей довольно мрачным взглядом.

— Хотелось бы, чтобы с тобой было не так трудно спорить, — сказала она.

— Я просто не мшу удержаться. — В его голосе не прозвучало ни извинения, ни сожаления. — Утром я найду для нас корабль. Один из приближенных Антония через пару дней должен возвращаться в Грецию. Он возьмет нас на борт. Нам очень пригодятся и твой

ранг, и мои сенаторские привилегии.

— Вряд ли… — начала Диона. — Я не… не так быстро…

Она противоречила сама себе и понимала это — как и он. Но муж сделал вид, что ничего не заметил, разве что слегка приподнял брови.

— Мы еще побудем с детьми — до отплытия. У них все будет в порядке. Наверное, все-таки Мариамну лучше отправить в храм. Для тебя они потрудились на славу — почему с ней должно быть иначе? А Тимолеон наконец займется делом. Наступило время, когда он должен почувствовать вкус ответственности.

— Как разумно, — съязвила она. — Как рассудительно. Я тебя ненавижу.

Уголок его губ нервно дернулся.

— Ни одной женщине не нравится, когда мужчина проявляет благоразумие. Это бывает так редко — и всегда застает ее врасплох.

— Ох! — Диона с трудом сдерживала смех, хотя еще сердилась. — О боги, да ты просто невозможен.

— Нет, — возразил он. — Это ты невозможна. Но я люблю тебя. И мне почему-то пришла в голову забавная мысль: получилось бы замечательное приключение для нас двоих, если бы мы были юными новобрачными.

Она тоже подумала об этом и ужаснулась. И когда начнется война… если начнется… и он погибнет…

— Попозже, — прошептал он. — Время для страха придет позже. А сейчас время для любви.

Диона попыталась сказать «нет». Но он был слишком сильным. И в сердце своем она, наверное, тоже была такой, когда, вопреки здравому смыслу, вещим мыслям и мрачным предвидениям, вдруг запела.

36

В Афинах Антоний и Клеопатра находились на вершине земной славы. Страхи Дионы казались теперь далекими тенями, смутными воспоминаниями, подобными снам. Ее тепло и радостно встретили, прекрасно разместили, и она вдруг обнаружила, что стала объектом вежливых и не очень вежливых шуток и насмешек тех, кто думал, что очень хорошо понимает, почему так неожиданно объявилась в тылу подруга и родственница царицы, с мужем и без детей. Антоний считал, что до этого они просто не хотели принимать на себя обузу скучной службы. Так же считала нужным думать и Клеопатра.

Ходил слух, что царице была отвратительна сама мысль поселиться в Афинах, в том же самом доме, куда Антоний привез Октавию и где они жили несколько лет как муж и жена. Но на самом деле все видели, как Клеопатра взяла верх над неприятными воспоминаниями. Редкий афинянин вспоминал теперь римлянку — царица Египта полностью вытеснила ее. Это была победа; настоящий триумф. Клеопатра, царица и богиня, правила Афинами так же, как правила Александрией — силой ума и богатства. Афины, подобно Александрии, хорошо знали власть интеллекта — или тешили себя мыслью, что знали.

Диона никогда не бывала в этом городе, который так много мнил о себе. Он был древним — но моложе Мемфиса и Фив; красивым, но Александрия, праздничная, оживленная, была ей милей. Этот город был гордым — но таковы все великие города. Претензия называться городом ума и мудрости из-за того, что он назван в честь девы-богини[83], поразила Диону как грандиозный и забавный абсурд.

Луций смеялся и называл ее неизлечимой александрийкой. Он полюбил Афины; полюбил карабкаться по холмам Акрополя и бродить вдоль храмов, блуждать по улочкам нижнего города; любил он и походы в порт Пирей, гавань — окно Афин в мир. Освобожденный от забот о семье и доме и обязанностей в Мусейоне, он представлялся совсем другим человеком, которого, как ей иногда казалось, она едва знала. Наверное, таким был юный Луций, изучавший философию в достопочтенных садах Академа — улыбался даже чаще, чем говорил, и находил все новые и новые места, чтобы удовлетворять свое любопытство и страсть к прогулкам.

Диона нечасто ходила вместе с ним. Жены в Афинах сидят по домам, а на улицу выходят только в случае крайней необходимости. Также, по слухам, жили парфянки — практически взаперти, — и честь и привилегию видеть их имели лишь мужья. Только женщины менее уважаемого слоя — гетеры — могли ходить по улицам так, как ходили женщины всех сословий в Египте.

Клеопатра, будучи царицей, вела себя как вздумается. Диона царицей не была. Жены почтенных горожан принимали ее — но недвусмысленно намекали, что ждут от нее поведения, подобного их поведению. Ей следовало жить так, как живут они: в четырех стенах — неважно, в стенах ли их домов или повозок и паланкинов. Жительницы Афин были неизменно, одинаково скучными, необразованными и неначитанными, сосредоточенными только на мужьях, детях и маленьких семейных неурядицах, с плавной скукой перетекавших в грандиозные скандалы. Мужья-афинцы — эрудиты, умные, сообразительные и мудрые — в присутствии Дионы чувствовали себя неуютно. Она была слишком явно уважаемой женщиной и чересчур образованной[84]. Это смущало их, они не знали, как ее воспринимать, и в общем-то не одобряли.

Диона не могла никому пожаловаться — и меньше всего Луцию Севилию. Он думал, что жена осознанно сделала такой выбор: предоставила ему возможность ходить куда захочется, а сама сидела в своей комнате на вилле, которую нашел для них Антоний. Разумеется, иногда ей приходилось посещать царицу. Она решила, что вынесет свое затворничество: не станет портить мужу удовольствие. Кроме того, гордость не позволяла ей жаловаться. Диона радовалась, что по крайней мере Луций счастлив: казалось, здесь он был счастливее, чем в Александрии.

Она словно отражала его счастье: улыбалась, очаровывала мужа, ходила туда, куда ей дозволялось ходить, и ждала воли богини — та снова умолкла, сразу же как только Диона приплыла в Афины; словно это было ее единственным желанием.

Ни одна тень не омрачала сияния славы владыки римлян и его египетской царицы. Казалось, им суждена блестящая судьба. Сам Рим, или большая часть властей предержащих, прибыл, чтобы прислуживать Антонию: добрая половина сената и даже два консула, которым по закону принадлежали право и власть править Римом. Они всегда были сторонниками Антония, и выбор их был сделан за много лет до того, как триумвиры поделили империю и ее высшие должности, но это никого не волновало. Значение имело только то, что они здесь, в Афинах, в лагере Антония. Город кишел сенаторскими тогами. Греция, до сих пор не видевшая консулов во всем величии власти, теперь смотрела, как этих благородных римлян сопровождает почетный эскорт ликторов с фасциями[85]. Топорики, воткнутые в пучок прутьев, сами по себе являлись несерьезным оружием, но символом были мощным — символом самого Рима.

Триумф Антония в Александрии был овеян славой и легендами о его блеске и роскоши. Приезд римской знати, отрезвляюще-аскетичной по сравнению с восточной пышностью двора царицы, был, тем не менее, более утонченной победой. И последствия были весьма глубокими: римский сенат разделился, и половина его двинулась на Восток и осела там.

Ничего подобного раньше не случалось. Октавиан оставил за собой Рим, но не был уверен в том, что оставшиеся на Востоке сенаторы — его сторонники, или хотя бы не сторонники Антония.

Антоний мог бы взять Рим; сенаторы побуждали его подумать над этим. Но он никогда не предпринимал шагов, к которым не был готов, и редко думал в спешке. В Афинах ему было удобно. Он строил флот, обучал армию и развлекал своих гостей с грандиозным размахом.

Диона говорила себе, что именно это богиня и послала ее увидеть. Рим упал к ногам Антония. Нужно всего лишь объявить об этом на Форуме — и Рим будет принадлежать ему.

Ему — и Клеопатре, как только они избавятся от Октавиана. Мысль об Октавиане была источником постоянного раздражения. На пирушках Антония считалось проявлением хорошего тона поднять кубок за племянника Цезаря и пожелать ему счастливо проводить время среди теней в преисподней; или высмеять его чопорные натянутые манеры и тайные выходки. Все знали — или громко провозглашали, будто знают, — что будут делать, когда Октавиан падет и они опять станут хозяевами в Риме.

В зените ослепительной славы, перед лицом сливок сената и двух консулов, Антоний провозгласил конец своему союзу с Октавианом. Он развелся с сестрой Октавиана, и та больше не называлась его женой и супругой божества. Клеопатры с ним в тот момент не было: процедура развода проходила в присутствии сената, в зале, приготовленной для него афинянами. Царица хорошо понимала, что лучше не сыпать соль на раны; ведь здесь она не

была всеобщей любимицей — даже та часть Рима, которая прибыла служить Антонию, не особенно жаловала ее.

— Конечно, это было неизбежно, — сказала она Дионе, пока мужчины находились на своем сборище. Луций Севилий, естественно, был в числе своих приятелей-сенаторов; Диона гадала, был ли он удивлен или уже давно ждал этого, как и она.

Клеопатра продолжала, не замечая ее рассеянности:

— Раз Октавиан ведет себя с такой неприкрытой враждебностью, этот брак, мягко говоря, уже не нужен. Я не мшу винить своего господина за то, что он так долго тянул с разводом. В конце концов, их брак поддерживал мир.

Диона изучающе посмотрела на Клеопатру из-под полуопущенных ресниц.

— А ты, между прочим, пыталась прибегнуть к помощи великой, опасной магии, к демоническим силам, чтобы погубить свою соперницу.

— Это было до того, как я полностью обрела уверенность в своем положении, — спокойно ответила Клеопатра без тени вины или стыда. — Антоний — мой. А сегодняшнее его заявление — для посторонних ушей, для общества. Я же знала это много лет назад.

«Достаточно правдиво», — подумала Диона.

— Так ты, наконец, простила его.

— Нет, — сказала Клеопатра, все так же бесстрастно и почти непримиримо. — Я не прощаю. Я выигрываю свои войны. И предпочитаю побеждать изящно.

— Итак, теперь ты его единственная жена.

— И навсегда останусь ею, пока мы не умрем.

Диона нутром, холодком, пробежавшим по коже, ощутила правоту ее слов.

Луций Севилий, гаруспик, сидел на пирушке сенаторов. Более трехсот лож были расставлены в огромной зале — она могла бы вместить одновременно несколько разных пирушек, не мешающих друг другу. Ложа, расположенные по кругу, соприкасались со следующим кругом, и в каждом были свои слуги, музыканты, танцоры или более экзотические увеселения. Отмечали конец брака-альянса Антония и начало нового Рима, находившегося сейчас и на холмах Акрополя, и на семи холмах самого Рима.

Антоний все еще называл себя триумвиром, хотя Лепид был изгнан, а Октавиан сам сложил с себя титул. Но это было фиговым листком, покровом, наброшенным на правду, как и встреча с сенатом и декрет по надлежащей форме.

Правда же заключалась в том, что Антоний теперь — не римлянин. Он не привел Клеопатру на пир, как и на заседание сената, но ее присутствие ощущалось всеми почти зримо. По римским законам, она не считалась его женой, но фактически являлась супругой царя, царицей. А Антоний — во всем, кроме титула — был царем.

С ложа Луция был виден круг лож, где главенствовал Антоний, и он сам на почетном месте. В сенате его увенчали лавровым венком; он носил его до сих пор, хотя листья уже начали осыпаться. Тога соскользнула с его плеча, но он не обращал на это внимания, больше не заботясь о достойном виде, разгоряченный и расслабленный вином и хорошей компанией друзей. Он рассмеялся чьим-то словам — громкий довольный хохот с отголосками львиного рыка перекрыл все голоса.

Окружавшие его вели себя очень шумно и хохотали громче всех. Это было неудивительно для людей, знавших Антония. Он умел заставить мужчин смеяться — и любить его.

Луций, наоборот, сидел в компании самых тихих и спокойных младших по возрасту сенаторов, отличавшихся склонностью к философии, он не поддерживал общего разговора, наблюдая за пирующим Антонием, как наблюдал за ним в течение долгих лет: во время войн и мира, в Греции, Азии, Александрии. Даже в Риме — давным-давно…

Антоний справлялся с годами отлично — как и с вином, которое обильно вливал внутрь. С тех пор как он впервые призвал царицу в Тарс, тело его чуть-чуть располнело, а волосы немного поредели и посветлели. Вино было крепковато для него: он смеялся громче и жестикулировал энергичней, чем обычно. Да, Антоний по-прежнему красив, силен и, несомненно, лидер среди мужчин.

Сердце Луция слегка забилось и сжалось. Здесь находилась добрая половина Сената Рима. Здесь были консулы — во всей своей славе. Здесь был Антоний, к ногам которого они сложили свои почести и преданность — или по крайней мере страх.

Но здесь — не Рим. Эти стены, эта земля были Афинами — Грецией. Воздух казался странным, чужим, а силы, гнавшие его, — незнакомыми, возможно, даже чужеродными. Их породил не Рим, и Рим не знал их.

Чувство, шевельнувшееся внутри, не имело никакого отношения к преданности и поискам справедливости. Луций ни на минуту не чувствовал себя виноватым из-за того, что, вопреки законам Рима, взял в жены чужестранку, но… за это же он осуждал Антония. Луций понимал силу любви и неизбежности, но Антоний хотел власти над Римом. Луций не стремился к власти — он жаждал только мира и покоя, и брак его никому не угрожал, тем более Вечному Городу.

Он взглянул на Антония и внезапно ощутил нечто похожее на отвращение — хотя, конечно, отвращением это не было. Просто Греция — не Рим. Луций не хотел бы, чтобы все собравшиеся здесь правили им от имени Roma Dea: сенаторы, пьяные или протрезвевшие, консулы, вторившие каждому слову Антония, сам Антоний, находящийся в центре внимания, сделавший себя царем Востока. Антоний постоянно подчеркивал, что он — римлянин, но неизменно выбирал Восток — и Египет.

Конечно, выбор этот был подсознательным. Правильнее сказать: Антоний грезил, будто остался верным своему городу, не предал своих великих идеалов. Но Восток завоевал, покорил его, и он принял правила этой страны, египетские обычаи, египетское платье; стал супругом великой царицы Египта. Даже пир этот был римским лишь в том, что пирующие надели тоги. Почти все разговоры велись на греческом, и все увеселения проходили на эллинский манер.

Луций встал. Никто не поинтересовался, почему он уходит. На пиру, где вино течет рекой, люди всегда приходят и уходят, в соответствии с требованиями организма. Конечно, некоторые сенаторы из присутствующих здесь охотно поговорили бы с ним о том, о сем: о войне с Иллирией, например, или о последних сплетнях с Палатина. Но Луцию не было до них никакого дела, и он уклонился от подобных разговоров.

Весь город праздновал освобождение Антония от союза с Октавианом — союза, почетного больше с виду, как замечали умные люди, чем по сути. Антоний велел раздать народу вино и хлеб. Об остальном им предстояло позаботиться самостоятельно. Веселье рождалось само по себе, веселье ради веселья — и мало кто задумывался о его поводе.

Римляне поймут, даже самые тупые из них…

Луций вдруг остро затосковал по городу, который он без сожаления оставил столько лет назад.

В конце концов Антоний вернется в Рим, должен вернуться — если надеется стать его властелином. Но такая перспектива не успокаивала. Антоний в Риме — это значит конец Рима, по крайней мере, каким он был. Царь Востока не задержится там — он лишь потребует Вечный Город себе, получит соответствующие полномочия и вернется туда, где останется его сердце — на Восток.

Было невыносимо думать об этом.

Луций бродил по улицам чужеземного города, затерявшись в его толпах — поющих, кричащих, шумящих; людской поток носил и таскал его повсюду, пока он не перестал понимать, где находится. Он потерял тогу; вместо нее на плечах оказался паллий, пропахший чесноком и еще чем-то противным. Каким-то чудом у него сохранился кошелек, в котором позвякивали пригоршня драхм[86], пара оболов и амулет Баст, покусанный Мариамной.

Где-то почти под утро, по-видимому, возле Пирея, Луций остановился. Дул ветер, принося зловоние из Афин и свежесть с моря. Женщина пела на незнакомом языке, слащавом и напевном, но с привкусом гнева. Он огляделся по сторонам. Было еще темно, лишь над дверями таверны горел светильник. Не было ни звезд, ни луны — только ночь.

— Это не Рим, — сказал он по-латыни, что само по себе явилось вызовом. — Это — Восток, который покорил Рим.

37

Закатное солнце, наполовину скрытое тучей, бросало длинные лучи на Коринфский залив. Вода казалась золотом на черном — золотом, чуть тронутым кровавым оттенком и оттененным серебром гребней волн, гнавших ветер с запада. В гавани внизу волны омывали крепостные стены. Корабли с острыми мачтами и сложенными парусами, качавшиеся на якорях, противились приходу ночи.

Антоний стоял на стене, плотно завернувшись в плащ — ветер был холодным. Сегодня он пожелал надеть простую скромную одежду и невзрачный плащ и стать еще одним зевакой на городской стене. Стража держалась от негр на почтительном расстоянии. Несколько друзей, сопровождавших его, казались непривычно спокойными и притихшими.

Клеопатра в одеянии, отличавшемся подобием простоты, стояла, держа Антония под руку, и смотрела на воду. Солнце светило прямо в лицо, золотя своими лучами его черты, но царица едва ли замечала это. Свет был ее стихией. Она слегка улыбалась — ей нечего было страшиться. Да, приближалась война. Весь Рим гудел слухами, что Октавиан вступит в открытую борьбу с Антонием ради благополучия Roma Dea. Конечно, так думать не следовало — нельзя было даже допустить подобную мысль. И поэтому Рим придумал некую уловку, из собственного страха и слепоты создал себе врага и назвал его Клеопатрой.

Рим объявил войну Клеопатре — не Антонию, конечно же, нет. Но Клеопатра была Антонием, а Антоний — Клеопатрой. Любое существо, которое могло шевелить мозгами, понимало это.

Но, назначенная на роль заклятого врага Рима, объект всеобщего осуждения и презрения, царица была слишком невозмутима. Слегка прижавшись плечом к своему царственному супругу, сплетя пальцы с его пальцами, как влюбленная девушка, она наслаждалась прогулкой прохладным вечером по городской стене, над морем цвета свежей чистой лазури. Ее голос звучал мягко, с нотками смеха, но слова, которые она говорила, не могла бы произнести ни одна обычная женщина:

— Все отлично, и иначе и быть не может. Восточное море безопасно — из-за цепочки крепостей. Врагу ничего не остается, как только стоять на берегу Италии и поливать нас бранью, грозя кулаком.

— От Керкиры до Киренаики, — задумчиво проговорил Антоний. — Да, в этой части Внутреннего моря мы в безопасности. Наше положение достаточно надежно. Но не стоит обольщаться. Октавиан может оказаться противником посерьезнее, чем злобная зубастая собака — пустолайка, каким он нам кажется. Мне сообщили, что у него мощная армия. И флот.

— Такие же суда, как и у нас? — Клеопатра иронично покачала головой. — Не может быть! Рим могуч своими легионами, но он никогда не чувствовал себя спокойно на море. А эллины в Египте привыкли к морю с незапамятных времен. Египтяне плавали на ладьях по Нилу: иногда даже жили на них, просто ради радости скользить по воде. Ни один римский флот не сравнится с нашим.

— Возможно, ты и права. Но зато у них есть Агриппа. Такого флотоводца я не встречал никогда, а я много повидал, ты сама знаешь. Он лучше твоих флотоводцев, о моя владычица Египта.

— Даже величайшему в мире флотоводцу нужны корабли. Вероятно, нас не назовешь

непобедимыми. Но мы сильны — и в этой войне будем победителями.

— Все во власти богов, — сказал Антоний и внезапно, ошеломляюще внезапно, улыбнулся. — Мы так долго ждали, прежде чем решились бросить вызов Октавиану, столкнуться с ним лицом к лицу. И как далеко, по-твоему, мы должны зайти в своих действиях? Может, имеет смыл выйти из укрытия и двинуться на запад — перенести войну в Италию?

— Пусть Октавиан сам придет к нам, — усмехнулась Клеопатра. — Дай ему прогуляться. У нас в тылу — весь Восток и все богатства Египта; нам есть чем поддерживать силы. Пусть он покинет свои владения; оставит за спиной все линии обороны, источники финансовой и продовольственной помощи — все необходимое, чтобы вернуться домой победителем.

Антоний кивнул. Предполагаемые действия они часто обсуждали и раньше — а это уже стало ритуалом, почти колдовством, заклинанием, чтобы наворожить себе победу. Иногда он напоминал Клеопатре, что сильней всего они на море и на Востоке, а Италию лучше оставить на десерт — когда можно будет взять ее голыми руками. Сама по себе Италия для них мало значила; правда, там находился Рим — приз, за который они сражались.

Восточное море станет полем их битвы.

— Так было с самого начала, — проговорил Антоний. — Восток — это ключ. И Александр, и Цезарь понимали это. В сущности, мне тоже так казалось, правда, я думал, что главное — Парфия. Но я ошибался. Главное — Греция, Египет и Азия. Без них Рим не может создать империю. Он нуждается в их богатствах, житницах и народах.

— И кораблях. Власть на море без флота невозможна.

— Я помню, как ты приплыла ко мне со своими судами — словно богиня моря. Я пришел в ярость — ты меня переплюнула. Но — клянусь Юпитером! — ты была сногсшибательна. Кто бы устоял перед тобою?

Клеопатра засмеялась.

— А меня просто трясло от страха. Ты мог бы прогнать меня, оскорбить, принудить к уступкам, каких у меня и в мыслях не было, — к чему угодно; а я всего лишь хотела стать твоей союзницей.

— И все? Большего ты не хотела?

Она улыбнулась, глядя вдаль, через море.

— Может быть.

— Что-то я не помню ничего похожего на «может быть». Ты собиралась заполучить меня целиком — без остатка, если выйдет. — Антоний усмехнулся. — Признаюсь, у меня были точно такие же мысли относительно тебя.

Они одновременно рассмеялись — тепло, спокойно и весело. Такие минуты гармонии случались нечасто — более обычными были суета или размолвки, чаще всего из-за государственных дел. Сегодня же вечером, в ожидании их войны, оба были счастливы. Они смотрели, как садилось солнце, и медлили уходить, когда над головой одна за одной стали загораться звезды, как мерцающие гостьи на небосклоне. Пробирал весенний холодок, но они, поплотнее завернувшись в гиматии, стояли, прижавшись друг к другу, лелея краткое мгновение счастья, призрачного мира — перед неотвратимой войной.

Гонец прибыл при сером тусклом свете утра, мокрый от дождя, начавшего накрапывать ночью. Лицо его посинело от холода — дождь был со снегом.

Он попытался грациозно поклониться у подножия трона царицы и ее триумвира, но пошатнулся и упал лицом вниз. Слова, казалось, послышались из недр земли:

— Мефона, владыка и владычица… Мефона пала.

В толпе полководцев, просителей и зевак из придворных, проснувшихся с утра пораньше, кто-то ахнул. Остальные застыли в гробовом молчании.

Антоний, судя по его «ответу», превратился в камень. Но Клеопатра владела собой.

— Что? Мефона пала? Но это невозможно! Ты думаешь, что нас так легко одурачить? Кто тебе заплатил? Октавиан? Ну-у, он не мог дать много — в его кошельке сидят лишь пауки, все об этом знают, даже любой забулдыга на улице.

Гонец заставил себя подняться на ноги, призвав на помощь все мужество и терпение.

— Владычица, я не лгу! Крепость владыки Антония в Мефоне, которая смотрит стенами на запад, на Италию, взята. Через море приплыл флот, неожиданно напал на нее и захватил. Царь Бокх Мавританский — наш военачальник… погиб. Остальные защитники… гарнизон… они либо убиты, либо захвачены в плен. Некоторые переметнулись на сторону врага.

Антоний молча смотрел вперед, словно слепой в необъятную тьму. Диона видела подобное выражение лица у людей, близких к обмороку, но он сидел на месте и, казалось, даже не дышал.

— Кто командует флотом римлян? — властно спросила Клеопатра; голос ее чуть охрип от потрясения.

— Агриппа, — ответил гонец. — Марк Випсаний Агриппа.

— Эта гадина? — Антоний наконец заговорил, вернее, зарычал подобно льву. Все уставились на него.

— Жалкий змеенышь, жаба, издевка над мужским родом! Как же он смог взять мою крепость?

— Наверное, так же, как и тогда, когда позаботился о Сексте Помпее, — заметил Агенобарб, один из сенаторов, все еще сидевший в лагере Антония; еще в прошлом году он был консулом.

Теперь эта должность отдана Октавиану и кому-то еще — Диона не знала кому, она знала лишь то, что Агенобарб питал смертельную ненависть к Клеопатре. Голос его звучал сухо:

— Агриппа довольно ловко избавился от этого пирата. Нам следовало ожидать, что Октавиан использует его против нас.

— А мы и ждали, — парировала Клеопатра. — Но только не того, что он возьмет одну из наших твердынь ценой всего одного сражения. О боги! О чем только думал Бокх? Он предал нас или просто струсил?

— Ни то, ни другие, владычица, — возразил гонец. — Флот обрушился на крепость неожиданно, без предупреждения, никаких особенных приготовлений не было, и мы не возвели дополнительных укреплений — кроме тех, что обычно, на всякий случай. Царь Бокх сам возглавил битву и пал одним из первых.

— Значит, он дурак, — сказала Клеопатра, — и еще худе, чем дурак, раз оставил войско без командира.

— Но никто не ожидал такой атаки, — повторил гонец. — Никто — и даже ты, владычица. Считалось, что они слабы и, по слухам, даже не могли набрать денег на жалование командующего. Считалось, что они приплывут, чтобы оценить нашу мощь, и

уберутся восвояси, в Италию, оплакивая погибших. Но они оказались крепкими парнями. Они лупили нас всем, что у них было.

— Тем не менее, — выразительно заявила Клеопатра, — в запасе у них ничего больше нет. Конечно, удар силен, признаю это. Мефона — стратегически важный объект. Крепость находится на морском пути между нами и Египтом — а в Египте помощь, ресурсы. Но мы позаботимся об этом. Господин?

Антоний вздрогнул и уставился на нее, словно его неожиданно разбудили.

— Что? — Он передернул плечами так сильно, что скрипнули доски, но вместе с этим движением стряхнул, похоже, и часть шока. Он был невероятно бледен, здоровый румянец поблек, уступив место болезненной зеленоватой бледности, но глаза уже утратили выражение слепоты. Антоний опять думал, прикидывал, почти орал приказы нетерпеливым и по-командирски сварливым голосом: собрать войска и отправить в Мефону; созвать флот; всю армию привести в боевую готовность.

Но этого не сделать в мгновение ока. Антония захватили врасплох — как сказали бы солдаты, босиком. Это сказывалось во всем. В войсках иногда проводились учения, но от долгого бездействия воины расслабились. Корабли были готовы, но команду пришлось выуживать из прибрежных таверн. Армия была приучена к мысли напугать слабого врага лишь своей численностью — и соответствующим образом подготовлена. Никто не ожидал, что враг окажется сильным или что сила его возрастет так быстро, станет столь сокрушительной.

— Чертов Агриппа! — бушевал Антоний. — Чтобы его фурии истерзали! Чтобы стервятники склевали ему печень! Чтобы его утащили в преисподнюю за такую расторопность!

— Удача… — вставила Клеопатра. — Не забывай о ней.

— А-а-а, знаменитая Удача Октавиана? — издевательски сказал Антоний. — Демон, которого я должен панически бояться? Может, мне поджать хвост и бежать, пока не поздно?

— Ох, перестань! — промолвила Клеопатра. — Просто ему повезло. И к тому же Агриппа знает свое дело. Но Мефона — всего лишь одна крепость, а у нас их целая цепочка. За ними стоит вся наша сила. Он выиграл одно сражение, но ему предстоит немало попотеть, если он вздумал победить в войне.

Но Антоний не унимался, хотя уже понимал, что ее слова не лишены смысла.

— Злой рок — вот и все. Мерзкая ухмылка судьбы, я могу только проклинать его. Он свалился, как снег на голову. Мне следовало ждать этого. Я должен был знать.

— Теперь ты знаешь. Тебя предупредили. Война началась — победителем в ней будешь ты.

— Если боги помогут. На все их воля, — уклончиво ответил Антоний.

Богам было угодно, чтобы Агриппа упрочил свою победу при Мефоне, захватил окрестности и продвинулся аж до Спарты и выиграл здесь еще одно сражение. На этот раз сильный удар не понадобился. Эврикл, тамошний тиран[87], никогда не жаловал Антония, поскольку тот отдал приказ умертвить его отца по обвинению в пиратстве, и с радостью принял сторону врага. Еще хуже было то, что он переманил к себе одного из полководцев Антония — Атратиния, который отдал Агриппе Спарту.

Это было горько, но еще огорчительнее были вылазки в море судов Агриппы. Они нападали на корабли, плывшие с подмогой из Египта, — неуклюжие, громоздкие ладьи с

зерном и купеческие суда, нагруженные вином, специями, медом, финиками — чтобы подсластить настроение войск Антония. Большинство из этих судов затонули или были захвачены и отведены невредимыми в гавани за Мефоной.

— Я мог бы пережить это, — однажды сказал друг Антония, Деллий, во время обеда. До них доплыла только половина, да и те были почти полностью ограблены — их отпустили к хозяевам в издевку над Антонием. — Я смог бы пить этот греческий уксус, если не знал бы, что любимая шавка Октавиана вместе со своей жадной сворой лакает сейчас самое отборное цекубское. Вот что действительно бесит! Этот прихвостень Октавиан ни бельмеса не разбирается в вине. Он пил бы мерзкую кислятину, думая, что это — напиток богов.

— Да, ты прав, — Антоний усмехнулся и осушил кубок. Остальные рассмеялись, но смех звучал напряженно, и лица были омрачены недовольством. Они пока не голодали: когда Египет оказывался недоступным, их кормило изобилие Греции. Но все же нападения Агриппы на суда приносили некоторые неудобства: многие даже усматривали в них угрозу голода. Это выглядело наглостью и откровенным разбоем, но никто не в силах был остановить мародеров. Антоний не мог защитить всю цепь крепостей и полностью избавиться от Агриппы, на что тот и надеялся. По его расчетам, Антоний рано или поздно отправится воевать с ним, и Греция станет беззащитной перед армией Октавиана.

— Кстати, это — не такое уж и дерьмовое, — сказал он, снова храбро наполняя кубок. — Отдает привкусом днища корабля и еще не слишком прокисло. А что мы можем сказать о самом днище? Оно твердое, круглое… А еще? Склизкое. Я бы даже назвал мерзким.

— Как и цепной пес Октавиана, нагрузившийся цекубским, — вздохнув, подхватил Деллий.

С началом войны Диона вышла из состояния многомесячной хандры. А это была именно хандра: она страшно тосковала по оставленным дома детям, с бессилием наблюдала, как Луций медленно, но явно отдаляется от нее; и не видела ни цели, ни причины своего пребывания здесь. Война казалась выигранной прежде, чем началась. Октавиан был слабым, нищим, в Риме его слабо поддерживали и плохо снабжали. Он потерпит поражение. Разве могло быть иначе?

Но с взятием Мефоны, почти полным перекрытием Агриппой каналов снабжения армии все изменилось. Теперь стало ясно, что уверенность Антония на самом деле была гордыней. Когда они с Клеопатрой ожидали войны, их гордыня вознеслась до неимоверных высот, превратив желаемое в действительное. Победа казалась им неоспоримой. Вот что предвидела богиня, вот что пыталась она открыть Дионе в гробнице Александра. Диона кляла себя за бестолковость. Но ведь это уже в прошлом. Что же еще? Что там было еще? Только не нужно бояться. Богиня несомненно заговорит снова — когда придет время. Это знание заполнило пустоты в мыслях Дионы, прогнало ее дурное настроение и повергло в бдительное и задумчивое молчание.

Она была почти счастлива, попивая кислое греческое вино, поедая стряпню кухарок царицы и ожидая вестей с войны. По словам скороходов, армия Октавиана захватила остров Керкиру, как Агриппа Мефону. Керкира был северной границей расположения армии Антония в Патрах, Мефона в Мессении — южной. И теперь замысел врага стал для нее предельно ясен. Октавиан и Агриппа попытаются — если смогут — объединиться и раздавить своего врага.

У него, однако, было много хлопот и без этой изобретательной парочки: болезни, голод, медленный, но неуклонный упадок духа армии, как всегда бывает во время осады. Поскольку воины не видели в лицо врага, с которым можно сражаться, им оставалось только сидеть и ждать, время от времени посылая на разведку отряды, иногда попадавшие в мелкие стычки. А тем временем земля все больше и больше уходила из-под их ног.

— Ну, ничего, ничего. Это нас только укрепит, — приговаривал Антоний. Он выглядел и впрямь неплохо: меньше ел, почти не пил; много времени проводил на воздухе — в расположении армии и в своих крепостях, максимально укрепляя их перед возможной атакой врага. Диона не замечала в нем нерешительности или страха перед исходом войны.

— Мы в осаде. Нас поставили на место. Но мы заслужили это, поскольку слишком задрали нос. Но все равно, черт возьми, пока мы сильнее! Войско у нас больше, а флот лучше. Мы заманим врага в глубь страны, а потом атакуем и разгромим его.

Так говорил он Клеопатре, пришедшей с кучкой женщин в гавань, чтобы приветствовать горстку кораблей, пробившихся сквозь блокаду Агриппы. Антоний был в доспехах — не в золотых, парадных, поражавших роскошью, но в походных, сделанных из отличной прочной бронзы и кожи, очень удобных. Ординарец, держа его жеребца под уздцы, ненавязчивой тенью следовал за своим командиром, пока тот шел по причалу рядом с царицей.

— Кораблей еще не видать, — сказала Клеопатра. — Я надеюсь, что милосердные боги не допустят, чтобы на наши суда напали еще раз, после того как они скрылись из виду возле острова Закинф. Они везут зерно — нам оно крайне необходимо.

— А вино разве нет? — проворчал Антоний и вздохнул. — Да что там! Я скоро свыкнусь с этим дерьмом, которым нас так любезно потчуют. Могу поклясться, они кладут туда смолу. У него привкус… о боги! Во рту у меня так пакостно, словно я съел кучу сосновых шишек.

— Да, смола в нем есть. И уксус чувствуется, — царица нахмурилась, глядя на море. — В западном лагере новая вспышка чумы. Кашель буквально душит мужчин. Они относят все наши беды на счет удачи Октавиана и стрел Аполлона. Якобы бог убивает их за то, что они осмелились пойти против одного из истинных наследников Цезаря.

— Скорее, из-за того, что засиделись на одном месте и слишком долго наполняли отхожие места, — съязвил Антоний, имея в виду то ли их, то ли себя заодно. — Все потому, что мы набрали слишком много неримлян — им невдомек, что такое дисциплина и выносливость.

— Я тоже не римлянка, — сказала Клеопатра спокойно, но с едва уловимой ноткой льда в голосе.

— Но ты и не сирийский новобранец. Они бы так и жили среди грязи и отбросов, как собаки, если бы наши центурионы не следили за каждым их шагом. Ничего удивительного, что они болеют. Я, пожалуй, займусь санитарией и заставлю их облагородить свои отхожие клоаки. Кстати, будет для них занятие — если нет другого.

— Мы могли бы выступить, — неуверенно произнесла она.

— Нет. Еще рано.

— Но уже скоро…

— Скоро. — Он погладил ее щеку кончиками пальцев. — Ну что ты, любовь моя, крепись. Мы просчитались — это точно, тут уж ничего не попишешь. Но мы все поправим. Вот увидишь.

— Надеюсь, — вздохнула Клеопатра.

Корабли так и не приплыли. Агриппа захватил или потопил их — одни боги знают об этом. Теперь даже свиту царицы перевели на половинный дневной рацион, который, однако, был еще вполне внушительным. Армия пока не испытывала лишений — по крайней мере, таких, как по пути от Атропатены.

Настроение Луция Севилия ухудшилось — в противоположность расположению духа Дионы. Жена выглядела почти счастливо, что было явным парадоксом, но Луций знал и другое: она чувствовала себя хуже, чем просто ненужной, беспомощной. Из-за этого его глодала вина, что, в свою очередь, очень раздражало. В чем он виноват? Ведь не он настаивал на поездке в Грецию. Он с радостью остался бы в Александрии, вдали от этой долгой изматывающей осады. Вдали от правды, которую он понял в Афинах: Антоний стал для Рима чужим.

На самом деле здесь Антоний казался больше римлянином, чем где бы то ни было: он командовал войсками, занимался делами военными, оставив вино, эллинские наряды и греческих собутыльников. И все равно эта армия была преимущественно восточной. Большинство его легионеров никогда не видели семи холмов Рима и не вдыхали по утрам ветерка с запахами вод Тибра.

Рим — и Октавиан — отказывались посылать Антонию римские войска. Необходимость заставляла его набирать рекрутов на Востоке, поскольку он не собирался ни переносить военные действия в Италию, ни возвращаться в Рим, ни сталкиваться лицом к лицу с Октавианом на родной территории. Его доводы были верными, и Луций не мог не согласиться с ними. Война в Италии ранит само сердце Roma Dea. Война же на Востоке могла разрешить проблему, не причиняя вреда Риму.

Но это была палка о двух концах. Война Антония вне Рима отдалила его от родины, окончательно сделала неримлянином. Почти все воины были чужестранцами, в его шатре слышались чужеземные наречия. Перед глазами мелькали чужеземные лица. Он делил ложе с египетской царицей, державшей в плену его сердце. Она присутствовала на всех военных советах и, по мере своих возможностей, управляла ими.

Луцию нравилась Клеопатра — насколько она вообще могла нравиться. Такие женщины возбуждают либо любовь, либо ненависть и очень редко — другое, нейтральное чувство. Но все же… Клеопатра не была его царицей. Он не присягал ей и не принимал добровольно ее права властвовать над ним.

Луций не мог поделиться такими мыслями с Дионой. В основном теперь они встречались только на ложе, потом сближались, молча, в тишине, а затем засыпали или — в последнее время так случалось все чаще — засыпали сразу. Он привык просыпаться в ее объятиях, но теперь он обычно оказывался забытым и одиноким на своей половине ложа, она лежала на своей, свернувшись калачиком, повернувшись к нему спиной, а посередине пустого пространства между ними возлежала ее кошка. Если Луций пытался коснуться жены, она отмахивалась от него во сне или просыпалась и смотрела так, словно он был незнакомцем.

Правда, просыпаясь полностью, Диона всегда улыбалась и шла в его объятия. Но отчуждение между ними росло.

Ощущает ли она это? Луций даже и не пытался спрашивать, будучи уверенным, по крайней мере в душе, что они отдаляются друг от друга.

Долгими ночами напролет он лежал без сна, при свете светильника, тени от которого играли на стенах палатки, и смотрел на спящую жену. Диона никогда не выглядела

несчастной, совсем наоборот: казалась существом самодостаточным, не нуждающимся ни в ком. В своем одиночестве она чувствовала себя уверенно, в отличие от нега.

Была ли она такой, когда он впервые увидел ее? Нет. Тогда с нею был сын. Никогда еще до того как она поехала в Грецию — Луций не видел ее без ребенка, который находился если не радом, то наверняка где-то поблизости. А теперь… Может, такой она была до брака с Аполлонием? А может быть, теперь он видит Диону, которая с самого детства была жрицей, голосом и служанкой своей богини. Жена напоминала ее кошку — лоснящуюся и независимую. Ужасающе независимую.

Ему осталось место лишь на задворках ее души — она ясно дала ему это понять. Но он не хотел задворков. Ему было нужно ее сердце.

Луций подумал, что в своей любви к уюту и теплу он очень похож на Антония. Но Антоний не хотел жрицу из Александрии. Антонию был нужен Рим.

38

Луцию Севилию, гаруспику, утром предстояло истолковывать знаки — через месяц после того, как армия Антония покинула Патры и подошла к мысу Акций. Это произошло потому, что туда же направился Октавиан после завоевания Керкиры, а Агриппа выбил Антония со всеми его кораблями и сухопутными силами из Патр, а потом и с острова Левкада. Акций оставался последним его убежищем севернее Левкады и южнее Керкиры.

Антоний до сих пор был потрясен своим отступлением. Он ожидал, что удержит Патры или по крайней мере Левкаду. Но Агриппа был ушлой бестией; слишком сильным — и слишком умным. Если Антоний не удержит Акций, он проиграет свою драгоценную войну.

— Но мы еще не проиграли, — говорил он Луцию Севилию, пока они ждали восхода солнца. — Дай нам несколько добрых знаков. Не скупись, старина. Ну хоть парочку, а? Надо показать войскам, что к чему. Мы укрепились здесь, правда? И не позволяем Октавиану переправиться на другой берег пролива. Мы выступим все разом и обратим врага в бегство, в его логово.

Луций промолчал. Ему нечего было сказать Антонию. Знаки появлялись, как и полагалось знакам, и он не относился к тем гаруспикам, которые могли бы фальсифицировать их, лгать относительно их якобы важности.

Он стоял у алтаря в лагере. Солнце било прямо в лицо. Жрецы и их прислужники пели гимны, один за другим — в предписанном порядке, без ошибки, которая могла бы вынудить их начать все заново. Овца покорно ждала своего часа. Она казалась воплощением жертвы и даже не шевельнулась, когда Луций приблизился к ней. Невидящие янтарные глаза казались мертвыми — в них не было ни воли, ни ума, ни даже страха.

Он обхватил ее горло рукой. Мягкая отмытая добела шерсть пахла благовониями. Рога овцы были увиты гирляндами цветов. Одна зацепилась за руку Луция — яркие большие желтые цветы, золотистые, как солнце.

Одним быстрым движением он перерезал артерию на шее. Фонтан брызнувшей крови был красив, как всегда, — самый чистый и роскошный оттенок красного, ярче любого сукна. Прислужник поймал струю в золотую чашу, не пролив ни капли — хороший знак для Антония, если он предпочтет взглянуть на это так.

Луций делал надрезы, как требовал ритуал. Это была кровавая работа, но быстрая: он часто проделывал ее и раньше. Его нож не проткнул кишок — снова добрый знак и одновременно облегчение — не нужно копаться в дерьме. Внутренние органы были именно такими, какими и должны быть — все на месте, ничто не деформировано. Идеальная овца… Именно такое предзнаменование требовалось Антонию. Именно это хотела услышать армия, чтобы наконец вздохнуть с облегчением.

Но Луций Севилий, гаруспик, стоял молча, залитый кровью по самые плечи, и пристально глядел на свою идеальную жертву, на безупречно правильный знак, зная, что это — ложь. Боги посмеялись над ним — посмеялись над ними всеми.

Вот теперь он понял, что чувствовала Кассандра[88], когда люди отвергали ее пророчества. Внутри черепа распирало, словно в голове вызревала буря. Он был абсолютно уверен в том, что Антонию не избежать поражения. Но ведь никто все равно не поверит…

Зрители и слушатели уже теряли терпение. Они зашевелились, зашушукались, забормотали. Жрец неподалеку от него зашипел, словно разозленный на весь мир гусак:

— Ш-ш! Проснись! Ты заболел?

Озабоченность этого человека была искренней — равно как и то, что терпение его лопнуло. Но Луций не мог сказать то, к чему принуждали его боги, не скрывающие оскаленных усмешек. Боги знали правду, понимали, что и он ее видит, и были донельзя позабавлены.

— Нет, — едва слышно сказал он и зашатался. Земля утратила прочность и устойчивость. Боги… боги лгали.

Коллеги-жрецы подумали, что Луция внезапно настиг приступ болезни. Это тоже был знак: дурной знак — и правда. Но жрецы быстро и расторопно скрыли ее. Один из них объяснил гаруспицию так, как задумали боги: передал их ложь, обольщение, обман — обещание разгрома врага.

Луций хорошо себя чувствовал. Слишком хорошо. И слишком ясно видел. Как Кассандра, как Диона, когда оказывалась во власти богини.

Он позволил жрецам увести себя от алтаря — сил сопротивляться не было. Они вымыли его в воде, специально освященной на такой случай, сняли с него пропитанные кровью ритуальные одежды и помогли надеть обычные. Жрецы попытались успокоить его уверениями, что если это проявления чумы, косившей армию, то не тяжелые. Просто нужно немного поесть, отдохнуть, успокоиться, и все пройдет. «Как мило, — подумал Луций. — Как изящно и мило».

Но правда не бывает изящной или милой. И ни великолепная еда, ни отдых, ни покой не могут уничтожить ее. Боги лгали, и он это знал.

Антоний вряд ли выбрал бы Акций для встречи с врагом лицом к лицу. И абсолютно точно он никогда бы по доброй воле не торчал у залива, будучи отрезанным от основной массы своих кораблей, в то время как враг преграждает ему пути с юга, востока и севера. Он выбрал это место из-за одной из крепостей, стоявшей у входа в Амбракийский залив: отличная гавань для кораблей и укрытие для части флота, используемой в качестве линий защиты. Обрывы гор острова Левкада, нависшие на юго-западе, находились в дне перехода от лагеря легионеров. Между островом и лагерем лежала обширная равнина, плавно поднимавшаяся на востоке к горам Акарнании; на ней громоздились камни и колыхалась сочная, но уже слегка опаленная солнцем трава. На западе раскинулось море, а на севере — Греция, стена гор, вершины которых прятались в облаках.

Армия Октавиана стояла между армией Антония и Грецией, у северного входа в залив, а Антоний находился на юге. Октавиан не имел таланта полководца, но некто мудрый помог ему выбрать для лагеря именно это место. Север здесь был защищен стеной гор. Юг предлагал ему равнину, достаточно ровную местность для битвы — если ее не удастся избежать. А сам залив — хотя у армии Октавиана не было численного преимущества — держал Антония в западне, тогда как корабли Агриппы свободно плавали вдоль берега и пресекали все попытки к бегству.

— Ну, мы его пересидим. Мы его выкурим, — сказал Антоний на совете полководцев. — Голубчик ты наш! Думаешь, ты нас запер, взял в тиски, да? На-кась, выкуси! Кое о чем ты еще не знаешь. У меня есть водичка, по которой можно плавать, не рискуя свернуть шею. И безопасная гавань для кораблей.

— Водичка достаточно близко, — согласился Агенобарб. — Но далеко ли ты собрался плыть? Ты забыл про Агриппу? Кстати, у него есть гавань, которой он тоже может

воспользоваться, если, конечно, не будет шторма — а в это время года обычно не штормит. И сейчас, когда он отрезал тебя от основной части флота, у него больше кораблей.

— Значит, я буду сражаться с Октавианом на суше, — заметил Антоний. — Я могу углубиться в Грецию, и моя армия больше.

Агенобарб покачал головой. Он был нездоров — как и все в эти дни; воинов изматывали непрекращающиеся вспышки чумы. Он был немолод, но энергичен и ощутил еще больший прилив сил, когда началась война. Но сейчас Агенобарб казался больным и постаревшим.

— Ты хочешь пересидеть их, измотать ожиданием, мобилизовать армии, ударить по легионам Октавиана — а Агриппа со своими кораблями пусть убирается, куда хочет. Мудро. Разумно. Это может сработать. Но я устал, Марк. Я болен. Меня тошнит от сражений, от ожидания, от необходимости жить вдали от Рима.

Все остальные молчали, глядя на него, на свои руки или на карты, разложенные на столе. Они знали каждую линию на этих картах; каждую надежду, каждый шанс — и каждый шаг врага. Антоний был лучшим полководцем, чем Октавиан. И это было известно всем, в том числе Агенобарбу.

— Но здесь не Рим, — сказал он, повторив мысль Луция почти слово в слово — и не только Луция. — Извини, Марк, я тебе плохая подмога. Ты ведь не отправишься в Рим, когда все будет кончено, — и не пытайся убедить нас в обратном. Ты вернешься назад в Александрию. Твой выбор — Восток и восточная царица.

— Ты в этом уверен? — спросил Антоний — осторожно, спокойно, но ноздри его побелели и вздулись.

— Да, я уверен в этом настолько, насколько считаю нужным, — Агенобарб резко встал. — Полагаю, мне лучше уехать.

Антоний неподвижно сидел во главе стола. Никто не решался встретиться с ним взглядом.

Неожиданно он рассмеялся, почти искренне, почти весело.

— Ох, поезжай в любом случае! Твоя любовница, наверное, уже извелась от ожидания, правда? Возвращайся в Рим и передай ей от меня поцелуй. Скажи, что я лично поцелую ее, когда вернусь домой.

Агенобарб уронил голову на грудь. Возможно, это было просто проявлением недомогания. Приступ кашля сотряс его, он взял себя в руки, жестом отмахнулся от желающих помочь ему; повернулся ко всем спиной и вышел из шатра.

В тишине голос Антония прозвучал неожиданно громко:

— Позаботьтесь, чтобы его вещи отправились вслед за ним. Он захочет надеть чистую тунику, когда отправится навестить свою цыпочку.

Никто не засмеялся. Никто даже не произнес ни слова.

— Что случилось? — удивлялся вслух Луций. — Все так стремительно переменилось.

Диона расстилала простыни. Это полагалось делать Гебе, но служанка лежала в лихорадке. Какое-то время казалось, что она умирает, но вскоре Диона заверила Луция, что девушка поправится, если будет угодно богам. Ему почти не хватало присутствия ее темнокожей особы во время этой вечерней процедуры; глаза Гебы были всегда настороженными, словно она так и не привыкла доверять ему. Он же доверял ей всецело. Геба, готовая умереть за свою госпожу, сейчас была вне себя от ярости из-за того, что не может встать с циновки в соседней «комнате» шатра, и, когда Луций вошел туда, бросила на

него сердитый взгляд.

Конечно, Геба могла слышать его голос сквозь тонкие стенки шатра, но ему нравилась иллюзия уединения. Диона закончила застилать ложе и выпрямилась, слегка вздохнув. Луций испугался, но жена выглядела и говорила вполне нормально. Вероятно, богиня защищала ее от болезней, одолевавших лагерь.

— Мы проигрываем войну, — продолжил Луций. — Это видит всякий, у кого есть голова на плечах. Но почему? У нас еще много солдат, денег, сильные позиции. У противника отличный флотоводец, но нет ни денег, ни стен, за которыми можно укрыться. Что произошло?

— Удача, — отозвалась Диона. — Судьба. Рок. Боги. И еще — гордыня. Антоний был чересчур уверен в себе. Он многое упустил из виду и слишком долго ждал.

— Но Клеопатра могла бы все это предвидеть. Почему же она не расшевелила его, не сдвинула с места.

Диона не стала его задирать, но в ее голосе послышались сердитые нотки.

— Клеопатра делала то, что казалось ей лучшим для Египта.

— Но не для Рима.

— А почему она должна печься о Риме?

— Потому что, — ответил он терпеливо, — Рим может сожрать ее живьем. Рим — это власть в нынешнем мире.

— Необязательно, — возразила Диона. — Антоний все еще силен. И он — вторая половина Клеопатры.

— Да, так говорят и римляне — и ненавидят ее за это.

Диона села на кровати, прямо как изваяние в египетском храме; руки ее покоились на коленях. Светильник озарял ее фигуру. Его жена была очень красива. Красивая, далекая, отчужденная…

— Домыслы Рима мало волнуют Александрию.

— Взволнуют, когда легионы Октавиана пройдут маршем под воротами.

— Не пройдут, — отрезала Диона, но голос ее был менее твердым, чем следовало бы. — Клеопатра не допустит этого.

— Надеюсь, — отозвался Луций. — Сейчас боги посылают фальшивые знаки. Что еще они сделают с нами ради своей забавы?

— Твои боги, — подчеркнула она. — Возможно, они посылают тебе знаки о том, что победит Рим. Им ведь хотелось бы этого. Но у нас свои боги, и они нас защитят.

— Что ж, молись им.

Она окинула мужа довольно суровым взглядом, словно он был незнакомцем, к которому не мешало бы присмотреться и который нес в себе серьезную угрозу.

— А зачем тебе здесь оставаться, если Октавиан вполне может победить?

— И ты еще спрашиваешь?

Диона кивнула, хотя ответа не требовалось.

Луция трясло, и он не мог с собой справиться.

— Я помню о чести и о данной мною присяге. Я помню, что такое дружба.

— А Roma Dea есть до этого дело?

Он покачал головой.

— Я женился на женщине с Востока. И никогда не жалел об этом, не пытался ничего изменить. Как я могу винить Антония за то, что он поступает так же, как и я? С той же

добровольной неизбежностью?

— Все, что делает Антоний, бросает вызов Риму, которым он мечтает завладеть. Ты просто обольщаешься. Горожанин может позволить себе это. А правитель — нет.

Мысли Луция — слово в слово, горькие мысли — прозвучали сейчас из уст Дионы. Тон ее был мягок, но бесстрастен и безразличен, будто она никогда не любила его и не была его женой.

— Я никогда не дезертирую. И мне безразлично, кто собирается сделать это.

— Планк, — пробормотала Диона. — Патриций, фигляр… И друг Антония. Он один из первых, кто изменил присяге верности. Агенобарб умер. Он никогда не передаст тот поцелуй Лелии. Лихорадка убила его. Деллий колеблется. Он обожал Клеопатру, почти поклонялся ей, но привязанности слабеют: величие — это бронза.

Луций пристально взглянул на нее. Вещала сама богиня, матерь богов Египта.

— Но бронза слишком быстро тускнеет.

— Великая слава быстро меркнет.

Диона вздохнула и опустила голову, но вскоре выпрямилась и снова заговорила обычным голосом.

— Если тебе нужно уйти, уходи. Я знаю, что для тебя значит Roma Dea. Она разрывает на части твое сердце.

Слова жены прозвучали холодно, и это было невыносимо. Если бы она спорила, бушевала, была разумно неразумной, как любая жена, он, наверное, выкрикнул бы что-нибудь в ответ, поссорился с ней и ушел в гневе. Но ее понимание, спокойствие приятия обезоружили его. Его душа была обнажена, и сейчас он ненавидел себя.

— Я знала это еще в Афинах, — сказала она, окончательно добивая его. — И даже в Александрии. Ты был потрясен увиденным и хотел вернуться в Рим — в близкий тебе Рим, неразвращенный восточной роскошью. И неважно, что мечта эта была тщетной с того дня, как первый Сципион[89] произвел на свет потомство. Он был твоим Римом. Ты дорожил им, лелеял его. И до сих пор лелеешь. А теперь, когда ты искал знаки для Антония, боги солгали тебе. Как ты можешь оставаться возле него, если даже сами боги забавляются им?

— Я всегда был его другом, — ответил Луций, с трудом выговаривая каждое слово. — Я служил ему верой и правдой.

— А теперь больше не можешь служить. Поэтому уходи. Октавиан с радостью примет тебя, как принял всех остальных выдающихся защитников Антония.

— Дезертиров.

— По-твоему, вернуться с неверной дорожки в объятия Roma Dea — дезертирство?

Луций чуть было не ударил жену. Он с трудом сдерживался, глядя в ее холодные темные глаза, прикованные к его лицу.

— Ты смеешься надо мной.

Диона покачала головой.

— Я чувствовала бы то же самое, если бы Египет призывал меня. Но ты не желаешь меня понять, правда? Ты хочешь, чтобы я спорила с тобой. Но я слишком устала. Мне очень многое нужно сделать.

Где-то за непроницаемой маской ее лица пряталась женщина, любившая его; Луций верил ей — всем сердцем. Но теперь он не мог отыскать ее. Эта Диона была чужестранкой, жрицей, орудием богини.

И все же она была его женой.

— Если мы успеем уложить вещи, — сказал он, — то сможем уйти до рассвета.

— Ты сможешь, — согласилась она.

Луций предпочел не расслышать ее слов.

— Октавиан будет хорошо обращаться со мной. Конечно, он мерзавец, жадный до денег, но знаком с искусством дипломатии. Я приложу все силы, чтобы он не вынудил тебя сделать что-нибудь во вред Клеопатре.

— Ему это не удастся. Я останусь с моей царицей, куда бы она ни пошла.

— Ты — моя жена, — напомнил Луций Севилий.

Она коротко кивнула, соглашаясь, но тут же сказала:

— Я — голос богини. А царица — богиня на земле.

— Мы уйдем вместе. Я ни за что не оставлю тебя здесь, на произвол судьбы. После поражения тебя могут ранить, изнасиловать, убить…

— Но ты не вправе сделать за меня выбор, — промолвила она, по-прежнему холодно, по-прежнему спокойно, но лицо ее побелело. — Я знаю, ты должен идти. Ты ненавидел каждый шаг по пути из Афин. Roma Dea призывает тебя, и она получит свое. Но у меня другая богиня.

Луций встал; Диона села в молчании. «Это тупик; неумолимый и жуткий, как сама Roma», — подумал он.

— Чтобы фурии прокляли твои видения! — выпалил он наконец. — Я обещал, что никогда не брошу тебя. И не брошу.

В первый раз спокойствие изменило ей. Она протянула к нему руку.

— Нет! Это разорвет тебя на куски.

— Я обещал, — упрямо повторил он.

— Я освобождаю тебя от твоего обещания.

— Нет.

— Ты должен уйти. Ты нужен твоей богине.

— Тогда пойдем со мной.

— Нет.

И снова в шатре повисло молчание. От него не было спасения. Луций чувствовал, как разрывается его сердце. Рим — на другом берегу пролива. Здесь — Египет и его сторонники. Даже воздух в этой стране казался нездоровым, коварным, полным экзотических благовоний, духов, ароматов Востока. Луций вдохнул полной грудью — и его чуть не стошнило.

Тут, в этой комнате, на ложе, сидела его жена и молча глядела на него. Это место он выбрал сам. И останется здесь, пусть даже погибнет — и Диона возненавидит его.

Луций расстелил на полу простыни и завернулся в них. Диона не препятствовала ему. Насколько он видел, жена спала всю ночь. Он же едва сомкнул глаза: боль в сердце была слишком невыносимой.

Но он все вынесет. Он уже давно сделал выбор. И не отступится от него.

39

Все это долгое знойное лето Антоний вел войну на болотах и опаленных солнцем равнинах Акция. Теперь же сражение перекинулось на море — против флота Агриппы; и он углублялся в Грецию, забирая мужчин из городов и селений для пополнения своих легионов и команды кораблей. Многие из его воинов уже заболели и умерли среди выгребных ям и малярийных болот, в которые превратился его лагерь. Однажды Антоний даже отправился за рекрутами сам. Он уже не раз посылал Деллия набрать пехотинцев в Македонии, и тот прихватил на север пол-армии, тогда как Сосий, его флотоводец, разомкнул кольцо их ловушки в заливе и всеми силами обрушился на Агриппу.

Сосий почти победил — и они были почти свободны. Но Агриппа оказался ему не по зубам.

Это был мудрый план, достойный полководцев Антония; уйти по суше, уйти по морю, воссоединить две армии и обрушиться на врага словно из ниоткуда. Тогда Клеопатра, добрая половина армии и большая часть его флота остались бы в капкане у Октавиана, став одновременно и добычей, и троянским конем. Но план провалился, Агриппа сражался отчаянно. Октавиан — нет. Антоний выманил кавалерию Октавиана, угрожая его линиям морской защиты. И тут его, Антония, кавалерия во главе с полководцем перешла на сторону врага.

Но Антоний отказывался идти на мировую даже после такого вероломства. Он созвал всех полководцев, выставил охрану и сторожевые посты на случай атаки врага, но сосредоточил все силы в своем лагере. Шел месяц, который римляне называли секстилием — когда зной опаляет нещадно, но Сириус уже указывает дням путь к прохладному сентябрю. Долгие месяцы пребывания в походном лагере, здесь, в богами забытом, унылом месте, где нет проточной воды, только из моря, породили зловоние, которое доканывало римлян в это самое худшее лето в их жизни. Солдаты потели в своих доспехах. Царевичи парились в тяжелых монарших одеждах; горстка сенаторов, которые не уползли еще на животе в Рим или к Октавиану, падали с ног под весом шерстяных тог.

Антоний надел парадные доспехи, резко и ярко сияющие под навесом шатра, который соорудили слуги, чтобы дать ему убежище от неистового, злого солнца. Антоний, самый краснощекий и здоровый из всех мужчин, был неестественно бледным; лицо его блестело капельками пота, но он не выказывал ни малейших признаков неудовольствия или дискомфорта. Некоторые из присутствующих искоса поглядывали на Клеопатру, сидевшую возле него на простом стуле, таком же, как и у остальных, — они знали, что царица хранит, защищает своего господина. На ней было прозрачное египетское платье — незаменимый наряд по такой погоде, и знаменитые нагрудные украшения из золота и ляпис-лазури; украшением служили ее волосы, заплетенные в множество кос, как принято у знатных египтянок. Царица Египта казалась сделанной из камня — на нее почти не действовал одуряющий зной.

Антоний стоя принимал первых посетителей и стоял так, пока не появились последние, отставшие: Деллий в безупречной тоге, с измученным худым, но тщательно выбритым и припудренным лицом и пара его друзей. Всех вошедших поприветствовали, усадили и налили им кислейшего македонского вина, которое мог выпить только смельчак, мучимый зверской жаждой, но достаточно крепкого, чтобы отупеть, если употребить его

неразбавленным. Антоний изучающе рассматривал их лица. Некоторые встречались с ним взглядом, другие сосредоточили все внимание на вине или на чем-то другом. Кое-кто кашлял, сотрясая шатер глубокими, громкими, трескучими звуками.

— Итак, — сказал, наконец, Антоний. — Нас больше, чем, наверное, думает Октавиан, даже после всех изменений, которые произошли в наших сердцах. Кто-нибудь собирается «уехать» сегодня вечером? Если да, то поспешите. Уезжайте сейчас. Я не проявлю о вас такой «заботы», как об Ямблихе и Постуме, — если только не поймаю после того, как наш совет окончится.

Никто не проронил ни слова. Ямблих из Эмесы и Постум, сенатор, слишком медлили и чересчур явно проявляли желание переметнуться к Октавиану; Антонию пришлось казнить их в назидание остальным. Насколько все знали, это не остановило бегства из лагеря, но лишь еще более ухудшило настроение оставшихся — хотя на душе у них и так было скверней некуда.

Антоний кивнул сам себе.

— Значит, мы все вместе. Вместе до конца.

— Соглашаемся на мировую? — спросил кто-то, прячась за спинами остальных — в открытую такого не мог сказать ни один из них.

Антоний не впал в ярость, но заговорил быстро, пытаясь успокоить себя.

— Нет. Мы вовсе не близки к поражению. Октавиан задал нам перцу — это точно. Но у нас есть еще сотни тысяч солдат и три сотни кораблей. Мы не можем больше здесь торчать — надо взглянуть правде в лицо. Армия отрезана от помощи, от поставок продовольствия. Местное население пока дает нам зерно для хлеба, но мы не можем многого от них требовать — Греция и так уже истощена. Еще немного рекрутов для наших судов, и некому будет собирать урожай.

— И все же, — вмешался Сосий, флотоводец, — без гребцов корабли сражаться не смогут.

— А без еды армия не доживет до сражения, — резко сказал Канидий Красс.

Два полководца — на море и на суше — метали друг в друга свирепые взгляды, пока не подоспел Антоний. Он успокаивающе взмахнул рукой.

— Ну, хватит, хватит, оба вы правы, и это-то и скверно. Здесь мы заперты, и нас пожирают мелкими кусочками лихорадка, голод, болезни и упадок духа. Нам нужно сражение — а именно этому и препятствует Октавиан.

— Значит, мы должны его вынудить, — вымолвил Канидий.

— Попытаемся еще раз, — заявил Антоний. — Возможно, для них это будет неожиданностью. Конечно, они знают, что мы близки к отчаянию, и положение наше весьма плачевное, но, вероятно, думают, что я из тех пентюхов, которые копаются до тех пор, пока не станет слишком поздно — для чего угодно. Пусть они продолжают так думать, а через несколько дней мы ударим по ним всей нашей мощью.

— А чем именно? — вмешался требовательный голос царевича откуда-то из Малой Азии. У него был небольшой отряд лучников и очень много даже не спеси, а важности. — Чего мы хотим? Выбраться отсюда и убраться подальше? Или все же нанести им урон?

— И того и другого, — мгновенно ответил Антоний. — Насколько я понимаю, у нас два выбора и два шанса. У нас есть сухопутные силы и флот. Мы не можем погрузить всех солдат на корабли, а тем более — сражаться с таким количеством народа на борту; толпы мужчин будут путаться друг у друга под ногами. Мы попытались использовать оба шанса

одновременно, но из этого ничего путного не вышло. За такое короткое время потребовалось много раз координировать наши действия.

— Так что же нам делать? — спросил Канидий Красс. — Отказаться от одного или от другого? Оставить сухопутные силы пробиваться сквозь легионы врага, а флот направить к Египту? Или позабыть про флот и пробиваться с боем по суше?

— Можно догадаться, что выбрал ты, — пробормотал кто-то.

Канидий сверкнул глазами в сторону говорившего.

— А, по-твоему, это не разумно? Нас превосходят численностью на море. И у нас нет флотоводца — а у врага есть. Ты — не Агриппа, Антоний, и сам это знаешь. Но ты в десять раз лучший полководец, чем Октавиан может себе только пожелать. Ты победил при Филиппах благодаря своим мозгам, удаче и доброму сражению.

Антоний медленно кивнул.

— И мы можем получить подкрепление в Македонии и Фракии — там еще можно набрать людей, тем более что они терпеть не могут Октавиана.

— Нет, — произнесла Клеопатра. Ее голос был подобен звуку тубы — чистый, твердый и холодный. Люди как один неотрывно уставились на царицу, до сих пор сидевшую неподвижно и прямо, как безжизненное изваяние в камне. Теперь же она подалась вперед, ее лицо было взволнованным, а слова — резкими и точными.

— Сейчас ты не сможешь выиграть сражение на суше. Неважно, насколько ты хорош как полководец. Полководцу нужна армия — а у тебя ее нет. Сотни тысяч, ты говоришь? Сомневаюсь, что ты насчитаешь хотя бы половину, даже если учтешь всех больных, раненых или необученных сражаться. Тебе придется повести их на север, вверх, по горным ущельям, — а они едва способны доползти от кувшинов с вином до шатра и обратно. И еще, скажи на милость, как ты можешь надеяться, что флот пробьется, если у тебя нет солдат, чтобы сражаться на суше.

Клеопатра встала. Она была не очень высокой, но умела заставить рослых мужчин смотреть на нее снизу вверх и сейчас воспользовалась этим.

— А теперь представь себе, что ты бросишь корабли, оставишь врагу — чтобы он забрал их себе или сжег. Забудем на мгновение, что каждый потерянный для нас корабль — это лишний шанс для Октавиана выиграть будущее сражение. Просто подумай: что ты сможешь сделать, когда пробьешься в Македонию? Как ты собираешься возвращаться в Азию или Египет, если наши основные силы и союзники здесь? Там ты попадешь в западню, ничуть не меньшую, чем здесь, откуда собираешься уйти.

— Но здесь упомянуты еще не все преимущества выбора Македонии, — возразил Канидий. — Македония — богатый край. Пополнив армию, мы хотя бы немного передохнем, восстановим силы — и физические и моральные. Тогда мы сможем снова продолжать войну и со свежими силами подготовимся к новым сражениям.

— В самом деле? А не окажетесь ли вы пленниками вероломного царя, в то время как Октавиан благополучно захватит все территории к югу и северу от вас?

— Тогда послушай! — воскликнул Канидий, на мгновение утратив сдержанность и позабыв о том, что обращается к царице. — О чем ты думаешь в первую очередь, когда ведешь войну? О том, с кем воюешь — у кого лучше полководец. На море это — Агриппа. На суше, бесспорно, Антоний, но на море ему нечего даже и надеяться выиграть — вряд ли Агриппа соблаговолит уступить ему.

— Твои слова, как ты сам понимаешь, — мягко заметил Антоний, — слегка смахивают

на оскорбление.

Канидий моментально прикусил язык и пристально посмотрел на Клеопатру — не на Антония.

Она ответила ему хладнокровным взглядом и продолжила свою речь:

— Мы меньше рискуем, пытаясь пробиться на кораблях, чем если потащим армию через горы. Погрузив на корабли наши сухопутные силы, мы, по крайней мере, сохраним легионы, вместо того чтобы неизбежно терять людей в трудных переходах через горные перевалы и вдобавок лишиться всего флота. Мы сможем погрузить на корабли… сейчас соображу… четыре, пять легионов? А еще семь стоят в Сирии в Киренаике. Вырвавшись из ловушки, присоединив их, а заодно и оставшийся флот к нашей армии, мы поплывем в Египет и займем там оборону или будем оттуда наступать. Восполнив силы и запасы продовольствия, мы окажемся несравненно в лучшем положении, чем даже при самых идеальных перспективах в Македонии.

— Но сначала, — спокойно возразил Канидий, — нужно вырваться из западни. А на нашем пути стоит Агриппа — и его нам не миновать. Сражение на суше — верное дело. Антоний ни за что не проиграет битву, если только не споткнется о камень и не расшибет себе голову. Об этом даже смешно говорить! Но на море у врага численное превосходство — и более опытный флотоводец.

— Конечно, Антоний может выиграть сражение на суше, — нетерпеливо сказала Клеопатра. — Но что он будет делать потом? В каком положении окажется? Потеряет пол-армии на горных перевалах, а Македония решит, что золото Октавиана блестит ярче и заманчивее, чем у Антония? Пусть Антоний и не сможет одержать победу в морском бою так быстро или так легко, как нам хотелось бы, но в итоге многое приобретет, и у него будет больше шансов спастись бегством, если он начнет проигрывать сражение. Легионы из Сирии и Киренаики не выступят до тех пор, пока он им не прикажет. И Египет не предаст, не отвернется от него. Я — Египет, — произнесла она, величественно выпрямляясь во весь свой рост, — и говорю сейчас всем вам: пока я жива, я не покорюсь Гаю Октавиану.

Клеопатра была неподражаема, ошеломляюще великолепна и величава, стоя перед ними и говоря эти слова с непоколебимой убежденностью и искренностью. Но она не на того напала. Канидий был тертым калачом и давно уже стал неуязвим для монаршего величия. Клеопатра поняла это, но больше не произнесла ни слова. Она не спешила форсировать события, даже если бы его поведение и задело ее за живое. После красноречивой паузы Канидий сказал:

— Давай-ка будем честными сами с собой, владычица, — а театральные штуки оставим комедиантам. На сцене от них нет никакого вреда. Но мы победим лишь там, где реально сможем это сделать. Здесь победа невозможна. Самое лучшее в нашем положении — нанести удар и вырваться отсюда. И я утверждаю, что мы должны нанести его на суше, потому что в данном случае у Антония есть явное преимущество.

— А я утверждаю, — быстро парировала она, — что мы нанесем его на море, где нам совсем не требуется побеждать: нужно просто вырваться на свободу, присоединить к нашей армии резерв, которым мы поначалу пренебрегли, и найти менее уязвимое место для продолжения войны.

По толпе собравшихся прокатился приглушенный гул невнятных голосов. Они явно колебались, кому же отдать предпочтение. Одни смотрели на Канидия и кивали. Другие поглядывали на Клеопатру и что-то бормотали, явно в знак согласия.

Царица не старалась заставить их полюбить себя, отказавшись от такой мысли — если вообще когда-либо имела ее — еще до того, как они расположились лагерем у Акция. Это решение дорого им стоило: ушел Планк, умер Агенобарб… Они потеряли слишком много союзников, как значимых, так и не особенно важных. Они имели право считать ее заносчивой сверх всякой меры. Но Клеопатра не могла быть никем иным — только царицей и богиней.

Между тем Канидий не пасовал перед ней и с чисто римским упрямством не сдавал позиций.

— Битва на суше — беспроигрышная ставка в этом военном споре. Мы можем в нем победить — и даже еще морально выиграть. Но бегство по морю на египетских судах — вовсе не поднимет боевой дух наших воинов.

— Ну, к настоящему моменту большинство наших воинов — египтяне и уроженцы Востока, — со спокойным видом съязвила Клеопатра. — И они охотнее будут живыми и мрачными, чем мертвыми якобы для собственного удовольствия.

Канидий взглянул ей прямо в лицо.

— А что, уже и до этого дошло? Армия больше не римская?

Она набрала побольше воздуха, чтобы дать ему отпор, но Антоний опередил ее.

— Ты хочешь уйти от нас, Публий Канидий?

Канидий дернулся, словно его ударили.

На лице Антония появилось слегка извиняющееся выражение, глаза потемнели — ему было жаль Канидия. Но он должен был досказать начатое.

— Ты сам знаешь, что Клеопатра права. Воспользоваться твоим планом — значит, навсегда потерять море и большую часть армии. Я понимаю, с кем вынужден иметь дело в лице Агриппы, и вовсе не рад этому. Но если нам удастся всего лишь проскользнуть мимо него, мы прихватим свои легионы и дадим деру в Египет. Не стоит быть таким самолюбивым, Публий Канидий… А уж Египет — крепкий орешек даже для такого пройдохи, как Октавиан. Ему не раскусить его даже всеми зубами, какие только найдутся в его армии. Египет — наш: сердцем, душой и житницей.

Канидий затряс головой, отвергая малейшие соображения логики или простого здравого смысла.

— Не пора ли нам покончить с зависимостью от Египта? Не начать ли думать своей головой, идти своим путем? Вести собственные войны, снова стать римлянами…

— И красиво умереть на мече Октавиана — как бабочка на булавке, — с едва уловимой насмешкой закончила Клеопатра.

— Не сомневайся: если вы продолжите рваться в Македонию — так и будет, и тебе это прекрасно известно. Кстати, с чего тебе взбрело в голову, что драться на суше будет просто? Возможно, вы и победите в одном сражении — на худой конец, в двух, но потом враг одолеет вас.

— Но у нас есть Антоний, — не унимался Канидий. Противнику даже и близко некого поставить. Но давай смотреть на вещи трезво. Для войны необходимы солдаты, а мы можем их получить, только избрав путь по морю. Да, это очень рискованно. Враг будет иметь возможность видеть все, что мы предпримем, глядя на нас с севера, с гор, сидя в своих лагерях, словно в гнездах стервятников. Они будут лезть из кожи вон, чтобы остановить нас. Но мы можем прорваться с боем наружу. Наружу, понимаешь? Нам нет необходимости побеждать. Надо просто улизнуть отсюда. О победе поговорим позже, когда мы не будем

загнаны в нору, как мыши.

«Разумно», — подумал Луций Севилий. Абсолютно разумно и по-римски до мозга костей, но полководцы Антония сочли, что такое решение — в духе восточного царя. Однако сторонники Канидия, если и хотели спорить — это было видно по блеску глаз и стиснутым кулакам, — предпочли держать язык за зубами. Уроженцы Востока, которых в армии теперь было намного больше, чем он предполагал, кланялись ему и бормотали в знак согласия нечто нечленораздельное. Многие из них постараются раствориться среди широких равнин, когда флоту придет время отправляться в путь. Другие будут сражаться на кораблях — в основном лучники. У конников оставалась хоть какая-то надежда на спасение.

Когда собравшиеся постепенно начали расходиться, Луций обнаружил, что идет рядом с Деллием. Выражение лица этого умного мужчины было мрачным — как, должно быть, и у него самого. На этот раз тот не улыбался и не демонстрировал свое остроумие, просто приветствовал Луция парой фраз. Луций, намеренно стараясь не замечать Диону, стоявшую в тени Клеопатры, тоже сказал в ответ два-три слова.

Они вышли из спасительной тени шатра в самый зной злого, упорного солнца. Небо было белесым и ослепляющим. Но Луций кое-что почуял в воздухе. Он прикрыл от солнца глаза ладонью и взглянул сквозь марево раскаленного воздуха на пролив.

— Будет шторм, — вымолвил он.

Деллий вскинул бровь — сейчас он больше напоминал не воина, а самого себя — горожанина.

— В самом деле? Это пророчество?

— Мои кости чуют лучше всякого пророчества, — миролюбиво ответил Луций. Он никогда не знал, дразнит ли его Деллий или нет — голос того всегда звучал немного насмешливо, даже в минуты полной серьезности.

— Откуда мне знать… может, ты предвидишь битву, — сказал Деллий. — Ты ведь знаешь, кто проиграет, не так ли?

Это не было вопросом, и Луций счел, что не обязан отвечать.

— Теперь Антонию конец, — продолжил Деллий. — И он это знает. Пока что он делает хорошую мину при плохой игре, но после этого сражения превратится в загнанного зверя. В охотники Roma Dea выбрала Гая Юлия Цезаря Октавиана — и только она знает почему. Даже я это чувствую, отнюдь не будучи пророком.

— Нет, ты не пророк, — согласился Луций. — Просто практичный человек.

Деллий слегка улыбнулся.

— Практичный… да. Сегодня ночью я отправляюсь в небольшое плавание — на крыльях попутного ветерка. Хочешь, поплывем вместе?

Сердце Луция замерло. Вот он, этот момент — мгновение выбора. Раньше от него не требовали конкретного, бесповоротного шага — велись одни лишь разговоры.

Он улыбнулся.

— Благодарю тебя. Благодарю, но сегодня я занят. Меня ждет к ужину жена. Надеюсь, ты меня понимаешь.

Деллий и в самом деле понимал — или думал, что понимает. Насколько мог видеть Луций, в выражении его лица не было ничего презрительного.

— Ах вот оно что. Ну, что ж, прекрасно. Засвидетельствуй ей мое почтение.

Луций наклонил голову. Деллий пошел прочь — с расправленными плечами, с высоко

вскинутым подбородком.

Луций подумал, что Деллий знает все: каждую подробность плана, каждое сильное и слабое место армии. И он передаст все эти сведения Октавиану. Это было изменой, предательством — настоящим предательством, а не дезертирством или бегством.

А он, Луций, ничего не сказал, не попытался помешать Деллию. Просто смотрел, как тот уходил, потом повернулся и пошел заниматься делами, которые уже поджидали его.

Roma Dea замкнула его уста печатью молчания — так он сказал себе сам. Без сомнений, ему следовало пойти с Деллием; уплыть с ним и отдаться на милость Октавиану. Но здесь оставалась Диона. Когда наступит трагическая развязка, конец, он по крайней мере сможет защитить ее. Возможно, жена больше никогда не захочет разговаривать с ним, возможно, возненавидит его и будет ненавидеть до самой своей смерти — но она будет жить. Может, ей даже удастся спастись бегством.

Это решат боги. Ее боги — или его. Или те и другие, раскидывая кости на игорном столе жизни. Она была всего лишь их голосом. Он — их парой глаз. Ни тот, ни другой не имели права или власти вмешиваться в дела небес.

Софистика. Трусость.

Луций резко развернулся и пошел к шатру, в котором совсем недавно шел импровизированный военный совет. По пути он встретил много знакомых — одни мимоходом приветствовали его, другие останавливали и затевали разговор. Когда Луций наконец добрался до шатра, там уже было пусто — Антоний отправился отдыхать, как сказал стражник. Нет, он больше не примет ни одного посетителя. Да, благородный сенатор может прийти еще раз — попозже; правда, неизвестно, будет ли расположен Антоний говорить с ним.

Стражник подмигнул — Луцию следовало самому догадаться, что сейчас делал в шатре Антоний, оставшись наедине с Клеопатрой.

Он запротестовал и попытался оттолкнуть стражника, но тот оказался слишком дюжим и сильным. Кроме того, он был вооружен и твердо намеревался дать своему полководцу часок отдохнуть.

— Но ему необходимо кое о чем узнать, — сказал Луций.

— Вот он и узнает. Но попозже. Ты скажешь ему позже.

«Ну что ж, подождем, — подумал Луций. — Только будет ли это «позже»?

Боги знали, чего хотели. Он чувствовал их присутствие: слышал их шепот, видел их насмешливые глаза. И сдался, уступив их воле.

40

Деллий ушел — потихоньку, украдкой, ночью, как и многие до него; но никто из них не прихватил с собой столько военных секретов. Клеопатра почти было послала вдогонку за ним вооруженный отряд — в сопровождении залпа отборных проклятий, — но Антоний остановил ее.

— Брось, — сказал он. — У нас нет на это времени. Тем более что они в любом случае догадаются о наших планах. Давай просто надеяться, что мы осуществим их достаточно быстро и вырвемся отсюда.

Ее было бы не так просто уговорить, но она сама прекрасно понимала, что отряд этот причинит лагерю-крепости Октавиана, расположенному на горе, окруженному толстыми стенами, не больше вреда, чем укус комара. Кроме того, у нее не нашлось бы достаточного числа лишних солдат, чтобы нанести ощутимый удар и уничтожить человека, нашедшего в этой крепости убежище. Клеопатра могла бы добраться до изменника с помощью магии и наслать на него кару богов, но неразумно было тратить силы на такие мелочи: ей приходилось защищать тех, кто действительно нуждался в защите, и помогать им всем вырваться из ловушки при Акции.

Антоний сжег каждый корабль, для которого не хватило гребцов: несколько небольших боевых кораблей и огромное количество транспортных судов. В этом были свои — блеклые, хилые — слава и величие: выливать кувшины масла на каждую палубу, в каждую дырку, каждый трюм, а затем быстро пробегать от корабля к кораблю с факелами. Длинный хвост огня, касаясь промасленного дерева, на мгновение замирал, словно колеблясь, чтобы уже через секунды мощным порывом, с ревом взметнуться в небеса.

Это было жертвоприношение огню, гекатомба[90] морским богам. Когда утихли первые обезумевшие атаки пламени, жадным языком лизавшего добычу, жертвы его стали гореть ровно. Дым, валивший от погребального костра, был густым, роскошно-насыщенным ароматами горящей сосны, кедра и кипариса. Жар был неистовым, свирепым и диким. Казалось, он иссушил само палящее солнце, лишил предметы четких очертаний, а небо — багровой ясности. Вдалеке заклубились тучи, словно холодный дым.

Когда стемнело и скелетоподобные останки уже догорали, с моря подул ветер. Поначалу это было легкое влажное дуновение с привкусом соли. Но постепенно ветер окреп и, крепчая с каждым порывом, превратился в штормовой.

Пошел дождь. Ветер подхватил его и обрушил на корабли — и сожженные, и невредимые, стоявшие на якорях. Он лупил по ним сумасшедшей барабанной дробью, и те, что избежали огня, стали добычей оголтелого ливня. Вода хлестала по лицам мужчин, пробиралась в щели доспехов, просачивалась в шатры. Люди, набившиеся туда, молились, изрыгали проклятия и продували в азартные игры жалованье на десять лет вперед. Если боги и готовили себе на забаву зрелище, жуткий спектакль, его участники пока что принадлежали себе, стараясь выбросить из головы мысли и о битве, и о бегстве на кораблях.

Клеопатра смотрела на Антония. Они сидели в своем шатре; шел военный совет, куда были допущены самые надежные и преданные полководцы. Царица выглядела измученной, очень усталой, что прежде случалось с нею крайне редко.

— Это не происки врага, — сказала она. — Я не смогла остановить стихию. Я пыталась. Но боги лишь смеются.

Смех Антония был еще горше, чем смех самих богов.

— Они ведь опоздали, правда? Не успели помешать нам сжечь корабли. Но для битвы еще не поздно. И вообще: может быть, это благословение свыше. Удача… Сосий, как быстро мы сможем погрузить всех на корабли и выскользнуть отсюда под прикрытием шторма? Агриппа засел где-нибудь в безопасном месте, чтобы переждать непогоду, могу побиться об заклад. Вдруг это слабое место в кольце осады, та передышка, тот шанс, который нам позарез необходим.

— Да, — быстро подхватила Клеопатра. — Да, я помню, что рассказывал мне Цезарь: как ты против штормового ветра проплыл сквозь заслон флота Помпея, перехитрил его и доставил подкрепление, позволившее Цезарю выиграть сражение при Диррахии[91]. Он никогда не забывал об этом ратном подвиге и о том, с какой ловкостью и искусством ты его совершил.

Собравшиеся переглянулись — в их душах забрезжила надежда. Некоторые даже заулыбались и радостно закивали.

Но Сосий покачал головой.

— Ничего не получится. Ветер дует с запада — прямо во вход в залив. Нам ни за что не пробиться, не обогнуть Левкаду и не вырваться в открытое море. Если только, конечно, не вмешаешься ты, владычица. Ты не можешь приказать ветру дуть с Востока?

В блеске его глаз мелькнул еле уловимый оттенок оскорбления, но Клеопатра сдержалась.

— Боги, повелевающие ветрами, могущественнее меня. Я могу затуманить мозги наших врагов — по крайней мере, настолько, чтобы мы могли вырваться из пролива, но ветер не в моей власти — я не могу им управлять.

Диона, тень царицы, как всегда, спокойная, видела, какими взглядами военачальники смотрели на Клеопатру, как быстро и охотно возлагали на нее вину за собственную глупость. Даже те, кто раньше обожал ее, стали ее врагами. Она стала врагом Рима за эти долгие мучительные месяцы войны. А значит, и их врагом.

Да, это было умно, чертовски умно со стороны Октавиана объявить войну Клеопатре, а не непосредственно Антонию. В результате римляне получили повод и оправдание служить Антонию, но презирать его египетскую царицу. Причиной этой войны, яблоком раздора, была она и только она — разве нет? Не будь ее, они не оказались бы здесь — голодные, промокшие, грязные и загнанные в угол, в ловушку.

На самом деле без Клеопатры они проиграли бы войну в самом начале — из-за нехватки кораблей, провизии и жалованья войску. Но никто не желал думать об этом, не хотел помнить, что в неоплатном долгу перед чужестранкой, и к тому же женщиной.

Но Диона, уставшая до изнеможения, не чувствовала горечи в душе. Они с царицей сделали все возможное, чтобы смягчить удар, нанесенный изменой Деллия, и остановить приближающийся шторм. В первом они, вероятно, преуспели — насколько, станет видно, когда начнется сражение. Но во втором случае их постиг полный провал.

— Давайте молиться, — сказал Антоний, прервав молчание, грозившее перерасти в бунт, — чтобы ветер переменился. А если этого не случится и нам не удастся спастись под прикрытием шторма — пусть боги даруют нам погоду, наиболее благоприятную для сражения. Мы поставим все паруса, не забывайте об этом. Напомните войску, если сочтете нужным, что паруса понадобятся нам, чтобы гнаться за врагом, когда он будет повержен. Противнику ни к чему знать, что мы не стремимся к победе, а просто хотим вырваться из

ловушки и ускользнуть.

Никто не проронил ни слова — ни за, ни против. Полководец, который собирается победить в морском бою, не тащит с собой все паруса — тяжелые, мешающие маневрировать, — но оставляет их в безопасном убежище гавани. Чтобы драться ради верной победы, надо иметь на борту только воинов и оружие. Паруса — для побежденных, для отступления, для бегства.

Диона гадала: сколько матросов поймут, что означает наличие парусов — она подозревала, что большинство. Военачальник почти ничего не может скрыть от своего войска — солдаты всегда неизбежно учатся легко читать практически все мысли командиров. И дух поражения уже словно зримо сгущался в воздухе, застилал солнце — даже тогда, когда оно светило вовсю, — крался по лагерю, предательски заползая в сердца мужчин вместе с отравленным воздухом, которым они дышали.

Конечно, кое-что здесь было делом рук не в меру ушлого Октавиана. Он не брезговал любым оружием, попадавшим в его нечистые лапы; использовал жриц, искусных в делах тьмы, и они насылали на войско Антония кошмарные зловещие сны и болезни души. Клеопатра довела себя до полного изнеможения, пытаясь защитить Антония от сокрушающего натиска колдовства, но избавить от напастей всю армию была не в состоянии, этого не могли сделать и ее жрицы, в том числе Диона, которая не могла уберечь от отчаяния даже собственного мужа.

Да, это было самое настоящее отчаяние. Диона оборонялась от него силой слова и духа. Сегодня ночью она опять будет повторять заклинания, будет молить богов. Неимоверно уставших, как и она сама. Да, устали даже боги. Она будет делать это каждую ночь, если понадобится, пока они не одолеют злые чары и не обретут свободу. Диона не просила и не ждала победы — лишь бы только оказаться в Египте, где их души отдохнут и вновь обретут себя, и тогда, с новыми силами, можно будет вернуться на эту проклятую войну.

Шторм, пришедший с запада, бушевал четыре дня, и секстилий — август — закончился не изнуряющим зноем, каким начался, но промозглым холодом; сентябрь вступил в свои права.

На рассвете пятого дня шторма воины Антония выбрались из своих палаток и с вялым удивлением огляделись вокруг. Рев ветра утих, смолкли одуряюще-методичные удары капель дождя. Облака уносило вдаль — на Восток. Небо над морем было чистым и бледным.

Однако волны все еще злобно атаковали берег, словно не могли одолеть ненависть к земле, спокойной и безразличной к их ненасытной злобе.

Но у людей не было времени прийти в себя от потрясения внезапного покоя. Бой барабанов и пронзительные звуки букцин[92] будили всех, кто еще не проснулся. Боевые сигналы туб носились по лагерю — из конца в конец. Сегодня начнется сражение. Сегодня наконец Антоний получит свою битву.

Как только дождь полностью прекратился и облака совсем поредели, Антоний собрал всех полководцев на свой последний военный совет. Это было за час до рассвета. Каждый уже знал, что делать: кому грузиться на корабли, а кому оставаться в лагере, под началом Канидия Красса.

Задачу Красса было легко сформулировать — но нелегко выполнить. Если Антонию удастся ускользнуть без явной победы, Канидий должен отступать через Македонию, а оттуда — в Азию. Стратегия флота выглядела более сложной. Луций Севилий сомневался в том, что до конца понял ее, но ему не этого следовало бояться. Наоборот, его пугало то, что

он слишком правильно все понял. Луций знал, как дуют ветры у мыса Акций, и ему в принципе был ясен замысел Антония, хотя он почти не разбирался во флотовождении.

Эскадра Сосия должна была расположиться слева, а сам Антоний со своим флотоводцем Геллием Публиколой — справа, Клеопатре с шестьюдесятью кораблями — в основном, торговыми и несколькими военными судами — предстояло найти убежище в центре. Она постарается спастись первой — если удастся. Остальные последуют за ней.

Антоний же находился на правом фланге, где ветер дул сильнее и, начиная с полудня, в наиболее выгодном для них направлении, он победит с легкостью, если только боги и в самом деле не вознамерились погубить его. А вот Сосию предстояла жаркая трепка. Практичный план, спору нет, но это был и план труса.

Все сенаторы, еще оставшиеся с ними, и друзья Антония будут вместе с ним на флагманском судне, как и Луций, который, само собой, тоже не был заурядной фигурой.

— Если только, конечно, — поддразнил его один из приятелей, — ты не предпочтешь общество владычицы. Ведь твоя жена поплывет на ее корабле, да?

Будь Луций лет на десять моложе, он бы не задумываясь съездил этого идиота по физиономии. Но он, человек солидных лет и безукоризненного воспитания, был выше мелочных оскорблений. По крайней мере, до того момента, пока не сможет отомстить вполне достойным, приличным, цивилизованным образом. Достойным среди римлян считалось, например, взять пустомелю под стражу за обман или мошенничество.

О боги, да он становится циником. Луций невесело усмехнулся про себя. Диона говорила — когда снисходила до беседы с ним, что в последнее время случалось нечасто, — будто враг вооружился магией, черной магией, призванной подавить волю и развратить дух. И именно эти темные силы следует клясть за его мрачный юмор, а не внутреннюю борьбу, совсем для него не свойственную.

Из шатра Антония напрямую просматривался лагерь Октавиана, раскинувшийся на высокой скале на другом берегу залива. Луций знал каждый камень, каждую амбразуру крепости с толстыми стенами, каждый блик света на бронзе или железе доспехов и оружия стражников. Но все же было неодолимо притягательно смотреть туда поверх воды и знать, что в крепости сидит враг — прямо у них на виду, но Антоний не в силах вышвырнуть его оттуда вон. Что же может предпринять сам Луций? Вот это он знал слишком хорошо. Он мог бы поступить так же, как Деллий — найти лодку, переплыть через залив, подойти к воротам и назваться сенатором, если его тога с пурпурной каймой окажется недостаточным знаком отличия. Его встретили бы с распростертыми объятиями! Или, по крайней мере, цивилизованно, без неудобств типа оков и темницы.

Но в любом случае он опоздал. Утро было почти в разгаре, и на водной глади залива уже выстроились корабли. Те, кому предстояло плыть на них, строились в колонны, готовясь взойти на борт. Те, кто оставался на суше, занимали сторожевые посты или спешили заняться своими привычными делами. Лагерь наполнился резкими выкриками, окриками: командиры подгоняли замешкавшихся солдат, торопя их укладывать свое нехитрое имущество. Солдаты, приставленные к обслуживанию отхожего места, затянули жуткую, довольно похабную песню, в которой явно слышались капрологические нотки[93]…

Луций подавил приступ истерического смеха. Он собирался сражаться в бою, до которого ему не было ни малейшего дела, и не на той стороне. Доспехи были приготовлены, оружие отточено. Гай дожидался его, чтобы помочь надеть и то, и другое. Но Луций медлил, у него не было причин любить это место — от него просто тошнило, — но все же оно стало

привычным, знакомым. Нечистоты, грязь, размокшая и набухшая после четырех дней проливных дождей, стали казаться почти родными. Там, на море, свежий чистый воздух, простор воды, по которой скользили гостеприимные корабли, там, если повезет, свобода, спасение. А если не повезет… Луций был уверен только в одном: впереди долгий изнурительный путь, возможно, в никуда.

Сердце его разрывалось на части и оттого, что, покидая лагерь, Диона пройдет мимо него. Он не видел ее уже много дней — еще до шторма жена окончательно переселилась в шатер царицы, спала там и занималась магией. Молитвы и обряды окончательно измотали ее: Диона исхудала, так, что казалась почти прозрачной, но все же была полна внутреннего света, словно светильник в полутемной комнате.

Они давно не спали вместе — Луций даже уже не мог припомнить, с каких пор. Может, с той самой первой ночи, когда он лег на пол, — целую вечность тому назад. Потом он каждую ночь расстилал циновку, а она устраивалась на ложе — до тех пор пока не стала ночевать подле царицы, вернее, в ее шатре, потому что Клеопатра ни за что на свете, ни при каких обстоятельствах не откажется от близости с Антонием. Когда Луций сталкивался с Дионой, она казалась незнакомкой: чужеземное лицо, чужеземные обычаи, отстраненность от всего земного, человеческого… Она всецело принадлежала лишь своей богине и своей царице. В сердце ее не оставалось места для простого римлянина.

Последние полководцы вышли из палатки Антония, погруженные в свои мысли или занятые беседой. Клеопатра не появлялась, как, впрочем, и другие ее женщины. Наверное, сейчас, когда в шатре остались лишь немногие, царица прощается с Антонием. Они долго еще не смогут поговорить — поговорить, как любовники, — до тех пор, пока не окончится бой.

Луцию давно пора было идти — надо успеть надеть доспехи и оружие до отплытия корабля. Но он все медлил, глядя на твердыню Октавиана.

— Почему? — требовательно спросил он пустоту. — Почему Roma Dea выбрала именно его — из всех мужчин, среди которых могла выбирать?

— Потому что, — вдруг ответила Диона, — Roma Dea хочет империю; а империи нужен император. Антоний недостаточно умен, чтобы справиться с этим, не заставив сам Рим немного отойти в тень. Октавиан хитрее — и приятнее, на римский вкус.

Луций не удивился. Он уже привык к ее неожиданным появлениям. Тимолеону тоже это нравилось. Тимолеон… он мог повергнуть в ужас кого угодно, но Луций скучал по нему. Он скучал по ним всем, даже по серьезному, подчас угрюмому Андрогею.

Но больше всего он тосковал по Дионе, особенно сейчас, стоя совсем рядом с нею.

Она казалась такой же холодной и недоступной, как обычно, когда держалась в тени царицы. Но ему было достаточно и того, что она прошла мимо, заговорила с ним.

Не дать ли наконец волю гневу? Бесполезно — она лишь посмеется над ним. Луций хорошо изучил нрав своей жены и потому взял себя в руки и принял не менее холодный вид.

— Империя может существовать и без Рима.

— Да, — согласилась она. — Если умрет Октавиан. Он может умереть и сегодня. Тогда победа достанется Антонию — независимо от исхода сражения.

Луций прищурил глаза.

— Не этого ли ты добивалась своей магией?

Диона чуть вскинула подбородок — это было единственным признаком ее гнева.

— А если даже и так? Ты думаешь, я рассказала бы тебе об этом?

— Когда-нибудь — может быть…

Она покачала головой. Под маской холодности он вдруг ощутил скорбь.

— Некоторые вещи не сможет понять ни один римлянин. Или не должен.

— Например, тебя саму?

Диона опять покачала головой и неожиданно, к его несказанному удивлению, взяла его за руку. Ее рука была холодной и маленькой, голос — тихим, едва слышным.

— Луций, умоляю, останься сегодня в живых. Обещай мне, что не дашь себя убить.

— Я не могу обещать не умереть. Предстоит битва — какие могут быть обещания.

— Просто не ищи смерти.

Ему захотелось взять ее лицо в свои ладони — нет, всю ее сжать в своих объятиях — и прижать к себе, прижать изо всех сил. Он поднес ее руку к своим губам и поцеловал каждый палец. Она смотрела на него широко раскрытыми, сухими глазами, будучи уже во власти своей богини. Но в сердце ее осталось местечко и для него — пусть крохотное, но все же…

— Я не буду искать смерти, — проговорил он. — Хотя я мог бы… нет…

— Если ты будешь вынужден сдаться, — порывисто перебила она его, — сдавайся. Не думай обо мне. Обещай и это тоже. Обещай.

— Ты просишь слишком много.

— Обещай, — повторила Диона.

— А что ты пообещаешь мне? — пытливо спросил он.

— Я обещаю… — начала она, и голос ее задрожал. — Я обещаю не умирать. Если это будет зависеть от меня. И… ждать… если ты сможешь…

«О боги!» — подумал Луций в слабом изумлении — он был слишком измучен и почти не верил в такую перемену. Диона вовсе не охладела к нему. Все это было маской.

Но прежде, чем он успел заговорить, сделать что-либо, искупить свои невольные грехи, их разъединил голос Клеопатры, призывавший к себе жриц. Диона вздрогнула и отстранилась. Луций попытался притянуть ее к себе — поздно! Она кинулась к своей царице исполнять свой долг.

Она обещала ему все. Он же пообещал ей лишь половину того, о чем умоляла она. Остальное…

Луций тоже сорвался с места и побежал: от правды, от ужаса, неотделимого от этой правды, — к флагманскому кораблю Антония, навстречу утру и битве.

41

Морской бой поражает воображение зловещим величием и великолепием, когда его воспевают поэты: армада могучих судов, неистовство битвы над бездною моря, жутко-алые знаки пиршества смерти — реки крови и ревущее жадное пламя, — благородные речи, подвиг отваги, слава победителям и горе и гибель для побежденных.

Действительность и близко не напоминала все эти мрачные красоты, к которым питают слабость эквилибристы могучих гекзаметров: все было медленно, обыденно и поэтому особенно страшно. Почти все время проходило в ожидании: ожидании попутного ветра; ожидании, пока корабли дотащатся до исходных позиций; выжидании, пока одна из сторон сделает первый шаг.

— Отличный денек для битвы, — услышал за спиной Луций Севилий. Матросы переговаривались неожиданно весело — в то время как огромный флагманский корабль Антония тяжело плыл к отведенному для него месту. Но денек в самом деле был отличным. Утихший шторм словно смыл, унес с собой весь безжалостный зной. Это было горько-ясное утро — кристально-ясное, прохладное; с легчайшим, едва заметным дуновением ветерка, похожим на вздох. С появлением солнца море успокоилось; теперь же оно было совсем безмятежным. Такой денек в Александрии позвал бы всех на ладьи: плавать по озеру, рыбачить, охотиться на птиц и купаться.

Луций стоял под полотняным навесом на палубе флагманского корабля и смотрел, как рабы выносят и пристраивают на место карту. Это был огромный деревянный голубой круг, изукрашенный резвящимися дельфинами и пенистыми волнами. Среди них плавали маленькие деревянные корабли. Часть из них — с золоченым носом — означала флот Антония. Другие же, с черным носом, условно принадлежали врагу. Были на карте и деревянный утес с прилепившейся к нему крепостью, изображавшей лагерь Октавиана, и резной пятачок, символизировавший остров Левкада, и изгибы земли вокруг пролива у мыса Акаций, переходившего в Амбракийский залив.

Удивительно странно смотреть на мир, уменьшившийся до размеров кружка — так, наверное, видят его боги с небес, — а потом созерцать его в натуральную величину: ослепительные блики солнца на воде, скрипы и взмахи весел в такт бою барабанов, величавый ход кораблей из залива в открытое море. На южном берегу виднелся их собственный лагерь, казавшийся неприступным, но в то же время — маленьким, игрушечным; на стенах его выстроились мужчины в блестящих доспехах. Полыхали алые плащи легионеров, ободрявших их с берега. Это было очень великодушно со стороны войска, брошенного на произвол судьбы: в случае успешного бегства кораблей им предстояло пробиваться домой бог весть как, надеясь лишь на собственные силы.

Флот, застоявшийся от долгого бездействия, выглядел браво. Двести тридцать кораблей — от триер[94] до могучих военных кораблей-монстров, напоминавших настоящие поля битвы, тронулись в путь. Матросы еще раньше говорили Луцию, что это не настоящие корабли — не те, на которых любят плавать по морям корабельщики, а громоздкие военные чудовища, построенные лишь для того, чтобы подплыть, встать борт о борт с врагом и дать легионерам место для сражения. Позади них плыли транспортные суда Клеопатры и ее блистательное, разукрашенное флагманское судно, окруженное стайкой юрких «либурников»[95].

Враг не мог не знать, что и как они собирались делать. Однако, похоже, Октавиан и не думал спускаться со своего утеса — даже чтобы просто позлить их, поиздеваться над их караваном. Для любого другого человека такое искушение было бы слишком сильным, но Октавиан, судя по всему, даже не пустил воинов на крепостные стены, откуда можно было осыпать насмешками и оскорблениями проплывавший внизу флот.

— Никакого чувства юмора, — заметил Антоний с явным сожалением, когда флагманский корабль миновал утес и замедлил ход, готовясь как можно успешнее проплыть по неожиданно встретившемуся на пути мелководью. — Я бы выстроил своих людей вдоль стен и приветствовал его флот голыми задницами и бравурными звуками труб.

У Луция перехватило дыхание. К счастью, не нашлось ни одного добровольца, пожелавшего реализовать его идею.

Но вскоре Антонию поневоле пришлось перенести свое внимание на море. Водная гладь, казавшаяся ранним утром необъятной и пустынной, была перегорожена стеной кораблей. Агриппа уже поджидал их.

Антоний, однако, предвидел этот шаг и разработал соответствующий план. Хотел же он совсем другого: встретиться с Октавианом, преспокойно засевшим за своими крепостными стенами.

— Давай-ка вылезай, — заклинал его Антоний. — Вылезай наружу, трухлявый сморчок! Высунь нос и сражайся, лопни твои крысиные глазки!

Не тут-то было. Именно этого Октавиан и не собирался делать. Он находится в безопасности; у него есть великий флотоводец, который будет вести вместо него сражение, — а он отсидится в крепости, подождет, пока Агриппа не принесет ему победу на блюде.

— А потом он припишет победу себе, — пророкотал Антоний, — назовет своим триумфом и прокатится по Риму на золотой колеснице, ломая комедию перед толпами восторженных зевак. Правда, есть одно «но»: не раньше, чем Октавиан избавится от меня. Я еще могу внести в эту умилительную картинку весьма существенные поправки.

Флот Агриппы не делал ни малейшей попытки атаковать корабли Антония, когда те выплыли с мелководья и заняли свои позиции. Ни один из них не засел на мели, даже неуклюжие монстры, которые вместе с остальными большими кораблями занимали фланги. Левый, южный, был у Сосия; центр (там линии были маневренно тонкими) принадлежал двум более молодым полководцам — Инстею и Октавию, которых Луций едва знал; и, наконец, на правом, северном, фланге находился сам Антоний со своим флотоводцем Публиколой. Клеопатра держалась позади. Ее корабли не должны были участвовать в сражении, если только их к этому не принудят; их оставили для других целей.

Луций бросил взгляд вниз, на карту. Вход в пролив словно стерегли два стража-близнеца — два скалистых мыса. Флот Антония выстроился, повторяя их изгибы, в две дуги — это напоминало детский рисунок самого обычного лука, где суда Клеопатры выполняли роль стрелы, нацеленной на запад и на свободу.

А пока, заняв места, отведенные Антонием, они ждали. Между тем все мыслимые действия внутри пейзажа, предложенного богами для битвы, свелись к нулю. Октавиан не слезал со своего насеста, стена кораблей Агриппы была неподвижной, как и прежде, — ни одно судно не шелохнулось, не сдвинулось с исходных позиций. Даже ветер совсем утих. Море разгладилось и стало похожим на огромное зеркало, в котором отражался

перевернутым весь флот: мачты тонули в синем море, а корпуса плыли возле края неба.

Во время этой бездыханной паузы, казалось, даже страх в душах умолк, и мысли об исходе грядущих событий куда-то ушли. Мужчинам, которым предстояло это пережить, дали вина, сильно разбавленного водой, чтобы утолить их жажду и подкрепить силы. Луций потягивал из чаши вино. Солнце словно зависло над головой. Без ветерка было жарко, хотя до изнуряющего, одуряющего зноя, мучившего их перед штормом, было далеко. Он потел в своих доспехах и уже начал подумывать снять их, но это явно погрешило бы против правил кровавой игры, в которую играли и солдаты, и их полководцы. В бою мужчина носит доспехи, хотя бой этот заключается в многочасовом стоянии у края палубы, а вокруг ничего не происходит, даже волна не всплеснет на глади воды.

Медленно, неуловимо — поначалу Луций даже ничего не заметил — погода стала меняться. Море и небо, так долго сливавшиеся в одну сплошную голубую лазурь, теперь словно разделили, отрезав друг от друга ножом. Мало-помалу стал вырисовываться горизонт. Как только он обозначился темной и четкой линией, прохлада дохнула Луцию на щеки. Из глубин просторов моря пришел ветер.

Антоний, неустанно меривший палубу шагами — их звуки уже начали казаться Луцию биением его собственного сердца, — внезапно остановился и резко обернулся.

— Ну что ж, отлично! А теперь посмотрим, сможешь ли ты сейчас удержаться от битвы, Марк Випсаний Агриппа.

Он повернулся к сигнальщику, как всегда, ждавшему приказа в любую минуту, и произнес:

— Пора!

Флот, целую вечность простоявший на месте, наконец-то пришел в движение. Левое крыло, плыть которому предстояло дольше всех, огибая стены гор острова Левкада, первым взмахнуло веслами и тронулось в путь. Антоний, чей фланг должен двинуться вперед вслед за левым, стоял как вкопанный, и глаза его были прикованы к правому флангу врага.

— Ну же, давай! Ближе, — приказывал он. — Ближе! Ишь, любимчик богов!

Ничего подобного не произошло. Вражеский флот заскользил по воде — но в противоположную сторону. Он отступал перед кораблями Антония.

Антоний тихо выругался. Корабль закачался на волнах. На палубе тоже все пришло в движение: рабы суетились вокруг голубого круга карты, стараясь не упускать из виду ни одного раскрашенного деревянного кораблика, переставляя их в соответствии с ходом сражения.

Все корабли Агриппы пятились по воде, и отнюдь не неуклюже. Они хотят вытащить его из норы. Заставить заглотнуть наживку.

Быстро переведя взгляд с карты на море и обратно, Антоний усмехнулся. У него меньше кораблей — но они гораздо массивнее, и вдобавок он укрепил их мощь, обшив бимсы железом. Он сможет пробить себе путь. Только пусть противник даст ему достаточно водного простора, достаточно места, чтобы набрать скорость. Сначала в ход пойдут весла, а потом — так как ветер крепчал и дул с запада на северо-запад, как и всегда в этом чертовом заливе, — потом, с благословения богов, паруса, словно поджидавшие, когда прозвучит долгожданное слово команды, развернут корабли и помчат их прочь.

Мечты сладки, но в реальности все было далеко не так просто. Его врагом был знаменитый Агриппа — этот хитрец видел все замыслы Антония и опережал каждый его шаг. Истинный дар богов… Антоний великодушно признавал это. Он сам обладал таким же

даром — в битвах на суше: у него был зоркий глаз на каждый шанс к победе и талант знать, как поступить в самый разгар сражения.

Эта морская битва, похоже, обещала стать неописуемо тяжеловесной и муторной — как война двух гигантских черепах. Антоний, который мог играючи двигать свои легионы, как костяшки на абаке, смотрел на корабли на карте и не чувствовал ничего, кроме свирепого нетерпения. Он сохранял спокойствие лишь благодаря Сосию — тот предостерегал его словом или наклоном головы. Но вскоре был уже готов слезть со своей плавучей крепости, пойти, милостью Геркулеса, через поганое море к этому поганцу Октавиану и удушить его голыми руками.

Однако он ничем не выдал своей растерянности. Впервые в жизни Антоний не знал, как лучше ему действовать. Но это был его выбор. Если бы он решил сражаться на суше, то игра велась бы по его правилам. Он же предпочел море, и придется пройти через неизбежное: победить, проиграть или просто ускользнуть — на свободу или в черную тьму, откуда нет возврата.

Корабли Агриппы перестали пятиться. Наступила небольшая пауза, пока переставляли весла, — флот противника казался ничуть не опаснее и не агрессивнее, чем армия огромных многоножек. Наконец, враг под бой барабанов двинулся вперед.

Оба флота сблизились. Из катапульт, установленных на палубе, тут же полетели снаряды, словно ни одна сторона не хотела терять время после столь долгого ожидания. За некоторыми из них тянулся хвост огня[96]. Остальные снаряды были обычными — стрелы, ядра из свинца, глины, обычные камни, — но смертельно опасными для плоти, костей и дерева судна.

Внешне спокойное лицо Антония дрогнуло: он усмехался от уха до уха. Наконец-то он получил свое сражение. Скорее всего, он не станет победителем и ему останется лишь надежда ускользнуть при помощи наития и своего не так уж плохо оснащенного флота. Но лучше всего… лучше всего было бы вообще не сражаться.

Октавиан терпеть не мог сражений. Антоний от души надеялся, что и от этого его просто тошнит.

— Ну что, как дела наверху, в нашем курятничке? А, постная рожа, надутый ханжа? Животик свело? Гадишь всласть? Добрыми римскими бульничками — пока все не будет кончено?

Кто-то быстро подхватил шутку — один из остряков-сенаторов; Антоний не сразу вспомнил его имя — свойство плохого политика, как сказал бы Цезарь, но Антоний не был Цезарем.

— Ему осталось наложить еще немножко дерьма, и он построит себе новый город. Как, по-твоему, он его назовет? Клоака Виктория[97]? Какополь?

— Как это бестактно! — ввернул другой. — И совершенно лишено тонкости. Конечно, он назовет его Никополь. В честь своей победы, которую ему преподнесет Агриппа.

— Победы над чем? Над переполненными горшками?

И понеслось в таком же духе — пока в воздухе летал огонь и сближались корабли, пока нос первого корабля не уткнулся в борт первого вражеского судна. Тут же пошел в ход абордажный мостик, и мужчины наконец начали биться врукопашную, лицом к лицу, как и положено мужчинам — даже в море.

Диона стояла на палубе флагманского судна царицы, сразу за троном. Это было ее

место по праву, но она редко занимала его, предпочитая поменьше чести и побольше удобства, и устраивалась сбоку или где-нибудь в тени. Однако сегодня ей следовало находиться поближе к центру событий.

На Клеопатре были одежды из золота и золотая диадема — эллинка до кончиков ногтей, царица… Если ее захватят в плен (а такое могло случиться — если все расчеты окажутся неверными и роль, отведенную ей Антонием и его флотоводцами, сыграть не удастся) — она предстанет перед врагом истинной владычицей Египта.

Диона гадала, билось ли сердце Клеопатры — под великолепными одеждами и золотом — так же ровно, как и у нее самой. Воля врага, сражавшаяся с их волей, темные силы, жуткие существа, расползавшиеся из лагеря Октавиана на утесе, атаковали тем сильней, чем ближе подплывал к нему флот. От кошмарных духов черных пастей пещер и безлюдных мест, особенных, где пролилась кровь, древняя кровь; от их неясного диконапевного бормотания можно было сойти с ума. Все это казалось странным и чужеродным в правильном и практичном мире Октавиана. Но Диона знала: он не остановится ни перед чем, чтобы завладеть империей.

Битва приближалась, и солнце все ярче палило над тихим морем. Клеопатра и жрицы, окружавшие ее, изо всех сил старались взять под защиту свой корабль — как и весь флот. Остальное было не в их власти. Они не могли пролить свет в души, в которых не было света, но стремление выжить в предстоящей битве воодушевляло лучше любой магии.

Ни Клеопатра, ни Диона, ни все остальные не спрашивали, что случится, если круг разорвется — или если Клеопатра спасется, а Антоний — нет. Они миновали утес и вышли в открытое море. Диона надеялась, что здесь чары врага пойдут на убыль. Но тянулись долгие часы ожидания, битва все не начиналась, а силы зла не ослабевали.

Но и не возрастали, и это свидетельствовало о том, что они устали, как и жрицы. На море и на суше, в душах и телах война застыла на мертвой точке, словно не желая что-либо изменить и не имея на это сил.

Когда поднялся ветер и корабли наконец двинулись с места, напряжение внутри круга стало ощутимым, как будто враг вот-вот добьется преимущества. Но удара не последовало, ни малейшей дымки тьмы не застлало солнце. Ветер дул, как обычно, как дул каждый день, крепчая к полудню, принимая направление, при котором мог наполнить паруса и погнать корабли в обход острова Левкада, в открытое море. Боги, четыре дня подряд насылавшие на Акций шторм, похоже, тоже устали или перенесли свою злобу на другие земли.

Флот Клеопатры держался в стороне от битвы. Некоторым из ее людей — молодым и не столь молодым — не терпелось послать свои корабли на бой с врагом, но приказы царицы были жесткими и безоговорочными. Они не будут драться. Это не их задача. Им надо ждать. Ждать и смотреть.

Отделенная от поля брани простором воды, битва казалась и близкой и далекой. С таким же успехом она могла быть игрой, забавой для царицы, шутейным морским боем в дворцовом пруду. Быстроходные небольшие корабли Агриппы сновали вокруг неповоротливых монстров Антония, изводя их, как шакалы изводят раненого льва. Враги выбирали себе мишени, которые было легко достать при помощи абордажных мостиков и крюков. Ядра, камни, глина с горящей смесью летали с корабля на корабль, стрелы сыпались сплошным смертоносным дождем.

В воздухе носились совсем не божественные звуки: пронзительные крики, вопли, лязг клинков, подобный жуткой боевой песни. Когда корабли в месиве схватки сталкивались

бортами, раздавался оглушительный грохот. Даже в нарядном раззолоченном покое флагманского судна, вдали от битвы, Диону настигали дым, смрад горящего дерева, дегтя, плоти, крови; и, когда мужчины становились добычей ужаса и агонии смерти, — вонь дерьма и рвоты.

Некоторые искали спасения, вдыхая из чаш душистые запахи. Диона предпочла обойтись без этого. Клеопатра — тоже, хотя ее жрицы жгли благовония, пытаясь одолеть смрад битвы сладостными ароматами богов. До боли стиснутые кулаки Клеопатры лежали на подлокотниках трона. Глаза ее горели: изучая ход боя, они впивались в каждую мелочь, пытаясь понять, чем обернется хаос кровавой сечи.

Ветер крепчал, и все ожесточеннее становилась схватка. Корабли сбились в кучу, зажатые в давке сражения. Один, горящий, врезался в борт своих же союзников; экипаж заметался в обезумевшей попытке спастись с обреченного судна, но на пути к свободе их уже поджидала команда вражеской галеры, готовясь к хладнокровным убийствам.

На флагманском судне Клеопатры матросы, залезшие на реи и глазевшие на битву, засуетились, делая ставки. Диона даже не слышала сигнала — все ее мысли были заняты сражением. Она бездумно смотрела, как взмыли вверх паруса; царственный пурпур, окаймленный золотом. «Выцвели…», — машинально отметила она про себя. Теперь паруса были цвета аметиста, а золото мерцало тускло, как зимнее солнце.

Основной жар битвы перекинулся на юг и частично — на север, где находился флагманский корабль Антония — золотой лев на носу был виден издалека. И неожиданно перед судами Клеопатры образовалось изумляюще-обширное пространство воды. Там тоже шла битва — но кораблей было мало.

Звук тубы горниста царицы прозвучал долгой пронзительной нотой, эхом отозвавшейся на всех ее судах. Паруса наполнились сильным попутным ветром.

Сама Клеопатра восседала на троне неподвижно, подобно изваянию, как сидела с самого начала сражения, даже головы не поворачивая в сторону зарева неистовой битвы, полыхающей вокруг флагманского корабля Антония. Она не проронила ни слова, хотя повсюду стоял приглушенный гул голосов — в них слышались трусость, паника и даже кое-что похуже.

На борту были все богатства, добытые ею вместе с Антонием. Царица Египта, его правительница и хранительница, должна спастись и снова начать войну — но там, где хозяйкой положения будет она, а не Октавиан.

От Дионы не ускользнула агония внутренней борьбы царицы: казалось, логика и здравый смысл готовы отступить под натиском смертельного ужаса. Клеопатра-царица была всецело согласна с Антонием-полководцем: она должна бежать как можно скорей, пока путь хотя бы относительно свободен, — и врага нужно перехитрить, чтобы он пропустил ее корабли. Однако из самой глубины сердца Клеопатры-любовницы в бездны тьмы ночи несся крик: «Не-е-т! А вдруг ты погибнешь?! Вдруг не сможешь прорваться и спастись? Что станет со мной?!»

«Ты отомстишь, — отвечал ей Антоний. — И сделаешь так, чтобы наши сыновья правили после меня».

Был ли Антоний сейчас уверен в своих силах? Диона надеялась на это чудо, когда ее нелегкий труд подходил к концу — последние заклинания, призванные защитить флот, дравшийся, чтобы вырваться из западни. Антоний сохранит веру в себя, победит и пробьется к свободе.

Общий вздох вырвался из груди собравшихся на палубе. Диона с изумлением поняла, что впереди больше нет битвы — только чистая тихая гладь воды. И… — Она оглянулась назад: врага пока еще не видно. Он бросил все силы на корабли Антония, которые упорно держались своих позиций, чтобы дать путь флоту царицы и прикрыть его отступление.

Однако египтяне не будут в безопасности до тех пор, пока не найдут гавань в Сирии. Но свобода уже близка! Теперь они вырвутся из западни проклятого Акция.

Флот Антония попал в жестокую переделку. Враг, не предпринимавший ничего, пока Клеопатра беспрепятственно уплывала прочь, с еще большей яростью обрушился на ее союзников, оставшихся на поле брани.

Внезапно у них над головой, в чистом небе, словно придя из ниоткуда, разразилась гроза: молнии, гром, потоки дождя и белый мерцающий град. «Это просто шквал, — говорила себе Диона, — обычный шквал с дождем и снегом». Но глаза ее обратились к утесу Октавиана, и силы магии устремились вперед, ища и пробуя. Им предстояло столкнуться со стеной — куполом, сияющим во тьме. Да, стена и в самом деле была, но не крепостная, а тонкая, как шелк, и, подобно шелку, она стала рваться. От прикосновения магической силы — Диона хотела просто проверить себя или укрепить стену — в призрачном куполе разверзлась огромная зловещая дыра. Внутри нее толпились духи тьмы, призраки разбитых надежд, ускользнувшей победы, веры, убитой отчаянием. Все это сгрудилось, словно готовясь к прыжку, словно невидимая рука хотела послать из катапульты снаряд, нацеленный прямо на мерцающую перед взглядом Дионы громаду судна Антония.

Ни секунды не думая, она всем телом бросилась на зияющую черную пасть. Увы, силы оказались неравны; бороться в одиночку, пытаться сделать больше, чем отвести удар в сторону, было слишком поздно. Удар мог бы стать смертельным, но инстинктивно ей удалось увернуться. В голове была лишь одна мысль: о корабле и о мужчине на его борту. Только об одном мужчине. И вовсе не об Антонии — хотя Диона смутно помнила о нем, словно давным-давно прочла в какой-то книге. На том корабле плыл Луций. Он тоже служил мишенью кровожадных прожорливых сил безжалостной тьмы. И у него были глаза, чтобы видеть их, ум, чтобы оценить их возможности и опасность — но он не обладал ни силой, ни умением одолеть чары зла.

Луций попытается, обязательно попытается… Но Диона слишком хорошо знала своего мужа, вряд ли он проявит благоразумие. И если он погиб…

Но внезапно магический дар полностью покинул ее, истощенный неистовым броском. У Дионы остались лишь глаза простой смертной, ум, не вещий и уязвимый, тело, накрепко прикованное земными узами к палубе корабля Клеопатры. Она тщилась заговорить, попытаться предостеречь, соединить прореху…

Но жрицы, которые могли бы помочь ей, были измучены не меньше, чем и она, и так же бессильны. Одна из них усадила Диону на стул и старалась успокоить ее чашей вина с ароматным привкусом специй. Там было что-то еще, более крепкое, горькое, и Диона, поморщившись, быстро отвернулась. Однако жрица настаивала — мягко, но непреклонно, пока Диона не смогла с трудом сделать пару глотков. Потом ее заставили встать, хотя она и сопротивлялась, цепляясь за снасти. За это короткое время битва осталась далеко позади, стала лишь призраком, тенью пожарищ, облаком дыма, клубящимся в небе, пока ветер не подхватил его и не погнал прочь, словно армию Антония и саму его войну.

Диона даже не чувствовала горечи вина. Горе ее было слишком сильно.

Луций Севилий видел, как египетский флот вырвался из западни и ускользнул. Медлительные, как морские течения, суда Клеопатры устремились вперед, развив приличную скорость, сразу же как только подняли паруса. Ни одно из них не отстало и не было взято на абордаж.

У него оставалось время вздохнуть — не больше. Флот Агриппы давно уже прорвал оборону, которую держали мелкие суда, и обрушился на корабль Антония. Лучше всего было бороться за ясный рассудок и надеяться, что тело будет повиноваться ему. А к жестокой сече Луцию было не привыкать.

В сущности, он ничем не лучше Антония. Нужно было драться, кого-то убивать — неважно, на чьей стороне. Он подождал, пока причалил вражеский корабль. По правую руку от него стоял матрос, вооруженный крюком и безумной усмешкой, слева — легионер внушительно-опасного вида. Неплохие союзники для человека, у которого нет родины. И жены. Диона уплыла назад, в Египет, где и было ее место, и слава богам, что она решилась на это.

Луций Севилий, гаруспик, с удивлением обнаружил, что на сердце у него было легко. Диона в безопасности, далеко от этого проклятого места, и богиня защитит ее. Теперь ему больше нечего делать на этом свете. Осталось только выполнить последний долг: не дать врагу слишком быстро захватить его корабль.

Подсознательно он понимал, что Антоний хочет избежать битвы. Ни единому вражескому судну в одиночку не под силу разом одолеть такой длинный и просторный корабль, такую махину, как флагманское судно Антония. Вот и еще один подплыл спереди — нет, это свой, с львиной головой на парусах… Кто-то из соратников Антония разворачивался кормой, словно теряя присутствие духа.

— Луций Севилий!

Он обернулся. На него смотрели глаза Антония. Голова триумвира слегка качнулась в сторону кормы.

Луций предпочел не понять его жеста. Первая волна врагов уже нахлынула, выплеснувшись на ставшие почти едиными снасти и абордажные мостики. Один нападавший спрыгнул на палубу почти под носом у Луция, занося обнаженный короткий меч далеко назад, чтобы наверняка воткнуть его прямо в живот. Луций ударил первым, почувствовал, как нож вошел в плоть, толкнул глубже и, когда клинок скользнул в грудную клетку по рукоятку, резко выдернул. Мужчина задергался в конвульсиях и умер.

Внезапно Луций почувствовал, что Антония рядом нет. Это ощущение медленно овладевало им, потом вдруг стало набирать силу, в то время как ощущение присутствия Антония слабело, а затем словно понеслось — будто бегущий человек, зримое существо — через всю длину корабля, перевалило за борт на ждущую его галеру, уже отчаливающую от флагманского судна. Паруса взмыли вверх, надулись попутным ветром, и галера устремилась прочь.

Переведя дух, Луций рассмеялся. Он стоял, расставив ноги, охваченный неистовым безумием битвы, а его полководец — полководец на суше — уплыл, сбежал, унес ноги со своей египетской царицей. Но пусть ему повезет! Roma Dea может наконец получить такое сокровище, своего Гая Юлия Цезаря Октавиана, но она не в силах отнять у Марка Антония его величия, даже в бегстве с места сражения — сражения, к которому он так стремился. Спасая свою жизнь, Антоний бросил свой флот и армию, но это нельзя назвать трусостью. Первый долг — выжить и победить в войне, как бы позорно он ни проиграл это сражение?

Луций Севилий дрался отчаянно, в противном случае его ждала смерть, а умирать он не хотел. Им вдруг овладело соблазнительное желание жить — пусть даже жизнь потеряла и смысл, и остроту. Он сознавал, что на флот напало что-то странное, похожее на тень, но не такое земное, почти незримое; нечто нашептывающее о безнадежности и поражении. Он поборол наваждение. Мозг его вполне мог справиться с отчаянием сам, без помощи магии.

Луций бился, пока не сломался меч, потом нашел другой, но он оказался тупым и годился только на то, чтобы отмахиваться от врагов, лезших на него бесконечным потоком. Когда-то он видел в высоких камышах озера Мареотис раненого бегемота, растерзанного крокодилами. Нынешняя битва вызвала у него это полузабытое воспоминание: массивная жертва, вооруженная лишь тупыми зубами и грубой силой, множество тварей, впивавшихся, терзавших, рвавших огромного зверя на части, пожирая его живьем.

Луций отшвырнул бесполезный меч. Поблизости мелькнуло копье, но оно было в чьих-то руках. Копейщик уже нацелил его в горло Луция, и он улыбнулся. Смерть сейчас будет кстати. Она принесет избавление и отдых.

Копейщик впился взглядом в его лицо, словно силился вспомнить имя. Луций и представить себе не мог почему — он никогда в жизни не видел этого человека. Последние остатки инстинкта самосохранения заставили его руки потянуться к копью. Копье отдернулось, потом вновь приблизилось, но удара не последовало.

Он бесславно лежал на жесткой палубе: копье было приставлено к его груди.

— Сдаешься? — спросил человек на безукоризненной, изысканной латыни.

«Он спросил, — отметил про себя Луций. — И к тому же вежливо». Луций подумал было ответить грубостью, но воспитание не позволило, и он вздохнул.

— Ну ладно. Если ты спрашиваешь, я сдаюсь.

Победитель, казалось, почувствовал облегчение. Это был молодой человек, немного слишком вычурно одетый и вооруженный — так мог выглядеть военный трибун. Но копье было достаточно боевым, видавшим виды, как и протянутая рука. Луций принял ее, позволил поднять себя на ноги. Почему бы и нет?

— С тобой все в порядке? — спросил юноша.

Казалось, он все облекал в вопросы. Наверное, у него дотошный отец и обожающая его мать, и больше денег, чем надо — судя по всему, он не мог придумать, что с ними делать. Но все же, казалось, юноша умеет сражаться. Поэтому Луций удержался от сарказма и честно ответил:

— Устал — вот и все. Сыт по горло сражаться не на той стороне.

— А любовник царицы поджал хвост и сбежал, — заметил юноша с явной симпатией и огляделся по сторонам. То же самое — за отсутствием других занятий — сделал и Луций. Битва продолжалась, но уже не так ожесточенно. Он увидел других вражеских легионеров с пленниками — и много мертвых. Слишком много мертвых.

— По-моему, ты просто запутался, — подсказал юноша.

— Может быть, — ответил Луций. — Не возражаешь, если я на минутку сяду. А потом я должен увидеть Гая Октавия — если он станет говорить со мной. Или Агриппу.

При звуках этого имени губы его невольно скривились. Агриппу, как часто говаривал Антоний, никто не любил. Гроза морей Агриппа был чем-то вроде необходимого зла.

Юноша нахмурился.

— Я не уверен…

— Пустяки, — сказал Луций. Неожиданно у него сильно закружилась голова. Он сел на

палубу — слишком быстро, быстрей, чем собирался, попытался устроиться поудобнее, но ничего не вышло. Он не мог понять, в чем дело. Ведь это же не его кровь течет по бедру. Не его?

Но это не имело значения. А может, и имело — но наверняка небольшое.

— Видеть Октавиана… — пробормотал он. — Видеть… Агриппу. Видеть…

Юноша заволновался, и голос его стал тонким до визга, как у маленькой девочки.

— Лекарей!.. Лекарей!.. Сенатор… благородный сенатор…

Ну и ну. Луций слегка вздрогнул от изумления. А ведь на нем даже не было сенаторской тоги. Как этот мальчик узнал? Может, Луций должен помнить его по Риму? Но кто это? Отпрыск кого-то из соседей? Родственник? Двоюродный брат… или племянник, помоги ему Юнона? Ах! Семья. Если это семья… Если бы это что-то значило… а оно не значило… Тьма была гостеприимной, мягкой и глубокой. И Луций счастливо провалился в нее.

42

У Акция они проиграли — в этом не было никаких сомнений. Клеопатра ускользнула невредимой, даже после нападок неугомонного преследователя, спартанца Эврикла, который обнаруживал явное нежелание забыть о том, что должен отомстить Антонию. Они легко отбились от него, поймали в паруса попутный ветер и оставили далеко позади — пронзительно верещать, словно чайка.

— Я еще отрежу тебе голову! Ты убил моего отца! Я тебе этого никогда не забуду!

— Твой папа не умел прилично вести себя на море, — отрезал Антоний. — Вопросов больше нет?

Они отмахнулись от Эврикла, как от докучной мухи, потеряв его из виду, сразу же забыв о нем. У них была проблема посерьезнее — потеря флота, которая стала бесспорной, когда они достигли мыса Тенар, на третий день пути от Акция. Сорок кораблей затонуло, остальные сдались.

Но армия Канидия Красса, судя по всему, вырвалась из западни лагеря и пробилась в Македонию. Клеопатра лелеяла эту надежду, хотя Антоний потерял все: проиграл битву, утратил надежду и желание сражаться. Все три дня их бегства он сидел в каюте корабля царицы, в темноте, не разговаривая, не двигаясь — лишь осушая чаши с вином одну за другой. Он выпил невероятно много, но оставался оцепенелым и отвратительно трезвым. Это была трезвость отчаяния.

Что же в грозном полководце сломалось, когда он бежал от своего флота? Диона боялась, что причиной этому была она; что, отведя удар черной магии, она спасла флагманский корабль, но не самого Антония, который уж находился на другом, более легком и маленьком судне. Но она не могла знать это наверняка. Дар богини в ней еще не настолько окреп, чтобы в чем-то быть уверенной. Человек мог сломаться сам по себе. Сильный мужчина, закаленный долгими войнами, которому идут на пользу как победы, так и поражения, в конце концов, бывает, устает и становится слабым, раздражительным и уязвимым.

Он был римлянином, а сидел сейчас на египетском судне, под крылышком у египетской царицы, окруженный ее рабами и ее сокровищами. Луция Севилия сломало знание того, что дело, которому он служил вместе с Антонием, не было Римом. Насколько же хуже Антонию, если Roma Dea, великая богиня-тиран, оставила его безоружным наедине с самим собой и убедила в том, что он предал ее?

Диона не понимала, что происходит. Антоний говорил с ней не больше и не чаще, чем со всеми остальными — он жаловал своим вниманием только виночерпия, и то только затем, чтобы потребовать еще вина.

От Тенара, немного отдохнув, они поплыли к Египту. Но когда суда уже вышли в море, их догнал легкий быстрый кораблик и принес весть. Армия Канидия сдалась, и не в битве, а за столом, где совершаются сделки. Римляне Антония были сыты по горло. Они жаждали отдыха и хотели положенных наград; почетной отставки, маленького поместьица в Италии, мирной жизни после долгих лет войны. Антоний не мог дать им этого — до тех пор пока у него на пути стоял Октавиан. Но Октавиан был хозяином Италии — и он пообещает им все это, что поможет ему победить в этой войне.

Послания были извиняющимися.

«Мы очень просим простить нас, — писал один из них. — Мы старались изо всех сил. Но мы не видим возможности поселиться на берегах Нила и жить там тихо и мирно. В конце концов, мы же римляне. Италия у нас в крови».

Это был еще один удар по состоянию духа Антония, еще одно подтверждение того, что Roma Dea повернулась к нему спиной.

Потом пришла другая весть, ввергшая его в еще большее отчаяние. Скарп, командир его легионеров в Киренаике, перешел на сторону Октавиана. Теперь у Антония не было убежища — он был заперт в Египте, а Скарп висел у него на хвосте, подумывая порадовать новых союзников добрым сражением. Правда, это немного расшевелило Антония — он наконец вышел из винного ступора и отвел часть флота к Парэтонию. Здесь, среди обширных просторов песка и камней, согретых уже нежарким солнцем, он показал Скарпу свои зубы и когти — и до того впечатляюще, что тот галопом убрался восвояси.

Клеопатра не горела желанием заточить себя посреди унылый пустыни, но она пошла бы на это, если бы Антоний явно нуждался в ней. Однако он отправил ее назад, сделав вид, будто к нему вернулись бодрость и силы, и подчеркнул, что, если она не защитит их тылы своим царственным величием, Египет добровольно переметнется к врагу. Это было красноречие отчаяния, но отчасти оно отражало истинное положение вещей. Александрия, как всегда, беспечная и ветреная, нуждалась в присутствии царицы, ее твердой руке — иначе, сорвавшись с места, она могла потащить за собой весь Египет.

Итак, Клеопатра предоставила Антония его поединку со Скарпом и возвратилась в свой город. Антоний достаточно скоро последовал за ней. Он наголову разбил Скарпа, но это не было настоящей победой; удовольствие от него поблекло и исчезло ещё до того, как она была одержана. Антоний опять погрузился в сумеречное состояние и уединился в башне в гавани, прихватив с собой виночерпия и едва ли не сотню кувшинов с вином. Оттуда он имел возможность любоваться и на город, который мог предать его, и на море, откуда явится Октавиан, чтобы уничтожить его. В приступе черного юмора он назвал башню Тимоний[98]: по-другому — Хандриловка или Брюзгополь.

Хныкалище — так предпочитала называть ее Клеопатра. Она ничуть не заразилась отчаянием супруга. Если Антоний не станет победителем или не заставит себя предпринять для этого хоть малейшее усилие, она все возьмет на себя. Царица смеялась над лживыми россказнями, которыми лазутчики из лагеря Октавиана регулярно потчевали ее. Клеопатра, как взахлеб расписывали слухи, предала своего любовника и сбежала из-под Акция. Ее любовник улепетывал следом, словно последний трус, каким он и был, бросив всех самых преданных союзников ради похоти к египетской царице. Канидий Красс, между тем, благополучно предал армию и тоже сбежал, а его воины отчаянно сражались до благородного поражения.

Ложь — все до единого; измышления мужчины, хилого и трусливого, но попавшегося на эту удочку из желания приписать себе все заслуги, получить весь мир. Клеопатра проклинала болтунов и злопыхателей. Она послала им послание, абсолютно в ее духе: объявила праздник в Александрии — вовсе не в честь поражения, как было на самом деле, но победы, которая еще впереди.

Все это она проделала быстро — слишком быстро, на взгляд тех, кто следил за событиями в Александрии. Диона не относилась к их числу. Она вернулась домой, где ее

преследовало гулкое эхо пустоты, хотя дом был полон. За время ее отсутствия Тимолеон проявил себя отличной нянькой. Мариамна вернулась из храма, чтобы наконец-то обнять мать. На месте были ее рабы и слуги. Их радость вновь видеть свою хозяйку была огромной и неподдельной. И лишь один человек не встречал ее, один, который не вернется. Диона даже не знала, жив ли он, уцелел ли в бойне при Акции.

Одной ночи, проведенной на холодном и одиноком ложе, было достаточно, чтобы понять то, что ей следовало знать с самого начала: она не может оставаться в этом доме без Луция Севилия. Диона взяла с собой немного: свою служанку, маленькую дочь, ее няньку и совсем мало вещей — только необходимое для ребенка — и отправилась в храм Исиды. Здесь она и поселилась, уйдя с головой в повседневные обязанности и ритуалы — еще до того, как сыновья узнали, что их мать ушла из дома.

Уже живя в храме, Диона получила известие о празднике, устраиваемом Клеопатрой. Настало время, провозглашала царица, чтобы люди воочию убедились в том, что престолонаследие в Египте по-прежнему законно и непрерывно. И поэтому все приглашались на грандиозный праздник-ритуал, церемонию объявления совершеннолетия[99]: вступления в возраст мужчин двух царевичей — Птолемея Цезаря, царя Египта, и Марка Антония-младшего. Цезарион получал ранг и статус эфеба[100] — юноши на пороги мужской зрелости. Антилл получит toga virilis[101] — гордость мужчины-римлянина.

— О боги! Да она сошла с ума! — вырвалось у Дионы, когда ей принесли эту весть. Она все еще находилась во власти ритуала, который не дозволялось прерывать — чтения заклинаний для защиты Двух Египтов. От усталости у нее подкашивались ноги, она была зверски голодна. Больше всего прочего Диона нуждалась в еде, а потом — в сне, на добрые сутки.

Но медлить было нельзя, и Диона позволила Гебе, наконец, уговорить ее искупаться и перекусить. Влажная после купания, полуголодная — голод не утих от одной маленькой булочки, — она храбро вышла наружу, навстречу солнечному свету и толпам людей — на каждой улице, на всех перекрестках. Так бывало всегда: царица еще не успеет объявить о начале праздника, а простой люд сразу же узнает об этом и начинает колобродить, словно только и ждал повода повеселиться.

Напрасно она не отправилась в паланкине — и был бы такой солидный довод для расчистки пути, как носильщики, они же стражники, и внушительный вид. Одна, одетая как простая жрица, в сопровождении Гебы, Диона не вызывала особого почтения и в глазах горожан значила не более, чем лист в канаве. Она вынуждена была идти за толпой. К счастью, людской поток нес ее именно туда, куда нужно, конечно, не так быстро, как хотелось бы, но все же она понемногу продвигалась к дворцу — тем более что у нее не было птицы-феникса, несущей ее над давкой.

Когда показался царский дворец — еще такой досадно далекий и недоступный, — живое течение стало замедляться и уплотняться. Дионе и Гебе, державшейся поближе к своей госпоже, удалось кое-как протиснуться вперед. То там, то сям она замечала пустое пространство, потом перед ней открылся неправдоподобно длинный в такой толчее проход вдоль стены — но затем толпа сомкнулась даже плотнее, чем прежде.

Было ясно, что она опоздала. Но Диона упорно стремилась к цели. Она уже перешла ту грань изнеможения, за которой не существует ничего, кроме упрямства. Следовало добраться до Клеопатры, где бы та ни находилась.

Ей удалось пробиться лишь до ворот. Здесь, милостью богини, оказалось свободное

место: несколько ступенек и колонна, за которую можно было ухватиться, когда Диона вставала на цыпочки, вытянув шею — чтобы хоть что-то увидеть поверх многоголовой толпы, набившейся в огромный внутренний двор.

В дальнем конце его высился помоет, возведенный на случаи праздников: там-то и была Клеопатра — в ослепительном блеске золота, на золотом троне. Цезарион сидел рядом; теперь его трон стоял вровень с троном матери. На царевиче были доспехи из чистого золота и плащ самого густого оттенка тирского пурпура. Диона не могла видеть его лица: оно расплывалось перед глазами из-за большого расстояния и слепящего солнечного света.

Перед царицей и ее сыном-царем стояли Марк Антоний в белой тоге и Антилл. Для Дионы было неожиданностью то, что мальчик оказался одного роста с отцом, хотя и не столь широким в плечах. Их лица были поразительно одинаковыми. Антилл в белой тунике стоял прямо и гордо, когда его отец произносил слова, которые Диона слышать не могла. Потом Антоний — с обязательным величием, характерным для всех римских церемоний — задрапировал на сыне тогу, ослепительно белоснежную, почти сияющую.

Этот свет ударил в глаза Дионы с такой силой, что они заслезились; взгляд застлал сплошной туман — марево белизны, золота и пурпура.

— Нет, — только и сказала она в отчаянии. — Ох, нет! Зачем ты сделала это? Как ты могла?

Те же слова Диона повторила и Клеопатре — много часов спустя. К тому времени она уже окончательно перешла за грань усталости, которая теперь каким-то образом трансформировалась в бодрость: голова была ясной, и ноги больше не подкашивались. Она простояла у колонны всю церемонию, слушая речи, гимны, наблюдая ритуалы и увеселительные затеи. Наконец солнце стало клониться к закату, и толпа начала мало-помалу рассеиваться; постепенно люди двинулись в сторону города, обещавшего им массу развлечений и угощений за счет царицы. Сама царица пировала во дворце в окружении двора и, так как в тот же день ее сын и сын ее супруга официально стали мужчинами, налила им вина собственными руками, как служанка. Но это никого не обмануло. Присутствовавшие здесь знали, что, как и все мужчины, они были ее преданными рабами.

Видеть все это было невыносимо. Когда появилась возможность уйти с места церемонии, Диона пошла вперед и свободно вошла во дворец по праву любой жрицы, одетой в белые одежды и золотой пояс Исиды. Некоторые стражники узнавали ее и окликали по имени, почтительно кланяясь. Остальные только кланялись — даже римляне. Такие почести воздавались всем служительницам богини.

Диона дождалась, пока Клеопатра вернется с пира. Царице понадобилось время, чтобы переодеться и принять ванну, после чего она удалилась в комнату, где хранила самые любимые книги и где стояло ее любимое ложе. Таков был максимальный уют, который царица могла себе позволить в собственном дворце.

Диона, сидя на стуле, на котором часто сиживала и раньше, взглянула на дверной проем, в котором появилась царица, и не нашла в себе сил улыбнуться. Клеопатра же приветствовала ее с неподдельным восторгом.

— Диона! Где же ты пряталась все это время? Я так скучала по тебе.

Диона покачала головой, словно показывая, что в приветствиях нет нужды, и произнесла слова, ради которых и пришла сюда.

— Как ты могла сделать это?

Клеопатру слегка изумил столь неожиданный поворот разговора, но виду она не подала.

Разве что внешне стала чуть холоднее, но не прервала своего занятия — она доставала вино и чаши, конфеты в коробочках, глубокие блюда с фруктами и маленькими сладкими кексами, особенно любимыми ею. Расставив угощения на столе, она поудобнее устроилась на ложе и взяла чашу с вином, но отпивать не спешила. Взгляд ее остановился на лице Дионы.

— Ты кошмарно выглядишь, — заметила она. — Ты не заболела? Часом, не сходишь ли ты с ума?

— Нет, — отрезала Диона. — А вот ты действительно похожа не безумную. Какой демон в тебя вселился? Зачем ты решила превратить этих детей в мужчин? Что тебя заставило сделать это именно сейчас?

Клеопатра повертела в руках чашу, силясь понять, что она делает, а потом резко поставила ее на стол. Капля вина сорвалась с края чаши и упала на платье, но царица не обратила на это внимания.

— Время пришло. Цезариону уже шестнадцать; Антоллу почти столько же. У обоих уже пробиваются усы — разве ты не заметила?

Диона и впрямь не замечала, но не собиралась это обсуждать.

— Не следовало устраивать такой праздник. Надо было подождать.

— Сколько? Пока Октавиан сможет взять Антилла за бороду, поднести бритву и перерезать ему горло?

Диону передернуло словно судорогой.

— Да. Именно так он и сделает. Неужели ты не понимаешь? Мальчики, сыновья врагов, — просто мальчики. Мужчины, сыновья врагов, — сами враги и «законная» жертва. Ты убила этих детей.

Лицо Клеопатры побелело.

— Нет! Я не проиграю в этой войне. Наш народ теперь знает, что с престолонаследием все в порядке: у меня — в Египте, а у Антония — в Риме. Это привяжет их к нам узами верности, как ничто иное.

— Но ни к чему было совершать такой ритуал именно сейчас, — настаивала Диона. — Это всего лишь порыв, правда? Это отчаяние? Ты не ведала, что творишь?

Голос Клеопатры был таким же холодным, как и ее лицо.

— Это — необходимость.

— А еще скажи мне, зачем ты убиваешь людей? Ты ведь избавляешься от любого, кто стоит у тебя на пути. Своими руками громоздишь стену из трупов, за которой хочешь отсидеться. Думаешь, это поможет? Захочет ли Roma Dea уступить тебе — даже ценой кровавой жертвы?

— Roma Dea и я — не на дружеской ноге, — парировала Клеопатра.

Что ж, они с Клеопатрой тоже вряд ли будут на дружеской ноге, если разговор пойдет так и дальше. Но Диона пришла говорить и вовсе не собиралась умолкать, даже если это будет стоить ей жизни. Такое вполне могло случиться: Клеопатра в гневе была холодным, проворным и опасным существом — как свернувшаяся кобра на ее короне.

— Убивать предателей — возможно, подходящее занятие для царицы. Но подставлять под удар своих сыновей, делать их верной жертвой убийц — неимоверная глупость. Если Октавиан победит в войне — а это не исключено, моя госпожа, — он может, во имя Roma Dea, пощадить Антилла. Но не Цезариона. Цезарион — слишком сильный соперник. А ты только что сделала его еще сильнее. Он стал мужчиной — и мишенью мужской мести.

— Он мужчина, — отрезала Клеопатра. — И царь.

— И покойник — если Октавиан доберется до него — Диона встала. Колени предательски подгибались, но она сосредоточила на них все усилия воли и выпрямилась. — Тебе вообще не следовало этого делать. Оба они еще слишком малы для бремени мужей. Цезарион мог подождать еще год, а Антилл — два, даже больше. А ты насильно заставила их взвалить этот груз на плечи и подставила под удар. Будь я царицей, я удвоила бы охрану Цезариона и следила бы за каждым его шагом, пробовала каждый кусок, который он ест, каждую каплю, которую пьет.

Казалось, от ярости Клеопатра потеряла дар речи, но взгляд ее был красноречивее всяких слов.

Диона вздохнула.

— Я надеюсь, ты сумеешь победить в войне — или одолеть Октавиана. Он ведь идет сюда, ты же сама знаешь. Я слышу его шаги. Он марширует прямо на Египет.

— А земля стонет под его кривыми ножонками?

Это прозвучало как насмешка, но Диона ответила так, словно вопрос был искренним.

— Нет. Нет — пока он не вступит на землю Двух Египтов. Остальной мир уже добровольно покорился ему.

— Но не Египет, — промолвила Клеопатра. — Египет — никогда.

— Храбро сказано, — заметила Диона. — Охраняй сына и сына своего мужа. Иначе они — мертвецы.

— Я постараюсь, — воскликнула Клеопатра. — О, Диона, я так боюсь этого.

Казалось, она справилась с гневом и всерьез задумалась над содеянным. По крайней мере, Диона надеялась на это настолько, что рискнула сказать:

— Подумай о самом худшем.

Глаза Клеопатры блеснули, но заговорила она достаточно сдержанно.

— Бежать? Опять?

— Если будет необходимо.

Царица медленно кивнула.

— Я уже думала о бегстве. Ты этого не допускала, правда? Но я не исключала подобной возможности, а даже полного поражения. Если так случится — а богиня запрещает даже думать об этом, — Октавиан будет всего лишь воображать, что правит миром. На Восток его лапы не дотянутся. Мидия… у нас есть союзники в Мидии, ты еще помнишь? Антоний никогда особенно не жаловал мидян, но Египет был с ними в дружбе по сей день. У нас самые добрые отношения. Гелиос женится на дочери их царя. Тогда мать Гелиоса при необходимости сможет найти там убежище. — Царица помолчала, размышляя. — Даже, скорее, его отец… Еще есть Индия, — продолжила она. — А может быть, стоит подумать о Западе? Будем ли мы желанными гостями в Иберии? Сможем ли править у Геркулесовых Столбов и быть царицами моря заходящего солнца?

«Ах, — подумала Диона. — Какие мечты! Великие мечты, достойные царицы».

— Мне хотелось бы увидеть Индию, — уклончиво сказала она.

— И ты увидишь ее, — кивнула Клеопатра, — если я проиграю в этой войне. Но я не проиграю. Даже если мне придется затащить к себе на ложе Октавиана — я не проиграю в этой войне!

43

Октавиан приближался. Египтянам словно дали отсрочку в исполнении смертного приговора — но, судя по всему, ненадолго. Он задержался, чтобы усмирить Грецию и Сирию и уже было собрался наброситься на Египет, однако Италия отозвала его. В армиях вспыхнул мятеж. Воины требовали, чтобы их отправили на покой, заплатили им, дали наделы земли и предоставили давно обещанные прелести комфорта. Но Октавиан не мог дать им ничего. Его денежные мешки были пусты, и, что еще хуже, войско его непомерно выросло благодаря дезертирам Антония.

Но он хорошо знал, чьи мешки трещали от денег, чьи богатства были баснословными. Октавиан объявил Клеопатру врагом Рима. Теперь он был вынужден или признать свое бессилие и поражение, или победить. Ему нужны были ее богатства — и богатства Египта.

Как когда-то и Цезарю. Но Клеопатра использовала его, а Цезарь ее — открыто и взаимно. Недалеко ушел от своего великого предшественника Антоний, но Антония она любила, любила по-прежнему и сражалась за него на полном пределе своих возможностей. Ради Антония она собрала всех мужчин, кто мог держать в руках оружие; и все свои богатства; царица требовала возврата каждого, даже ничтожнейшего долга. Сокровища были сложены в самом безопасном месте — в великом святилище, примыкающем к гробнице, выстроенной возле храма Исиды. После смерти царица хотела сделать ее местом своего последнего отдохновения. Теперь же оно служило вместилищем величайших сокровищ мира — величайших, возможно, за всю историю существования рода человеческого. Богатства самого Креза[102] не могли бы соперничать с ними.

И Октавиан, зная это — как знал каждый, поскольку Клеопатра никогда не делала секрета из своих богатств, — готовился наброситься на нее, как крокодил на добычу: молниеносно, как стрела, и стрела эта была нацелена прямо на Египет. Ирод из Иудеи, которого так высоко ценил Антоний, а Клеопатра люто ненавидела, предал его — доверие Антония оказалось ошибкой, а ненависть Клеопатры — по-своему оправданной. Ирод встал на сторону врага и открыл дорогу армии Октавиана.

Клеопатра пыталась отвести опасность от Египта, избежать войны. Она была достаточно умна и хитра: ее уловки могли бы сработать. Прежде всего царица отправила посольство к Октавиану — пока что тот расположился в Финикии, — обещая отречься от престола в пользу детей. Она предлагала ему знаки царского достоинства фараонов Двух Египтов и диадему Птолемеев. Октавиан взял и то и другое и оставил себе, а послов отправил обратно — без ответа.

Следующее предложение перемирия исходило от Антония, из рук благородного посланника: сына Антония, Антилла, холодного и надменного — от чести своего статуса и от скрытого ужаса. Он знал, что его могут убить, если Октавиану придет на ум месть. Антиллу предстояло купить для отца милосердие — в сущности, амнистию — и право выйти из боя, право на уединенную жизнь — бесчестье, другими словами. Но Антоний давно уже перестал заботиться и о чести, и о репутации. Что сказала Клеопатра, когда услышала о его планах, никто никогда не узнает. Это осталось между ними, за закрытыми дверями Тимония. Антилл отбыл без препятствий со стороны царицы и даже с ее благословения — она поцеловала его в голову. Он вернулся, избавленный от бремени денег, отправленных с ним, — но не обремененный ответом Октавиана.

Следующее посольство было опять от лица, Клеопатры: наставник ее детей, прирожденный оратор, повторил предложение об отречении и просьбу позволить ее детям остаться на троне. Он тоже прибыл назад без ответа, но действия Октавиана были красноречивее всяческих слов: каждый посол находил его все ближе и ближе к Египту.

А потом, в одно чудесное летнее утро, пришла весть, которой все так смертельно боялись. Пелузий[103] пал. Запоры ворот Египта были сломаны; враг вошел внутрь.

Клеопатра, сохранявшая спокойствие, несмотря на выходки и глупости Антония, оскорбления Октавиана, бесчисленные измены, предательства и дезертирства, в конце концов не выдержала. Правитель Пелузия оставил жену и детей в Александрии, где присутствие царицы обеспечивало их безопасность. Царица послала к ним мужчин с мечами, которые зарубили их на месте, там, где они и стояли. Старший, умирая последним — меч пронзил ему сердце, — спрашивал, чего хотели эти огромные высокие вооруженные люди и почему они так свирепо смотрели на них?

Головы и руки убитых были принесены Клеопатре, и она бесстрастно воззрилась на них. Царица часто видела такое и раньше. Если ее и мучили угрызения совести, она быстро подавила их. Война есть война — война не на жизнь, а на смерть, и она не оставляла места ни для милосердия, ни для справедливости.

Антоний, поставленный перед лицом внезапной угрозы, кинулся в другую крайность — от отчаяния к какому-то безотрадному веселью. Его Неподражаемые теперь именовали себя Commorientes — братство тех, которые умрут вместе. Так называлась старинная комедия, и Антоний счел это название подходящим для актеров, занятых в комедии современной, обернувшейся трагедией. Он собирался сыграть в ней роль завоевателя мира, великого царя — а между тем терял свои позиции с каждым шагом легионов Октавиана.

А все же у него было легче на сердце, чем когда-либо с тех пор, как он уплыл от Акция, укрывшись в каюте судна царицы от неотвязных звуков битвы, затихших, как только окреп ветер. В порыве, о котором он вскоре пожалел, Антоний отозвал к Октавиану легионера с простым посланием: «Оставь в покое царицу — и я упаду на меч». Но реакция Октавиана была легко предсказуема: ответа не последовало. Оставалось надеяться, что тот хотя бы на миг был смущен или пристыжен.

Когда Октавиан находился в дне перехода от Канопа, западного пригорода Александрии, Антоний призвал к себе свои войска, все еще достаточно преданные ему, как он про себя заметил, хотя и, мягко говоря, приунывшие, — и повел их на бой. Когда-то Каноп был его любимым местом уединения; он нередко отправлялся туда с Клеопатрой подышать свежим воздухом моря. Теперь здесь был военный лагерь. И на этот раз Октавиан не заставил себя ждать.

Казалось, он позабыл о милом его сердцу всегдашнем отвращении к битвам. Антоний сомневался, чтобы противник приобрел к ним вкус. Его аппетит алкал иного мяса — сокровищ, которыми были набиты гробница Клеопатры и святилище возле нее. Ради них он сделает все — и не подавится, как бы ни было невкусно.

— Дохлый индюк! — бормотал Антоний. — А шейка-то то-о-ненькая — так бы и… хрясть! А спеси-то, спеси! Крохобор!

Он изучал карты города, а гонцы сновали туда и обратно, принося вести о каждом шаге Октавиана. Готовясь встретить врага, Антоний рассредоточил войска: часть легионеров поставил на окраинах, остальные маршировали по широким улицам города.

Один из гонцов чуть не упал с коня.

— Бой! — еле выдохнул он. — Бой у ипподрома… кавалерия, их авангард…

Антоний вскочил со стула.

— Публий! Моего коня! Цецилий? Труби «к оружию» — и на коней!

Но черного великана привел не Публий, а Марк. Выражение его лица было красноречивым. Публий исчез и сейчас бежал навстречу врагу. Но Антоний предпочел не думать об этом. Одним прыжком он вскочил с земли прямо на спину жеребца — по-прежнему стройный, ловкий и гибкий, сильный, как Геркулес, хоть Октавиан и поносил его, обзывая жирной и старой падалью, — и ударил пятками в бока. Марк не успел выпустить поводья, и конь потащил его за собой. Антоний выхватил у него поводья. Вскрикнув, Марк упал, но Антоний уже несся прочь, чуя сражение. Конница бросилась следом, готовая умереть за него, как и всегда.

Боги не отказывали себе в удовольствии поиронизировать, встреча конниц произошла на ипподроме. Конники Октавиана вышибли пеших легионеров Антония и расположились лагерем — заносчивые твари! — прямо на арене, где молодые горячие александрийские всадники любили нахлестывать своих коней. Лишь половина из непрошеных гостей сидели верхом. Остальные копали канаву, обозначающую границы лагеря. Антоний обрушился на них с ревом и гиканьем.

Это была настоящая битва, стремительная и жаркая. Один бешеный рывок в центр только что разбитого лагеря, всеобщая суматоха, и — сеча боя, бок о бок. Конники Антония числом превосходили противника, лучше держались в седле и сражались на свежих конях. Они захватили лошадей врага — лишь нескольким удалось ускакать. Многие всадники были убиты, а остальных отогнали к основным силам армии, топтавшейся по краям ипподрома и гадавшей, куда же двинуться потом.

Длинная шеренга вражеских легионеров могла бы ударить по маленькому отряду Антония и уничтожить его, но казалось, что при его появлении они были ошеломлены не меньше, чем их авангард. Антоний засмеялся — беспечный безудержный смех звонко прозвучал в гробовой тишине.

— Октавиан! — проревел он. — Эй, Гай Октавий! Мое почтение! Что скажешь на то, чтобы покончить с этим прямо сейчас? Схватка — один на один, все или ничего [104] — и победитель пожинает лавры.

Последовало молчание — как всегда. Антоний покачал головой.

— Октавиан, мальчик мой. Ты нагоняешь на меня скуку. Все-таки ты редкостный зануда.

В рядах зашевелились. Через минуту вперед вышел мужчина: невысокий, щуплый, одетый в доспехи, которые были ему велики. Из забрала прорезался даже не голос, а свист, — гостинчик от его бесконечных насморков или катаров. Но говорил он достаточно членораздельно.

— Наверняка есть много других способов дать себя убить.

— Да уж, конечно. Но сколько из них сведут меня с тобой?

— Похоже, у тебя что-то на уме, — сказал Октавиан сухо, но с любопытством. — Нет, благодарю. Почему ты не нападаешь на мою армию? Сдается мне, это прекрасно разрешит спор, не так ли?

— Нет, благодарю, — эхом повторил его ответ Антоний — издевательским тоном. — Я выехал погулять ради чуть более приятной причуды.

Антоний вздыбил коня в кавалерийском приветствии. Когда конь опять опустился на четыре ноги, он развернулся — конники уже скакали прочь, оставляя своего полководца позади. Он засмеялся — а почему бы и нет? — и устремился следом.

Антоний на черном ниссанском жеребце въехал прямо во дворец, в залу, где ужинали Неподражаемые, они же Commorientes, и спешился, бросив меч к ногам Клеопатры. Он усмехался, как мальчишка. Конь фыркал и бил копытом — трещины расходились на бесценных плитках пола.

— Добрый вечер, мой господин, — спокойно сказала Клеопатра. — Как я догадываюсь, у тебя был приятный денек?

— Роскошный!

Пришел раб и увел коня. Некоторые из особо утонченных приятелей Антония зажали носы от неожиданного «подарочка». Он засмеялся.

— Жеребцы не особо-то церемонятся! Пакостят где попало.

— Совсем как мужчины, — заметила Клеопатра и протянула ему руку. Антоний взял ее и сел рядом — в доспехах: от него пахло лошадью. Царица не подала виду, что ее слегка замутило от этого запаха. Ее господин был счастлив: он одержал победу, какой бы незначительной она ни казалась, и вышел из мрачного состояния, столько дней одолевавшего его.

И начался пир — славный пир, один из лучших, каким когда-либо наслаждались друзья и соратники Антония. Еда была превосходной, вино — вкуснейшим, с тонким ароматом, развлечения — роскошными и упоительными. Клеопатра рассыпала сокровища своего ума с ошеломляющей меткостью. Земной юмор Антония заставлял смеяться даже самых капризных, манерных и придирчивых эстетов. Они позабыли о пустых ложах, о проигранных битвах, о враге, расположившемся лагерем близ вилл Канопа. Смерть подошла совсем близко. Но этой ночью они были живы — и веселы.

Диона очнулась от тяжелого сна, постепенно, смутно осознавая, что во дворце идет пирушка, даже на таком расстоянии чувствуя ее искрометный блеск и веселье, слыша смех храбрых мужчин перед лицом гибели. Александрия была погружена во тьму и пыталась справиться со страхом. Враг стоял у ее ворот. Завтра он ворвется в них или будет отброшен назад. Но в любом случае будут умирать люди, будут гибнуть воины, и если они проиграют битву, в город придет смерть.

Commorientes хладнокровно игнорировали подобные мысли, хотя была уже полночь. Диона слышала музыку так ясно, словно сама находилась в зале: до нее донеслись пронзительный звук свирелей и глухие удары барабанов. Голоса были высокими и щемяще-сладкими.

Она села на циновку. Музыка не снилась ей, как не снился и пир во дворце, более того, она все слышала своим земным слухом — и очень ясно. Музыка доносилась с улиц.

Диона набросила шаль и побежала, босая, с непокрытой головой, сквозь полную неясных бормотаний теней черную тьму святилища. Какие-то тени кинулись следом, в сумраке призрачные, но и удивительно реальные, одна из них схватила ее за руку.

— Мама, мама! Что это?

Мариамна полностью проснулась и цеплялась за няньку. Диона шикнула на дочь, заставив замолчать, и в сопровождении жриц повела ее к выходу из храма.

На улице было темно. Звезды сияли по-летнему мягко. Казалось, все замерло, не раздавалось ни единого шороха — даже коты куда-то попрятались, позабыв про охоту.

Но музыка слышалась ясно, голоса были чисты до дрожи. Диона знала песню, которую они пели.

«Euoe! Euoe Bacchai!»

В бездыханной тиши ночи пронесся шквал звуков и медленно утих, словно по улице прошла шумная толпа.

«Alalala! Euoe! Euoe Bacchai»[105].

Но никого не было видно. Только слышались голоса. Голоса уносились вдаль, уходили прочь из города, на Восток, к воротам Солнца — к лагерю Октавиана в Канопе.

— Мама, — сказала вдруг Мариамна, сонно и немножко капризно. — А почему бог уходит?

Диона вздрогнула. Взгляд Танит был безумным. Остальные жрицы жались друг к дружке. Одна из них рыдала и билась в истерике, не в силах с собой справиться.

Пора было взглянуть правде в лицо.

— Да, бог ушел, — подтвердила она. Дионис оставил наш город.

— Мы пропали! — Танит закрыла лицо руками.

— Нет. Пока еще нет. Разве вы забыли?

Взгляд Танит казался бессмысленным, погруженным в себя, как и у остальных жриц. И лишь Мариамна, дитя, ребенок, слишком маленькая, чтобы хоть что-то понимать в тонкостях магии, сказала:

— С нами по-прежнему мама Исида. Она позаботится о нас. Но я не хочу, чтобы бог уходил.

Диона подхватила дочку на руки. Это была теплая ноша — сонная, благословенно свободная от страха, леденящего Диону до самых костей.

— И я тоже, моя озорница. Ох, как же я этого не хочу!

44

В последний день месяца, который Юлий Цезарь назвал в свою честь, вместе с последними уходящими минутами полночи Диона покинула Александрию. На рассвете календы[106] секстилия, когда ночь стала плавно уступать место нарождающемуся дню, флот Антония отплыл из гавани Александрии, ударив с Востока по кораблям Октавиана. Армия Антония под его командованием удерживала позиции между ипподромом Канопа и стенами города.

Это была гораздо меньшая армия, чем та, которую он оставил, со смехом въехав верхом во дворец — к ждущим его объятиям Клеопатры. Несравнимо меньшая. Такая маленькая, что, уходя от царицы незадолго до рассвета, проведя ночь без сна, он считал себя отвергнутым или осмеянным богами.

При свете дня стал виден лагерь, разбитый, как любой римский лагерь, от Парфии до Туле[107] и края света: прямые ряды шатров, дороги между ними — большие и маленькие, шатер полководца посередине, стена и канава по периметру. Эта чертова канава была все-таки выкопана, и стена возведена — для могучей армии, грозных легионов. Они окружали скопище шатров, пепелища бесчисленных костров и высокий шатер — его, Антония с его собственном стражей. И на положенных местах рядом со своими конями стояли конники, судя по всему, целые и невредимые.

Веселый дух ночи, все еще не покидавший Антония, заставил его засмеяться при виде останков своей войны. Он хорошо знал, куда смыло его армию. Войска Октавиана, казалось, простирались вдоль всего горизонта — лес копий, как сказали бы поэты, и купола щитов. Легионы, чьи номера были к нему ближе всего, еще прошлой ночью принадлежали ему.

На зов букцины наружу вышли его воины — и пехота и конница. Они построились правильно — согласно порядку, но никто из них не встречался с ним глазами, то ли из страха, то ли из-за стыда за товарищей.

Антоний вскочил на своего жеребца, проехался вдоль плачевно короткой шеренги и остановился.

— Ну что ж, — сказал он, — мы устроим им битву, исходя из своих возможностей. И прихватим кое-кого с собой к Гадесу.

В иные времена гром веселья в ответ на такие речи мог сотрясти землю. Но сейчас в воздухе повисло молчание. Кто-то кашлянул. Один из коней фыркнул и затряс головой.

— Вы были и остались верными, — сказал им Антоний, и коням — тоже. — Боги никогда этого не забудут.

— Те, что ночью покинули город?

Антоний не видел, кто это сказал, и ответил всем одновременно:

— Только один. Дионис приходит и уходит, когда ему вздумается. Остальные все с нами.

Никто ему не ответил. Он чувствовал мрак тени, легшей на лицо, жаждущей пожрать его — как тогда, при Акции. «Позже, — обещал он. — Сейчас надо сражаться».

Он кивнул горнисту. Тот медлил. Сердце Антония дрогнуло, но он не подал виду. Если бы горнист мог позвать на бой больше мужчин, он не стал бы мешкать, но Антоний ждал, и горнист наконец поднес к губам тубу и затрубил. Раздался не храбрый клич, как бывало всегда, — но достаточно мужественный. Армия Антония двинулась маршем навстречу врагу.

Враг ждал, многочисленный и недвижимый, как скала, мощным полукругом зажав Антония между лагерем и стенами города. Скверная тактика. Жалкая. Но Октавиан, уверенный в победе, не особенно утруждал себя военными хитростями.

— Приказов не будет, — сказал Антоний воинам, стоявшим за спиной. — Делайте то, что сможете. Дайте мне повод гордиться вами.

А потом крикнул горнисту:

— Пора!

Туба протрубила свой клич. Антоний натянул поводья и вонзил шпоры в бока жеребца. Конь вздрогнул, едва не встал на дыбы и рванулся вперед.

Молчание за спиной было глубоким и неестественным. Конь Антония, почуяв непривычное, замедлил бег. Антоний оглянулся. Никто из его людей не двинулся с места. Конница больше не была конницей — всадники спешились и пятились назад, к стенам города. Он огляделся. Слава богам! Пехота по-прежнему стояла с поднятыми щитами и копьями, готовая к наступлению. Антоний развернул коня и поскакал к ним.

— Вперед! Вперед! — рычал он, и голос его был подобен раскатам грома.

Но строй дрогнул — он даже не успел добраться до них. Ряды смешались, пехотинцы побросали щиты и бежали.

Антоний осадил коня посреди поля битвы. Он остался один.

Вдруг он вспомнил: когда Клеопатра приплыла в Тарс, часть его людей тоже дезертировала. Тогда он впервые ощутил жуткий груз одиночества. Но за этим последовала великая слава. Происходящее сейчас было лишь жалким подобием, пародией, насмешкой.

Он хлестнул жеребца и снова понесся вперед — прямо к войску Октавиана. Легионеры не двинулись, не издали ни звука.

— Эй, там! Вы ослепли? Оглохли? — среди мертвой тишины голос его прогремел подобно грому. — Дайте мне бой!

Молчание… Даже глаза не вспыхнули из-под тусклых шлемов.

— Трусы! Подлые лизуны задов! Поедатели дерьма! Жалкие трусы! Выползайте на бой! Сражайтесь!

Никто из них не выйдет — это было ясно как день. Антоний мог броситься на их копья, бесноваться сколько угодно, — они глазом не моргнут.

— Нет, — сказал он. — Нет, это слишком просто.

Он развернул коня и погнал к своему лагерю.

Все воины ушли, но рабы были на месте. Они стояли возле шатра и высматривали своего господина, а когда тот подъехал, пошли навстречу. Антоний остановил разгоряченного коня, и губы его скривила улыбка.

— А вы не боитесь упустить свой главный шанс на спасение? Дуйте отсюда быстрее — другого не будет. Вы погибнете, и очень скоро. Так умрите, по крайней мере, на правильной стороне.

Большинству из них не нужно было повторять, они рванули в сторону лагеря противника, далеко обегая его стороной, словно он мог проткнуть их, бегущих, мечом. Даже сейчас, парализованный полным отчаянием, Антоний ощутил горечь и скорбь.

Но двое не сдвинулись с места. Один из них был его рабом-телохранителем по имени Эрос, другой — евнухом царицы. Антоний только теперь его заметил. Он спрыгнул с коня и отпустил его на все четыре стороны. Тот немножко побродил вокруг, потом словно вздохнул, нагнул голову и стал щипать траву.

— Ну? — обратился Антоний к евнуху. — Ты принес от нее послание?

— Да, мой господин, — ответил тот, дрожа. — Я имел в вреду… нет… мой господин… она…

По лицу этого существа он понял: случилось то, чего он больше всего страшился. Но ему нужно было услышать.

— Что? Чего она хочет?

— Она… — евнух давился слезами. — Господин, она не может… она мертва.

— Ты что-то путаешь, — сказал Антоний совершенно резонно. — Как она может быть мертва? Она еще далеко не все потеряла. У нее по-прежнему есть Египет.

— Мой господин, царица умерла. Она сказала… она велела передать тебе… смерть лучше, чем Октавиан.

Антоний стоял неподвижно. Да, она говорила так и раньше: жестикулируя, не упуская возможности вставить шпильку по поводу его влажных губ, липких рук и хилого мужского предмета — ничем таким Антоний похвастаться не мог.

Как похоже на нее: мгновенно принять решение и тут же осуществить. Как похоже на нее: расстаться с жизнью, чтобы не видеть поражения своего господина или того, как его место займет Октавиан — на ее ложе и троне.

Совершенно опустошенный и невероятно спокойный, Антоний произнес:

— Ты — как бы тебя ни звали… Возвращайся во дворец. Там безопасней.

Он не стал ждать ответа и даже не взглянул, послушался ли его евнух.

— Эрос, пойдем со мной.

Эрос, преданный слуга, беззвучно плакал. Антоний хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, хватит. Перестань. Зайдем в шатер.

Внутри было сумрачно, но свет пробивался сквозь откинутый полог. Все знакомые вещи находились на привычных местах: стол для карты, походные стулья, походная кровать в алькове, вешалка-столбик для доспехов. Парадные, золотые, Антоний хранил во дворце: здесь он держал то, что было действительно нужно для боя — доспехи и оружие, изготовленные специально для употребления по назначению. Он отстегнул меч и повесил на место.

Эрос потянулся к застежкам панциря. Антоний остановил его.

— Нет, не надо, — сказал он и, вытащив из ножен короткий меч, протянул рабу. Рука его дрожала не больше, чем голос:

— Держи. Убей меня.

Эрос уставился на него, как безумный.

— Мой господин…

Антоний сунул ему рукоятку меча и резко сжал вокруг нее пальцы Эроса.

— Бей! Ты знаешь как. Я показывал тебе… достаточно часто.

— Нет! — Эрос рыдал в голос. — Мой господин… господин мой Антоний… прошу тебя…

Антоний ударил его по лицу.

— Бей, Гадес тебя забери!

Внезапно Эрос стремительно нагнулся, воткнул рукоятку в плотно утоптанную землю и упал на меч, вернее, рухнул — и изумительно точно.

Но умер он не сразу. Кровавая рвота хлынула из его горла.

— Проклятие! — глухо простонал Антоний. Глаза его иссушающе горели. —

Проклятие!

Конвульсии Эроса стихали, стоны смолкли. Вонь дерьма была внезапной и не оставлявшей сомнений. Антоний закрыл своему рабу глаза, кляня его преданность — идиот, ну почему он не мог убить себя, сначала убив хозяина?

Меч глубоко засел в теле Эроса. Антоний попытался вытащить его, дернул — но без успеха. Наверное, клинок где-то застрял, может быть, между ребер или в хряще. Антоний взял другой меч. Он не особенно нравился ему, хотя и был даром Клеопатры. Рукоятка блестела, мерцая камнями и золотом.

«Ничего, — сказал Антоний себе или богам. — Я сумею». Он вытащил меч из ножен. Движения его были медленными — но не от слабости или нерешительности. Во тьме ночей он подумывал об этом давно, еще до Акция. Теперь он знал, как сведет счеты с жизнью — не самым легким способом, отдав приказ рабу заколоть его, а так, как поступают люди чести. Как Брут и Кассий при Филиппах. Тем самым они искупили свою вину за убийство Цезаря.

Круг замкнулся. Счел бы Брут себя отмщенным? Кто знает… Но вот Октавиану наверняка покажется, что над ним посмеялись, оставили с носом, не дали поторжествовать, позлорадствовать, упиваясь чужими несчастьями — а он это очень любил…

Тем больше причин не колебаться. Надо разом покончить со всем. В конце концов, без Клеопатры Антоний — ничто. Она была Египтом, и с ее смертью он потерял все его богатства, житницы, корабли и матросов.

Но прежде нужно все как следует подготовить.

Сначала Антоний снял доспехи — чтобы было легче и проще. Потом постелил на землю плащ, чтобы не пачкать прекрасный египетский ковер — еще один дар Клеопатры. Помедлив лишь мгновение, он воткнул в землю меч, как это сделал Эрос, внимательно проследив угол наклона клинка. Ему приходилось видеть лица мужчин, умиравших так. Но никогда, никогда прежде он не замечал боли и не думал о ней.

Он нагнулся. Острие клинка коснулось груди чуть пониже сердца. Ах, да… надо ведь что-то сказать… Пяток умных фраз… Или помолиться. Но кто будет слушать? Конечно, не боги. Они смеялись над ним, а за смехом молитв не услыхать.

Антоний слегка пожал плечами, подчинил воле ума уязвимое тело, стиснул зубы — и упал.

Боль была ослепляющей, затопляющей, невероятной. И не кончалась. Похоже, она никогда не кончится. Кровь, повсюду кровь… Ноги и руки его онемели. Но душа упрямо цеплялась за тело.

— О боги! Добрые милосердные боги!..

Антоний повернул голову — словно повернул вспять мир.

Какой-то мужчина стоял над ним, не в силах отвести глаз, и казался таким потрясенным, что Антоний готов был засмеяться. Но даже вздох нес в себе боль, ох, боги, какую же он нес в себе боль!

Мужчина упал на одно колено. Антоний скосил глаза. Имя всплыло в мозгу не сразу.

— Диомед! Пришел пригласить меня на погребение?

Секретарь царицы охнул.

— Силы небесные… о чем ты?.. Мой господин! Ох, она будет горевать… как она будет горевать, владычица обезумеет от горя, увидев тебя… такого…

Антоний нахмурился.

— Клеопатра мертва.

Диомед так сильно затряс головой, что, казалось, она вот-вот оторвется.

— Мой господин, царица жива! У нее все хорошо — но она скорбит, так скорбит… а когда узнает об этом…

— Итак, гаденыш солгал… — На сей раз Антоний даже не пытался засмеяться — рассудок чуть не затопила тьма. Да, евнух солгал, заставил его броситься на меч, умереть.

Немилосердные боги сохранили ему ясность рассудка, чтобы он мог услышать слова Диомеда:

— Она жаждет видеть тебя, ждет тебя, хочет, чтобы ты поскорее вернулся. Ох, спасибо богине, я взял с собой двух сильных рабов. Царица велела им охранять меня от врага… Ох, боги!.. нам нужны носилки… и зачем носилки… как бы мы положили тебя на них… боги, боги!.. что же нам делать?!

Диомед всегда был паникером и нытиком, но при этом четко выполнял свои обязанности. Носилки нашлись, подняться на них с пола было истинным подвигом — большим, чем стойкость и сила духа Антония могли бы вынести. И никто бы не вынес. Можно было кричать или потерять сознание. Из гордости он выбрал последнее.

45

Клеопатра проводила Антония в предрассветной тьме. Ее господин уже потерял надежду на победу, и она это знала. Но он умел вести себя достойно — и так и будет. А ее дело — ждать. Царица дала себе клятву, что сбережет себя и детей.

Для Гелиоса, Селены и Птолемея давно уже приготовили убежище: Клеопатра прочила Селену в жены царевичу Мавритании. Правда, царевич был еще ребенком, а его отца никто не назвал бы милейшим человеком, но он был силен — и волей, и своими армиями, и слово его была для сына священным. Царь обещал защитить детей царицы Египта, доверившихся его опеке. И Клеопатра надеялась, что он сдержит слово — насколько вообще могла на что-то надеяться в этом хрупком, изменчивом мире. Дочь царя Мидии сосватали Александру Гелиосу. Но Мавритания, похоже, сослужит им лучшую службу. Возможно, они даже будут процветать.

Прощаясь с матерью, никто из детей не плакал. Все, даже младший, понимали, что происходит. Клеопатра никогда не считала, что детей нужно ограждать от правды, а эти дети были детьми богов, и она не смогла бы от них что-либо скрыть, даже если бы хотела.

Прощаться с ними было почти легко. Клеопатра убеждала себя, что они будут в безопасности. Но Цезарион… — для Цезариона, ее юного царя, которого она возвысила до ранга мужчины своими собственными руками, — для него она не видела ничего: ни света, ни тьмы. Ничего.

На Цезариона надели поношенную, простую одежду кочевника и спрятали под ней его прекрасные волосы; красивое римское лицо, так похожее на лицо отца, испачкали и подкрасили, чтобы еще больше придать сходство со смуглолицыми обитателями пустыни. Но единственный его спутник, его наставник Родон, вызывал массу беспокойства. Он был достаточно высок, широк в плечах и обучен сражаться; бывший солдат, ставший философом. Из него вышел бы надежный стражник. Но он был фракийцем — белокожим, голубоглазым и рыжим — и настолько непохожим на жителя пустынь, что все невольно заулыбались. Такой кочевник хорошо смотрелся бы на сцене, в греческой комедий. Пыльная одежда лишь усугубляла безнадежность идеи — в ней он был таким же незаметным, как слон в рое бабочек.

Прощание — дело сугубо личное, тайное, но во дворце, полном сотен глаз, такое было возможно. Туда-сюда сновали люди: рабы, чиновники, служанки, жрицы, гонцы с посланиями, просители с просьбами — всех не перечесть. Клеопатра приказала никого не впускать в ее покои. Конечно, Диона была не в счет. Она молча сидела в тени, на своем любимом месте, а на свету возле нее устроился младший ее сын. Напасти, обрушившиеся на царство, казалось, нисколько не омрачили его настроения и не отразились на его характере. Тимолеон был таким же красивым и дерзким, как всегда. Почувствовав на себе взгляд Клеопатры, он улыбнулся.

— Ты думаешь о том же, о чем и я, правда, владычица?

— И о чем я думаю?

Тимолеон кивнул в сторону Родона, который пытался задрапировать край накидки вокруг лица.

— Это потрясающее произведение искусства и хитрости нашего великого ученого не обманет и слепого — а уж тем более римского солдата. Позволь пойти мне.

Диона ахнула.

Но у Клеопатры не осталось в запасе излишков сочувствия. Царица пытливо изучала лицо юноши — в сущности, молодого мужчины: должно быть, ему лет двадцать, хотя благодаря красоте он казался моложе. По слухам, половина женщин Александрии и большинство мужчин были влюблены в него. Недавно Тимолеон отпустил бороду, надеясь, по-видимому, стать законодателем новой моды. Он выглядел замечательно беспутным и сущим варваром.

— Я жил среди племен, — сообщил он. — Я могу достать лошадей, добыть еду, с успехом пробраться в любое место, куда бы ты нас ни послала — далеко в пустыню, в Нумидию, Ливию, даже Аравию. Там нас не отыщет ни один римлянин. В этих землях мы даже сможем состряпать себе царство, если такая блажь взбредет нам в голову.

— Какое бодрое «мы», — заметил Цезарион. — И дерзкое.

Тимолеон усмехнулся.

— Однажды я уже был именован царевичем племени, живущего к западу от Мемфиса. А тебе пришлось бы заслужить это.

Цезарион вздернул подбородок.

— Я и так царевич и царь.

— Но не в пустыне, — шутя осадил его Тимолеон.

К Дионе наконец вернулся дар речи.

— Тимолеон…

— Да, мама, — перебил он ее. — Да, это опасно. Да, нас могут убить. И обязательно убьют, если мы останемся здесь. Я предпочту шанс сражаться.

— Ты в безопасности, — возразила мать. Голос был тихим и тому, кто плохо ее знал, мог бы показаться холодным.

— Безусловно. Но Цезариона можно будет считать мертвым с той самой минуты, как Октавиан войдет в дворцовые ворота. Я выведу его отсюда и со мной он будет в безопасности — настолько, насколько это возможно.

— Но, — устало сказала она, — это почти невозможно.

— Мы попытаемся, — настаивал Тимолеон. Он легко поцеловал ее — на первый взгляд прохладно, но Клеопатра лучше его знала. Тимолеон был одним из самых любимых детей богов — благословляя таких детей, они наделяют их даром легкого безумия, сумасшедшинки и неизъяснимым очарованием.

— До свидания, мама. Мы пришлем тебе весточку из царства пустыни. А став царями, придем за тобой и сделаем тебя царицей.

— Я не хочу быть царицей. Я хочу, чтобы вы остались живы.

— Я буду стараться следовать твоему совету, — засмеялся Тимолеон.

— И я, — подхватил Цезарион.

— Идите, — вмешалась Клеопатра. — Быстрей. Вы должны успеть до прихода врага.

Во взгляде Дионы горела неприкрытая ненависть. Но Клеопатра не обратила на нее внимания. Она делала то, что должна была делать: защищала то, что могла защитить, и не ждала, чтобы ее при этом любили.

Для себя Клеопатра тоже приготовила убежище: самое надежно укрепленное место в Александрии — свою сокровищницу, свою будущую гробницу. Верх еще не закончили, но низ был настоящей крепостью. Как только царица оказывалась внутри и за ней закрывали

ворота, единственным входом оставалось лишь крохотное окошко наверху. Ни одна армия не полезла бы в эту дырку; даже тщедушному Октавиану пришлось бы попыхтеть, чтобы добраться до прославленных богатств, заполнявших помещения нижнего этажа. У стены громоздились сундуки с драгоценностями — до самого потолка — сокровища были свалены в кучи на полу.

Здесь был склад золота. В отличие от гробницы Александра, в которой, несмотря на ослепительно сиявшие декорации, реальных сокровищ не было — даже катафалк ободрали, чтобы заполнить пустые денежные мешки царя, — эта великая недостроенная гробница и святилище хранили в себе богатства империи. Глаз не мог долго смотреть на них с интересом — он вскоре ослеп бы от пресыщения, и золото начало бы казаться таким же прозаическим металлом, как свинец, а драгоценные камни — простыми стекляшками.

Естественно, для Клеопатры все это великолепие тоже давно перестало быть соблазном, роскошью. Царица которая могла появиться на пиру, одетая «лишь» в паутинку жемчужин, нанизанных на проволоку, чьим великим даром и умением было приумножать богатство — свое и страны, — добывая горы сокровищ по всему свету, ходила сейчас вдоль рядов мешков, громоздившихся друг на друге, огромных отрезов и тюков превосходнейшего шелка, бесценных редкостей, бессмертных творений скульпторов и художников — и ничего этого не замечала. Во внутренней камере — самом чреве гробницы с пока еще пустым саркофагом — было пространство, где при необходимости можно ходить и даже жить. Там помещалось ложе, одно из самых практичных сокровищ для такой ситуации, и вовсе не загробного вида, который мог подпортить настроение; стояли стол и стулья из бесценных пород дерева, позолоченные, с инкрустацией, усыпанные драгоценными камнями. Светильники на высоких подставках — золотые, серебряные, бронзовые — были вынуты из сундуков, и многие из них горели в честь появления царицы. Прислужницы царицы, Ирис и Гермиона, и Мардион, евнух, состоявший при ней с самого раннего ее детства, ждали. На их лицах застыло слегка гневное выражение, свойственное людям, готовым умереть, но сохранить то, что для них драгоценно — в данном случае саму царицу и страну, которую она олицетворяла и защищала.

Увидев их лица — знакомые, почти родные, Клеопатра вдруг почувствовала легкую усталость. Она устала быть царицей. Когда война обернулась против нее, она закрыла свое сердце для обыденных, земных, чувств. Позволив Цезариону уйти, зная, как мало у него шансов на спасение — даже с такой надежной, как Тимолеон, охраной, — она утратила остатки милосердия. Казалось, ничто не могло бы смягчить ее душу. Но в эту минуту ей захотелось побыть просто Клеопатрой, а не дочерью славного рода Птолемеев.

Кое-кто из ее людей пытались последовать за ней в убежище, как стая напуганных гусей. От большинства из них царица избавилась: некоторых отправила с поручениями; своего секретаря Диомеда — человека с невыносимым языком, но тонким умом — послала к Антонию, приказав привести к ней ее римлянина, когда бутафорская битва будет проиграна. При себе Клеопатра оставила немногих.

Ворота захлопнулись, и ремесленники заработали проворными руками, быстро замуровывая обитателей убежища за стенами из известняка. Но окошко оставалось на месте, и она взглянула наверх. Уже брезжил рассвет, бросая слабый, неокрепший свет на недостроенную галерею, на леса, покрывавшие ее, которые, может статься, так никогда и не будут сняты.

Клеопатра побрела к стулу, очень похожему на трон; на нем горкой лежали подушки, и

рядом стояла резная раззолоченная скамеечка для ног. Гермиона принесла вина. Царице не хотелось пить, но она жестом приказала подать чаши всем остальным. Пить, однако, никто не стал. Диона по-прежнему сидела тихо; ее темнокожая служанка стояла позади нее, Клеопатра знала, что дочь Дионы — Мариамна — была в безопасности, в храме Исиды: случись что, жрицы защитят ее ценой собственной жизни.

Она почувствовала мимолетный острый укол зависти. Все ее дети были далеко, даже Антилл, которым она дорожила, словно он был ее кровным сыном. Когда детей привели прощаться, Антилла среди них не было, и она даже не представляла, где он сейчас, только надеялась, что с отцом. А может, он пытается выбраться отсюда сам, своими силами. Ему тоже грозила опасность: живой царственный сын Цезаря не устраивал Гая Октавия, но к подросшему наследнику Антония он вряд ли будет милосерднее.

— Он жив, — сказала Диона, словно прочтя мысли царицы; ее мягкий голос казался немного потусторонним и легким эхом отдавался в ушах. — Желая поберечь твои слезы, Антилл остался в своей комнате. Он просил передать тебе, что у него все в порядке и дальше будет так же. В конце концов, он римлянин. Октавиан не станет преследовать его за верность своему отцу.

— Эта бестия? — с сомнением произнесла Клеопатра.

Диона наклонила голову. Все остальные не вымолвили ни слова, и Клеопатра предпочла это вынужденное молчание намеренно веселой болтовне — пустой разговор был бы еще хуже.

Свет в окне начал крепнуть. Луч солнца ударил в комнату, медленно пробираясь по стене.

Сразу после полудня тень закрыла свет. Голос снаружи позвал:

— Владычица?

Уже через секунду Клеопатра вскочила на ноги.

— Владычица, — повторил голос Диомеда, страннонапряженный. — Твой господин вернулся.

Клеопатра никогда не слыхала, чтобы Диомед говорил столь лаконично, таким невыразительным тоном, без аффектированных трелей красноречия или жалоб. Ее сердце, оказывается, вовсе не очерствело и не превратилось в камень — на мгновение оно остановилось и похолодело.

Наверху послышалась возня, голоса, нарочито спокойные, потом пыхтенье и проклятия — человек лез сквозь маленькую дырку окошка. Крупный мужчина… но в конце галереи показался не Антоний, а Диомед. Что-то проскользнуло сквозь отверстие — длинное и плоское.

Клеопатра охнула. Носилки… его несли на носилках!

Она застыла неподвижно, глядя вверх, на галерею, а двое рабов спускали носилки вниз. Под накинутым сверху военным плащом Антоний казался каменным: упругие, всегда пышущие здоровьем щеки осунулись, румянец уступил место зловеще-сероватой бледности.

Но он был жив. На лбу блестел пот — свежий и холодный. Лихорадка? Антоний стал жертвой болезни? Он ведь не сражен ударом меча?

Клеопатра дотронулась до его щеки. Попытавшись приподнять голову, он усмехнулся, но улыбка его больше походила на гримасу.

— Мне сказали, что ты мертва. — Голос был таким же изнуренным, как и лицо.

— Тебе солгали, — быстро ответила Клеопатра и провела по его лицу рукой. Кожа была

очень холодной. Она вздрогнула, ощутив этот холод, пробравший всю ее, все тело и разум, и ее убийственно-живой ум сказал ей, что он с собою сделал.

Клеопатра сорвала плащ с его тела. Антоний был без доспехов — первое и последнее, что она заметила. Все остальное представляло собой кроваво-красное месиво, и это было почти невозможно разглядеть и осознать.

Но она пересилила себя и взглянула внимательнее. Они пытались его перевязать. Это ненадолго отодвинуло конец, хотя бы на какое-то время, чтобы донести его к ней живым. Бинты были насквозь пропитаны кровью — разбухли от крови. Клеопатра надеялась, что внутри у него все онемело и боль не терзала его.

— Ох, какой же ты дурак! — воскликнула она. — Безмозглый, порывистый дурак.

Антоний кивнул — с выражением, слабо напоминающим раскаяние:

— Наверное, надо было подождать. Уйти вместе с тобой. Но тогда это казалось мне бессмысленным. Было ясно сказано — и что я должен был подумать?.. я подумал, что ты меня опередила.

— Но ты же знаешь, я бы никогда так не сделала.

— Правда? — Он негромко кашлянул, но тело его мучительно напряглось от боли. Он пробормотал проклятие, переросшее в команду. — Вина! Дайте мне вина.

Вина ему принес Мардиан, евнух царицы; он поднес чашу к губам Антония и бережно держал ее, пока тот пил. Выпил он немного. Мардиан отнял чашу от его губ и унес. Гладкие щеки евнуха были мокры от слез.

На этот раз Антоний закашлялся сильнее, и адская боль скрутила его.

— Черт возьми, госпожа, — произнес он, когда смог говорить. — Я умираю.

Это прозвучало раздраженно, и лишь на мгновение в голосе мелькнул страх. Остальное было сказано быстро, даже слишком быстро и почти неразборчиво.

— Послушай меня. Позаботься о себе. В окружении Октавиана есть один человек — мы с ним не были друзьями, но на него можно положиться. Прокулей. Гай Прокулей. Попроси его помочь тебе.

— Я и сама могу себе помочь, — отрезала Клеопатра.

Антоний покачал головой.

— Упрямая, да? До конца? А конец-то наступил, представь себе. Вот он какой… А я иногда думал, что мы бессмертны.

— Во всем, что имеет значение, — сказала она твердо, — так и есть.

Антоний ощупью нашел ее руку. Глаза его угасали, пальцы стали ледяными, но он все же нашел в себе силы поднести ее руку к губам.

— Ты всегда была великолепна. Я… что ж, я просто старался.

— Этого было достаточно, — вымолвила она.

Он улыбнулся.

— Поцелуй меня.

— Неугомонный, — горько, скорбно сказала Клеопатра, но нагнулась к его губам, таким же холодным, как и руки. Дыхание его было странно благоуханным, с ароматом специй. «Мирра, — подумала она машинально и отстраненно, с окаменелостью безысходного, запредельного горя. — Мирра для усопших».

Души уже отлетали от него, одна за другой: шорох крыльев, шепот воздуха, дыхание, смешавшееся с ее дыханием… Антоний вздохнул, слегка содрогнулся и умер.

Медленно, очень медленно Клеопатра выпрямилась. Ее сердце — которому полагалось

быть опустошенным — было полно. Антоний заполнил его. Царица поднесла пальцы к губам. Холодные — но под этим холодом билось тепло жизни.

— О, мой повелитель, — промолвила она тьме и сиянию золота в ней. — Цезарь был чудом света; но ты… мой повелитель, ты… тебя я любила.

46

Антоний мертв.

Это казалось совершенно невероятным, словно рухнувшая гора или смерть бога. Клеопатра страдала самозабвенно, упоенно; экзальтация ее достигла того уровня, при котором горе меняет обличье на дерзость и вызов. Именно такого результата пытались достичь трагические актеры всех времен, но тщетно — здесь требовалась тонкая грань правды и души царицы.

Клеопатра медленно обернулась. Она была в полном, ясном рассудке, какой бывает только у сумасшедших.

— Диона… — Голос звучал неимоверно вежливо и безжалостно. — Дорогая сестрица и друг, умоляю тебя — исполни мое поручение.

Против ее ожидания, Диона ничего не спросила — она не хотела услышать имя.

— Иди к победителям, — продолжила Клеопатра. — Иди к человеку, которого назвал Антоний. Не к тому, кто величает себя Цезарем; к другому — к Прокулею. Скажи ему, что владычица Двух Земель желает говорить с ним.

Диона замешкалась, гадая, что может случиться за время ее отсутствия. А если Клеопатра просто пытается избавиться от свидетелей? Глаза ее — потемневшие, но лихорадочно-яркие — не сулили ничего хорошего.

Но царица пообещала:

— Я не убью себя, пока не увижу этого человека. Приведи его ко мне.

Диона поклонилась, не слишком низко — как сестра кланяется своей царственной сестре.

— Слушаюсь, владычица, — сказала она.

Диона без труда вылезла из окошка и спустилась вниз вместе с Гебой, охранявшей ее с тыла. Строители оставили леса и веревочную лестницу. Удивительно, что никому в голову не пришло обчистить гробницу раньше, до того как царица замуровала себя в ней. Хотя, конечно, сокровища охраняла стража, да и суматоха, отчаяние, уныние, в которые повергли всех войска противника, уже подступавшие к городским стенам, помешали возможным грабителям.

Теперь все эти войска слились в одну великую армию, и она маршем вступала в Александрию. Город не делал ни малейших попыток сопротивляться. Армия победителей была огромной. А город, как с горечью подумала Диона, был слишком измучен войной и подавлен тем, что боги отреклись от него. Только глухой или покойник мог не слышать ухода Диониса.

В Александрии появились римские орлы[108] — не как гости, но как завоеватели. Дробь их сандалий громко раздавалась в непривычной тиши улиц. По сравнению с их спесью и заносчивостью гордость александрийцев казалась образчиком скромности. Они владели миром — и знали это.

В сущности, их не за что было ненавидеть. Пришло их время — вот и все. Как некогда — время Александра, а до него — Персии, целую вечность тому назад.

Октавиан сразу же отправился во дворец, как и следовало ожидать. Его легионеры уже стояли на страже возле ворот, а где находились люди царицы — знали лишь боги: одни

спрятались, другие бежали; кое-кто перешел на сторону врага. Легионеры не заметили одинокую жрицу и ее темнокожую, бесшумно ступавшую служанку — Диона убедилась в этом. Чуть-чуть магии — и они двинулись по знакомым переходам и коридорам, ставшим вдруг странными, чужими: мимо покоев, занятых чужеземцами. Их громкие, неблагозвучные и шокирующе-непочтительные голоса разносились повсюду: в самом дворце, в его садах и на крышах.

Город был еще не полностью захвачен. Пока они только входили. Римляне имели привычку все делать основательно. Даже лагерь на одну ночь разбивался так, словно это твердыня, памятник для многих-многих поколений потомков. Все по-римски — на века.

В тронном зале Диона нашла то, что искала, но с удивлением обнаружила, что Октавиана на огромном золотом троне нет, трон был пуст. Возле него стояли легионеры. А за ними виднелись тоги: простые и с сенаторской каймой. Их владельцы беспечно болтали и глазели по сторонам, как обычные зеваки или простоватые путешественники, которых занесло в чужую страну, — даже те, кто жил в этом дворце многие месяцы, называя себя друзьями Антония.

Лишь один человек вел себя непринужденно и не обмирал при виде окружавшего их великолепия роскоши. Диона видела его профиль на монетах и портретах, которые безусловно льстили ему — но не слишком. Он был ниже ростом, чем она ожидала, с необыкновенно длинной шеей и, что удивительно, с привлекательным лицом. Да, нос его был длинным, рот — надменным, подбородок — узким и острым. Но складывалось впечатление, что если он улыбнется или хотя бы просто расслабит плотно сжатые губы, то будет выглядеть вовсе не дурно.

Диона поймала себя на том, что смотрит слишком открыто и пристально, и опустила глаза, тем более что послана была не к нему. Среди мужчин, стоящих возле него, наверное, был и Прокулей, но она не могла догадаться, который. Сколько же римских лиц, сколько голосов, говорящих на латыни в зале, так долго знавшей музыку греческого… Это новое впечатление было настолько странным и чуждым, что у нее закружилась голова.

Прокулей. Она должна осознать это имя, почувствовать его, пока еще может. Имя характеризует человека — такова мудрость Египта.

Но сердце ее было полно другим именем: Луций Севилий. И к нему несли ее ноги — и чуть не подкосились в последний момент, когда она оказалась лицом к лицу с приятным римлянином, пристально смотревшим на нее.

— Прокулей?

Рука римлянина дернулась в жесте, который она помнила у легионеров: оберег от зла. Лицо его, бывшее более близким соседом цивилизованному и воспитанному уму, оправилось от потрясения быстрее.

— Госпожа?

Теперь уже все уставились на них, и Диона уловила во взглядах римлян оттенок недоумения. Никто из них не видел, как она вошла, — в магии она была все так же искусна. Что ж, пришло время исполнить волю царицы. И Диона исполнила: ясным, холодным голосом, становившимся словно стальным в минуты больших потрясений — дар богини и воля богини — она воскликнула:

— Гай Прокулей, царица желает говорить с тобой.

Римляне переглянулись, а потом посмотрели на главного римлянина. Все — кроме Дионы; она упорно отказывалась брать его в расчет. В деле, которое ей поручено, Гай

Октавий был третьим лишним. Однако его голос вернул Диону к реальности.

— Как? Она не хочет видеть меня?

Но Диона не сдавалась. Она держала голову высоко, прямо; она не удостаивала, она отказывала ему даже в малейшей крупице почтения. И это было самое большее и лучшее, что она сейчас могла сделать.

— Царица желает говорить с Прокулеем.

— Что же, она будет с ним говорить.

Дешевое великодушие… Никто не просил о нем. Никто не хотел его милостей.

Диона не отказала себе в удовольствии оглядеть Октавиана сверху донизу, почти наслаждаясь. Двор Александрии счел бы такое поведение афронтом, римляне — грубостью и бестактностью. Но ее это не заботило. Все, что она знала о нем, все, что почуяла когда-то в его делах, словах, стихах, собралось воедино и встало на место. Гай Октавий Цезарь нравился ей ничуть не больше, чем прежде, но все же она сказала:

— Ты — император. Но не царь, в тебе нет теплоты. Однако ты можешь править миром.

Октавиан опешил, что случалось с ним крайне редко, и это его разозлило. Диона с интересом наблюдала, как он борется с гневом.

— Так ты ясновидящая? Прорицательница, так?

— Я — голос богини Двух Египтов.

— А ты можешь мне сказать…

Она оборвала его.

— Царица ждет. Пойдем, господин.

Прокулей, слегка растерянный, ждал высочайшего дозволения, но Диона не собиралась в этом участвовать. Ему пришлось немного поспешить, чтобы догнать ее. Еще один мужчина пошел вслед за ними, с виду военачальник высокого ранга, при оружии. Диона усмехнулась: он мог быть хоть самим Марсом[109] — она никогда не утруждала себя подробностями воинских отличий римлян.

— Галл, — Прокулей вздохнул с некоторым облегчением. — Госпожа, — добавил он поспешно, — ты не возражаешь?

— Она желала видеть только тебя. Но если тебе так спокойнее — пожалуйста. Прихвати с собой стражника.

Галла, похоже, задело, что его назвали затрапезным телохранителем, хотя он явно был кем-то солиднее. Но Диону это не интересовало. Пусть римляне знают, кем они выглядят в глазах Египта. Завоевателями — вероятно, но выскочками, каким вряд ли пристало ступать на пол, по которому ступали цари, — несомненно.

Диона не повела их к окну и внутрь гробницы — хватит с них и того, что они будут говорить с Клеопатрой сквозь маленькую решетку, которую сделали в замурованной двери каменщики. Она оставила римлян там — пусть позлятся. Но оба мужчины казались бесстрастными.

— Госпожа, — позвал Прокулей. — Владычица!

Веревочная лестница была на прежнем месте. Геба помогла правильно приладить ее и забралась вслед за своей госпожой. Диона была по-прежнему ловкой, что оказалось очень кстати: а ведь столько лет прошло с тех пор, как она проводила больше времени на деревьях, чем дома.

После яркого света дня в гробнице казалось пустынно, но глаза вскоре привыкли к сумраку. Диомед и его рабы ушли. Остались лишь три раба Клеопатры и сама Клеопатра.

Она стояла у дверей, говорила с мужчинами, находящимися снаружи, и чему-то смеялась: звонко, громко и не без сарказма.

— Ох, можете говорить это кому угодно — только не мне! Вы тоже знаете Октавиана и понимаете, чего он на самом деле боится. С его стороны очень мило думать, что я сожгу этот склад сокровищ и оставлю его с носом, и он не получит ни их, ни меня. Возможно, его совет и придется мне по душе.

Ответ был неразборчивым. Казалось, говорил Галл — его голос был громче и немного грубей, чем у Прокулея. Диона подошла поближе к царице.

За спиной послышалась какая-то возня. Она резко обернулась. Мужчины… сначала Диона решила, что ее настигло безумие. Но она ясно видела: мужчины лезли вниз из окна.

Мозг пронзила догадка. Она не убрала лестницу! Слишком поздно было клясть себя, пытаться загладить вину, которую не загладишь. Похоже, их целая армия. Но нет — это сумрак и шок превращал их в армию. Их было лишь трое — Прокулей и еще двое. Судя по всему, они крались за царицей.

У Дионы не было наготове ни магии, ни оружия. Тем не менее она отчаянно пыталась помешать им — но мужчины оттолкнули ее. Оттолкнули легко, словно малого ребенка, и кинулись к царице. Почему бы и нет? Ее слуги были для них не опаснее Дионы.

Они схватили Клеопатру! В ее руке блеснул нож. Прокулей резко вырвал его.

Царица стояла гордо, независимо, словно ее и не держали двое его сообщников — обозленных, но убийственно спокойных.

— Итак, — усмехнулась она, — ни одному римлянину доверять нельзя.

— Ты — враг Рима, — жестко сказал Прокулей. — Я беру тебя в плен именем Roma Dea и Гая Юлия Цезаря.

— Цезарь мертв, — съязвила Клеопатра.

Прокулей не удостоил ее ответом.

— Элафродит. Охраняй ее.

Самый высокий и крупный из слуг кивнул. Прокулей возвысил голос:

— Галл! Скажи Цезарю. Мы захватили женщину.

«Даже не царицу, — подумала Диона. — Просто женщину». Вне себя от ярости и негодования и еще потому, что слова, чьи бы то ни были, сейчас уже не имели значения, она спросила:

— Для вас действительно важно было захватить ее? Ему ведь нужно только золото. Он всегда рыщет по чужим кошелькам, ваш Октавиан. Что он будет делать, когда проиграет и эти сокровища?

— Ну-у, ему потребуется некоторое время, — сухо ответил Прокулей. Для римлянина он был весьма неглуп. В другом мире этот мужчина мог бы ей понравиться. Он повернулся к Клеопатре.

— Госпожа, могу ли я доверять тебе? Ты дождешься, пока я приведу Цезаря?

Клеопатра вскинула бровь.

— По-твоему я сумею сделать что-то другое? Кстати, если вы собираетесь наружу, приведите бальзамировщиков. И пусть они принесут все, что необходимо для благородного усопшего.

Прокулей казался потрясенным. Должно быть, он не заметил носилок и человека, лежащего на них, по подбородок укрытого военным плащом. Он шагнул к ним, словно его подтолкнули, и уставился на застывшее лицо. Челюсть Антония была подвязана, веки

отягощали золотые монеты из сокровищницы. В этом зрелище для глаз Дионы не было ничего красивого, но и ужасного — тоже.

Однако римляне всегда испытывали панический ужас перед смертью, хоть сами были вынуждены частенько падать на меч. Диона знала цену такому мужеству: дерзость ужаса, трусость под маской храбрости. Прокулей резко отвернулся; лицо его посерело.

— Я пошлю бальзамировщиков, владычица, — сказал он заплетающимся языком. — Я… скорблю, узнав о твоей потере.

— Ты бы так же скорбел, если бы его казнили по приказу Октавиана — как изменника и врага римлян?

Прокулей промолчал.

— Можешь идти, — с достоинством сказала Клеопатра, словно и не была пленницей.

Прокулей повиновался — такой властью она до сих пор обладала.

С уходом Прокулея в комнате, казалось, просветлел даже воздух. Диона горько вздохнула. Замурованный оплот царицы стал для нее западней. Там до сих пор пахло смертью и холодным железным душком золота. Клеопатра вернулась к своему стулу. Она шла так, как ходят люди, которые держатся прямо усилием воли. А волю царицы даже теперь никому не под силу было сломить.

— Элафродит, — внезапно сказала она. — Ведь так тебя зовут, да?

Римлянин кивнул и густо покраснел. Он был совсем молодым, хотя и крупным, и казался растерянным и смущенным. Ему явно было не по себе.

— Элафродит, — повторила Клеопатра, — ты позволишь мне несколько минут уединения? Этого требует скромность — я должна переодеться. Я хотела бы встретить моего победителя в более пристойном виде и более подходящем наряде. Можешь ли ты встать на посту у окна? Тогда ты будешь уверен, что я не убегу. И еще — могу ли я попросить тебя отвернуться, пока буду одеваться?

Диона внимательно всматривалась в лицо царицы. В ее спокойствии было что-то пугающее.

Заметив это, Клеопатра улыбнулась.

— Дорогая сестрица. Думаю, пришло время тебе уходить. Твой муж с Октавианом, да? Он позаботится, чтобы ты не пострадала от его мести.

— Луций Севилий — не мой муж, — тихо и твердо ответила Диона.

— Глупости, — отмахнулась Клеопатра. — Кто же еще? Ты ведь любишь его всем сердцем. Возможно, он и виноват перед тобой, но не настолько, как тебе кажется. Луций Севилий всего лишь мужчина — и поэтому дурак. Он думал, что любит Рим больше тебя. Теперь он наверняка сожалеет об этом.

Диона покачала головой. Глаза ее были полны слез.

— Пора, — промолвила Клеопатра, вставая и идя к ней. Она утерла ей слезы, положила руки на плечи Дионы и улыбнулась — светлой улыбкой, лишенной горечи. И улыбка эта сказала Дионе все, что не могла сказать сама Клеопатра при римлянине, стоящем в галерее и бдительно ждущем любого подвоха. Вслух царица произнесла:

— Иди, люби его. Он отчаянно ждет, что ты вернешься. Ты мне не веришь? Но я чувствую это. Сейчас я словно Даная[110] — вся открыта звездам.

— Тогда… ты знаешь… — начала Диона.

Голова Клеопатры поникла и снова вскинулась — в спокойствии запредельного горя.

— Ты была права. Это моя вина.

Антилл был мертв — он погиб сразу же, как только Октавиан вошел во дворец. Цезарион был убит во время бегства. Тимолеон — Тимолеон…

Диона почти выла, но не вслух, вслух — никогда; только в сердце своем. Она обнаружила, что приникла к царице, к подруге, потерявшей сына, ради которого ее сын, самое любимое, бесстрашное, шаловливое красивое дитя, отдал свою жизнь. Объятие Клеопатры было сильным, глаза — сухими, голос — спокойным.

— Да. Я тоже кляну дар, которым нас отметила богиня. Быть невежественной, как самая простая женщина, и верить, как бы ничтожно коротко это ни продлилось… думать, что они спаслись…

Диона напряглась и отстранилась. Клеопатра не удерживала ее. Они стояли лицом к лицу, глаза к глазам: не царица и ее прислужница, даже не две двоюродные сестры, а женщины, потерявшие своих детей, матери, пославшие на смерть сыновей. Это были древние узы — почти такие же древние, как узы, связывающие мать и ребенка.

— Ох, как же я ненавижу войну, — сказала Диона с неожиданной страстью.

— Теперь войне конец, — промолвила Клеопатра. — Мы принесли мир — при всех усилиях сделать обратное.

— Мир по-октавиановски, — горько улыбнулась Диона. — По-римски. Пустыня… и нация рабов.

— Не думаю, — возразила Клеопатра. Она быстро обняла Диону, поцеловала в обе щеки, а потом снова в лоб. Взгляд ее был долгим, глубоким и неотрывным. Наконец она сказала:

— Иди, сестрица. Найди своего любимого. Живи — живи ради него, если нельзя больше жить ради меня.

47

Пока Диона со своей молчаливой служанкой поднималась вверх по ступенькам, Клеопатра стояла неподвижно, и ей показалось, что она наблюдает шествие статуй. Они шли одинаково: очень гордо и прямо, как кариатиды[111], несшие на головах тяжесть небес. Хотелось бы думать, что обе догадались о ее замысле и одобряли этот выбор.

У окна они замешкались, пока Диона говорила с римским вольноотпущенником[112]. Боги были милостивы — римлянин наклонил голову и позволил женщинам пройти мимо него; даже помог им пробраться через окно и встать на лестницу.

Когда он отвернулся, Клеопатра дала знак слугам. Мардиан принес расписанную ширму, целую вечность назад принадлежавшую какому-то забытому ныне фараону. Боги шли на ней торжественной процессией сквозь заросли папируса: Тот, с головой ибиса; обезьяноголовый Птах, Гор с головой сокола, Сехмет — львица с женским телом, Хатор-корова. А вел их всех Анубис, проводник и защитник, с тонкой шакальей улыбкой, загадочный и неподверженный времени. Такие же древние, как и сам Египет, глаза бога-шакала пучились неземным светом и сияли ярко, хотя сами краски поблекли. Казалось, они смотрели в глаза Клеопатре, улыбавшейся, когда служанки снимали с нее одежду.

Поверх ширмы она могла видеть спину вольноотпущенника. Казалось, даже спина его пылала смущением. В Греции и Риме обнаженные мужчины были делом привычным, но женщины… это шокировало.

Клеопатра прошептала слово. В его осанке ничего не изменилось — разве что теперь он стоял, словно застывший в камне. Застывший в камне и безучастный, словно вынутый из вечно бегущего времени — до того мгновения, пока бренный голос не позовет назад. Клеопатра горько усмехнулась. Что теперь для нее значило время?

Медленно, спокойно, величаво, как выполняют ритуал, служанки Клеопатры наряжали ее словно для грандиозного праздника. Они освежили ее в чистой, прохладной воде из огромной бочки, припасенной надолго впрок для живых в обиталище смерти, умастили тело тонко благоухавшими маслами. Гермиона дрожащими пальцами надевала на царицу одежды и золотые украшения, одно за другим, но лицо ее было спокойным, бесстрастным. Рис расчесывала и заплетала волосы Клеопатры, унизывая их жемчугами и золотом, и ни единого признака страха и горя не было в ее движениях.

Боги находились рядом. Клеопатра слышала их перешептывание. Она приветствовала их, опустив веки и едва заметно наклонив голову — не следовало мешать меткой руке Ирис, державшей кисточку и раскрашивавшей ее губы, щеки, глаза. Царица казалась великим произведением искусства, и требовалась предельная осторожность и тщательность, чтобы довести его до совершенства. «Да, все правильно», — подумала Клеопатра. Царица, дочь великих царей, сейчас отринет все земное, человеческое, что еще в ней оставалось, и всецело станет царицей и богиней.

Разве не для этого она была рождена? Разве не к этому текли все дни ее жизни? Неизбежность происходящего, безжалостная ясность знания наполняли ее почти весельем. Трагедия? Пустые слова… Да, ее повелитель мертв, царство потеряно. Но в душе ее не было скорби. Сейчас она была жрицей, исполнявшей свой долг, ритуал, который не поможет уже ничему, но она совершала его — таковы были священные узы.

Совсем не этого ждал от нее Октавиан, но что такое Октавиан перед волей и даром

богини? Он устроит в Риме триумф в свою честь. Он будет не римлянином, если лишится шанса пустить пыль в глаза — золоченую пыль. Он устроит на форуме парад своей армии, протащит перед всеми свою добычу — награбленное золото, пленников. И впереди, золотыми цепями прикованную к его колеснице, поведут Клеопатру, злейшего врага Рима, павшую до дешевой подневольной актерки в дрянном спектакле на потеху римских зевак.

— Нет, — сказала она вслух. Служанки пристально взглянули на нее. Евнух казался самой скорбью. Царица улыбнулась, чтобы их успокоить. — Нет, меня не поведут на триумф Октавиана.

Они поклонились ей.

— Нет, госпожа, — вымолвила Ирис. — Тебя никогда не постигнет такое несчастье.

Какое верное эхо; преданное, совершенное — и законченное в своем эгоизме. Женщина, которую теперь отыскать в ней едва ли возможно, наверное, сочла бы это слегка отвратительным. Царица нашла это правильным. Сейчас совершался великий акт царской воли, который, как всякий такой акт, нуждался в присутствии подданных. И более достойных и верных ей не найти.

Наконец одевание было окончено, волосы убраны в прихотливые косы и локоны, драгоценности мерцали в ушах и на шее, на руках и запястьях. Лицо было раскрашено искуснейшим образом: маска царицы — красивая, холодная, высоко парящая над миром людей в своей отстраненности. Но в зеркале, принесенном Гермионой, Клеопатра отыскала кое-что от земной Клеопатры, однако отвращения к большому, слегка крючковатому носу Птолемеев не испытала. Ну что ж, она ведь из Птолемеев, тут нет сомнений; она происходила от великих царей по прямой, как чистопородный конь.

Гермиона унесла зеркало. Клеопатра присела на золоченом ложе, утопая в драгоценных шелках мягких подушек. Наверху, в галерее, Элафродит стоял, словно изваяние из камня.

Ирис принесла кувшин, который так старательно прятался среди кувшинов с вином и маслами, духами, красками, даже с хлебом, оливками и фруктами. На нем не было никаких знаков, кроме печати Египта: кобра с поднятой головой. Ирис несла кувшин осторожно, опасаясь его, не моргая — ее отвага всегда была поразительной.

Она поставила кувшин Клеопатре на колени. Царица обвила его бока руками. Кувшин был прохладным и гладким. Простой до скупости узор из крон папируса покрывал его стенки: черное на красном; Красная Земля и Черная Земля; пустыня и изобильные долины Нила — спасение и богатство Египта.

Она теряет время попусту. Элафродит будет стоять неподвижно, пока не зажгутся звезды, но Октавиан — нет. Он достаточно умен, умом хитрости, и, догадавшись, что задумала Клеопатра, сделает все возможное, чтобы помешать ей.

Царица приподняла крышку. Внутри кувшин казался пустым — только тьма и память о вине. На какое-то мгновение она испугалась, что ее предали, — пусть даже из доброты.

Но потом в сосуде что-то зашевелилось, зашипело, заскользило. Узкая головка появилась над краем горлышка, слегка покачиваясь; тонкий язычок, похожий на вилку, чуть извивался и вздрагивал.

— Ах, — вздохнула Клеопатра. — Какая же ты красавица. Иди, радость моя. Иди и поцелуй меня.

У змеи не было ушей, чтобы слышать, но она видела движение ее руки. Бросок кобры был стремительным. Инстинкт приказывал Клеопатре отдернуть руку, но она осталась недвижимой. Боль была слабой — по сравнению с болью поражения и страха, что ее

поведут, живую, во время триумфа Октавиана. Боги были милосердными — змея укусила ее в вену на запястье, глубоко вонзив свои зубы; сейчас убийственный яд потечет по жилам этой глупой скучной жертвы.

Наконец, опустошенная, змея подняла голову, скользнула по рукам царицы, сползла на пол и скрылась в тени гробницы. Клеопатра легла на спину. Она не чувствовала ничего, кроме горячих уколов боли — словно много-много тонких иголок кололи ее плоть.

Ирис взяла кувшин с коленей Клеопатры, сунула туда руку, словно он был полон маслин, а вовсе не змей, охнула и чуть не уронила сосуд. Гермиона поймала его на лету. Ирис упала на пол, лицо ее исказилось от боли. Рука была сплошь покрыта маленькими двойными точками капелек крови.

— Эгоистка, — сказала Гермиона. — Ты ничего нам не оставила.

Она резко перевернула кувшин. Клубок змей шлепнулся на пол, расплетаясь и скользя прочь, почуяв свободу. Но одна замешкалась, остановленная меткой ногой Гермионы. В припадке ярости змея укусила ее — и укусила очень глубоко.

Гермиона улыбнулась.

— Вот и все. Теперь я тоже с вами.

— А я… мне ничего не осталось, — растерянно проговорил Мардиан.

Осталось, — успокоила его Клеопатра. — Окно. Беги, пока не поздно. Скоро придет Октавиан.

Мардиан не стал спорить. Змеи расползлись, яда больше не было, а открытое окно предлагало жизнь — пусть даже жизнь, полную горя. Да. Она не сказала ему, куда идти… Возможно, он вернется во дворец или поищет в округе Диону. Диона его приютит.

Что ж, пусть выбирает сам. Медленно, медленно холод крался сквозь все тело. Ее предупреждали, что боль может быть невыносимой, но эта казалась почти приятной. Было похоже, будто она засыпала в прохладной воде — если бы только не помнить о пылающем холоде в месте укуса.

Клеопатра еще видела Ирис, лежащую у ее ног: голова на руке, сонная улыбка… Боль никогда не заботила эту женщину.

Гермиона, последняя жертва, сейчас была самой сильной. Она опустилась на колени возле ложа царицы. Лицо ее, всегда такое красивое, сейчас сияло, как лик богини. Клеопатра потянулась к нему, но пальцы не слушались. Прекрасное, какое прекрасное лицо; но, ох, как холодно, холодно…

— Богиня, — прошептала она. — Мать Исида… защити…

…Голоса. Удары, словно бьет чудовищный барабан. Крики, топот ног — молниеносность отчаявшихся…

Слишком поздно. Клеопатра смеялась, когда души ее расставались с нею и друг с другом, расправляя крылья и взмывая вверх, к сиянию вечности. Слишком поздно! Бедный Октавиан — он так хотел захватить для своего триумфа царицу. Ему придется поискать себе другую. Клеопатра победила! Она была и осталась царицей — навсегда, даже в смерти.

…Голоса римлян, рев ярости:

— Гермиона! Чтоб тебе провалиться! Проклятие! Разве правильно было так поступать?

— Очень правильно, — ответила Гермиона, словно с самых пределов этого мира, — и достойно царицы, преемницы стольких благородных царей.

48

Диона поняла, что царицы больше нет. Это знание пришло не сразу; она прошла уже весь путь к храму и даже вошла на его территорию, но вдруг колени у нее подкосились, и она упала.

Горе, поразившее ее, сбившее с ног, сменилось безумной радостью: Клеопатра победила! Царица оставила Октавиана с носом, украла у него удовольствие. Он получил Египет, захватил все его богатства, власть, поля, которые могли накормить весь мир. Но он никогда не получит ее саму.

Мир без нее стал крошечным и холодным. Даже храм богини был полон римлян. Они разворовывали его богатства, хотя, похоже, сочли опрометчивым пытаться насиловать жриц.

Диона хотела бы уединиться в просторной комнате без окон и отдаться скорби. Но скорбеть было не время; Октавиан, обозленный, одураченный, мог распалиться жаждой мести; обратить ее на Мать Исиду, раз Клеопатра стала недосягаемой для него — ведь царица была Исидою на земле.

Она с трудом встала. Исида не должна быть поругана. Даже римляне Октавиана обязаны это понять.

Цель и Долг — вот что заставило ее подняться и действовать, хотя разумнее было искать средство, как побыстрей умереть. Египет погиб. Roma Dea пожрала его.

Что-то темное пыталось внушить ей эти мысли, сломить ее дух, но Диона стряхнула с себя силы мрака. Они хотят, чтобы Египет был повержен в прах, но так ли в действительности обстоит дело? Диона остановилась и встретилась взглядом с глазами богини в святилище. Мать Исида улыбалась вечной, бессмертной улыбкой. Диона не чувствовала ни пустоты за спиной, ни единого признака поражения. Живой образ ушел в мир теней. Но ее дух, ее сущность были сильны, как всегда.

Даже Roma Dea — часть ее. Мать Исида была всем сущим: землею и морем, солнцем и небом. Она утешала последних своих детей, здесь, в святилище, осквернённом следами ног римлян; крепкие руки, теплая, живая грудь, сила взглянуть в лицо неизбежности…

Диона возвысила голос.

— Эй, вы, там, кто-нибудь! Центурион! Иди-ка сюда.

На зов пришел мужчина, должно быть, позабавленный тем, что его требует к себе такая маленькая, хрупкая египтянка. Пусть себе улыбается, если ему так хочется. У нее есть к нему дело, и только это сейчас важно.

— Центурион, очень хорошо, что твои люди приказали брать каждую монету и каждую крупицу золота, чтобы набить мешки Октавиана. Но, пожалуйста, не забудь: они должны оставить кое-что и нам, чтобы мы могли кормить наших жриц. И пусть приберут за собой, прежде чем уйти отсюда.

Центурион заморгал. Он был классическим образчиком римлянина: обветренный непогодой, с проседью, крепкий, мощный, практичный до мозга костей — и без чепухи в голове. Но у него была мать, и он помнил ее повелительный тон.

— Госпожа, — пробасил он голосом, огрубевшим от рыка на сотнях полей брани. — Госпожа, мы поняли. Извини, госпожа.

— От твоих извинений толку мало, — ядовито сказала Диона. — Помоги нам убрать здесь, посмотри, что вы натворили. Настоящий погром! А грязи-то натащили — весь пол

загажен. Это — храм, а не хлев.

— Слушаюсь, госпожа, — ответил центурион, уже окончательно прирученный, и с рыком, который разорвал бы в клочья любые нормальные голосовые связки, заорал:

— Флакк! Бубо! Виридиан! Быстро сюда! Что вы там копаетесь? Все убрать, быстро!

На разгром, учиненный римлянами, потребовался ровно час. На то, чтобы уничтожить его последствия, ушел остаток дня и вся ночь. Легионеры трудились не покладая рук. Центурион, которого звали Фламинием, оказался вполне сообразительным и расторопным, когда ему объяснили, что от него требуется. Ему и на самом деле частенько приходилось исполнять волю женщин. Дома у него остались жена и полдюжины дочерей, а еще — пара сыновей, достаточно взрослых, чтобы вступить в легионы. Ему нравилось египетское пиво, и он не имел ничего против египетской кухни, хотя, по его мнению, было бы лучше, если бы в блюда добавляли поменьше чеснока.

Когда он ушел, прихватив с собой своих головорезов, храм был вычищен до блеска, хотя и почти опустошен. Диона наконец позволила Гебе уговорить себя отдохнуть. Она пошла в комнату, когда-то поразившую ее своей необъятностью — тогда она впервые оказалась в ней. Теперь же комната казалась маленькой и отрезанной от всего мира. Горели светильники, на столике возле ложа был накрыт ужин.

Она взяла финик, но отложила и поставила на стол чашу разбавленного вина.

— Тимолеон, — сказала она спокойно, без крика, без слез. — О, мой Тимолеон.

В углу блеснул огонек, послышался звук, похожий на шорох крыльев или приглушенный смех. Она вскочила на ноги.

Это была всего лишь кошка — старая кошка-богиня, которая когда-то увязалась за ней в Тарсе. Теперь уже слепая, но достаточно чуткая, она подошла к своей хозяйке и, когда та бессильно опустилась на стул, ловко забралась ей на колени. Диона погладила кошку, почесала под подбородком — шерстка была все такой же гладкой и мягкой, как самый лучший шелк, даже после стольких лет. Кошка нежилась у нее на коленях, и Диона скорее почувствовала, чем услышала, как та тихо, довольно мурлычет.

В коридоре за дверью послышались шаги. Жрица, шедшая из храма наверх, остановилась. Диона подавила вздох. Но почему? Зачем? Отчего ее не оставят в покое? Ведь этим вечером ей больше нечего делать: лишь закончить ужин и уснуть, если сон придет к ней.

Но долг не знает милосердия. Дверь открылась медленно — словно женщина снаружи знала, как мало обрадует Диону ее приход.

— Женщина?

Нет. Мужчина. Римлянин. Даже в тоге; пурпурная кайма в полумраке казалась черной, но светлее, чем его глаза под густыми бровями.

В волосах проблескивала седина. Раньше ее не было. «Ах, — подумала она, — все мы стареем».

Луций Севилий, гаруспик, бережно прикрыл за собой дверь и встал напротив нее. Он не побеспокоился о приветствии.

— Я видел нашу дочь. Мариамна стала почти молодой женщиной.

— Лет через десять-двенадцать непременно станет, — согласилась Диона.

— Она красива, как и ее мать.

Это Диона оставила без внимания.

Луций нахмурился. В иные времена он краснел и терялся, но сейчас… наверное, что-то изменилось в нем. Диона вздохнула.

— А еще я… я видел царицу. Октавиан вне себя.

— Надеюсь, — вымолвила Диона и замолчала. Пусть Луций сам думает, что ей сказать.

Но им всегда было не так-то легко управлять — с другими мужчинами бывало легче. За неимением второго стула он уселся на ложе и налил себе вина — в ту чашу, которую, как говорили Дионе еще в детстве, сама богиня оставила здесь.

— Ах, — проговорил он, потягивая вино. — Цекубское. Я думал, что ты привыкла к грубому вкусу македонского уже к тому времени, как уплыла от Акция.

Диона раскрыла рот и снова закрыла. Ей бы его стальные нервы…

— Я боялся, — сказал он после паузы, — что могу… найти тебя тоже… ну, в общем, как и ее. Ты такая же упрямая; ты могла сделать это и в одиночку.

— Сожалею, что разочаровала тебя, — съязвила Диона. — Но моя дочь еще маленькая.

— И пара сыновей?

Ее глаза неожиданно наполнились слезами. Ох, как она рассвирепела на себя за это!

— Один сын, — отрезала она. — Только один.

Луций побелел. Он не знал. Как же он мог не знать?

Внезапно Диона вскочила — чаша покатилась по полу — и бросилась к нему. Она колотила его кулаками, металась, кричала — сама не помня что.

Изумленный, потрясенный, безоружный перед ее горем, Луций остолбенел. Но он был еще и солдатом и, спустя мгновения, ловко схватил ее за запястья и тряс до тех пор, пока она не перестала кричать.

— Диона… — Он пытался привести жену в чувство звуками ее же собственного имени. — Диона, любимая. Я не знал. Я ничего не знал!

Она выпалила ему в лицо:

— Как ты мог не знать? Ты? Его человек? Октавиан затравил их! Затравил, как зверей, — Цезариона и Тимолеона! Он велел их убить!

Луций покачал головой, не веря.

— Нет, нет! С ним был его учитель, Родон, — так сказал гонец…

— Это был Тимолеон! — Диона поняла — сейчас она снова закричит, если мгновенно не остановится. Задержав дыхание, она пыталась справиться с дрожью. — Да… должен был идти… Родон. Но он очень заметный. И поэтому пошел Тимолеон. Они собирались… стать царевичами… в…

По щекам покатились слезы. Слезы лучше, чем крики. Плечо Луция было широким, ей всегда это нравилось, и таким твердым, надежным; он весь состоял из жил и костей.

Он тоже плакал — горько, тяжело и беззвучно.

— Я… я чуть не убил Цезаря, когда услышал, что Цезарион мертв. Если бы я знал… что Тимолеон… — Луцию пришлось умолкнуть, пока голос не вернулся к нему. — Roma Dea правит мною — пусть! Но если бы я знал, что Тимолеон мертв! Я удушил бы Цезаря своими руками.

— Не стоит. Он — всего лишь игрушка Roma Dea. Как по-твоему, кто настиг их так быстро? Октавиан? Он не настолько умен и расторопен. Она жаждала крови — крови Цезаря — и получила ее. Мой сын был просто довеском.

— Ты должна ненавидеть нас, — вздохнул Луций Севилий.

Диона чуть отстранилась от него, но не высвободилась. Этого ей совсем не хотелось.

— Нет, — повторила она. — Ох, нет.

Луций не поверил ей. Возможно, еще недавно она бы сама себе не поверила.

— Я люблю тебя, — сказала она. — И всегда любила. Но Рим для тебя дороже, чем я.

— Но у меня не было выбора, — начал он с неожиданной горячностью. — У Акция я попал в плен. Когда я пришел в себя, я был уже в шатре для раненых, у Октавиана. Мне предложили либо примкнуть к Октавиану, либо… либо мне пришлось бы умереть.

— Ты ведь не Октавиану присягал, правда? Ты дал клятву верности Риму.

Его молчание было красноречивее любых слов.

Диона кивнула, словно он ответил ей.

— Что ж, теперь Рим правит Египтом. Мы пропали. Ты рад тому, что оказался прав?

— Зачем ты так? И смерть Клеопатры и Антония — тяжелый удар для меня. А что до Египта…

Он умолк, пытаясь проглотить комок в горле, и, немного погодя, продолжил.

— Я просил, чтобы мне дали должность в Александрии. Конечно, не наместника — это слишком хлопотно, тем более что я не был консулом. И я никогда палец о палец не ударял, чтобы стать претором. Не гожусь я для столь высокого ранга… Но им нужны люди, которые наведут здесь порядок, которые знают город, понимают, что ему нужно и чего он хочет.

— Да, это не всегда одно и то же. — Диону всегда нравилось смотреть на него, даже сейчас, когда сердце разрывалось от боли. — Что ж, теперь ты найдешь себе жену-римлянку — пусть Roma Dea будет счастлива.

Луций Севилий казался таким оскорбленным, что она с трудом удержалась от смеха.

— Ты и вправду думаешь, что она такая сентиментальная? Roma Dea хотела только верности, исполнения долга — и получила это. Какое ей дело до счастья рабов? И потом, у меня, — добавил он быстро, — уже есть жена.

— Но не по законам Рима.

— Законы Рима могут меняться.

— У меня больше не будет детей. Мариамна забрала все.

— Одной ее вполне достаточно.

«Упрямый римлянин», — подумала Диона, но она уже почти не сердилась, наоборот, хотелось рассмеяться. Ох, как она ненавидела римлян. И любила… Ей придется всю жизнь иметь с ними дело — если, конечно, она не изберет путь царицы. Но путь этот — увы — был для нее заказан. Она хотела жить.

Даже в таком безумном мире. Даже без Клеопатры.

— Когда римская империя обратится в прах, — сказала она, — Египет по-прежнему будет жить…

Он кивнул.

— Да, и я вижу это. И радуюсь. Египет дорог мне — так же, как и империя, которая, кстати, пока не пала и, думаю, долго еще не падет. До моей смерти — наверняка. А потом меня это вряд ли будет волновать.

Несмотря на все усилия, Диона прыснула. Она никогда не умела долго сохранять серьезность в присутствии этого мужчины — мрачного римлянина, которого, считалось, напрочь покидало чувство юмора.

— Я буду сражаться с Римом. Я сделаю все, чтобы сохранить Александрию и Египет.

— Не сомневаюсь, — согласился Луций Севилий. — Иначе ты будешь не ты.

— Иногда мне хочется, — сказала Диона, помолчав, — чтобы ты умел ссориться, как

обычный мужчина.

— А зачем мне быть обычным? — поинтересовался он.

Зачем? В самом деле, зачем?

— Ах ты, тупой римлянин!

— Упрямая египтянка!

Они улыбались друг другу. Было уже очень поздно. Они казались совершенно глупыми, блаженно-глупыми, но были живы и смеялись, хотя мир этот кончился.

А в конце, как знали древние египтяне, всегда бывают зерна; а зерна дают всходы, цветы и плоды — и заново творят мир.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

---

notes

Примечания

«Александр». — *Здесь и далее прим. пер.*

2

Имя Клеопатра (в переводе с греческого означает «славная по отцу») носили героини греческих сказаний, а также традиционно — женщины из царских семей в Македонии и Египте. Сама Клеопатра (69–30 гг. до н. э.) была Клеопатрой VII.

3

Исида — египетская богиня плодородия, материнства, воды и ветра, волшебства, мореплавания; символ женственности, семейной верности; охранительница умерших. Изображалась в человеческом облике, с коровьими рогами и солнечным диском, часто с младенцем Гором на руках. Сестра и супруга Осириса, мать Гора. Популярность ее была так велика, что она почиталась и за пределами Египта, во всей Римской империи. С IV в. до н. э. появляется мистический культ Исиды.

4

Осирис — египетский бог мертвых и плодородия, владыка Царства Мертвых, тесно связанный с теологическим истолкованием египетского понятия о царе; брат и супруг Исиды. Греки отождествляли его с Дионисом.

5

Гор — египетский бог неба и солнца; изображался в виде сокола, человека с головой сокола, крылатого солнца.

6

Лагиды — царская династия Птолемеев, правившая Египтом: названы по имени Лага, отца Птолемея I.

7

Птолемеи — македонско-греческая правящая династия в Египте с 323 по 30 гг. до н. э., цари эллинистического Египта. Первый Птолемей был сначала полководцем Александра Македонского. После его смерти выступил за разделение огромной империи Александра. Птолемею достался Египет.

8

Этот маяк, высотой 110 метров, считался одним из семи чудес света.

9

Анубис — египетский бог смерти. Изображался в виде лежащего шакала или собаки, а также в виде человека с шакальей головой.

10

В Древнем Риме жрец, член этрусской коллегии жрецов. Гадать, предсказывать будущее надлежало главным образом по внутренностям (преимущественно печени) жертвенных животных (haruspicina — по латыни «осмотр внутренностей печени»).

11

Баст (Бастет) — в египетской мифологии богиня радости и веселья. Священное животное Баст — кошка. Изображалась Баст в виде женщины с головой кошки.

12

Афродита — греческая богиня красоты и любви (у римлян — Венера).

13

Дионис — греческий бог виноградарства и виноделия, именовался также Вакх (Бахус по-латыни).

14

Пурпурная кайма на тоге — знак сенаторского достоинства. Римляне носили тогу лишь в мирное время.

15

Клиенты — форма социальной зависимости в древнем Риме. Вначале клиенты (ими становились чужеродные, иноплеменники или младшие сородичи) хозяйственно, политически и морально подчинялись главе рода или большой семьи. В эпоху Поздней Республики, из-за резкого увеличения количества иноземных рабов, клиентела утрачивает хозяйственное значение, всецело сохраняя политический и моральный аспекты. У знаменитых полководцев в клиентах числились целые покоренные ими народы.

16

Среди греческих вин неизменно славилось хиосское вино.

17

Мусейон — созданное в III в. до н. э. Птоломеями в Александрии Египетской научной учреждение, в котором, наряду с филологией, занимались исследованиями в области астрономии, математики, ботаники и зоологии с использованием самого современного для того времени оборудования. Разрушен в III в. н. э.

18

Теренций Афер (Африканец), 190–159 гг. до н. э., наряду с Плавтом считался великим римским комедиографом.

19

Минос — мифологический могущественный и справедливый царь Крита, считался судьей в подземном царстве.

20

В античности ристания, или гонки на колесницах, были видом спорта, особенно культивируемым в среде правящего класса. В гомеровскую эпоху хозяевами упряжек были сами наездники. В более позднее время на крупных состязаниях владельцы коней представляли свои упряжки наемным возницам. В случае победы толика славы выпадала и наездникам, но настоящим победителем считался владелец коней.

21

Геката — богиня луны. Она также считалась богиней колдунов и привидений, которые наводили на людей ужас по ночам. Геката скиталась по дорогам в сопровождении собак и призраков.

22

Паллий — римская мужская верхняя одежда (у греков — гиматий) из льна, шерсти или шелка; его носили дома и на улице, преимущественно римляне, приверженные к греческой культуре.

Претерит (грам.) — прошедшее время.

24

В Греции к магам стали относить всех лиц, занимавшихся «восточной премудростью», науками и лжеучениями — «мудрецов», кудесников, астрономов и знахарей.

25

Амон — высшее египетское божество. Почитался как бог-создатель и бог плодородия. Позже его стали связывать с богом солнца Ра и богом плодородия Мином.

26

Среди сановников главным в государстве Птолемеев был диойкет, начальник всей финансовой администрации, правая рука царя по управлению страной.

27

Тит Макций Плавт (ок. 250–184 гг. до н. э.) — выдающийся римский комедиограф.

28

Фульвия, жена народного трибуна Клодия Пульхра, затем Гая Скрибония Куриона и триумвира Антония, при котором, особенно после смерти Цезаря, имела определенную политическую власть вплоть до своей смерти в 40 г. до н. э.

29

Таурт — в египетской мифологии богиня-покровительница женщин и детей. Священное животное Таурт — гиппопотам. Таурт помогала при родах, лечила от бесплодия. Изображалась в виде стоящей беременной самки гиппопотама с женскими руками и грудью и львиными задними лапами (иногда и с головой львицы).

30

В Египте трон фараона традиционно наследовался ребенком женского пола.

31

Фивы — один из древних городов Египта в верховьях Нила; в разное время был столицей Египта. Центр почитания бога Амона.

32

Пеан (греч.) — песня, исполняемая в сопровождении кифары чаще мужским, но иногда и женским хором. Она пелась в качестве искупления, во время битвы, при праздновании победы, а также на праздниках частного характера.

33

Roma Dea — Рома, в римской мифологии богиня, персонификация города Рима. Культ Ромы был тесно связан с «римским мифом» — преданием об изначально предопределенной богами власти Рима над миром.

34

Авлос — наиболее распространенный музыкальный инструмент греков в эпоху античности; напоминает свирель или гобой. Обладал резким и острым звуком.

35

Антиподы — жители двух диаметрально противоположных пунктов земного шара.

36

Гомункулус — по представлениям средневековых алхимиков — некое существо, подобное человеку, которое якобы можно искусственно вырастить в колбе.

37

Римляне отождествляли греческую богиню Гекату — богиню мрака, ночных видений и колдунов — со своей богиней Тривией — «богиней трех дорог», так как ее изображения помещались на перекрестке дорог, где ей обычно приносили жертвы. Геката также помогает покинутым возлюбленным.

38

Эринии — богини мщения подземного мира (у римлян — фурии). Безжалостно и неустанно карали они всяческую несправедливость, в особенности убийство, преследуя виновного, доводя его до безумия, насылая на него порчу и смерть.

39

Эней — в греческой и римской мифологии сын Анхиса и Афродиты. После бегства из разоренной Трои страшная буря, обрушившаяся на его корабли, занесла его в Карфаген. Здесь его гостеприимно встретила царица Дидона, любовь к которой надолго задержала Энея в Карфагене. Потом, по велению богов, Эней снова отправился в путь.

40

Сапфо (Сафо) — выдающаяся поэтесса античности. Родилась около 650 г. до н. э. в Эресе на острове Лесбос в аристократической семье. Сапфо высоко чтили в античном мире, называя десятой музой; Катулл и Гораций подражали ей.

41

Нарбон (совр. Нарбонн) — главный город римской провинции Галлия Нарбонская. Основан в 118 г. до н. э. на месте древнего поселения как римская колония. Имел важное значение как перегрузочный порт.

42

Массалия (совр. — Марсель) — колония ионического торгового порта г. Фокея, основана около 600 г. до н. э. близ устья реки Роны, превращена в центр греческой торговли в Западном Средиземноморье.

43

Гадес (Аид) — в греческой мифологии бог — владыка царства мертвых, а также само царство.

44

Кир II Великий, один из самых знаменитых персидских царей династии Ахеменидов, царствовал с 558 по 529 гг. до н. э., основал персидскую державу, захватил Мидию.

45

Ниса — один из самых знаменитых городов Парфии. Парфяне были отменными коневодами.

46

Каллисфен — греческий историк, родился около 370 г. до н. э.: принимал участие в персидских походах Александра Македонского. Создал произведение, в котором возвеличил деяния царя и прославил его как борца за панэллинизм. До нас дошел роман об Александре, автором которого традиция считает Каллисфена.

Salve (лат.), *chaire* (греч.) — здравствуй!

48

Двойной шаг (римск. — passus) — мера длины, приблизительно равна 1,48 м.

49

Легион — основное подразделение в армии Древнего Рима; во времена Цезаря легион обычно насчитывал 3 тыс. пехотинцев, 2–3 тыс. всадников и 4–5 тыс. всадников, набранных из галльских племен. Состоял из 30 манипул, сведенных в 10 когорт. Боевой порядок легиона состоял из 3 линий по 10 манипул в каждой.

50

Легион — основное подразделение в армии Древнего Рима; во времена Цезаря легион обычно насчитывал 3 тыс. пехотинцев, 2–3 тыс. всадников и 4–5 тыс. всадников, набранных из галльских племен. Состоял из 30 манипул, сведенных в 10 когорт. Боевой порядок легиона состоял из 3 линий по 10 манипул в каждой.

51

Птолемей II Филадельф (308–246 гг. до н. э.), царь Египта с 285 г. Укрепил политическое и экономическое положение страны в эллинистическом мире.

52

Согласно религиозному учению древних египтян, человек имеет несколько душ. Главными были «ка» и «ба». В период Древнего царства они считались присущими только богам и фараонам, но позднее стали приписываться и всем остальным людям. «Ка» являлась духовным двойником человека, с которым тот встречается после смерти. «Ба» означала примерно то, что можно назвать «чистым духом». Он покидал человека после его смерти и направлялся на небеса. «Ба» считался внутренней энергией человека, его божественным содержанием, продолжавшим существовать и после смерти. Изображалось в виде птицы с головой, а иногда и руками человека.

53

Марк Эмилий Лепид, триумвир (ок. 90–12 гг. до н. э.), приверженец Юлия Цезаря. Входил в состав Второго триумвирата.

54

Пан (у римлян — фавн) — греческий бог-защитник пастухов и мелкого рогатого скота, лесной демон; похотливое существо. Изображался в виде человека с ногами козла, часто с козлиной бородой и рогами. Пан изобрел пастушескую свирель и, играя на ней, преследовал нимф. Возбуждал панический ужас и сеял панику.

55

Этот обычай восходит к легенде о похищении сабинянок. Согласно этому преданию, в недавно основанном Риме недоставало женщин. Ромул, один из основателей Рима, устроил игры, на которые пригласил соседних сабинян вместе с их семьями. Во время игр римляне похитили незамужних сабинянок.

56

Гимн Гименею — свадебная песня, которая по древнему обычаю во время свадебного праздника исполняется хором, например, при введении невесты в дом жениха, или свадебной ночью перед покоями невесты, или перед брачными покоями.

57

По римскому обычаю жених переносил невесту через порог дома, чтобы не беспокоить демонов.

Комментируя такой обычай, Плутарх в «Римских вопросах» замечает, что, возможно, это делается в память о том, что первые жены римлян были добыты силой и с помощью оружия; кроме того, это могло означать, что они выходят замуж за храбрых воинов, и только железо может расторгнуть брак.

59

Тифон — в греческой мифологии стоглавое огнедышащее чудовище, сын богини земли Геи и Тартара. Зевс, победив Тифона, навалил на него громаду горы Этны, из вершины которой дыхание Тифона извергается потоком огня, камней и дыма.

60

Главк — один из морских богов, которому приписывался дар прорицателя. Первоначально — рыбак из Беотии. Выпив зелья из колдовской травы, он упал в море. Изображался в виде старика с рыбьим хвостом, синими руками и зеленой, цвета водорослей, бородой.

61

Гипербореи (греч.) — легендарный народ, пребывающий в вечном блаженстве на Крайнем Севере. У них любил бывать Аполлон.

62

Весталки — жрицы Весты, римской богини домашнего очага и очага римской общины. Круглый храм Весты стоял в Риме на форуме. В соблюдение древнего обычая весталки поддерживали вечный огонь в очаге в ее храме. В весталки отбирались девочки 6—10 лет, которые в течение 30 лет были обязаны выполнять жреческие обязанности и строжайшим образом соблюдать обет целомудрия, в случае нарушения которого их живьем закапывали в землю.

63

Кифаред — музыкант, играющий на кифаре — одном из самых распространенных струнных щипковых инструментов античности, похожем на лиру.

64

Хор в античный период был участником сценического действия. Во времена расцвета античной трагедии комментировал происходящее на сцене, являясь своеобразным рупором общественного мнения. Часто выступал глашатаем воли богов, предостерегая героя или напоминая о неизбежности рока.

65

Намек на изречение «MEMENTO MORI» (лат.) — «Помни о смерти».

66

Авгуры — римские жрецы, которые первоначально улавливали поданные божествами плодородия знаки и толковали их. Со временем выработалась целая наука авгуров, которые для своих гаданий (авгурий) пользовались атмосферными явлениями (громом, молнией, зарницей и т. п.), полетом и голосами птиц, кормлением священных кур, встречами с дикими животными, отголосками звуков и т. д. Особенное значение придавалось гаданию по полету птиц (ауспиция): Коллегия авгуров просуществовала вплоть до эпохи Империи. Гаруспики же были членами этрусской коллегии жрецов, и их предсказания удостоверивал сенат.

67

Амон — в древне-египетской мифологии бог-покровитель города Фивы, постепенно стал отождествляться с богом солнца Ра (Амон-Ра). Аполлон — в греческой мифологии и религии сын Зевса, бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств; бог солнечного света, отождествлялся с богом солнца Гелиосом. Митра (Мифра) — в древневосточных религиях бог солнца; один из главных древнеиранских богов договора, согласия, покровитель доброжелательных отношений между людьми.

68

Гея — в греческой мифологии богиня животворящей земли, производительница и носительница всех живых существ, праматерь и прабожество. От нее произошли небо, море и горы. Луцина — в Древнем Риме богиня-покровительница брака (у греков — Илифея), помогающая при родах.

69

Посейдон (у римлян — Нептун) — один из главных олимпийских богов древних греков, владыка моря. Древнейшее представление о Посейдоне связано с плодородием земли, пропитанной водой. Посейдон жил не на Олимпе, а во дворце на дне моря. Морская темно-синяя бурлящая вода и отождествлялась с Посейдоном, именуемым «синекудрым».

70

Элизиум — в греческой мифологии обитель блаженных, загробный мир для праведников.

71

Сатировские драмы — первоначально, местные веселые сценические представления на Пелопоннесе. Их основными персонажами были сатиры из свиты Диониса.

72

Рим расположен на семи холмах — Авентине, Палатине, Капитолии, Квиринале, Виминале, Ксвилине и Цепиевом холме.

Эпитеты Диониса: Бромий — «бурный, шумный»; Лиэй — «освободитель»; он освобождает людей от мирских забот, снимает с них путы размеренного быта, рвет оковы, которыми пытаются опутать его враги и сокрушает стены. Он также насылает безумие на врагов и страшно их карает.

74

Демон — обозначение потустороннего существа и силы его влияния. С VI в. до н. э. демонами называли всех богов, не имевших собственного имени. Христианство причислило демонов, как и всех языческих богов, к нечистой силе.

75

При Цезаре было 16 преторов. Главной их задачей считалось отправление правосудия. Во время отсутствия консула в Риме претор замещал его; кроме того, обладал правом командования одним легионом.

76

Сон в храме (инкубация) — жрецы после определенных ритуалов во сне общались с богами; был распространен в течение всей эпохи античности.

77

Архонт — один из девяти ежегодно избираемых высших должностных лиц в Афинах. В V в. до н. э. власть архонтов утратила прежнее политическое значение в связи с усилением роли стратегов.

78

Кратер — македонский полководец, командир телохранителей Александра Македонского. В 328 г. до н. э. завоевал Бактрию, отличился во время индийского похода, особенно во время трудного возвращения войска Александра. После смерти царя стал стратегом Македонии. В 321 г. до н. э. погиб в битве с Эвменом Кардийским.

79

Стиль — бронзовый стержень, заостренный конец которого использовался для нанесения текста на дощечку, покрытую воском. Противоположный конец стиля делался плоским, чтобы можно было стирать написанное.

80

Письменные принадлежности появились на Древнем Востоке и были переняты греками. Кисточки из стеблей камыша служили для нанесения чернил, сделанных из сажи с добавлением клея, на папирус, деревянные дощечки, кожу, пергамент, кору дерева, глиняные черепки, штукатурку. В эпоху поздней античности на Западе появилось гусиное перо.

81

Юнона (греч. — Гера) — в римской мифологии одна из верховных богинь, супруга Юпитера. Как богиня-покровительница женщин, считалась хранительницей брака.

82

Поллукс — в римской мифологии соответствует греческому Полидевку. Один из братьев-близнецов Диоскуров, сыновей Леды. Кастор и Полидевк почитались как покровители моряков и спасатели в кораблекрушении, считались покровителями в битве.

83

Афина, Афина-Паллада — в греческой мифологии богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесла. Дочь Зевса; покровительница Афин; ей соответствует римская Минерва. Афину, как правило, изображали в виде суровой и величественной девы в шлеме, с копьем, щитом и эгидой.

84

В Древней Греции почтенные, порядочные женщины обычно были необразованны и сидели по домам. Независимый образ жизни вели гетеры, женщины легкого поведения, отличавшиеся часто большей образованностью. Известные гетеры, как правило, знали музыку, философию, литературу и т. д.; играли заметную роль в обществе.

85

Фасция — связанный кожаными ремнями пучок прутьев с воткнутым в него топориком, знак должностной и карающей власти римских магистратов. Ликторы (служители) шли с фасциями впереди римских должностных лиц (претору полагалось 6, консулу 12 и т. д.). В Риме топор убирали, так как здесь высшей инстанцией для смертных приговоров был народ.

86

Драхма — греческая денежная и весовая единица. Масса афинской драхмы — 4,36 г (1 драхма = 6 оболам).

87

Тиран — человек, насильственно захвативший власть в полисе (городе-государстве) и узаконивший тиранию — одну из форм государственной власти в Греции с конца VII в. до н. э. до эпохи эллинизма.

88

Кассандра — в греческой мифологии дочь троянского царя Приама и Гекубы. Влюбленный в нее Аполлон наградил Кассандру даром прорицания, но, отвергнутый, сделал так, чтобы ее пророчествам никто не верил.

89

Прозвище патрицианского рода Корнелиев, из которого вышли выдающиеся полководцы и государственные деятели, способствовавшие укреплению гегемонии Рима в Средиземноморье.

90

Гекатомба — жертвоприношение сотни быков, а также всякое большое жертвоприношение по праздникам.

91

На самом деле Цезарь отступил от Диррахия и при помощи подкрепления выиграл битву 6 июня 48 г. до н. э. возле города Фарсала.

В римской армии была хорошо развита сигнальная техника. Сигналы наступления и отступления подавала туба — длинная прямая труба; букцина (внешне напоминает рог) использовалась для сигнализации внутри лагеря.

Капрологический — относящийся к изучению экскрементов.

94

Триера — простое по конструкции маневренное военное гребное судно с тремя рядами весел. Длина составляла 5 м. Команда состояла из 200 человек: 170 гребцов, 20 матросов и 10–12 воинов.

95

Либурники (либурнийские суда) — с I в. до н. э. большинство римских кораблей строились по образцу обладавших хорошей маневренностью судов народности либурнов (20 рядов гребцов). Отсюда название нового типа римских кораблей.

Глиняные ядра наполнялись зажигательной смесью.

97

В Риме была Клоака Максима, большой закрытый сточный канал. Октавиану же прочат городок под названием Клоака Победы.

98

Намек на Тимона Афинского, жившего в V в. до н. э., мизантропа, который, разочаровавшись в друзьях и согражданах, стал отшельником.

Получение полных гражданских прав сопровождалось торжественной церемонией объявления совершеннолетия и занесением в список граждан. Время проведения такой церемонии зависело от воли отца или опекуна и приходилось в различных греческих государствах на возраст от конца 17-го до конца 20-го года жизни; в республиканском Риме — по достижении 17 лет.

100

Эфебы — в Афинах и других греческих городах юноши старше 18 лет. Они вносились в гражданские списки и служили 2 года в воинских формированиях. После года службы приносили клятву верности афинскому царству.

101

Существовало несколько видов тог. Toga virilis, одноцветную тогу, носили юноши с 16 лет.

102

Крез (595–546 гг. до н. э.) — последний царь Мидии с 560 г.; значительно расширил территорию своего царства. Разбит и взят в плен Киром II, а царство присоединено к Персии. Богатство Креза вошло в поговорку.

103

Пелузий — стратегически важный пограничный городок к востоку от дельты Нила, который господствовал над военными и торговыми путями из Египта в Азию.

Намек на выражение «Aut Caesar, aut nihil» — или Цезарь, или ничто.

105

Alalala — боевой клич греков. Euoe Bacchai — восславление бога вина Вакха (Бахуса).

106

Календа — в римском лунном календаре первый день каждого месяца.

107

Туле — якобы самый северный остров на земле, до которого доплыл Пифей, греческий географ, живший во времена Александра Македонского. Местонахождение Туле толковали по-разному.

108

Гай Марий, римский полководец и политический деятель, ввел орла как единый знак легиона.

109

Марс — бог войны у римлян.

110

Даная — в греческой мифологии дочь аргосского царя Акрисия. Ему предсказали смерть от руки внука, и он заточил Данаю в подземную темницу. Но Юпитер проник к ней в виде золотого дождя, и она родила Персея, который во время игр случайно убил деда брошенным диском.

111

В архитектуре кариатиды — вертикальная опора в виде задрапированной женской фигуры, поддерживающая балочное перекрытие.

112

Вольноотпущенники — рабы, отпущенные на волю актом освобождения. Гражданские права их оставались ограниченными, и во многих случаях они должны были по-прежнему служить своему хозяину.